

ISSN 0132-0637

Октябрь

11

1989



ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

11

1989

НОЯБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В Н О М Е Р Е:

Ю. БУРТИН.
Ахиллесова пята исторической теории Маркса 3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Леонид ФРОЛОВ.
Пиво от внука. Повесть 26

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР.
Равновесье. Стихи 119

Н. БЕРБЕРОВА.
Биянкурские праздники и другие рассказы. 1928—1940 122

Афанасий САЛЫНСКИЙ.
№ 1. Рассказ 148

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Альберт ЛИХАНОВ.
Заметки об отчуждении 161

В. НОВИКОВ.
Ульяков в Женеве 179

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЛАЗАРЕВ.
История, отраженная в человеке 182

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Виктор МАЛУХИН. Сила слабых. * Игорь ШАЙТАНОВ.
Увидеть в движении 189

Из почты «Октября» 193

Ахиллесова пята исторической теории Маркса

Предлагаемая статья продолжает задуманный автором цикл статей¹, посвященных проблеме социализма. Проблема эта — именно как проблема — нынче с особой остротой встала перед нами. Прежде всего в виде той общественно-политической системы, которая создана была в СССР под руководством Сталина, устояла в потрясениях 50—60-х годов, заново стабилизировалась в «эпоху застоя» и таким образом с известными модификациями дожидается до перестройки, а значит и до сегодняшнего дня. Перед нами стоит задача преодоления этой системы, превращения ее в нечто принципиально от нее отличное. Задача поистине невероятная по своей трудности, и сейчас, на старте, она, может быть, особенно жестко испытывает нас. Испытывает нашу волю к переменам, серьезность наших намерений, истинную меру нашей внутренней свободы, готовность обсуждать (а затем и решать) свои проблемы действительно безбоязненно, не ограничивая себя со всех сторон привычными запретами: этого касаться еще нельзя, этого еще не сказал Горбачев, а это он (или Маркс, или Ленин) сказал иначе. Если подобные запреты для нас остаются в силе, значит нам не стоит и браться за дело, мы его только погубим — и притом обязательно — своей половинчатостью и трусостью. После всего, что было с нашей страной, мы должны говорить только правду. Всю правду. Мы можем при этом ошибаться, но не имеем права на уклончивость, дипломатичность, политиканство. Ведь даже и будучи абсолютно честными с собой и с читателем, нам, нам всем, так трудно найти истинную дорогу. А времени у нас у всех в обрез. Зато если мы и в самом деле созрели для серьезного разговора о том, что есть и чего мы хотим, тогда он сам собою будет и свободным от лозунговой крикливости, и ответственным, и искренним, и конструктивным.

Чтобы правильно подойти к решению проблемы социализма в актуальных ее аспектах, не обойтись без того, чтобы, отступив в глубь истории, рассмотреть некоторые темы, относящиеся к философско-исторической концепции марксизма. Многое из того, о чем здесь пойдет речь, всем хорошо известно, что, по мнению автора, позволяло ему вести разговор очень конспективно и без каких-либо попыток раскланяться с бесчисленными предшественниками — как единомышленниками, так и оппонентами. Собственную задачу автор видел лишь в том, чтобы привести это известное в определенную систему, проследить как некоторую логическую цепочку причин и следствий. Если выяснится, что и в этом отношении, то есть в логике и композиции своего рассуждения, он по неведению лишь повторяет кого-то, то будет этому только рад, а свою работу попросит считать чисто популяризаторской.

¹ Введение к нему под названием «Изжить Сталина!» напечатано в сборнике «Суровая драма народа» (М., Политиздат, 1989).

Во второй половине XX века своего рода общим местом стало утверждение, что мировая история идет «не по Марксу». Что ж, оснований для него действительно достаточно как в той, так и в другой части современного мира.

Прежде всего это касается капитализма: он не подтвердил марксов прогноз, казалось бы, с полной научной строгостью обоснованный. Не подтвердил в том простом смысле, что не умер и более того отнюдь не собирается умирать. Не уступил своего места коммунизму и не обнаруживает ни малейших признаков готовности сделать это хотя бы в сколько-нибудь обозримой перспективе. И если бы это была только затянувшаяся отсрочка! Так ведь вполне очевидно — нет. Если в конце XIX и особенно в первой трети XX века, более всего на исходе первой мировой войны, вероятность пролетарской революции в главных капиталистических странах была довольно высока, то в дальнейшем она стала все более и более уменьшаться и к настоящему времени вот уже не одно десятилетие равна нулю. Почему? Нет нужды пускаться здесь в подробный анализ кардинальных сдвигов в характере труда, образовании, уровне и качестве жизни основной массы населения современного Запада, чтобы в итоге констатировать общезвестное: того изможденного, полуголодного пролетария, которого видел перед собой Маркс и которому действительно нечего было терять, кроме своих цепей, там давно не существует. Современный же высокооплачиваемый рабочий, который занят на работе 7—8 часов в день, приезжает туда на собственной машине, участвует в прибыли своего предприятия, живет в коттедже или большой благоустроенной квартире, учит детей в университете, а свой летний отпуск проводит в заграничных путешествиях, — не может не смотреть на жизнь совсем по-иному.

Говорят порой: гуманизацией условий труда, повышением своего жизненного уровня, демократизацией и пр. трудящиеся Запада во многом обязаны Октябрьской революции. В каком смысле? В том, что угрозой своего повторения в других странах, примером превращения пролетариата в правящий класс она заставила западную буржуазию пойти на уступки собственному пролетариату. Отчасти это, возможно, было и так, особенно поначалу. Но тогда уж не следует обходить молчанием и возраставшее с течением времени влияние обратного свойства: чем хуже шли у нас дела, тем сильнее рабочий на Западе разочаровывался в социализме. А главное, суть, конечно, не столько во внешних воздействиях, каковы бы они ни были, сколько во внутренних процессах саморазвития западного общества, все дальше уводивших его от революционной перспективы.

Может быть, марксов прогноз оправдался зато в другой, ныне социалистической части мира? Увы, лишь отчасти. Только в том смысле, что практика подтвердила: можно совершить социалистическую революцию, можно сформировать — в том или ином его варианте — социалистический строй. Во всем остальном парадокс на парадоксе. Выяснилось, во-первых, что социалистические революции с особенной легкостью происходят и побеждают там, где для них, казалось бы, меньше всего предпосылок: где капитализм развит однобоко, недостаточно или не развит вообще, где пролетариат в меньшинстве или даже только начинает формироваться. Обнаружилось, во-вторых, что победивший социализм, вместо того чтобы продемонстрировать более высокую по сравнению с капитализмом степень рациональности и эффективности социально-экономической организации общества, оказался, наоборот, в положении хронически отставшего едва ли не по всем основным показателям, будь то производительность труда, темпы научно-технического прогресса, уровень жизни масс или развитость политической демократии. Притом не только из-за отставания на старте, но и в ситуациях приблизительного равенства изначальных возможностей (ГДР — ФРГ, Венгрия — Австрия, Советская Прибалтика — Финляндия и т. п.). И не видно, чтобы с течением времени (измеряемого уже многими десятилетиями) указанный разрыв хотя бы медленно, но сокращался, скорее напротив.

Не очень приятно признаваться в этом, но по горькому своему опыту мы ведь уж слишком хорошо знаем, как опасна успокоительная ложь, которой мы

питали себя так долго. Только при условии полной откровенности разговора его и имеет смысл сегодня вести. Только при полной свободе по отношению к людям авторитетам можно быть достойным их высокого примера.

Итак, ошибка, притом чрезвычайно существенная, ошибка Маркса. Однако ошибки ошибки разнь. Ошибка гениального ума, которую не в состоянии вскрыть современники, а обнаруживает лишь последующий ход науки или самой истории, всегда исторически знаменательна. Она не упрек этому уму (напротив, как правило, подтверждение его логической силы и последовательности), но указание на неостановимость прогресса и относительность, ограниченность человеческого опыта на каждой данной ступени познания. К тому же такие ошибки часто возникают не сами по себе, а как обратная сторона и непреложное, казалось бы, следствие высших достижений того же гениального ума: сила обуславливает слабость, и обратно. Тем полезнее в них разбираться — в интересах дальнейшего движения мысли.

В чем суть интересующей нас ошибки Маркса, это сегодня достаточно ясно — в недооценке способности капиталистического общества к самоизменению. Глубокому, многоэтапному, длительному, имевшему место не только в прошлом, на стадии его становления в недрах феодализма, но свойственному и периоду его полной зрелости и господства. Это ясно, но это пока что слишком общий, а потому малосодержательный ответ. Важно пойти дальше и прежде всего уяснить себе, так сказать, логику и психологию марксовской ошибки.

Первое, в чем тут нужно отдать себе отчет, — это то, что недооценка «развиваемости» капиталистического строя для Маркса отнюдь не случайна. Она проявление да, пожалуй, и синоним свойственной ему недооценки с в о е о б р а з а и я капитализма в ряду общественно-экономических формаций.

Идея общественно-экономической формации — великое открытие Маркса. Всем памятно, и, однако же, пусть еще раз прозвучат эти чеканные положения знаменитого «Предисловия» «К критике политической экономии»:

«В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. (...) На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что является только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. (...) В общих чертах азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно обозначить как прогрессивные эпохи экономической общественной формации. Буржуазные производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства... но развивающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают вместе с тем материальные условия для разрешения этого антагонизма. Поэтому буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества»¹.

О, эта мерная поступь марксовской прозы, убедительной, как сама правда, неотвратимой в своей сдержанно-ликующей силе! Так пишут лишь тогда, когда владеют не только талантом, но и истиной. Но... где сила, там и слабость. Сила — в понимании человеческой истории как закономерного естественноисторического процесса и в отыскании ключа к этому процессу, его главного до настоящего времени двигателя — развития производительных сил. Сила — в установлении объективной зависимости между уровнями этого развития и состоянием

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, с. 6—8. Все дальнейшие ссылки на это издание даются в тексте — указанием тома (первая цифра) и страницы.

общества, сменой типов его экономической организации, во взгляде на эти общественные структуры как на последовательные ступени единой мировой истории, в системном и одновременно диалектическом подходе к каждой из таких структур, позволяющем видеть как ее внутреннюю целостность, так и присущие ей противоречия и обусловленную ими динамику развития. Нет нужды повторять тысячекратно сказанное: каким взлетом мысли была эта концепция, как упорядочила она всю мировую историю, как осветила и близь, и даль. В чем же слабость? А слабость в немалой мере в том, что упорядочила слишком. В том, что неоправданно универсализировала современные ей формы исторического движения, без достаточных оснований распространив их как на прошлое, так и на будущее.

С прошлым на сегодняшний день дело довольно ясное. В нашей исторической литературе еще с 60-х годов обращалось внимание на то, как трудноприложимы некоторые черты марксовой схемы (например, понятие социальной революции как формы перехода от одной общественной формации к другой не только к миру за пределами Европы, но даже и к докапиталистическим ступеням самой европейской цивилизации¹, в систематическом изучении которых, в частности средствами археологии, было к тому времени сделано еще сравнительно немного. Не столь явным, но гораздо более важным недостатком указанной схемы (ибо он имеет уже далеко не академический смысл) является заложенное в ней представление о принципиальной однотипности исторических судеб капитализма, с одной стороны, и докапиталистических формаций — с другой. Капитализма и феодализма прежде всего.

Перечитаем под этим углом зрения хотя бы следующее место из статьи Энгельса «Протекционизм или система свободы торговли»: «Буржуазия должна быть и будет низвергнута пролетариатом, подобно тому как аристократия и неограниченная монархия получили смертельный удар от среднего класса» (4, 64). Или в более развернутой форме — из «Манифеста Коммунистической партии»:

«Итак, мы видели, что средства производства и обмена, на основе которых сложилась буржуазия, были созданы в феодальном обществе. На известной степени развития этих средств производства и обмена... феодальные отношения собственности уже перестали соответствовать развившимся производительным силам. Они тормозили производство вместо того, чтобы его развивать... Их необходимо было разбить, и они были разбиты... Подобное же движение совершается на наших глазах. Современное буржуазное общество, с его буржуазными отношениями производства и обмена, буржуазными отношениями собственности, создавшее как бы по волшебству столь могущественные средства производства и обмена, походит на волшебника, который не в состоянии более справиться с подземными силами, вызванными его заклинаниями». И чуть дальше: «Оружие, которым буржуазия ниспровергла феодализм, направляется теперь против самой буржуазии» (4, 429, 430).

Всякий, кто читал Маркса и Энгельса, знает, сколь характерен для них подобный ход мысли, равно как и то, что он оставался таковым всегда. Прекрасно сознавая и многократно с исключительной рельефностью обнаруживая глубочайшие качественные отличия капитализма от феодализма чуть ли не по всем возможным линиям их сопоставления, они, однако же, с равным постоянством подчеркивали принципиальную однотипность, однопорядковость обеих формаций как эпох всемирной истории, подчиненность их одному и тому же общесторическому закону. Там и тут одинаковое по типу противоречие между производительными силами и производственными отношениями, там и тут равная неспособность с ним справиться, там и тут в конце «гибель» как условие и форма перехода общества на другую, более высокую ступень.

По близкой аналогии сами собой приходят строки из «Евгения Онегина»:

¹ См., например, сборники «Проблемы истории докапиталистических обществ», М., 1968; «Историческая наука и некоторые проблемы современности», М., 1969; «Философские проблемы исторической науки», М., 1969.

Увы! на жизненных браздах
 Мгновенной жатвой поколенья,
 По тайной воле провиденья,
 Восходят, зреют и падут;
 Другие им вослед идут...
 Так наше ветреное племя
 Растет, волнуется, кипит
 И к гробу прадедов теснит.
 Придет, придет и наше время,
 И наши внуки в добрый час
 Из мира вытеснят и нас!

Не правда ли, похоже? Марксова смена формаций действительно сильно напоминает смену человеческих поколений. И своей непреложностью, и равенством каждой из них перед лицом вечности (прогресса). Точно так же, как ни одному поколению не дано прожить два жизненных срока, так и общественные формации, они тоже «восходят, зреют и падут», и ни у одной из них нет в этом отношении никаких преимуществ перед другими. Правда, это не касается коммунизма, но он вообще особая статья, поскольку принадлежит уже совсем другой исторической эре, где не действуют законы антагонистической «предыстории человеческого общества». А до тех пор все примерно одинаково. Авторы «Манифеста» не допускают и мысли о том, что капитализм может и не повторить пути феодального общества, что он может открыть какие-то принципиально новые — и эффективные — способы разрешения своих противоречий, иные, не известные ни одной из прежних формаций формы исторического движения.

Почему же такое, казалось бы, элементарное допущение не приходит им в голову? Ответ прост: потому, что оно за пределами доступного им исторического опыта, за пределами времени, когда сформировался их взгляд на историю.

Представим себе европейского интеллигента 40—50-х годов прошлого столетия, вдумчивого наблюдателя и горячего участника происходящих событий. Он живет в то особое, редкостное время, когда европейская история необыкновенным образом уплотнилась, так что перед его глазами оказались сразу две ее великие эпохи, причем не просто смена этих эпох, но своего рода исторический «парад планет»: ситуация, когда с падением первой из них совпало кризисное состояние второй. С одной стороны, по Европе прокатывается «второй эшелон» буржуазных революций, сметая один за другим еще оставшиеся режимы феодального абсолютизма; как переспелые плоды, они падают от первого толчка¹. С другой стороны, в странах, где такие революции уже прошли и капитализм более или менее длительный срок развивается более или менее свободно, с ним в то же самое время начинают происходить какие-то странные вещи. В 1825 году разражается первый большой экономический кризис, в 1836—1837-м — второй, в 1846—1847-м — третий... Бурный промышленный рост в наиболее развитых странах вдруг резко замедляется и сменяется падением производства, огромные массы произведенных товаров не находят сбыта, хотя в них остро нуждаются миллионы людей. Лопаются банки, закрываются фабрики, а их рабочие, чей многочасовой изнурительный труд и без того давал им средства лишь для того, чтобы не умереть с голоду, оказываются на улице, пополняют собою толпы нищих и бродяг. Старая, феодально-монархическая Европа разваливается на глазах, но и пришедшая ей на смену новая, буржуазно-конституционная, то и дело бьется в конвульсиях, словно пораженная падучей болезнью. Мало того, что она предала свои лозунги и обманула возлагавшиеся на нее надежды, ко всему прочему она же, выходит, и неспособна справиться с вызванными ею силами и того и гляди готова взорваться, как перегревшийся паровой котел...

Вот ситуация. Главное, что она демонстрировала своему думающему современнику, — это высокая степень повторяемости наблюдаемых им общественных явлений. Крушение господства аристократии — везде, разве что в различных сроки; замена его господством фабрикантов и лавочников — тоже везде, притом в весьма сходных экономических и государственно-правовых формах; наконец, способ перехода от первого ко второму также, как правило, одинаков —

¹ Прошу прощения за то, что краткости ради пользуюсь понятиями «феодализм», «капитализм», «буржуазная революция» и т. д. так, словно они существовали всегда, а не были трудными и важными завоеваниями по большей части именно тогдашней же социально-теоретической мысли, марксистской в особенности.

буржуазная революция. Все это, разумеется, не без тех или иных индивидуальных отличий, но суть повсеместно одна и та же. А если прибавить к сказанному и ту повторяемость, которую стал, опять-таки везде, обнаруживать новый, капиталистический способ производства — и неустранимой периодичностью своих кризисов, и синхронностью их в разных странах, сотрясающей и готовой вот-вот еще раз перевернуть весь европейский мир, — то как тут не сделать вывод о повторяемости и в более широком масштабе — о сходстве исторических судеб капитализма и феодализма, а следовательно, и о некоем общем, универсальном мировом законе?

Смелое, яркое обобщение и вместе с тем вполне естественный в этих условиях ход мысли. Ведущий к созданию теории общественных формаций, но одновременно и к тому, чтобы придать этой глубоко продуктивной теории ту обусловленную временем упрощенность, которая в дальнейшем станет все более явной ахиллесовой пятой марксизма.

Время — непреоборимая вещь, ему не могут не подчиняться и самые сильные, самые свободные умы. Абсолютизация наблюдаемого, наличного — вечная плата, которую человеческий ум платит за обретенный им опыт, за каждый новый шаг на пути познания. Печать такой абсолютизации лежит и на исторической концепции основоположников марксизма.

В двух основных отношениях. Во-первых, в том, что, имея возможность наблюдать лишь одну из стадий развития капиталистического общества, а именно первую стадию зрелого, машинизированного капитализма, Маркс и Энгельс сочли некоторые ее специфические черты — например, анархию производства, абсолютное («Манифест Коммунистической партии») или хотя бы относительное (в позднейших работах) обнищание пролетариата — неустранимыми, сущностными свойствами капитализма вообще. И, как показал XX век, решительным образом ошиблись. Во-вторых, современники революционной ломки феодального строя и свидетели того состояния буржуазного общества, когда, еще не научившись и не набравшись сил разрешать свои противоречия эволюционным путем, оно также было чревато революционным взрывом, они увидели в революции универсальный, на все времена, способ перехода общества из одного качественного состояния в другое. И опять-таки ошиблись.

Конечно, не в одной абсолютизации дело. Не могло не сказаться и общее для того времени состояние теоретической мысли, в свою очередь, определяемое уровнем развития не только общественных, но и физико-математических, естественных наук: невыработанность вариативных, вероятностных подходов, а с другой стороны, не вполне преодоленные недостатки той философской школы, из которой вышли Маркс и Энгельс, — «родимые пятна» гегелевской универсализации, однолинейности и телеологизма¹. Но главное все же не в этом, а в однозначных, казалось бы, уроках текущего дня. В самой капиталистической действительности, исследование и истолкование которой составляло величайшую научную заслугу Маркса и в которую, кажется, действительно невозможно было проникнуть глубже, чем это сделал автор «Капитала». Вероятно, и в данном отношении слабость была оборотной стороной силы: чем более прояснялась для основоположников марксизма система связей и зависимостей наблюдаемого ими буржуазного мира, чем стройнее и целостнее становился ее теоретический образ, тем больше заявлял он прав на всеобщность, тем сильнее тяготел к законченности и абсолютизации.

Нельзя, разумеется, сказать, что, уже в первой половине 1840-х годов признав европейский капитализм созревшим для «коммунистической революции»², Маркс и Энгельс на протяжении своей последующей, достаточно долгой жизни не видели, что он продолжает не только расти вширь и вглубь, но и подвергаться существенной внутренней трансформации. Известны слова Маркса (из письма Энгельсу 8 октября 1858 г.) о том, что «буржуазное общество вторично пережило свой шестнадцатый век». Характерно, однако, и продолжение этой

¹ «...Коммунизм был столь необходимым следствием неогегельянской философии, что никакое противодействие не могло помешать его развитию...» (1, 539).

² См., например, 1, 525.

фразы: «...такой шестнадцатый век, который, я надеюсь, так же сведет его в могилу, как первый вызвал его к жизни». И высказанное тут же убеждение, что «на континенте революция близка и примет сразу же социалистический характер» (29,295).

Неустанные и внимательнейшие наблюдатели современности, с жадным интересом следившие за всем, что происходит не только в Германии, Англии, Франции, но и в России, Польше, Индии, Китае, Американских Штатах, основоположники марксизма в 70—80-е (а Энгельс и в 90-е) годы отмечают ряд новых явлений в экономике и социально-политическом облике капиталистического общества. Так, они не раз говорят о том, что продолжающийся во второй половине XIX в. бурный рост производства приблизил развитые страны к такому уровню общественного богатства, при котором здесь уже может не быть богатых и бедных. Еще в 1872 г. Энгельс пишет о том, что благодаря промышленной революции, в основе которой лежало создание парового двигателя, «производительная сила человеческого труда достигла такого высокого уровня, что создала возможность — впервые за время существования человечества — при разумном разделении труда между всеми не только производить в размерах, достаточных для обильного потребления всеми членами общества и для богатого резервного фонда, но и предоставить каждому достаточно досуга для восприятия всего того, что действительно ценно в исторически унаследованной культуре — науке, искусстве, формах общения и т. д.» (18, 215). А десятилетием позднее он с воодушевлением и вызывающей восхищение проницательностью — как о новой «колоссальной революции» — говорит о возможностях, открываемых промышленным применением электричества: «Паровая машина научила нас превращать тепло в механическое движение, но использование электричества откроет нам путь к тому, чтобы превратить все виды энергии — теплоту, механическое движение, электричество, магнетизм, свет — одну в другую и обратно и применять их в промышленности. Круг завершен. Новейшее открытие Депре, состоящее в том, что электрический ток очень высокого напряжения при сравнительно малой потере энергии можно передавать по простому телеграфному проводу на такие расстояния, о каких до сих пор и мечтать не смели, и использовать в конечном пункте — дело это еще только в зародыше, — это открытие окончательно освобождает промышленность почти от всяких границ, полагаемых местными условиями, делает возможным использование и самой отдаленной водяной энергии, и если вначале оно будет полезно только для городов, то в конце концов оно станет самым мощным рычагом для устранения противоположности между городом и деревней» (35, 374).

Мимо внимания основоположников марксизма не проходят ни перемены в формах собственности, прежде всего развитие акционерного капитала¹, которое «знаменует новую эпоху в экономической жизни современных народов», ибо «обнаружило» такие производственные возможности объединений, каких раньше не подозревали» (12, 34). Ни связанная с этим тенденция к созданию индустриальных гигантов, что «повсюду служит исходным пунктом... для прогрессирующего превращения разрозненных и рутинных процессов производства в общественно комбинированные и научно направляемые...» (23, 642) и означает, что «тут прекращается» свойственное прежнему капитализму «отсутствию планомерности» (22, 234). Ни успехи кооперативных фабрик (актуальный для нас мотив!), на которых рабочие «получают заработную плату и, кроме того, процент на свои пай» (15, 86). Ни неуклонно растущее влияние профсоюзов, более и раньше всего в Англии, где уже к началу 80-х годов тред-юнионы «представляют силу, с которой вынуждено считаться всякое правительство...» (19, 267). Ни введение то в одной, то в другой западноевропейской стране под давлением демократических сил всеобщего избирательного права и начавшаяся в связи с этим общая передвигка в системе государственной власти, еще в 1870 г. вызвавшая тонкое замечание Энгельса: «Характерная особенность бур-

¹ «Производство, которое ведется отдельным предпринимателем... все больше и больше становится исключением» (22, 234), а его управленческие функции «выполняются теперь наемными служащими» (19, 222), то есть менеджерами.

жуазии по сравнению со всеми остальными господствовавшими ранее классами как раз в том и состоит, что в ее развитии имеется поворотный пункт, после которого... она теряет способность к исключительному политическому господству; она ищет себе союзников, с которыми, смотря по обстоятельствам, она или делит свое господство, или уступает его им целиком» (16, 416).

Когда встречаешь в сочинениях Маркса и Энгельса подобные констатации и размышления — а они, особенно в последние десятилетия их деятельности, встречаются очень часто, — то сам собою возникает вопрос: почему бы, фиксируя все эти изменения, не прийти, пусть сугубо предположительно, к мысли о том, что их накопление и развитие способно привести капиталистический мир необязательно к краху, но к возможности пережить еще один (да и один ли?) «шестнадцатый век», к такой внутренней перестройке, которая по крайней мере отсрочит его «гибель»?

Нет, даже самая постановка такого вопроса основоположникам марксизма решительно чужда. Все, что они наблюдают в окружающем быстро меняющемся мире, служит для них лишь дополнительным доказательством «политического и интеллектуального банкротства буржуазии» (19, 226), ее «неспособности... к дальнейшему управлению современными производительными силами» (19, 222). Кстати, и вышеприведенный пассаж о необыкновенных возможностях, открываемых «электротехнической революцией», он тоже, как постоянным припевом, заканчивается словами: «Совершенно ясно, однако, что благодаря этому производительные силы настолько вырастут, что управление ими будет все более и более не под силу буржуазии» (35, 374).

Словом, все, чего ни коснись, в том числе любые новейшие проявления общественного прогресса, совершающиеся в условиях капитализма, все неумолимо обращается против него, все говорит Марксу и Энгельсу о том, что этот общественный строй себя исчерпал и дышит на ладан. Откуда такая однолинейность интерпретаций и прогнозов, чреватая, как показала история, глобальной ошибкой? От нехватки воображения, неумения заглянуть в завтрашний день? Нет, вполне очевидно, причина тут была совсем иная, и если для того, чтобы убедиться в этом кому-то недостаточно вышеприведенных выдержек, то вот еще две — это относящиеся к 80-м годам суждения Энгельса о будущей общеевропейской войне:

«...Массовая бойня в неслыханном доныне масштабе, истощение всей Европы в неслыханной доныне степени и, в конце концов, крушение всей старой системы. /.../ Наиболее благоприятным исходом была бы русская революция, но на нее можно рассчитывать только после очень тяжелых поражений русской армии. Несомненно одно — война на первых порах отбросила бы во всей Европе наше движение назад, а во многих странах и вовсе разрушила бы его и разнуждала бы шовинизм и национальную вражду; среди многих неопределенных возможных последствий войны нам будет гарантировано только одно: после войны нам пришлось бы начать сначала, зато на неизмеримо более благоприятной почве, чем даже теперь» (36, 444—445).

«От восьми до десяти миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом всю Европу до такой степени дочиста, как никогда еще не объедали тучи саранчи. Опустошение, причиненное Тридцатилетней войной, — сжатое на протяжении трех-четырёх лет и распространенное на весь континент, голод, эпидемии, всеобщее одичание как войск, так и народных масс, вызванное острой нуждой... абсолютная невозможность предусмотреть, как это все кончится и кто выйдет победителем из борьбы; только один результат абсолютно несомненен: всеобщее истощение и создание условий для окончательной победы рабочего класса» (21, 361).

Высказывания подобного рода одинаково знаменательны в двух отношениях. Поражая верностью многих заключенных в них прогнозов, они отклоняют всякую мысль о том, что отмеченная «ахиллесова пята» марксизма может быть объяснена тем, что его основоположникам просто-напросто не хватало исторической проницательности, способности к предвидению событий. Вместе с тем эти же высказывания еще и еще раз говорят о том, что понимание капитализма

как системы принципиально динамической, способной находить укрепляющий ее выход даже из самых острых своих кризисов, а тем самым к глубокому многоэтапному самопреодолению и самоперестройке, было Марксу и Энгельсу в целом несвойственно.

В таком случае не следует ли допустить, что основоположники марксистского учения были просто-напросто по характеру своему упрямыми доктринерами, догматиками собственных идей?

Подобное объяснение опять-таки не проходит, ибо как совместить с ним не только любимое изречение Маркса «Подвергай все сомнению», но и действительно свойственное им обоим умение трезво анализировать и публично признавать свои заблуждения, когда ход событий их выявлял (качество, присущее и Ленину, но в дальнейшем начисто утраченное в нашем отечестве — как руководителями партии, так и самыми различными группами интеллигенции: критикуем кого угодно, только не самих себя)? В одном из последних произведений Энгельса, подчас называемом его политическим завещанием, — введении к работе Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» (1895) читаем:

«Когда вспыхнула февральская революция (1848 г.— Ю. Б.), все мы в своих представлениях об условиях и ходе революционных движений находились под влиянием прошлого исторического опыта, главным образом опыта Франции... Поэтому было вполне естественно и неизбежно, что наши представления о характере и ходе провозглашенной в феврале 1848 г. в Париже «социальной» революции, революции пролетариата, были ярко окрашены воспоминаниями о прообразах 1789—1830 годов. А когда парижское восстание нашло отклик в победоносных восстаниях Вены, Милана, Берлина; когда вся Европа вплоть до русской границы была вовлечена в движение; когда затем в июне в Париже произошла первая великая битва за господство между пролетариатом и буржуазией... — тут уже при тогдашних обстоятельствах для нас не могло быть сомнения в том, что начался великий решительный бой, что он должен быть доведен до конца в течение одного длительного и полного превратностей революционного периода, что завершится, однако, он может лишь окончательной победой пролетариата» (22, 532—533). «История показала, — продолжает Энгельс, — что и мы и все мыслившие подобно нам были неправы. Она ясно показала, что состояние экономического развития европейского континента в то время далеко еще не было настолько зрелым, чтобы устранить капиталистический способ производства; она доказала это той экономической революцией, которая с 1848 г. охватила весь континент и впервые действительно утвердила крупную промышленность во Франции, Австрии, Венгрии, Польше и недавно в России, а Германию превратила прямо-таки в первоклассную промышленную страну, — и все это на капиталистической основе, которая, таким образом, в 1848 г. обладала еще очень большой способностью к расширению» (22, 535). Далее — победа и поражение Парижской Коммуны, — «И снова обнаружилось, как невозможно было даже и тогда, через двадцать лет... господство рабочего класса» (22, 537).

Вдумываясь в эти уроки истории, Энгельс делает в своей статье важные выводы: будущую победу пролетариата он связывает теперь не столько с вооруженным восстанием, сколько с мирными, в том числе парламентскими формами борьбы, с привлечением на сторону рабочего класса и непролетарских слоев трудящихся масс. Однако он отнюдь не зарекается и от восстаний с оружием в руках, предсказывая лишь, что «уличная борьба будет происходить реже в начале большой революции, чем в дальнейшем ее ходе» (22, 543). А главное, и теперь, в преддверии нового века, все основные истины формационной теории, включая убеждение в близкой смене капитализма коммунизмом, остаются для него нерушимыми. Мысль о возможности новых «экономических революций» «на капиталистической основе», а благодаря им об «очень большой способности» последней к дальнейшему расширению (в частности и за счет успехов того же рабочего движения) — эта мысль для него по-прежнему далека.

Почему? Я думаю, решающую причину нужно искать не в чем ином, как

в том, о чем говорилось выше. А именно в абсолютизации тогдашней капиталистической реальности, общий характер которой, при всех немалых и, как покажет время, перспективных ее изменениях, в основе своей и в 80-е, и в 90-е годы оставался все еще таким, каким отразился он в «Коммунистическом манифесте» и в «Капитале». Абсолютизация была ошибкой, но реальность-то тем не менее была реальностью. А следовательно, для существенно иного взгляда на вещи, для того, чтобы он мог не просто возникнуть как некое частное мнение, одно из многих, но приобрести значение серьезной общественно-политической теории, способной, вобрав в себя все сильное, продуктивное из исторической концепции Маркса, освободиться от ее слабостей и пойти дальше, — для этого еще не настал тогда срок.

Сказанное относится и к Ленину.

В нашей общественно-политической литературе имя Ленина привычно ставится в один ряд, «через запятую» с именами Маркса и Энгельса, образуя вместе с ними как бы некую идеологическую «троицу» (отсюда же термин «марксизм-ленинизм», употребляемый как синоним просто «марксизма»). Между тем Маркс и Энгельс — основоположники марксизма, Ленин же их последователь, правда, отнюдь не рядовой, но, с другой стороны, и не обладающий какими-либо особыми правами на престолонаследие марксистского учения, а верность его основам совмещавший с такой мерой самостоятельности по отношению к некоторым из них, что ее весьма трудно уместить в границах «продолжения и развития». К данной теме мы еще вернемся в дальнейшем, а пока я затронул ее лишь для того, чтобы подтвердить, что в понимании перспектив капиталистического общества, как и в ряде других связанных с этим вопросов, Ленин действительно разделяет — в определенных моментах развивая — взгляды своих учителей и предшественников.

Деятель уже XX века, на пороге и в начале которого капитализм претерпел столь значительные изменения, что они обязывали сделать вывод об его вступлении в новую стадию своего развития, Ленин вводит идею стадильности прямо в заглавие одного из своих важнейших трудов — «Империализм, как высшая стадия капитализма». Однако это не только не означает его отказа от собственного Марксу и Энгельсу убеждения в том, что капиталистическая формация близка к своей исторической могиле, но еще больше его заостряет. Комплекс новых черт современного ему капитализма и самая главная среди них — доведение концентрации и централизации капиталистического производства до появления и распространения монополий — утверждают Ленина в уверенности, что он видит перед собой капитализм не просто обреченный на скорую гибель, но уже «загнивающий», уже «умирающий»¹.

Реальны ли были эти черты (столькими поколениями студентов зазубрившиеся, как «отче наш»: «Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел территории земли крупнейшими капиталистическими странами»². Вне всякого сомнения. И, представляя собой апогей развития тех тенденций, которые в первоначальном их виде отмечались еще основоположниками марксизма, они в самом деле вплотную подвели капиталистическое общество к той черте, за которой, по убеждению Ленина, «развитие вперед — если не иметь в виду возможных, временных, шагов назад — осуществимо лишь к социалистическому обществу, к социалистической революции»³.

Тогда в чем же дело? О чем говорит тот факт, что, пережив на исходе первой мировой войны и сразу после нее момент действительно критический, когда под воздействием Октября пожар пролетарской революции, казалось, вот-вот охватит и Западную Европу, капиталистический мир вскоре, еще при

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, с. 422, 424.

² Там же, с. 387.

³ Там же, т. 30, с. 13.

жизни Ленина, вступил в полосу стабилизации, а после второй мировой войны — еще в одну, уже «пост-империалистическую» стадию своего развития, которая если не навсегда, то на все обозримое будущее исключила революцию из числа его сколько-нибудь вероятных перспектив? По-видимому, ни о чем другом, как о том, что в новых условиях Ленин повторил (или продолжил) главную ошибку исторической теории Маркса. И природа такого «повторения» та же: абсолютизация наблюдаемой им общественной реальности. Точнее — одной из ее сторон, поскольку в эпоху империализма капиталистическая действительность существенно усложнилась: традиционное переплетение нового со старым дополнилось своего рода двойственностью самой новизны.

Но об этом разговор впереди, а пока поставим перед собою вопрос, в равной мере касающийся и Маркса, и Ленина: что же именно недооценили классики марксизма в современном им капиталистическом обществе, каким именно ресурсам, рычагам, источникам его саморазвития не придали должного значения?

2

На первый взгляд это весьма мудреный вопрос, допускающий очень разные и лишь предположительные ответы. Однако сдвоенный опыт семидесятилетнего параллельного существования социализма и капитализма позволяет отвечать на него столь же уверенно, сколь и однозначно. Достаточно самой элементарной логической операции: нужно просто-напросто выяснить, какие рычаги прогресса, в соответствии с представлениями Маркса и Ленина устранимые, отключаемые социалистическим обществом, продолжают успешно действовать в условиях современного капитализма, затем, сравнив результаты развития обеих систем, посмотреть, какая из них оказалась в выигрыше, а какая внакладе, — вот вам и ответ. Данный не кем-нибудь — самой историей.

Сегодня уже можно считать едва ли не общепризнанным, что таких главных рычагов, к крайней своей невыгоде утраченных «реальным социализмом», — два. Первый из них — механизм конкуренции, вытекающий из рыночных отношений.

Коммунизм и рынок — это для Маркса и Энгельса абсолютно взаимоисключающие понятия. Товарному производству они не оставляют места уже на «первой фазе коммунистического общества».

«В обществе, основанном на началах коллективизма, на общем владении средствами производства, — пишет Маркс, — производители не обменивают своих продуктов; столь же мало труд, затраченный на производство продуктов, проявляется здесь как стоимость этих продуктов... потому что теперь, в противоположность капиталистическому обществу, индивидуальный труд уже не окольным путем, а непосредственно существует как составная часть совокупного труда». И добавляет во избежание каких-либо недоразумений: «Мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе, а, напротив, с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло» (19, 18).

Той же позиции придерживается, в том числе в советские годы до нэпа, и Ленин. «Свобода торговли, свобода обмена, — пишет он, — была сотни лет для миллионов людей величайшим заветом экономической мудрости, была самой прочной привычкой сотен и сотен миллионов людей. Эта свобода так же жива насквозь, так же служит прикрытием капиталистического обмана, насилия, эксплуатации, как другие свободы, провозглашенные и осуществленные буржуазией... Долой старые общественные связи, старые экономические отношения, старую «свободу» (подчиненного капиталу) труда, старые законы, старые привычки! Будем строить новое общество!»¹

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 108.

Вроде бы все логично. Действительно, если с отменой частной собственности (а именно в этом и Маркс, и Ленин видели суть социалистической революции) все средства производства национализированы, стали предметом единой государственной собственности, то где же здесь место рынку? Торговать с самим собою? Бессмыслица. Работай, вноси свой труд в создание общего достояния и получай из общественных кладовых то, что нужно для твоей собственной жизни, на равных правах со всеми другими членами общества. А товарное производство, куплю-продажу, наемный труд, прибавочную стоимость, прибыль и пр. и пр. оставь прошлому, печальной «предыстории человеческого общества».

Если бы это было так! Если бы реальный социалистический опыт подтвердил эти предположения, доказал, что социализм и в самом деле обладает способностью успешно вести хозяйство на внерыночной основе, — сколь многое вытекало бы отсюда! Ведь это означало бы, что с социализмом человечество действительно открыло как бы новую цивилизацию, не меньше, перенеслось в мир небывалых, безгранично расширившихся возможностей.

Увы, действительность продемонстрировала совсем иное. Мало-помалу стал обнаруживаться тот чрезвычайной важности факт, что внерыночная экономика не умеет быть, по современным меркам, достаточно рациональной и динамичной. Есть два кардинальных вопроса, на которые она ни теоретически, ни на практике не находит сколько-нибудь удовлетворительного ответа:

— как добиться того, чтобы все работающие работали интенсивно и хорошо?

— как вообще сделать социалистическое народное хозяйство эффективным?

Что касается первого вопроса — о стимулировании труда, — то капитализм, как известно, успешно справляется с этой задачей с помощью конкуренции на рынке труда за работу, оплачиваемую по стоимости рабочей силы. (Речь здесь идет, понятно, лишь о базовом, определяющем принципе оплаты труда, допускающем достаточно широкую дифференциацию в границах его применения, дающую дополнительный стимулирующий эффект.) На протяжении XX века в развитых капиталистических странах стоимость рабочей силы неуклонно росла, и к настоящему времени она (в среднем) настолько высока, что ее дальнейший сколько-нибудь значительный рост уже «не по средствам» нашей планете с ее отнюдь не безграничными природными ресурсами, дай бог удержаться на достигнутом уровне и подтянуть к нему уровень жизни остальной части человечества. Но конкуренция на рынке труда — по-прежнему закон жизни западного общества, и он с прежней, не знающей никакого снисхождения жесткостью (есть ли необходимость упоминать о безработице?) играет здесь свою стимулирующую (в переводе на русский язык — подхлестывающую) роль.

Ну а как решить ту же задачу социализму (коммунизму) — обществу, в котором обобществление средств производства должно было, по убеждению основоположников марксизма, упразднить наемный труд, то есть куплю-продажу рабочей силы вместе с сопровождающей ее конкуренцией работников?

Маркс и Энгельс долгое время не видели здесь заслуживающей внимания проблемы. В «Коммунистическом манифесте» они попросту отмахнулись от утверждений критиков коммунизма, что «с уничтожением частной собственности прекратится всякая деятельность и воцарится всеобщая лень»: «В таком случае буржуазное общество должно было бы давно погибнуть от лени, ибо здесь тот, кто трудится, ничего не приобретает, а тот, кто приобретает, не трудится» (4, 440). В устах авторов это было скорее шуткой, нежели серьезным возражением, поскольку в том же «Манифесте» несколькими страницами раньше они писали, что пролетарии «только тогда и могут существовать, когда находят работу, а находят ее лишь до тех пор, пока их труд увеличивает капитал» (4, 430). Какая уж тут лень! Все дело, по-видимому, в том, что, как все прочие суждения противников коммунистической идеи, так и опасения насчет «всеобщей лени» Маркс и Энгельс целиком относили на счет предрассудков, владеющих людьми, неспособными отрешиться от «буржуазных понятий» и представить себе принципиально другой мир, с совершенно иной этикой,

иным отношением к труду и пр.¹. И, судя по всему, на протяжении почти тридцати последующих лет они удовлетворялись этим общим соображением. Специально вопрос о распределении (а тем самым и о стимулах к труду) при социализме был рассмотрен Марксом лишь в той же «Критике Готской программы» (1875).

О распределении предметов потребления «в обществе, основанном на началах коллективизма», но еще сохраняющем «родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло», здесь сказано так: «...Каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам дает ему. То, что он дал обществу, составляет его индивидуальный трудовой пай. Например, общественный рабочий день представляет собой сумму индивидуальных рабочих часов; индивидуальное рабочее время — это доставленная им часть общественного рабочего дня, его доля в нем. Он получает от общества квитанцию в том, что им доставлено такое-то количество труда (за вычетом его труда в пользу общественных фондов), и по этой квитанции он получает из общественных запасов такое количество предметов потребления, на которое затрачено столько же труда. То же самое количество труда, которое он дал обществу в одной форме, он получает обратно в другой форме» (19, 18).

Если предположить, что в пользу общественных фондов каждый работник отдает строго фиксированную, равную со всеми остальными работниками долю (процент) затраченного им труда, то отсюда вытекает принцип распределения, следующим образом сформулированный Марксом для «первой фазы коммунистического общества»: «Право производителей (на получаемые ими предметы потребления. — Ю. Б.) пропорционально доставляемому ими труду...» (19, 19). Легко видеть — и о том множество раз говорилось в нашей общественно-политической литературе, — что названный принцип (целиком разделявшийся и Лениным) лег в основу второй части известной сталинской формулы «От каждого — по способностям, каждому — по труду»², обычно именуемой «принципом социализма» и в этом качестве вошедшей в конституции почти всех социалистических стран, в программы и другие официальные документы КПСС и других коммунистических партий.

Казалось бы, что может быть лучше такого принципа распределения! Во-первых, он справедлив, это прямо-таки формула социальной справедливости, предполагающая общество, где только труд работника является мерилем получаемых им материальных и всяких прочих благ. Во-вторых, вот тебе и верное средство стимулирования трудовой активности: хочешь больше получать, лучше жить — это зависит только от тебя самого. Сколько сделаешь, столько (за упомянутыми необходимыми вычетами) и получишь.

Увы, увы! Гладко было на бумаге... А на деле выяснилось, что осуществление этого простого, ясного и во всех отношениях привлекательного принципа наталкивается на такие препятствия, преодолеть которые социалистическое об-

¹ «Нужно ли особое глубокомыслие, чтобы понять, что вместе с условиями жизни людей, с их общественными отношениями... изменяются также и их представления, взгляды и понятия, — одним словом, их сознание?» (4, 445).

² О том, кто является автором этой формулы, советская общественно-политическая литература хранит загадочное молчание, заставляя читателя предполагать: наверное, Маркс, или Энгельс, или Ленин? Но ни у того, ни у другого, ни у третьего такой формулы нет, как нет вообще никакой попытки соединить коммунистическое «каждый по способностям» с социалистическим «распределением продуктов по мере работы каждого» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 31, с. 179). Насколько мне известно, упомянутая формула впервые появилась на свет в апреле 1932 г., когда была опубликована состоявшаяся четвергья месяца раньше беседа Сталина с немецким писателем Эмилем Людвигом. «От каждого по его способностям, каждому по его труду» — такова марксистская формула социализма, т. е. формула первой стадии коммунизма...» — сказал в этой беседе Сталин (Соч., т. 13, с. 118). И воздержался от каких-либо комментариев как к совершенному им тем самым объединению лозунгов, которые прежде адресовались марксистами двум разным «стадиям коммунизма», так и к малозаметному, но весьма знаменательному изменению грамматической формы: у Маркса — «каждый по способностям» (то есть каждый трудится по способностям), у Сталина — «от каждого по его способностям» (то есть от него требуется, от него его труд по способностям кто-то — общество, государство? — хочет получить, взять); в первом случае это лозунг свободного труда, во втором — обязанность, почти повинность. На протяжении 30-х годов Сталин еще не раз, закрепляя свою формулу в официальной идеологии и в сознании масс, ее повторяет, в том числе на XVII съезде партии в докладе о проекте Конституции СССР (и в ее тексте), наконец, в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Чеканные слова Вождя навечно утверждались на фронте «светлого здания социализма», построенного под его руководством.

щество (да и человечество в целом) оказалось не в силах. Главное из них — невозможность сколько-нибудь точно измерить человеческий труд.

Ни Марксу, ни Энгельсу это не представлялось трудным делом. И вполне понятно — почему: как можно видеть и по приведенной выдержке из «Критики Готской программы», учет труда в будущем обществе они вполне очевидно сводили к измерению рабочего времени, «индивидуальных рабочих часов». Между тем одинаковое по своей продолжительности рабочее время может вмещать в себя очень разные меры труда — в зависимости от различий, главным образом, в его интенсивности и сложности. Игнорировать эти различия, учитывая, например, труд лифтерши и грузчика, подносчика деталей и токаря высочайшей квалификации, сиделки и хирурга, счетовода и министра финансов только по проработанному времени, значило бы, по сути дела, заменить искомое распределение по труду распределением уравнительным (ведь рабочий день у всех примерно одинаков), — вещь, как показал опыт, экономически бессмысленная и пагубная. Однако, с другой стороны, хорошо известно, что ни один из двух названных важнейших показателей трудовых затрат — ни интенсивность труда, ни его сложность — не поддается на сегодняшний день даже приблизительному измерению. Ни прямыми, ни косвенными способами, ни в абсолютных, ни в относительных величинах. Все попытки, которые предпринимались в этом направлении (а их было очень много, и в первой половине нашего века они были весьма настойчивыми), не дали удовлетворительных результатов; ни одна из предложенных многочисленных методик не обеспечивает даже мало-мальской точности учета и не получила поэтому сколько-нибудь широкого применения на практике, а прогрессирующее увеличение (и быстрая смена) видов товаров и услуг, постоянное усложнение и интеллектуализация труда добивают в этом смысле и какие-либо надежды на будущее.

Но если нельзя измерить трудовые затраты, то, может быть, следует трактовать «принцип социализма» несколько иначе — распределять жизненные блага между работниками не по затратам, а по результатам их труда? Очень соблазнительно, тем более что такой подход к распределению, кажется, избавляет от необходимости возмещать зряшние растраты рабочего времени, столь знакомый нам «мартышкин труд».

Как бы не так. Простейшие соображения показывают, что и эта версия распределения «по труду» не более реальна, чем предыдущая. Во-первых, индивидуальные результаты труда множества категорий работников крайне трудно или вовсе невозможно учесть, выразить в каких-то единицах (сборщик на конвейере, водопроводчик в жэке, водитель трамвая, медсестра, учитель, председатель райисполкома и пр. и пр.). А во-вторых — и это главное, — даже легко измеряемые результаты разных работ, как правило, совершенно несопоставимы между собою. Если, к примеру, токарь выточил за смену 80 деталей, дантист вытащил 20 зубов, а продавщица мороженого продала 500 штук эскимо в шоколаде, то ни один учетчик или бухгалтер не скажет, кто из них сделал больше, кто меньше.

Впрочем, если бы и нашелся способ измерять «индивидуальный трудовой пай» каждого отдельного работника, то и в этом, прямо сказать, фантастическом случае распределение по труду осталось бы почти столь же трудноразрешимой задачей. Ибо тогда обществу пришлось бы гадать, как совместить принцип пропорциональности в распределении благ с необходимостью обеспечить прожиточный минимум работникам наиболее простого труда и при этом уложиться в бюджет. При современном — пусть не поддающемся сколько-нибудь точному учету, но общеизвестно очень большому — диапазоне различий в интенсивности, сложности и результативности как разных работ, так и, индивидуально, труда отдельных работников никакого, даже самое богатое, общество не выдержало бы подобной нагрузки.

В подобных условиях распределение «по труду» практически возможно лишь в весьма узких пределах (например, при оплате труда работников, выпускающих на одном и том же оборудовании одинаковую продукцию). В масшта-

бах же всего общества этот лозунг не только не осуществлен, но, как видно из изложенного, принципиально неосуществим. Возведенный в ранг «принципа социализма», он имеет не экономический, а в основном идеологический смысл. Объективно — вредный, реакционный, поскольку дезориентирует общественное сознание, превращается в ширму, за которой с успехом прячется и нечто прямо противоположное благим пожеланиям, лежащим в его основе. Не углубляясь слишком в эту специальную тему, отметим только, что в силу полнейшей своей неопределенности распределение «по труду» открывает на практике благоприятные возможности для любого произвола, позволяет трактовать себя как распределение в основном по занимаемой должности: чем выше должность, тем — автоматически, независимо от реальных трудовых затрат — выше заработная плата и уровень всякого рода привилегий;

— одинаково оплачивать действительно напряженный труд и просто выход на работу;

— при сохранении наемного труда (с той лишь разницей, что нанимателем является государство) платить преобладающей массе работников намного ниже фактической современной стоимости их рабочей силы.

Если что и стимулируется при таком способе распределения, так это карьеризм, безответственность, неумение работать и та самая, пусть не «всеобщая», но настолько распространенная «леность», что не зараженные ею с течением времени начинают казаться окружающим чуть ли не дураками.

Столь же неразрешимым на внерыночной основе оказался и второй, более общий из вышеназванных вопросов — об эффективности социалистической экономики. С устранением конкуренции она как бы лишается некоей внутренней пружины. Той (или аналогичной по своему действию) пружины, которая, как показано в «Капитале», действует в условиях товарного производства в форме стихийной, но мощной тенденции к снижению общественно необходимых затрат на производстве всех видов продукции и столь же постоянного стремления каждого отдельного предпринимателя обогнать это общее снижение и получить дополнительный выигрыш. Такой универсальной и автоматически работающей пружины, которая изо дня в день, ни на миг не ослабевая, передавала бы свою энергию всем хозяйственным звеньям, толкая их всегда в одном направлении — ко все более высокой экономической эффективности и рациональности, внерыночная экономика, как выяснилось, лишена. Отсюда все ее беды, включая главную — **н е з а и н т е р е с о в а н н о с т ь** как предприятия, так и отдельного работника решительно ни в чем, от чего зависит хозяйственный успех. Ни в постоянном росте производительности труда, ни в высоком качестве и расширяющемся ассортименте товаров и услуг, ни в снижении себестоимости и экономии всякого рода ресурсов — трудовых, материальных, денежных, ни в обеспечивающем все это научно-техническом прогрессе, таланте, трудолюбии и высокой квалификации работающих.

И опять-таки приходится сказать: прежде чем все это продемонстрировать на практике, социализм утратил подобную пружину уже в теории, в проекте, в размышлениях основоположников марксизма о коммунистическом будущем. В этой связи любопытно перечитать два места из сочинений Энгельса.

В «Принципах коммунизма» (1847) вопрос о стимулах экономического развития в коммунистическом обществе решается так: «Избыток производства, превышающий ближайшие потребности общества, вместо того чтобы порождать нищету, будет обеспечивать удовлетворение потребностей всех членов общества, будет вызывать новые потребности и одновременно создавать средства для их удовлетворения. Он явится условием и стимулом для дальнейшего прогресса и будет осуществлять этот прогресс, не приводя при этом, как раньше, к периодическому расстройству всего общественного порядка» (4, 334).

Очень хорошо. Однако автор не ставит перед собой двух напрашивающихся вопросов. Во-первых, откуда в таком случае возьмется этот исходный «избыток производства»? Во-вторых, каким образом, посредством какого экономического механизма расширяющиеся потребности общества будут воздействовать на

производство, обеспечивая его «дальнейший прогресс»? Не поставив их перед собою, Энгельс, хотя и употребляет здесь слово «стимул», рисует нам, в сущности, нечто близкое к схеме вечного двигателя, не нуждающегося ни в каком дополнительном источнике энергии (производство расширяет потребности, они же, в свою очередь, расширяют производство), — идея, привлекательность которой равна ее полной утопичности. Сто с небольшим лет спустя, слегка перефразировав приведенные строки, Сталин как свое открытие введет в нашу теорию «основной экономической закон социализма»: «обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе...»¹, а еще через 37 лет мы — как самое рядовое, не вызывающее никаких эмоций — будем читать, скажем, следующее сообщение (на первой полосе «Правды» под заглавием «Вездесущий „дефицит“»): «У нас в Тамбове выстраиваются огромные очереди за спичками, в магазинах не стало соли. В дополнение к талонам на сахар с 1 апреля введены талоны на стиральный порошок, туалетное и хозяйственное мыло»².

Однако вернемся к Энгельсу. «Принципы коммунизма» — это еще очень ранняя работа, впервые дававшая общедоступное систематическое изложение основ марксистского учения. Гораздо существеннее то, что на сей счет говорится в «Анти-Дюринге» (1878) — одном из итоговых произведений основоположников марксизма, уже вобравшем в себя идеи «Капитала» и считающемся одним из основополагающих для политэкономии социализма. Цитирую то место, где речь идет о коренном отличии социалистического (коммунистического) производства от товарного.

«Что такое товары? Это продукты, произведенные в обществе более или менее обособленных частных производителей, т. е. прежде всего частные продукты. (...) В двух одинаковых частных продуктах при одинаковых общественных условиях может заключаться неодинаковое количество частного труда, но всегда лишь одинаковое количество общечеловеческого труда. Неискусный кузнец может сделать только пять подков в то время, в которое искусный сделает десять. Но общество не превращает в стоимость случайную неискусность отдельной личности; общечеловеческим трудом оно признает только труд, обладающий нормальной для данного времени средней степенью искусности. Одна из пяти подков первого кузнеца представляет поэтому в обмене не большую стоимость, чем одна из произведенных за то же рабочее время десяти подков второго».

«Таким образом, — продолжает Энгельс, — когда я говорю, что какой-нибудь товар имеет определенную стоимость, то этим я утверждаю: 1) что он представляет собой общественно-полезный продукт; 2) что он произведен частным лицом за частный счет; 3) что, будучи продуктом частного труда, он является одновременно, как бы без ведома производителя и независимо от его воли, продуктом общественного труда, притом определенного количества этого труда, устанавливаемого общественным путем, посредством обмена; 4) это количество я выражаю не в самом труде, не в таком-то числе рабочих часов, а в каком-нибудь другом товаре. Следовательно, если я говорю, что эти часы стоят столько же, сколько этот кусок сукна, и что стоимость каждого из обоих предметов равна 50 маркам, то тем самым я говорю, что в часах, в сукне и в данной сумме денег заключено одинаковое количество общественного труда. Я констатирую, таким образом, что представленное в них общественное рабочее время общественно измерено и признано равным. Но измерено не прямо, не абсолютно, как измеряют рабочее время в других случаях, выражая его в рабочих часах или днях и т. д., а окольным путем, при помощи обмена, относительно. Поэтому-то я и не могу выразить это определенное количество рабочего времени в рабочих часах, число которых остается мне неизвестным, а могу это сделать тоже только окольным путем, относительно, — в каком-нибудь другом товаре, представляющем одинаковое количество общественного рабочего времени» (20, 318, 319).

¹ И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952, с. 40.

² «Правда», 1989, 8 мая.

Едва ли можно спорить с тем, что здесь дано весьма ясное, конкретное и убеждающее изложение некоторых основных положений марксовской теории стоимости. Запомним их и, уже имея их в виду, перечтем продолжение приведенного рассуждения:

«Когда общество вступает во владение средствами производства и применяет их для производства в непосредственно обобществленной форме, труд каждого отдельного лица... становится с самого начала и непосредственно общественным трудом. Чтобы определить при этих условиях количество общественного труда, заключающееся в продукте, нет необходимости прибегать к окольному пути; повседневный опыт непосредственно указывает, какое количество этого труда необходимо в среднем. Общество может просто подсчитать, сколько часов труда заключено в паровой машине, в гектолитре пшеницы последнего урожая, в ста квадратных метрах сукна определенного качества. И так как количества труда, заключающиеся в продуктах, в данном случае известны людям прямо и абсолютно, то обществу не может прийти в голову также и впредь выражать их посредством всего лишь относительной, шаткой и недостаточной меры, хотя и бывшей раньше неизбежной за неизменением лучшего средства,— т. е. выражать их в третьем продукте, а не в их естественной, адекватной, абсолютной мере, какой является время. /.../ Люди сделают тогда все это очень просто, не прибегая к услугам прославленной „стоимости”» (20, 321).

В отличие от приведенных выше в последней выдержке далеко не все ясно. Прежде всего: возможен ли в социалистическом обществе «неискусный кузнец»? Если возможен и если он скует некоторое число негодных подков, которые будут пылиться на складе вместе с блеклыми тканями, кособокими пиджаками, сочинениями Л. И. Брежнева и пр., то можно ли считать труд изготовивших всю эту заваль «с самого начала и непосредственно общественным трудом»? В случае отрицательного ответа придется признать, что первая фраза этой выдержки неверна; в случае утвердительного,— что понятие «общественного» («общечеловеческого») труда на соседних страницах употребляется Энгельсом во взаимоисключающих значениях. Далее. Предположим, что наш неискусный социалистический кузнец сковал пять вполне приличных подков за то же время, за которое искусный — десять. Значит ли это, что они доставили обществу равные количества общественного труда? Если да, то не явится ли такое понимание дела поощрением «неискусности» и насмешкой над мастерством, трудолюбием и пр.? Не скажет ли тогда искусный кузнец: «что мне, больше всех надо?» — и не станет ли он в таком случае тоже делать вместо десяти подков пять, от силы шесть? А если неравные, то не будет ли это возвратом к «рыночному» пониманию общественного труда?

Но оставим в стороне неясности и противоречия; важнее то, что выражено здесь вполне ясно. В основе рассуждения Энгельса лежит убеждение в том, что, «когда общество вступает во владение средствами производства», у него появляется способность прямого измерения трудовых затрат, выражаемых теперь просто-напросто в рабочем времени («...сто квадратных метров сукна потребовали для своего производства, скажем, тысячу часов труда...» (29, 321). Однако, как уже говорилось, рабочее время мерой труда само по себе, без учета его интенсивности и сложности, отнюдь не является; измерять же труд и по этим его показателям человечество пока не научилось, и нет уверенности, что научится в дальнейшем. Поэтому «просто подсчитать, сколько часов труда заключено в паровой машине» и т. д.,— это в действительности не только не просто, но решительно невозможно, даже если бы речь шла о вполне конкретной машине, только что собранной на вашем заводе.

Во-первых, к труду тех, кто ее непосредственно изготовлял, нужно было бы прибавить в соответствующих, подчас весьма трудно вычленяемых долях труд конструкторов, спроектировавших эту машину; и труд людей, обслуживающих ее производство,— от уборщицы до министра; и труд металлургов, выплавлявших металл как для самой машины, так и для станков, на которых производились ее детали; и горняков, добывавших руду, из которой будет выплавлен

этот металл; и лесорубов, поставивших рудничную стойку; и каменщиков, сложивших стены завода, и т. д. и т. д. Во-вторых, можно ли просто суммировать часы труда, скажем, директора завода, инженера-конструктора, токаря и уборщицы? Вполне очевидно, нельзя, а нахождение необходимых коэффициентов упирается в уже известный нам камень преткновения — невозможность измерить (или сколько-нибудь точно соизмерить без прямого измерения) интенсивность и сложность разных видов трудовой деятельности.

Все эти трудности обступают нас уже при попытке учета так называемых индивидуальных трудовых затрат, то есть того труда, который реально был затрачен на производство, например, именно вот этой паровой машины. Между тем Энгельс ведь говорит о большем: о том, чтобы прямым подсчетом определить «количество общественного (!) труда, заключающегося в продукте», то количество труда, которое «необходимо в среднем» для производства данного продукта при данном уровне развития производительных сил. А это, понятно, еще более усложняет задачу, так что перед нею не может не оказаться бессилена не только «повседневный опыт», но и наука во всеоружии своих современных возможностей.

А главное, главное! — даже если бы удалось все это измерить и подсчитать по каждому из сотен тысяч наименований выпускаемых изделий, — то что толку? Ведь и в этом (вполне фантастическом) случае мы имели бы в результате всего лишь некую статистическую сводку, но не получили бы в руки того механизма, который побуждал бы производителей снижать все свои затраты до общественно необходимых, а эти последние — до все более низкого уровня.

Любопытная вещь! Когда Энгельс говорит о товарном производстве, он не забывает упомянуть о том, что «одна из пяти подков первого кузнеца представляет... в обмене не большую стоимость, чем одна из произведенных за то же время десяти подков второго». Иначе говоря, он вслед за Марксом (см. первую главу «Капитала») вполне правильно акцентирует значение стоимости в качестве стимулятора снижения трудовых затрат. Но когда переходит к социалистическому производству, то ненужность «прибегать к услугам прославленной «стоимости» аргументирует исключительно возможностью (как выяснилось, более чем проблематичной) заменить ее прямым измерением труда. Стоимость выступает при этом всего лишь как несовершенный, «окольный» способ учета трудовых затрат, ее стимулирующая роль начисто выпадает из поля зрения теоретика.

Если «политэкономия социализма» базируется на таком фундаменте, это равносильно признанию, что она висит в воздухе и не имеет никакого права именоваться наукой.

Ну а Ленин? Движущую, определяющую роль закона стоимости при социализме отвергал (опять-таки оговорюсь: до нэпа) и Ленин. Хотя в иных случаях очень близко подходил к пониманию данной проблемы. В частности, когда указывал на дестимулирующий эффект монополизации в условиях современного ему капитализма: «Как мы видели, самая глубокая экономическая основа империализма есть монополия. Это — монополия капиталистическая, т. е. выросшая из капитализма и находящаяся в общей обстановке капитализма, товарного производства, конкуренции, в постоянном и безысходном противоречии с этой общей обстановкой. Но тем не менее, как и всякая монополия, она порождает неизбежно стремление к застою и загниванию. Поскольку устанавливаются, хотя бы на время, монопольные цены, постольку исчезают до известной степени побудительные причины к техническому, а следовательно, и ко всякому другому прогрессу, движению вперед...»¹

Что «всякая монополия... порождает неизбежно стремление к застою и загниванию», устраивает или по крайней мере сужает «побудительные причины к техническому, а следовательно, и ко всякому другому... движению вперед» — это совершенно правильно. Но если «всякая», то почему же монополия государственная, социалистическая, не «находящаяся в общей обстановке... товар-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, с. 396—397.

ного производства, конкуренции», а всеобъемлющая и безраздельная, директивным порядком устанавливающая постоянные «монопольные цены» на все и вся, почему она должна была оказаться исключением из этого общего правила? По логике вещей совсем напротив. Казалось бы, всего один шаг оставалось сделать Ленину, чтобы от приведенного суждения перейти к выводу о том, что, устраняя вместе с частной собственностью экономический механизм ее исторического существования — товарное производство и конкуренцию, социалистическая революция еще в большей, гораздо большей степени увеличит опасность «застоя и загнивания» экономики. Но каким же трудным оказался для Ленина этот шаг. Ведь положение о том, что «конкуренция есть не что иное, как такой способ ведения промышленности, когда она управляется отдельными частными собственниками» (4, 330), было для него одной из основополагающих истин марксизма. И через два года после «Империализма...» в варианте статьи «Очередные задачи Советской власти» (1918) рынок и конкуренция рассматриваются им как нечто такое, что подлежит «уничтожению» и может быть с успехом заменено социалистическим соревнованием¹. В написанном Лениным «Проекте программы РКП(б) (1919) предлагается «рядом постепенных, но неуклонных мер уничтожить совершенно частную торговлю, организовав правильный и планомерный продуктообмен между производительными и потребительскими коммунами единого хозяйственного целого (!), каким должна стать Советская республика»². Потребовался горький опыт «военного коммунизма», трех лет хозяйствования на бестоварной основе, чтобы в контексте «перемены всей точки зрения нашей на социализм»³ автор нэпа начал выработать принципиально иной взгляд на рынок и конкуренцию при социализме. К сожалению, только начал, а вскоре после его смерти сталинское руководство восстановит бестоварную экономику — с той лишь разницей от «военного коммунизма», что в качестве «учетной категории» «стоимость» (вернее сказать, цена) при этом сохранится и внерыночные по своему существу экономические отношения будут облечены в знакомую нам псевдо-рыночную форму («товарно-денежных отношений» на базе предустановленных хозяйственных связей, фондируемого распределения ресурсов и директивно назначаемых цен). К чему это приведет — хорошо известно. Коротко говоря, к тому, что слово «застой» войдет в наш повседневный обиход как самая мягкая из характеристик того безысходного тупика, в который завел наше общество бесконкурентный, безрыночный сталинско-брежневский социализм.

Итак, за 70 лет своего существования «реальный социализм» не придумал ничего лучше рыночной конкуренции — ни в стимулировании трудовой активности отдельного работника, ни в стимулировании экономического развития общества в целом. Более того, со своей стороны, так сказать, от противного засвидетельствовал невозможность без нее обойтись. Если же иметь в виду, что в то же самое время в странах Запада именно рыночная экономика — не подражаемая, но, наоборот, усиливаемая регулирующими воздействиями государства — обеспечила тот впечатляюще быстрый и в целом устойчивый экономический рост, который перевел капиталистический мир в новое качественное состояние, сделал его «богатым обществом», то можно заключить, что обе хозяйственные системы, каждая своим голосом, но вполне согласным дуэтом спели хвалу Меркурию — закону стоимости, рыночной конкуренции, словом, стимулирующему механизму обмена.

И тем самым подтвердили факт неоправданно ограничительного понимания классиками марксизма роли этого механизма в истории. Прежде всего, конечно, как было показано выше, по отношению к тому, что тогда было завтрашним днем, областью прогнозов: то, что, по выражению Ленина, «сотни лет для миллионов людей» (!) было «величайшим заветом экономической мудрости» (!),

¹ «Уничтожение конкуренции, как борьбы, связанной только с рынком производителей, нисколько не уничтожает значения соревнования. — напротив. именно уничтожение товарного производства и капитализма откроет дорогу возможности организовать соревнование в его не зверских, а человеческих формах» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 150—151).

² Там же, т. 38, с. 89.

³ Там же, т. 45, с. 376.

показалось возможным в один прекрасный день отбросить, как пустой предрассудок. Но в известной мере — и по отношению к тогдашнему настоящему тоже — к характеристике роли рынка в условиях европейского XIX века.

Разумеется, ни для Маркса и Энгельса, ни в дальнейшем для Ленина не составляла вопроса исключительная значимость товарного производства в истории цивилизации. Об этом они говорили множество раз в самых решительных выражениях. Трудовая теория стоимости, лежащая в основе «Капитала», равно как и вся построенная на ней Марксом грандиозная модель функционирования и развития капиталистического способа производства, — во всех своих звеньях сугубо «рыночная» теория. Тогда в чем же дело? Что дает нам право усматривать элемент недооценки рыночного механизма уже в том, что и как говорилось основоположниками марксистской политэкономии о современном им капиталистическом хозяйстве?

Я думаю, тут надо обратить внимание на два взаимосвязанных обстоятельства.

Первое — недооценка (мне уже надоело это слово, но не вижу, чем его заменить) возможностей продолжающегося развития производительных сил при капитализме.

Разумеется, ни основоположники марксизма, ни Ленин не только не отрицают такого развития (что значило бы просто спорить с очевидностью), но неоднократно и недвусмысленно на него указывают. В чем же недооценка? Прежде всего в их понимании границ этого процесса. Глубоко убежденные в том, что в их эпоху буржуазные производственные отношения уже превратились в тормоз, в оковы для того широкого и бурного развития производительных сил, полный простор которому, по их мнению, может открыть лишь коммунизм, они, по сути дела, не допускают мысли о том, что экономический механизм капиталистического хозяйствования способен вызвать к жизни не просто те или иные, даже очень разительные усовершенствования в тех или иных, даже многочисленных отраслях производства, но нечто неизмеримо большее, а именно новую, промышленную, научно-техническую революцию, да и не одну, а целый каскад таких революций, способных в такой же или даже в большей мере изменить весь облик общества, в какой его когда-то изменила промышленная революция конца XVIII — начала XIX в.

Подчеркну еще раз: то, что все новые и новые, часто совершенно непредвиденные сдвиги в производительных силах неизбежны, — это для классиков марксизма аксиома. Очевиден для них и экономический механизм подобных сдвигов в условиях капитализма. Но в своих размышлениях на эти темы они главный акцент делают на другом. «С одной стороны, — пишет Энгельс в добавлениях к «Анти-Дюрингу», — усовершенствование машин, обратившееся благодаря конкуренции в принудительный закон для каждого... фабриканта и означающее в то же время постоянно усиливающееся вытеснение с фабрик рабочих... С другой стороны — беспредельное расширение производства, что также стало принудительным законом конкуренции для каждого фабриканта. С обеих сторон — неслыханное развитие производительных сил, превышение предложения над спросом, перепроизводство, переполнение рынков, кризисы, повторяющиеся каждые десять лет... Буржуазия уличается, таким образом, в неспособности к дальнейшему управлению своими собственными общественными производительными силами» (20, 675).

Отсюда постоянный для Маркса и Энгельса мотив: возможность и назревшая необходимость устранения буржуазии. Мысль о том, что с устранением буржуазии может ослабеть общественная заинтересованность в «усовершенствовании машин», пресекая «беспредельное расширение производства», что «неслыханное развитие производительных сил» может смениться столь же неслыханным застоём, «превышение предложения над спросом» — системой дефицитов и что все это вместе взятое в конце концов ударит по рабочим, — такая мысль если и приходит им в голову, то не признается заслуживающей внимания. Справедливо рассматривая развитие производства как диалектическое единство раз-

вития производительных сил и производственных отношений, они преимущественно подчеркивают основополагающую и революционную роль первой стороны этого процесса, а вторую хотя и не упускают из виду, но все же рассматривают и как производную от первой, и как относительно консервативную — с чуть ли не обязательным возрастанием этого качества по мере утверждения и «старения» любой общественно-экономической формации, за исключением коммунизма. Тем самым движущая и в этом смысле также по своей сути революционная роль рыночной конкуренции — основы производственных отношений капитализма — явно отходит в их теоретическом сознании на второй план.

Второе, что здесь хотелось бы отметить, — это некоторая односторонность и статичность в понимании ими проблемы: капитализм и рабочий.

Меня покамест интересуют лишь чисто экономические аспекты этой многосложной проблемы. Притом нет нужды повторять общеизвестное, говорить о мировом значении поистине гениального научного открытия Маркса, раскрывшего суть капиталистической эксплуатации — присвоение прибавочной стоимости — и с железной последовательностью во всех основных звеньях проанализировавшего базирующийся на этом механизм накопления и движения капитала. Столь же общеизвестна тщательность и яркость, с какой основоположники марксизма проследили — как важнейшую грань развития капитализма — жестокий процесс превращения самостоятельного товаропроизводителя в «освобожденного» от средств производства пролетария, которому уже больше нечего продать, кроме своей рабочей силы, то есть себя самого. А затем с развитием машинного производства массовое превращение того же рабочего в своего рода живую деталь, в «частичного человека», пожизненным уделом которого является выполнение лишь чисто механических функций монотонного, нетворческого (и, значит, дешевого)¹, отчужденного труда. Все это их безусловные заслуги перед человечеством, равно как и та благородная страстность, с какой они всю свою жизнь посвятили защите угнетенных, борьбе за их освобождение. Но, с полной убедительностью показав, что не злой умысел того или иного хитрого-предпринимателя, а безжалостные законы капиталистической (рыночной) экономики влекут рабочего этим мрачным путем, оставляя ему лишь скудную и непрочную роль малозначительного «придатка машины», Маркс и Энгельс оставили почти без внимания оборотную сторону медали, тенденцию, обусловленную продолжением действия все тех же неумолимых законов рынка и, однако же, прямо противоположную по своему экономическому и социальному смыслу.

В самом деле. Если мануфактуру сменяет фабрика, а отдельную машину системы все более сложных машин, то ведь их надо не только кому-то конструировать, но и изготовлять (сначала в виде уникальных опытных образцов), правильно, со знанием дела эксплуатировать и ремонтировать, налаживать и переналаживать с учетом модификации выпускаемых изделий. Ведь рыночная конкуренция толкает предпринимателя не только к удешевлению традиционной продукции, но и — все более властно — к повышению ее качества, к постоянному расширению и обновлению ассортимента. Для всего этого, помимо инженера, нужен сообразительный, опытный, высококвалифицированный рабочий, во многих случаях ничуть не меньший универсал и мастер своего дела, чем умелец-ремесленник былых времен. Он должен быть технически грамотным, а это недостижимо без достаточно высокого уровня образования, общей культуры; он должен обладать определенной самостоятельностью и инициативой — иначе от него будет мало проку, — а это невозможно без чувства самоуважения, без того, чтобы с ним считались, ценили не только его руки, но и голову.

Таким образом, наряду с преобладающей на протяжении всего XIX века тенденцией к упрощению производственных функций рабочего уже тогда зарождалась и постепенно набирает силу тенденция противоположная — к расширению сферы применения сложного (и все более сложного) труда. Соответственно

¹ «Чем больше расширяется разделение труда и применение машин, тем более увеличивается конкуренция между рабочими, тем более уменьшается их заработная плата» (8, 458).

начинает повышаться стоимость рабочей силы таких категорий работников, то есть цена той суммы жизненных средств, которая необходима для воспроизводства, притом расширенного воспроизводства, высококвалифицированной рабочей силы.

Нельзя сказать, чтобы основоположники марксизма вовсе не замечали этого процесса. Но они упоминают о нем лишь вскользь (см., например, 16, 111; 22, 211), основной же упор делают на противоположном: «...общая тенденция капиталистического производства ведет не к повышению среднего уровня заработной платы, а к понижению его, то есть в большей или меньшей степени низводит стоимость труда до ее минимального предела» (16, 154). Сложность труда как экономическая категория, а вместе с тем и понятие стоимости квалифицированной рабочей силы принадлежат в «Капитале» и других сочинениях Маркса к числу наименее разработанных тем. Тот факт, что во второй половине XIX в. жизненный уровень трудящихся начинает немного повышаться, приводит авторов «Коммунистического манифеста» лишь к тому, что место «абсолютного» обнищания рабочего класса занимает у них тезис об его «относительном обнищании», даже и стилистически несколько противоречивый: если сегодня мне платят больше, чем вчера, но прибыль капиталиста растет еще быстрее, то следует ли отсюда, что я, хотя бы и относительно, «обнищал»? Появление же таких категорий рабочих, чье материальное положение приближается к положению средних слоев, Маркс и Энгельс, а позднее — еще в большей степени — Ленин склонны связывать преимущественно с разного рода внешними факторами: возможностью европейской буржуазии поделиться со «своим» рабочим классом частью награбленного в колониях и тем купить его лояльность, сознательным ее стремлением к созданию «рабочей аристократии» как своей агентуры в рабочем движении. Все это были объяснения, не лишенные оснований, но даже и для тех времен далеко не достаточные. И не только в том смысле, что усложнение индустриального (а затем и сельскохозяйственного) труда — процесс вполне объективный, столь же мало зависимый от чьих бы то ни было политических расчетов, как прежде (да еще и тогда) доминировавшее его упрощение, а значит, и удешевление. Нельзя оставить без внимания и такую, также вполне объективную сторону дела, как органически присущее капиталистическому рынку стремление к своему непрерывному расширению. Как вонне, что на определенной стадии развития капитализма выразилось в колониальной политике развитых капиталистических стран, в их борьбе за захват внешних рынков сбыта, так и внутри за счет расширения емкости внутреннего рынка. Если в качестве покупателя рабочей силы буржуазия заинтересована в том, чтобы купить ее подешевле, то в качестве товаропроизводителя, продавца — в том, чтобы непрерывно увеличивающаяся, все более разнообразная и качественная продукция ее фирм имела обеспеченный сбыт, а это чем дальше, тем больше невозможно без повышения покупательной способности масс, без роста их материальных и духовных потребностей.

Видя все это и подчас весьма точно фиксируя противоречивость экономических процессов современности, равно как и лежащее в их основе действие законов рыночной конкуренции, Маркс и Энгельс, а за ними и Ленин (напоминаю: в особенности до нэпа) делают тем не менее упор по преимуществу на одной стороне этих процессов, жестокой по отношению к рабочему классу и кризисной для капиталистической системы. Другая — разрешающая, обновляющая, творческая — сторона действия тех же законов, их способность в ходе органического развития капиталистической экономики приводить — на разных его этапах — к совершенно различным социально-экономическим результатам и последствиям в гораздо меньшей мере занимают их теоретическую мысль, остаются в тени. То, что появление и все большее расширение слоя обеспеченных и культурных рабочих есть результат продолжающегося действия тех же объективно-исторических законов, которые до сих пор неумолимо сталкивали и еще продолжают сталкивать их братьев по классу на (а нередко и за) черту самого скудного, полуголодного существования, — эта идея не из тех, что могли быть освоены

классиками марксизма без коренного пересмотра их основополагающих убеждений. А для такого пересмотра история не только XIX, но и начала XX века еще не дала достаточного материала. Не буду ссылаться ни на историков, ни на статистиков, ограничусь всего одной, не претендующей ни на какую научную строгость, но для меня самого вполне убедительной ссылкой.

Мне с молодости запомнился один рассказ Джека Лондона — «Отступник», где кормильцу семьи, узкогрудому, никогда не улыбающемуся двенадцатилетнему старичку, у которого впереди долгий рабочий день с тридцатью шестью тысячами (он потом подсчитает) однообразных движений, мать по утрам отдает и свою чашку суррогатного жидкого кофе... Прочтите, пожалуйста, этот рассказ, датированный уже началом нашего века, 1906 годом, и жуткая обыденность того, что в нем описано, лучше любых ученых соображений скажет вам о том, почему современники этого мальчика — классики марксизма воспринимали достоинства и перспективные возможности рыночной экономики совсем не так, как мы с вами...

Однако пойдём дальше. Выше было упомянуто о двух таких рычагах прогресса, которым Маркс и Ленин не нашли места в будущем, а тем самым и вообще преуменьшили их историческое значение. Первый — рынок, конкуренция, а второй?

(Окончание следует.)



П И В О О Т В Н У К А

ПОВЕСТЬ

1

В апреле запахло талым снегом, и Степан затосковал по Николиной гриве. Чувство тоски было настолько сильным, что Степану порой казалось, будто он со старухой перебрался в Завражье не век доживать, а всего лишь погостить, посмотреть на старшую дочь Любаву, сварить ей к празднику пиво, дожидаться приезда родни и потом, когда схлынет веселье, тихо и незаметно уйти домой.

От Завражья до Николиной гривы ходьбы немного. Минуешь два поля—сначала завражское, потом николинское, разделенные логом, — и с широкой, укатанной санями улицы попадешь в тихую деревеньку, всю белую, с нависающими над изгородами карнизами снега, с застывшими в небе колодезными журавлями.

Журавли на Николиной гриве не скрипели всю зиму, и бадьи, наверно, замерзли. Перед тем как оставить родную деревню, Степан обошел все колодцы, из всех бадей воду вылил: без воды не разморзнутся. Но зимой через Николину гриву мужики ездили на луга за сеном. И мало ли полоротых людей: угорев от работы, достанут воды—а много ли выпьют, — забудут остатки выплеснуть в снег, и порвет морозом бадью. Степан до боли отчетливо представлял, как слетают заклепки с жестяных обручей, как, потерявшие спайку, распираемые изнутри льдом, деревянные плашки отскакивают друг от друга, падают в снег.

Николина грива никогда не разрасталась больше восьми домов. Но Степан долго, до самой войны, надеялся, что деревня выскочит за перегородившие дорогу ворота, спустится до реки, а может, еще развернет свою улицу и вдоль берега. В каждом доме росло по восемь—десять ребят. Даже если девок не брать в расчет, одних парней хватило бы расселять вдоль дороги до Яшкиной кузницы. А Яшкина кузница эво-о-он где, уже в поскотину заскочила...

Степан и после войны какое-то время надеялся, что все же вырастет Николина грива. Но вот — рассыпалась, пустые дома стоят. Кое-кто на дрова уже пилит их. У Степанова соседа, Фили Фофанова, от избы и помина нет, раскатал по бревнышку да и перевез в район. Летом хоть гнилые зауголки валялись на пустыре, а теперь все снегом сровняло — голо, как в поле. Только журавль приткнулся к кустам черемухи, бренчит о плесневеющий сруб деревянной бадьей.

Дольше всех крепился Степан, не хотел уезжать с родимой земли. Но сил оставалось мало: дров и то не запасти одному. Пришлось перебираться к Любаве в Завражье. И недалеко переезд, через два поля всего, а душа не на месте.

Всю зиму Степан жил у Любавы будто в гостях, и всю зиму какой-то тайный голос, о существовании которого Степан раньше и не догадывался, укорял его, что он загостился у дочери, что пора ему и честь знать. И хотя Степан сознавал умом, что в Завражье привезли его навсегда, сердце этого не хотел не только понять, но и выслушать.

А тут еще письмо от внука Сережки. На конверте старый адрес чернилами выведен: Николина грива. Почтальонка перечеркнула деревню и надписала сверху: Завражье. Уж будто не могла просто так принести, обязательно надо перечеркнуть.

Сыновей у Степана было трое, а внук один. Правда, имелись еще две внучки от дочерей, но они не Сизовы, ходили под другими фамилиями да и приезжали на Николину гриву редко, росли не на глазах у Степана. А внук был от сына. Он годами в Завражье жил и был для Степана роднее всех сыновей. Сыновья как-то быстро отошли от отца, стали ему непонятными. Степан на это махнул рукой. Словхvatился, что не надо бы все же махать, когда было поздно. И ту любовь, что не растратил он на детей, Степан обрушил на внука. Хотел в него душу свою вложить: сыновьям не смог, так успеть бы внуку. Да ведь и внуки быстро растут, разве все успеешь! И Степан сомневался, хранит ли Сергей в душе чувство родства или, как и оставшиеся после войны в живых сыновья Анатолий с Василием, только фамилией своей, а не сердцем.

Степан знал, что его земные сроки кончатся, и это совсем не пугало его. Он был готов уйти из суетливого мира в любое время. Но Степана очень тревожило, какую память оставит он о себе. У Сизовых свято блюли преклонение перед незапятнанной честью фамилии. Именем прадеда Николая нарекли деревню — Николина грива. Имя отца носило поле за Яшкиной кузницей — Иваново поле. Да и кузница, хоть и не Яшкина, а колхозная, все равно слыла Яшкиной, потому что на этом месте когда-то стояла пропахшая окалиной сараюха старшего брата Степана, Якова. Савушкин луг — это в память о деде Степана Савватии. Петрушина новина увековечила имя дедова брата Петра. Федорова запань — тут уже имя второго брата Савватия — Федора. Васильева межа, Трофимов осек, Захаровская вырубка... Для Степана это были не просто названия. Это была память рода, поселившегося на этой земле и пядь за пядью осваивающего ее: прадед Никола срубил в лесу, в лесной гриве, первый дом, положивший зачин деревне; дед Савватий расчистил от кустарника лог; его брат Петр отвоевал у леса поляну — новину — и засеял ее хлебом; другой брат Савватия Федор перерогородил реку запанью, чтобы прямо под деревней ловить сплавной лес, а не возить его на лошадях из дальних Захаровских вырубок; отец Степана Иван раскорчевал новое поле; дядя Трофим обнес поскотину изгородью — осеком; брат Яков построил кузницу. И только на Степане оборвалась линия. Оборвалась не потому, что Степан мало пота отдал земле, мало вытянул жил на ней. Нет, и он челноком сновал на работе. Да уж бог с ним, с названием. Не надо ему ни Степановой пожни, ни Степанова поля. Раз уж сыновья от него отвернулись, раз уж стал он для них как камень на пашне, какое тут к черту Степаново поле. Видно, жил он не так... Но по-другому-то тогда никто не жил. Так почему же сыновья охладели к Степану, ко всему, что Сизовы сделали, в чем оставили душу?

Теперь уж спроси молодых — и не скажут, где Петрушина новина, где Иваново поле. А о Захаровских вырубках и говорить не приходится: они заросли новым лесом. Кто их отыщет...

Приехал однажды к Степану в гости сын Анатолий. Степан сидел в углу, сеть вязал. Глаза слепились от мелкой работы.

— Не забыл, как ячею плетут? — взглянул на сына.

— Да что ты, батя, зачем это мне?

Присмотрелся к нему Степан, а сыну все зачем. Топор в руках держать разучился — зачем себя утруждать: плотники — были бы деньги — все, что захочешь, сделают. Стекло в раму не вставить — зачем самому вставлять, мастера вызовем. Ребенок запоносит — без больницы не вылечить. А сколько трав есть, дал ребенку три раза попить — и здоров. Не надо никого беспокоить.

— Зачем твои травы? Ерунда это все, пережитки. Наука, знаешь, вперед шагнула...

Наука, конечно, вперед шагнула, но и то, что сзади, бросать нельзя. Травой полечил, от науки не убыло бы.

— Пережитки! — отрезал сын.

И только внук Сергей — ума было мало, наверно, — ко всему приглядывался. Степан станет лапти плести — и тому поковыряться охота. Степа-

на позовут пиво варить — и Сережка за ним увяжется, по трое суток проводил у пожара и спал прямо там, у костра.

А вот каким он теперь придет? Все же порядочно воды с тех пор утекло. Может, и он отвернется от всего, чему Степана учили целую жизнь. «Пережитки», — скажет.

Степана утешало одно, что внук напоминал о пиве в письме: «Приеду свадьбу дома справлять. Готовьте пиво». А вот где «дома»: у матери в Шайме, в двадцати километрах от Николиной гривы, или у деда? У Сережки и там и там дом: на Николиной гриве родился, в Шайме в школу ходил. А преимущества-то, пожалуй, за Николиной гривой: не бывало каникул, чтобы Сережка не прибежал, лето всегда проводил у деда. Куда они только вдвоем не бродили: и на Захаровские вырубки — за малиной, и к Трофимову осеку — пострелять рябчиков, и к Федоровой запани — острожить щук, и в Савушкин луг — сенокосить. А в Шайме что — только школа...

Свадьбу лучше бы всего ладить на Николиной гриве. Там — раздолье-е, а в июне — и вообще баса-а, рай да и только.

Степан уже замочил к Сережкиной свадьбе рожь, через день-два рассыплет ее на постилахи прорастивать и, когда зерно наберет сладости, высушит его и смелет на солод. От того, каков выйдет солод, зависит, какому быть пиву. Не добери солод сладости, пиво не будет пышным, потеряет во вкусе, станет заметно горчить. А кому охота пить горькое пиво? Пиво начинается с солода. Из плохого солода лучше и не варить.

2

Степан вышел из Любавина дома крадучись. Попридержал дверь, чтобы она не хлопнула. Постоял на крыльце, прислушиваясь, что делается в избе. На этот раз, кажется, все обошлось. А то, бывало, возьмется Степан за шапку — старуха сразу в кулак закашляет, и Степану становится ясно, что она наблюдает за ним. Сегодня он выждал, когда Наталья забралась на печь и, сморенная кирпичным теплом, по-старчески тяжело захрапела. Дочь обряжалась на колхозном дворе со скотиной, но Степан, опасаясь все же в сенях попасть ей встречь, спрятал шапку за пазуху — будто бы в туалет намеревался сходить, не на улицу, — выскользнул из избы, как молодой, половицами ни разу не скрипнул.

На крыльце он надел шапку, застегнул на ватнике пуговицы и огородом направился в поле. Снегу в этом году было мало — иди куда хочешь любимым местом. Правда, в бороздах, под снегом, уже скопилась вода, и Степан сразу же намочил валенки. В молодые годы он бы и не заметил, что ноги мокрые, а теперь чуть настудишь их — и мозжат.

Но возвращаться в избу Степан не стал: «Ничего, на ходьбе не замерзну, а там огня разведу».

Он вышел на николинскую дорогу, избитую конскими копытами, уже за деревней огляделся, не догоняет ли кто, и, убедившись, что сзади пустынно, не спеша стал спускаться к ложбине. На душе было будоражно. Прелый воздух пьянил. И еще больше пьянила Степана дорога, на которой, наверно, нет места, куда бы не ступала его нога. Не ходи здесь, кроме Степана, никто, и то дорога все равно обозначилась бы — так Степан ее истоптал за свою длинную жизнь. Он под снегом-то знал, где какие камни на ней лежат, где дождями выбило вымоины, где подорожником обсыпало ее на всю ширину. Не глаза — ноги запомнили эту дорогу, а от них и под снегом ничего не упрятать. Тротуар настели — и то знать будут, какая земля под ним.

У зерносушилки Степан остановился передохнуть. И пожалел, что остановился.

Дверь приоткрылась. На приступок вылез, весь взлохмаченный, Потап Мокрецов. Был он намного моложе Степана, еще за Степанову дочь Любаву когда-то сватался — ровесники вроде с ней, — а теперь его с Любавой равнять нельзя, как полинялый пиджак с новым.

— Чую, кто-то на крыльце шебуркается, думал, дрова привезли. — Потап выматогался, достал из кармана кисет. — Курить не будешь?

— Не-е, я только нюхаю. — Степан тоже полез в карман, где у него оттопыривала штаны табакерка. Достал ее, высыпал на ладонь щепотку

истертого в пыль табака, зарядил им ноздри и сразу взбодрился. — Ты чего, спать, что ли, ходишь в сушилку? — спросил, усмехаясь, Потапа.

Потап заругался:

— А-а, мать-перемать! Направили печи топить, а и дров нету. Картошку завтра начнут просушивать, а то в ямах-то загнила. Хозяева тоже... Наряд дают, а о дровах не заботятся.

Сохранилась за ним привычка со времен бригадирства: на каждое хорошее слово — десять плохих. Ох, и лютый был на слова бригадир! Откуда только чего и бралось? Сам вроде жиденький, любая девка его переборет, а слова бросает одно тяжелее другого.

— С утра здесь околачиваюсь. Ждал-ждал да и задремал. А им плевать, хоть сутки тут спи. — Потап спросонья ежился — самокрутка, видно, его не грела — и ругал невесть кого и за что. Дрова костром были прислонены к углу сушилки и стояли тут, наверно, еще с прошлого лета, потому что их наполовину занесло снегом. И если Потап с утра здесь томится, то можно бы давно их полностью испилить и расколоть на плахи.

— Меня печи топить посылали, а не дрова разделявать, — отмахнулся Потап от укора и поглубже залез в полушубок, унимая дрожь. — Они, конечно, того и ждут, чтобы я за них тут пилил и колол. Не на того напали.

Степан покачал головой: Мокрецова не переделаешь — подыхать с голodu будет, а картошку копать не выйдет, станет ждать, когда готовую на стол подадут.

— Ты чего головой крутишь? — обиделся Мокрецов. — Думаешь, Потап работать не любит? Думаешь, лодырь Потап? Нет, ты головой у меня не крути. Потап на прынцип поставил: весь день просижу, а пилить не буду. Какой наряд давали — такой и выполняю, а за других ничего делать не стану.

— Горбатого могила исправит, — сказал Степан и пошел на дорогу.

— Во-во, — закричал ему вслед Потап, — тебя скоро исправит! А то всю жизнь поперечным был. Там гладеньким сделаешься.

Потап долго кричал сзади. Степан не оглядывался на него, спускался к логу. Внизу дорога уже проступалась, и следы из-под конских копыт были полны светлой водой. Степан осторожно переставлял ноги, боясь огузнуть.

3

Степан знал Потапа с пеленок. Дом Мокрецовых стоял на Николиной гриве крайним, из окон речку видать. Бывало, Степана отправят звать из кузницы дядю Якова на обед, так Степан до мокрецовской избы добежит, а под угор уже спускаться нет смысла: кузница внизу как на блюдечке. Переждешь перезвон молота с наковальней и крикнешь что есть мочи. Вся низина сразу наполнится гулким голосом:

— Тя-я-тя-я-я зо-о-вет... — И усиленный широким простором крик, как из котла, выплеснется эхом уже за взгорком, обросшим березняком, со стороны Захаровских вырубок. — Тя-я-я о-о-от...

Мокрецов Филимон Петрович, отец Потапа, открывал окно и смеялся:

— Ну и глотка у тебя, парень! Посуда на столе дрожит, того гляди свалится на пол.

Потапа у него тогда еще не было. Потап родился, когда Степан ходил в женихах. А потом у Степана повалили свои детки, и он не замечал, как росли чужие. Про своего Гришку мог еще все рассказать — и на каком месяце зубы пошли, и когда босыми ногами зашлепал по полу, и какое слово первым сказал, — на других же ребят уже не осталось памяти, а Потап Мокрецов для него будто и маленьким не был, сразу женихом появился на свет. Может, впервые Степан и обратил на него внимание, когда хоронили Филимона Петровича.

— Ну, слава богу, успел мужик деток поднять, — вздыхали бабы.

Старший сын Филимона, Лука, подпирал головой потолок, младший, Потап, и во время похорон косил глазами на девок. Дочь Федосья, по возрасту средняя, видела это и то и дело подтыкала брата под бок. А он,

как норовистый конь, зло и резко оборачивался к ней, будто хотел уку- сить. И опять улыбался девкам.

С этих похорон и стала изба Мокрецовых хиреть. Она и была-то не ох какая, а со смертью Филимона не оказалось над ней хозяина. Лука вскоре ушел в примачи к молодой вдове в Полежаево, увел свой пай— корову и трех овец, — оставил брату с сестрой дом, вторую корову и поро- сенка. Федосья, засидевшись в девках и потеряв всякую надежду высок- чить замуж, совсем опустила руки и ни до чего не хотела касаться, паути- ну и то не обмахнет со стен. А Потапу и вовсе дела нет до хозяйства: целыми днями пропадал с удочкой на реке. Сестра скажет: «Сена бы надо накосить». — «Коси». Сестра ему не указ. Осенью продали Мокрецовы ко- рову, закололи свинью и с тех пор не держали во дворе никакой скотины. Навоз от соседей возили в поле — и глаза не прятали от стыда. Гордились бедностью.

Вот тогда-то Потап и пришел свататься за Любаву.

— Да ведь у тебя собаку нечем выманить из-под стола, а ты еще бабу завести хочешь, — сказал Степан и хлопнул дверью, оставив сватов в избе. В ограде у него были приготовлены доски для кадок. Надо их обстругать. И Степан взял рубанок, прошелся им по первой доске — стружка взвилась круто и сразу забила нож. Степан очистил резец, снова начал стругать, но рубанок словно попал в неумелые руки, спотыкался и шероховатил дерево. Нет, плотницкое дело не терпит сердитых. Степан встал и хотел отправиться в поле — накосить для телят отавы.

В воротах его дождался Потап:

— Ты меня, Степан Иванович, бедностью не попрекай.

— А я тебя не бедностью попрекаю. Ты ведь нищету развел отчего? Оттого, что спать много любишь.

— Советская власть нищету под защиту взяла, — продолжал гнуть свое Потап, — и кулакам над нами измываться не даст. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Слышал?

— Слышал. Только какой же ты пролетарий? Ты лодырь.

Потап высочил за ворота догонять сватов — Луку и Федосью — и на всю деревню закричал, что на Николиной гриве развелось кулачье и что Степана давно пора отправить туда, куда Макар своих телят не гоняет.

Ворота он оставил распахнутыми. Петли, смазанные колесным дег- тем, делали их легкими на ходу, и они сейчас неуспокоенно вздрагивали и маятливо дергались то вперед, то назад.

Чего доброго, и их, как у Федора Перминова, вымахнут из петель и опрокинут в крапиву. Потап же и бегал по перминовской ограде, при- плясывал в лаптях, показывал милиционерам, где чего у Федора лежит. Уже выволокли из дому три полушубка, скомили в телегу два стеганых одеяла, поставили в задок зеркало, самовар, ручной сепаратор, вынесли два сундука с тканью, несколько мешков зерна...

— А сапоги где хромовые? — кричал Потап.

— Опомнися, — оправдывался перед ним Федор. — Сепаратор-то я покупал, так не только сапоги ведь пришлось продать...

— Врешь, кулачья морда! Припрятал где-то.

Потап все углы обшарил, солому на повети разворошил, подполье на брюхе излазил, в бане даже полок разобрал — и под ним искал. Видно, надеялся, что сапоги перепадут ему. По 107-й статье, при конфискации кулацкого имущества, двадцать пять процентов хлеба передавалось бедноте. Но ведь хлеба, а не сапог. Хотя — за старание — могли отвалить и сапоги: чужого не жалко.

Федора выслали всем семейством неизвестно куда — поговаривали, что на Соловки, — дом перевезли в село: там как раз расширяли школу, так пустили на пристройку, получилось неплохо, Степан ходил, смотрел.

'А на усадьбе Перминовых остались лишь столбы от ворот — сами во- ротины так и гнили в крапиве. Столбы были под крышицей — на Николиной гриве у многих такие.

Не знал Потап, что под этой крышицей и были спрятаны сапоги. Федор, когда его садили в телегу, подмигом указал Степану на крышицу и еле слышно пошевелил губами: «Возьмешь себе». А уж какое себе: Степан до чужого не охотник. Ночью, правда, перепрятал сапоги из-под

одной крышцы под другую, под свою, — в дом побоялся нести, — и все надеялся, что Федор когда-нибудь да заглянет за ними. Нет, не заглянул. Видно, так под конвоем и умер.

Потапу даже оставшиеся от перминовских ворот столбы мешали жить. Он привел сестру и сплил их у самой земли. Не захотел выкапывать, потому что они были утрамбованы камнями, лопатой было б не взять, пришлось бы отрывать руками.

Ну, Степановы столбы ему не спилить: почему-то отец ставил их из мореного дерева — пила отскакивала бы от них, как от железа. Зачем делал он из мореного? Будто их крепость могла оберечь их дом. Или, может, на века строил, чтобы надольше сохранить о себе память в деревне.

На мореном дереве воротины, распахнутые Потапом, казалось, звенели.

Степан не пошел, как собирался, косить телятам отаву. Сел на бревна, сложенные под окнами, и голову опустил: чтобы на всю деревню кто-то кричал, что он, Степан Сизов, будто бы тоже кулак, — такого не было, впервые это случилось. А вот о списках в сельском Совете его по-дружески — в парнях вместе гуляли — предупредил завражский бригадир Матвей Соколов. Бригадир не велик начальник, но на многие собрания ходит, своими ушами слышит: составляют, говорит, такие списки, и Степан помечен в них как зажиточный. Три коровы, теленок, восемь овец, свинья с поросятами... Конечно, не бедный. Так ведь с Мокрецовым сравни: у него две коровы было, три овцы, поросенок. А семья-то в два раза меньше. У Мокрецовых трое ребят, а у Сизовых восьмеро. Мокрецовы — сама да сама, а у Сизовых и старики живы. Прикинь-ка на душу, по сколько придется на двенадцать-то человек, не больше, чем у бедняков Мокрецовых.

И схватился за голову: да у Потапа теперь и двор пустой. Равняйся с ним, так с сумой находишься по миру. Нет, Потап ему не пример.

А вот делиться Матвей советовал, над этим стоит подумать: старики отселить, дать им корову с теленком; да и Гришку женить, ему корову да три овцы — и от зажиточного Степана ничего не останется. Как веник растащат по пруту. А прутик что? Пол им уже подметать не будешь. Какая польза от прутика? Если только ребенка выстегать... Вот с этого-то момента Степан и перестал замечать, как его ребята растут. Бывала, Толька прицепится к сапогу: «Тягька, возьми зайчат пострелять», — отпихнет, как котенка, один в лес уйдет.

Ходит, ходит с ружьем, а забота клонит его к старой мысли: быстрее Гришку женить. Собака к ногам пригоняла зайца — Степан и ружья с плеч не снимет. Собака лает обиженно — а ему голос ее как во сне.

И жену Наталью извел: «Ищи невесту для Гришки!» Уж она и с сестрами ходила советоваться, не знают ли для Григория пары. Натакали ее на Нюрку Прядину. И родители, мол, у нее хорошие, и сама девка видная. Молода еще, правда, восемнадцать лет, но ведь из старой уже не совьешь веревки, а из этой делай что хочешь, как воск мягкая. Если у Гришки характер к двадцати трем годам затвердел, то лучше невесты искать нечего. В самый раз.

Наталья сбежала в Шайму. И вот, говорят, нет судьбы — есть. Речку по лаве переходила, видит: девка белье полощет. И кольнуло у Натальи в груди: она! Спросила у баб. Она и есть, Нюрка Прядина. Хвалят все ее в один голос: и до работы люта, и сердцем мягкая, только — оговариваются — с парнями не очень строга. Но ведь у баб кто, кроме них, строгий-то. Одни они. А девке парень слово сказал, заалелась девка — все, с ребятами не строга. Славушкой сразу опутают.

Наталье невеста понравилась. Степану что: приспело сына женить — и баста. Выбирать больше некогда. Гришку и спрашивать не стал. Да Гришка и не упирался: на примете у него девки хорошей не было, а Нюрка ему по сердцу припалась.

Конечно, знать бы раньше, что жизнь повернется так — а то ведь кричали: «Обогащайтесь, обогащайтесь!» — Степан давно бы корову и трех-четыре овец продал или пустил бы под нож. Теперь новый порядок принят: ни продавать, ни резать скотину нельзя, а то 107-ю статью припая-

ют — и оглянуться не успеешь, увезут неизвестно куда. Оставалось одно — делиться.

Вот так прутик и приготовились из веника выдернуть.
А второй — стариков — собирались следом за первым.

4

В логу Степана остановил затянутый снежной шугой ручей. Обойти его не было никакой возможности: и внизу и сверху от черневшей проплешинами дороги снег уже посинел от влаги, и только дорога горбилась дамбабой среди разбухшего лога, но вот, поди ж ты, и ее размыло ручьем. Ручьевина, правда, была пока неширокая, и Степан надумал перешагнуть ее, но у самой кромки неожиданно оступился и до пахов оказался в воде. Степан никогда не ругался, а тут, когда обожгло его холодом, выматюгался, как Потап Мокрецов.

Он выбрался на Николинский берег. Вода стекала с него и уходила, не замерзая, в снег. Это Степана обнадежило: значит, не так уж и страшно, морозом одежду не схватит. Он сел на дорогу, чтобы вылить из валенок воду, и почувствовал, как намокшие штаны прилипают к снегу. Рассиживаться было все же опасно, и Степан, не поддаваясь соблазну вытянуть загудевшие ноги, торопливо обулся и встал, с трудом отодрав зад от заигливающего под ним снега.

Он сейчас не думал об обратной дороге и не горевал ничуть, что к полудню лог разыграется, не пропустит его назад. Он шел домой, и думы его были только о доме.

Степан поднялся в угор, родная изба стала совсем близка от него. Он уже видел на окнах узористые наличники. Он уже различал на вытаявшей печной трубе каждый кирпич. И ноги совсем забыли усталость, потеряли способность чувствовать, как на ветру штаны схватывает льдистой коркой.

Степан шел домой. И, кроме дома, для него сейчас ничего не могло быть на свете. Он строил этот дом лет двенадцать назад. Третья изба на одном и том же месте поставлена им своими руками. А сколько срубов на этом печёвище поднимали Сизовы еще до него? Прадед Никола сколотил избушку на курьих ножках. Окна и двери, правда, в ней были, но когда семья разрослась, в избе стало негде поворотиться. Переломали ее, поставили пятистенок. При деде Савватии тесно стало и в пятистенке.

Прирубили еще избу. А потом, уже вместе с отцом, Степан строил дом, который и домом не назовешь, — хоромы. Под одной крышей две избы, двор с сеновалом, амбар и чулан. Ворота вон и то отец сделал из мореного дерева. Но и хоромы своей жизни не прожили, ненужными оказались. Как припугнул Потап Мокрецов раскулачиванием, так и зачесал в голове Степан: с этого горлопана станется, вон и в списки уже настоял включить, нашел богатея, а сам-то давно ли беднее Сизовых стал.

Делать нечего. Надо было делиться. Не поднялась тогда у Степана рука — отломать для сына избу. Надумал новую строить: женится сын — и пусть с первых дней привыкает своим хозяйством жить, не оглядывается на тятю и маму.

Купили Сизовы лесу в казне — молодоженам на избу. И место для Гришкина дома ответили — на краю деревни, рядом с Потапом. Не хотелось сыну с Потапом соседями быть, да куда денешься, приперло так, что не только соседа, жену выбирать некогда.

Всем семейством взялись за дело. Делянку леса выделили для них, в общем, не ражненькую — ржавая суболотина. До заморозков в нее и соваться нельзя на лошади — утопишь. Но уж деревья на делянке стояли отменные: одно к одному, как на параде. Степан опасался все же, от деда еще слышал, что в сырых местах ель обманная, слабая, что воды в ней много, а крепости нет. Каждое дерево, прежде чем повалить, Степан топором обстукивал, прислушивался, как звенит. Вроде бы звон был отчетливый, резкий, не тонул внутри дерева, а шел по стволу до вершины и, оторвавшись от нее, долго ходил над лесом, будто набат.

Вырубать делянку начали осенью, рассчитывая с приходом морозов приступить к вывозке леса. Было ясно одно: за зиму не управиться —

летом к делянке и не подступишься, болото не пустит. Да летом и без того все в поту: одна страда подпирает другую, не знаешь, как и вывернуться успеть.

Но семья у Сизовых не маленькая: три сына — младший, конечно, не в счет, от горшка два вершка, — зато старший ростом до матицы, да и девки — Любава, Вера и Настя — не удадут ему: костистые, крепкие, под стать мужикам. Ну, и старик отец для любого дела пока хорош. Есть на кого опереться Степану, есть кому работку ломить.

По апрельскому насту закончили трелевать, лес свалили в два штабеля у Мокрецовых за баней.

— Вот, Гришка, тебе и изба, — сказал Степан старшему сыну. — Теперь трое на углы с топорами сядем, живо-два стюкаем.

И он уж представил себе этот бойкий переговор топоров: тюк да тюк, тюк да тюк.

— Стюкаем, — повторил Степан, — а пока и у нас молодежи место найдется.

Все к свадьбе было уже готово, все обговорено. Осталось пиво сварить да созвать гостей.

Пиво Сизовы умели варить, как и работать. В округе лучших-то пивоваров и не сыскать. Сизовы до соседнего уезда, до Вохмы, славились. Из поколения в поколение передавалось умение: от деда — к отцу, от отца — к сыну... Так и шло всю жизнь. Уж если сварят Сизовы пиво — так из всех других выделишь. Пышное — пена шапкой стоит, не опрокидывается, — и запах будто от хлеба. От одного вида праздник в душе. А уж про вкус и говорить нечего, на языке бы так и держал, не глотая, — да оно само в тебя течет. Течет, течет — и роднит со всеми, вызывает на круг плясать, вынуждает петь под тальянку, говорить всем ласковые слова...

К свадьбе Сизовы задумали пиво на восемнадцать пудов. Тут уж пивовар обязан быть точен. Восемнадцать пудов — это ведь ни много ни мало около тридцати ведер пива. Просчитался где — и всю варь испортил.

Огонь разложили на берегу реки. Котел подвесили. Воды надо много, из колодца и не начерпаешься, а тут только ведра играют. И все равно без помощников не обойтись. Степан девок к котлу приставил, Любаву и Настю. Наказ простой: сколько бы из котла горячей воды ни брал, котел полным должен быть до краев и горячим. Значит, не только успевай в него подливать, но не забывай и в огонь дров подкладывать. А их поленница выложена — двухметровых отпилишей, расколотых надвое.

Невдалеке от котла установлен на бревнышках тшан — объемный, на сорок ведер, деревянный запарник.

Ой, пиво сварить не вдруг! Походишь вокруг него, попотеешь, и потревожишься-то (не солодеет совсем), и пообмираешь душой (не проквасить бы), и чуть не плясешь от радости (сусло, слава богу, пошло). Пиво сварить — все равно что ребенка вырастить. Просмотрел — и не сразу выправишь.

Степан высыпал солод в тшан и, обмирая, подумал: «Ну, Гришка, с тебя начинаю. Не дал тебе погулять, надеваю хомут. Хорошо, если с Нюркой заладится жизнь, а нет — так натрет хомут шею».

Сам Степан с Натальей прожил неплохо и деток вон накопил на две избы. А все равно неженатые годы вспоминал как праздник. Женился — будто переродился, будто другой человек стал, весь увешан заботами. Не только руки от них гудят — ну-ка, столько всего переделывать надо, — а и в голове, как на кузнице, сплошной гул стоит. Жена перечисляет, где чего не в порядке, отец загибает пальцы, куда и зачем бежать, мать кричит с печи (она болела уже), чтобы не забыл о том-то и то-то. А детки пошли — у них свои наказы и требования. В такой колготне и жизнь пролетела.

А все равно хорошо. И праздники выдавались. Гришка родился — праздник. Вот, не зря ходил Степан по земле, не небо коптил — сына после себя оставит, наследника! И будет Николина грива расти и стстраиваться. Будет жизнь своим чередом идти. Степан умрет — а Сизовы останутся.

Потом девки пошли одна за другой: Любава, Вера, Настасья. Не велик, а все равно праздник. И девки к месту. Без девок тоже нельзя. Хотя, конечно, лучше бы побольше их было не у Сизовых, а у других.

А уж Анатолий родился — и говорить нечего, праздник. Сын не одной дочери стоит.

Потом снова девки — Катерина и Зина. Ну и что же.. И они не по-меха.

Зато после них появился Васька на свет — Степан ног под собою не чуял: па-а-рень!

Вот так и катилось время, опутывало Степана заботами. А, может, свои-то заботы не в тягость, а в радость. Только бы жена была по душе. С хорошей женой жизнь прожить — как хорошее пиво выпить.

Но хорошее пиво надо сварить.

Степан, успокоив себя раздумьями, зачерпнул из котла два ведра накрытой паром воды, проверил, не горяча ли: для начала надо, чтобы палец терпел, чтобы выльешь в тшан, так не сварило солод комками. А потом, когда деревянным веслом, как в квашне, усечешь солод в тесто, сделаешь его мягким, — вот тогда лей кипяток белым ключом. И ухлapyвай, ухлapyвай веслом, чтоб густота была ровной. Теперь задача такая: распарить солод, взять весь вкус из него. Полоротый пивовар может и не сообразить, что сейчас самый момент вслушаться в душу пива. Его еще нет, никакого пива, а душа у него уж живет. Всю ли ухватишь или так и оставишь ее в дробинах — разбухших крупинках солода, — зависит только от мастера. Тут закон простой: от отца зависит, какие дедки растут.

Степан развел варь, кажется, в самый раз. Не единожды проверил себя: то и дело капал на весло распаренным солодом, пока капли по дереву расплываться не стали. И по веслу же, окунув его в варь, пальцем водил — затягивает след или нет. Затягивает. Все нормально.

Но опасности все впереди. Теперь чуть зазевайся да застуди пиво — и сварись кисель. На свадьбе позора не оберешься: для сына кислятины наварил. Степан накрыл тшан стеганым одеялом. Пусть отдохнет, помлеет распаренный солод. Да и самому разогнуть хоть спину на полчас.

А погода стояла промозглая. Только у тшана да у костра тепло. Тшан через одеяло дымился паром, и пахло от него пашней, хлебом и потом.

Теперь за пожегом дело. Теперь самое главное наступает.

Клетку из дров Любава уже сложила, береста подсунута так, что чиркни спичкой — и все займется огнем. А на клетке сложены камни. Их всем домом собирали в полях. Камни не легонькие, в ином весу до двух пудов.

Степан уже представлял его, этот пожег: клетка охвачена пламенем, и вокруг костра маревом дрожит воздух, увлекая в эту дрожь все, что ты видишь, — и черемуховые кусты на берегу реки, и взбегающие на пригорож березы, и даже плотно прижавшееся к деревьям небо. Дрова трещат на огне, а может, и не дрова трещат, может, камни это вбирают в себя их жар. Они накаляются докрасна. И их, источающих из себя синие змейки огня, поддевают на вилы — и в тшан. Вот он, пожег.

Степан уже видел его. Он весь подобрался, и усидеть, прислонясь спиной к тшану, ему было трудно, но он не хотел выказать девкам забравшееся в него волнение и сильнее прижимался к теплывшим спину доскам.

Степан кивнул дочери, давая согласие на пожег. Любава запалила костер. Сухие дрова заговорили трескуче, заотстреливались искрами. Степан какое-то время еще боролся с охватившим его волнением, потом встал, услад Настю домой за обедом, а сам стал запаривать мякину. Без мякины сусло из тшана не спустишь — выбежит вместе с другом, с дробинами. А мякина — как решето: ляжет на дно у затычки и, чуть что погуще, задержит в себе, а сусло пропустит.

Костер уже, прогорая, осел, и раскрасневшиеся камни лежали сверху.

— Ну, приступим, — сказал Степан, раскрывая тшан.

Любава оттащила одеяла в сторону, подала отцу деревянный черпак, с длинным, как у лопаты, чернем, а сама подцепила на вилы первый камень.

— Помельче для начала, помельче, — будто песню пел, говорил Степан. Камень, весь в подрагивающих коронках синего пламени, слегка искрился. Любава ловко сбросила его в наставленный Степаном черпак и, не задерживаясь, метнулась к костру за новым. Степан осторожно опустил камень в варь, в тшане ненадолго взбурлилось и стало уже зати-

хать, когда Любава подтащила на вилах другой булыжник, и Степан опять принял его задымившимся черпаком и опять опустил в сусло. Сусло запузырилось, запенилось, и запах солода стал резче, пригорклее.

— Давай, Любава, давай! — подбадривал Степан.

Теперь останавливаться было нельзя. Теперь у пива заговорила душа, и надо было ей дать до конца выговориться.

Желтая пена пузырящейся шапкой всплывала в тшане уже к закрайкам, норовя выползти через верх.

У хорошего пивовара пожог послушен: покруче его положил, не замешкался — и пену прорвало ключами. А раз прорвало — пиво не поплывет: дурная сила через ключи уйдет из него. А ты знай камни в эти ключи подкладывай, выпаривай из солода аромат и цвет. Но помни: перепарил — выгорит много, мало пива сольешь; недопарил — вкуса не будет. На то ты и мастер, чтоб угадать.

Степан еще ни разу в жизни не просчитался. А уж сыну-то к свадьбе постарается, не насмешит гостей. Он чувствовал пиво, как самого себя. Он по нетерпеливому, поднимающемуся до угрозы урчанию в тшане догадывался, что осталось опустить один-два камня, и пена расступится, открыв зарумянившееся сусло.

Пена бугрилась уже над тшаном.

— Ну, Любавушка, ну! — Степан голосом боялся испугать взбунтовавшееся пиво, он не отрывал от него взгляда, следил за ним, а дочери подавал нетерпеливые знаки рукой: поторапливайся, отдыхать потом будем.

Очередной камень прорвал пену, она тут же, слегка осев, снова сомкнулась над ним, а когда Степан опустил новый, в огненной короне булыжник, жар фонтаном ударил снизу, пена расступилась пошире.

— Еще давай!

В этот самый момент и появился на берегу Потап Мокрецов.

— Вари, вари... Последнее пиво варишь, — а сам на обрывистый берег сел и ножки свесил. Ухмылочка через все лицо. Кажись, так бы и приложил к ней подернутый желтыми языками огня увесистый камень, с которым Любава замешкалась у костра.

Степан видел: пена снова накрыла прорыв, вставала над варью заячьей шапкой, но не торопил дочь. Ноги задеревенели у него, и он испугался вдруг, что если сделает шаг — сразу и рухнет.

Пена уже поплыла по ребристым бокам тшана, и Степан, спохватившись, накрыл ее одеялом.

Он вдруг понял, что не сможет совладать с пивом, как и со своей душой. Она сейчас жила от него отдельно, готова была на любой безрассудный рывок.

Степан, наверно, изменился в лице, потому что Любава кинулась к нему и закричала на ухо:

— Тятя, пиво уходит!

И душа у Степана вернулась на место, ноги оттаяли, хотя и были слабы.

Степан взгромоздился на тшан и стал через одеяло уминать пиво. Но пена не сдавалась ему. Ничего не поделаешь, заговорила у пива душа.

Такое случается и у опытных пивоваров. Бывает, пену поднимет такую, что мужики топчутся на одеяле, а эту самую душу унять не могут. Приходится из тшана отчерпывать.

Ну уж нет! Степан не пойдет на это.

— Любава, камень!

Он отбросил одеяло и, когда пена карнизами нависла над краями тшана, принял в черпак искрящийся камень и осторожно, через пену, опустил его в варь.

Любава подтащила на вилах другой ком огня, покрупнее прежнего.

— Ну, дак, слышь, какое решение приняли. — Потап прищурился и посмотрел на Любаву. — Поотнимаем кое-чего у вас, на голой кочке оставим. Не много ли для тебя трех-то коров?

Черпак с камнем показался Степану тяжелее мешка с зерном, и он чуть не утопил его в вари. Да камень вовремя скатился с обуглившейся ложбинки, и черпак всплыл вверх на пене. И вот ведь какое чудо: этот

самый камень и пробил пену, заговорил ключом. Любава притащила на вилах новый и уже сама, без отца, опустила камень в открывшееся среди пены окно.

Пиво сердито урчало и брызгалось желтыми хлопьями. Любава клала пожог одна.

А Степан сел на выставившийся из-под тшана обрубок плахи. Колени у него дрожали, как после дальней дороги, и он никак не мог унять эту дрожь. С ног она перешла в спину, ее безостановочно сводило морозной судорогой. Степан то и дело вздрагивал, ежился и прижимался к горячему боку тшана, но не мог согреться.

— Что, среди лета замерз?— усмехнулся Потап и опять посмотрел на Любаву.

Она молча носила камни и не давала пене затянуть окно из светлого суслу. Ноги у нее были забрызганы желтыми хлопьями, но Любава не замечала этого.

— Любку жалко, а то мы тебе и не такое б устроили,— сказал Потап.

И Степан вдруг понял, откуда в нем эта дрожь. Не от испуга и не от холода, нет, она от переполнившего все его тело зла.

— Я, Потап, наемной силой не пользовался.— Степан нахмурился, встал и почувствовал, что ноги у него не дрожат и что весь он вдруг напрягся, окреп и злость тугой тяжестью затаилась в мышцах.

— Ну, еще батраков бы держал,— усмехнулся Потап.— Мы тогда с тобой и разговаривать не стали бы, как Федора Перминова, на Соловки сослали б—и все... Любку вот только жалко. Могла бы и без маеты прожить.

Степан достал из бурлящего тшана усеянный пенными пузырями черпак. Черпак был длинный, как кол, и когда держишь его на весу за конец, ощущаешь, как он тяжел и как хорошо черенок вкпает в ладонь. Рука так и просилась сделать над головой резкий, со свистом, круг.

— Ну, ну, не балуй!— испугался Потап и соскользнул с обрыва к воде, завышагивал по камешнику вниз по течению, то и дело оглядываясь.

— Да не бойся, руки марать не буду,— сказал Степан.

Он опять сел к тшану на плаху, даже не заглянув, как Любава кладет пожог.

Дочь тормозила его вопросами:

— Может, хватит? Перегорит все сусло.

А он сидел и думал. К нему подошел сосед, Филя Фофанов. Он, как всегда, был в гимнастерке. Из армии ее— годов пять или шесть тому минуло—принес, она уж на локтях латана-перелатана, а, кажись, никогда не снималась с плеч. Может, и запасная у Филя была, одной с той поры не хватило бы, но запасная все равно в латках, не отличить от первой. Филя вместе с привязанностью к гимнастерке принес из армии еще одну страсть—ходить на читки газет в избу-читальню. Уж много он понимал из того, что им читали или немного, а не пропускал вечера, чтобы не послушать учительницу. Когда спросят соседи, о чем читали, ничего не расскажет, только вздохнет:

— Тяжело в мире... Но мы победим!

— Кто «мы-то»?

— Ну, мы, советские...

Над ним насмехались: Филя был не дурак, просто человек переживал за весь белый свет, но о переживаниях своих распространяться не умел, только вздыхал. И заглушал боль работой. Уж костоломить-то он мастер—с ним на любое дело можно идти.

Филя сел со Степаном рядом, прижавшись к теплomu тшану спиной, и сочувственно вздохнул:

— Какое-то, Степа, вредительство есть...

— Какое, Филя, вредительство?

— Не знаю,— пожал Филя плечами, встал и ушел.

Степан так и не понял, применительно к нему, Степану, или опять подтягиваясь ко всему миру, сделал Фофанов это заключение.

Степан смежил веки и сидел в неподвижности долго, потеряв пред-

ставление о времени: часы или минуты промаялся в безделье—не успел.

К вечеру Степан слил сусло из тшана в котел. И вот ведь: не повежет, так на ровном месте споткнешься. Уж сусло слито, так чего проще дальше варить. А Степан—как новичок—сусло с хмелем стал кипятить на костре и ни разу не шевельнул в котле. Кипит — и ладно.

Голова была забита не этим. Доваривал пиво лишь потому, что не бросать же, раз начал, на полдороге. Но его совсем уже не тревожило, какое пиво получится. Если жизнь смялась, так чего о пиве рыдать.

Недокрал Степан в него хмелю: сверху-то вроде плавает густо, на виду-то есть, а у дна—две-три шишечки. Помешай в котле Степан вовремя — и все понял бы. А у него в голове мешалось: слов Потапа и на минуту забыть не мог. «На кочку выселим...»

Ладно бы, ходил Степан в кулаках, нажил бы себе богатство чужим горбом, а то ведь все своими руками сделано: руки да земля-матушка, которую эти самые руки любили и холили, помогли нищеты избежать. Забыли разве, сколь у него ребят в семье — как их без рук-то надежных было б поднять. К беднякам не причислишь Сизовых, тут нечего говорить. Да Степан и обиделся бы, если б его в бедняки записали. Нет, не бедняк. Но и подкулачником может назвать его только дурак или тот, кто не знал, как достались Степану и дом, и, будь они сейчас неладны, три коровы, которые все и решили. Три коровы—о, подкулачники! Люди добрые, да это ведь на двенадцать душ...

Небо не слышало немого мужичьего крика. Оно равнодушно вызвездилось. Над лесом всплыла луна, и стало видно, как над рекою вставал туман. Степан понял, что ночью падет роса. Земля проснется утром в божьих слезах и, пока не отогреет ее горячее солнце, будет дымиться.

Костер у Степана совсем прогорел. По времени выходило, что пиво пора разливать в лагуны. Степан даже не стал его пробовать. А попробовал — сразу б понял, что хмелю не доставало. Такое пиво не удержишь, очень быстро скиснет.

Но Степан об этом не думал. Он знал сейчас правду, которая засломила все: это пиво некому будет пить. Какая свадьба, когда рушится жизнь?

Правда, назад отступить нельзя: сосватано—спрятано. Откажи сейчас Прядиным, Нюрку не только в Шайме, а по всему уезду женихи обходить начнут за версту. Если сами Прядины не дадут поворот, сговор останется в силе. Все равно Гришку пора женить, слава богу, двадцать три годика. Жизнь есть жизнь. Во время войны и то свадьбы играют. А тут пули над головой не свистят. Если и припают чего, так Степану, а не сынам. Они-то не виноватые: ни скотом не обзаводились они, ни хором не строили — голы как соколы.

Нарублен, правда, Гришке лес для избы. Но, видно, так и сгниет в штабелях. Степан накрыл берестой его, да ведь жук не дождь—и под берестой источит.

Не ожидал Степан, что этому лесу придет такой нескладный час. Той же осенью испилили его на дрова. Так круто все повернулось.

5

Степан прибавил шагу, и от этого стало ему жарко и радостно. Уж думал, скоро ноги совсем откажут. Уж думал, так и будут теперь до последнего часу заплетаться одна за другую, а они вон что выделывают—от штанов пар курчавится, сердце места себе найти не может. Степан прижал руку к груди—и показалось ему, что успокоил дыхание. А ног унять не сумел: они привыкли по этой дороге ходить молодо и — что там годы! — торопились в свой дом.

Ему временами начинало казаться, что за столом собралась вся семья и что из-за него мешкают, не объявляют обед. Уже расставлена на столе посуда, нарезан хлеб. Но Наталья не разливает суп, ждет, когда придет муж. Средний сын Толька, самый неуважительный, нетерпеливо бренчит ложкой по пустому блюду и хнычет. Наталья нет-нет да и прикрикнет на него, чтобы он замолчал. А Толька оборачивается к окну и не ви-

дит отца, хотя Степан уже поднялся в угор и его должно быть видно. Сын не видит его, потому что глаза у него в слезах. И как только к окну обернулся другой сын, Гришка, так сразу же и вскричал:

— Да вот же он, тятя!

Крик был такой резкий, что Степан вздрогнул и, освобождаясь от воспоминаний, огляделся по сторонам. Вдоль дороги синел ровный снег, будто поле накрыли подсиненными простынями. Там, где простыни прохудились, ощетилившейся стерней чернела земля. Степан заметил на вытаявшей проплешине зайца-настовика, который, видно, кормился озимью, хотел вспугнуть его свистом, развеселиться, увидев, как косой прижмет к спине уши и, далеко отбрасывая задние ноги, прыжками скроется с глаз, но опять услышал настойчивый голос старшего сына. Гриша звал его как живой. Будто открыл окно и кричит—и его голос не затихает у Степана в ушах. Это уж, видно, приспело время идти за сыном в могилу. Двадцать шесть годов минуло, как сын погиб на войне, а вот только нынче, с рождественских праздников, вспомнил Гриша и об отце. Каждую ночь зовет, и Степану даже неловко бывает, что он вроде бы и не против к нему прийти, а никак не выберет время, не распростится с душой. Теперь он дал Григорию твердое обещание, что женит внука Сережку, последний раз отведает родового пива—и придет. Его дела на земле будут все переделаны.

Но Гришка неотступно ходил за Степаном, будто не верил ему и боялся, что отец передумает и заживет чей-то другой век.

— Не заживу, Гриша, поверь мне, не заживу,—уговаривал он сына и опять вслушивался в его голос, который торопил Степана и жалобно укорял за задержку.

— Не бойся, Гриша, чужого века не отниму, я свою черту знаю. Дотяну до нее—и все.

Как бы там ни говорили, что для родителей все детки равны, для Степана самым близким был Гриша. Наверно, от жалости, потому что на Гришкину долю выпала ой какая несладкая жизнь.

Может, потому он и поторопился так рано уйти из нее, тридцати двух годов, что ему хватило и этого. Теперь уж Гришин сын скоро подойдет к отцовскому рубежу, а чего он испытал за свою жизнь—ничего. У Сережки совсем иная судьба. А Грише досталось как никому. Одна женьтиба чего ему стоила.

Степан привез тогда пиво с поварни и Грише в глаза не посмел взглянуть, будто был виноват перед ним. А Грише уже известно все. Он молча открыл ворота, не скрипнувшие, шарнирно легкие, взял из рук отца вожжи, завел лошадь в ограду и стал выпрягать. Степан подождал его—не дождался. Гришку будто за смертью отправили—нет и нет. Позвал его тихо: «Гриша! Гриша!» — Гришка вылетел на лошади и, не оставиваясь, мимо отца—ворота были распахнуты—рванул в луга. Только грязь летела из-под копыт да у лошади ухала селезенка. В другой раз Степан осадил бы Гришку: «Лошадь не запали!» — а теперь лишь вяло подумал, чтоб сын не разбился.

В избе хлесталась о подушку Наталья. Под глазами как комары кусали—все заплыло и раскраснелось:

— Ой, Степа, что с нами будет-то...

Значит, Потап уже побывал у них. На столе лежало постановление сельсовета о твердом задании. Степан несколько раз перечитал его, вышел на крыльцо.

Из ограды попахивало пивом, и этот запах, всегда успокаивающий, напоминающий о прочности жизни, на сей раз вывел его из себя.

Степан открыл в лагунах затычки, в телеге утробно заклокотало, пиво в три ручья побежало по земле. Сытый запах заполнил всю улицу, и Наталья, видимо, почуяв его, прибежала во двор:

— Степа, да хоть бы свиным спойте!

Степан впервые за долгую и ладную совместную жизнь обругал ее дурой. Она стерпела это и затихла у него за спиной.

Он дождался, когда пиво полностью вытекло, прошел по липкой земле к телеге и один за другим выбросил полегчавшие лагуны. Они, гремя

пустотой, откатились к поленнице. А Степан сел в передке на еще не оставшие от лагунов доски и, не стыдясь жены, заревел.

Наталья, пятясь, выскользнула из ограды и растерянно замерла у крыльца. Она не знала, что ей теперь делать. Привычные заботы отодвинулись далеко, и ее уже не тревожило, как раньше, что она не успеет намять поросьятам картошки, приготовить коровам пойло, сходить с бельем на реку — будто кто-то обрезал те пути, которыми она была привязана к дому, и выбросил ее на пустынный остров, где никогда не слыхали, что такое работа.

Степан вышел из ограды — штаны в мокрых разводах от пива, — отряхнул, притопывая, с лаптей налипшую землю и сухо сказал Наталье:

— Сходи к свату. Они ведь там тоже к свадьбе готовятся. Скажи все как есть.

До Шаймы идти не близко, около двадцати километров, а время клонилось к вечеру.

— Иди, иди, — повторил Степан и, не обернувшись, поднялся по лестнице в сени.

Степан понимал, что глядя на ночь хозяин собаку из дому и то не выгонит, но медлить было нельзя: в чем, в чем, а в таком деле, каким являлась женитьба, все должно быть честным, без всяких утаек.

Степан всю ночь просидел у окна, дожидаясь, когда Наталья вернется. И уж не раз возникало в нем чувство вины перед женой — надо бы самому идти, — но за себя он не ручался: сошлись бы со сватом и запили горькую, а время сейчас и без того пьяное. Наталья б тогда вся извелась, чего доброго еще бы и в петлю залезла. Когда пропели первые петухи, Степан и на дорогу-то выходил: ему показалось, что кто-то поднимается в гору.

И в эту ночь пала на землю роса. Дорога холодила босые ноги. А звезд уже не было. Они или истаяли перед утром, или небо затянуто хмарью — к осени ночи темные, и не поймаешь.

Степан направился по дороге к лесу, потому как сердце подсказывало, что Наталья совсем близко, и ему захотелось встретить ее. Он шел и уже вслух разговаривал, будто Наталья была рядом, утешал ее, что с его руками они и при твердом задании не пропадут, что он и день и ночь будет работать, а не даст погинуть семье, что они восьмерых деток родили и еще смогли бы поднять восьмерых. Конечно, не такая б семьяща, так лучше всего сняться с места да и уехать, куда глаза глядят. С его руками нигде не пропадешь, на любую стройку возьмут. Уже немало мужиков из Завражья, из Полежаева, почувствовав, что печет, не дожидались судного дня, а пускали с молотка хозяйство и отправлялись в город. Там еще и в почете ходили, на красную доску за перевыполнение заданий заносились их фамилии. Здесь — в черные списки, а там — на красную доску... Разница! Конечно, лучше не дожидаться ни твердого задания, ни тем более раскулачивания. Но Степану эта дорога заказана: с восьмерыми детьми да с немощными стариками-родителями она ему не в подъем.

Приходилось доверяться судьбе.

Ну, где она, Наталья-то, чего ее нет?

Степан дошел до развилки и на какое-то время замешкался, глядя вдоль той дороги, что уводила к реке, где он варил пиво. Ему показалось, что на берегу разжигают костер: огонь то вспыхнет, искрятся, то его кто-то загородит спиной, и станут видны лишь бледные отсветы на лугу. Разжигали его, Степана, пожар, и Степан, прибавив шагу, спустился к реке. Он оставил на поварне тшан и котел, не прибрался там, разбросал черпаки, деревянные кадки, снопы соломы, одеяла, постилахи, дрова, котомку с хмелем. Ничего стало не надо, пропади все пропадом.

А сейчас вот увидел, что кто-то хозяйничает на его поварне, — и не стерпел.

Костер занимался худо. Дрова, намокшие от росы, дымили, а бересты, видимо, не осталось, или тот, кто разжигал костер, не нашел ее и, согнувшись, как лягушонок, дул на огонь, выдувая вместе с дымом струю золы. Дым ел глаза, и лягушонок, отпрянув, протирал их рукавом, а проморгавшись, начинал дуть снова.

Огонь вдруг схватился, перескочил с одной головни на другую и заиграл, высветив всю поварню, которая напоминала сейчас Степану цыганский табор.

Тот, кто разжигал костер, распрямился, и Степан узнал Гришку. — Ты чего тут делаешь? — спросил Степан.

Гришка не удивился, услышав его голос, сел на плаху, на самый краешек, давая тем самым понять, что приглашает отца занять место рядом. Степан принял это немое приглашение, вытянул к огню мокрые, облепленные песком ноги. От подсыхающих штанин струился пар.

Ноздри Степана дрогнули. Ему показалось, что вместе с паром он уловил запах пива, горьковатый и сытый запах пива, которое он не сварил, но которым пропиталась вся Николина грива.

Степан не мог больше дышать этим запахом, у него все в душе перевертывалось, обида сдавливала грудь, и на глаза навертывались слезы.

Не дождавись от сына ответа на свой вопрос, Степан пошел от укурявшего его запаха, уже не слыша ногами холодной дороги.

На развилке он чуть не столкнулся с Филей. Но Фофанов был углублен в себя и не заметил Степана. Слава богу, что они разминулись: у Степана не осталось силы скрывать, что ему тяжело. А Филя, как на свидание с милашкой, торопился в избу-читальню.

Степан посмотрел ему вслед и позавидовал Фофанову, что тот холостой. Степан холостым-то знал бы, что ему делать...

Жены на дороге видно не было. Филя, горбясь, вздымался уже в завражский угор.

Степан заторопился домой, раздирая себя сомнениями, не рвануть ли ему сейчас в Шайму: Наталья задерживалась там неспроста, и без него, без Степана, обратно ей будет не приползти — не хватит духу, когда получит от Прядиных отказ.

Наталья сидела в избе, склонясь над столешницей. Степан, увидев ее, не вспомнил те утешительные слова, которые припас для нее, потому что и в избе пахло пивом.

6

Развилку занесло снегом, но Степан — по одному ему понятным приметам — знал, что он стоит на ней. Отступи один шаг назад или сделай два шага вверх — и ты уже миновал ее, кажись бы, кто точно скажет, где под снегом упрятана крестовина дорог. Ноги Степана не могли ошибиться, они знали дорогу к дому с любой стороны.

От развилки всегда бывает видать завертушку на дверях бани. Степан и сейчас разглядел ее, хотя глаза от напряжения и заслезилась. А может, они заслезилась совсем не от этого? Ведь не одни глаза непослушны ему — и сердце бьется не так, и дыхание не подчиняется шагу.

Что там, завертушка на бане? И не разглядел бы ее — так плевать! Не на нее смотрел Степан. Дом свой разглядывал. Свой последний дом, поставленный собственными руками. Больше ему уже не забраться на сруб. Этот — последний. Забытый. Ни богу, ни людям не нужный. А для него, Степана, — самый желанный.

В нем Степан жил недолго. А привык, будто под этой крышей родился. Хотя сказать, что и не под этой, вроде б тоже нельзя. На этом месте — значит, под этой. Все три дома, какие были собраны им на родном печьевище, для него под одной крышей стояли. И каждый помнил Степан, как материнскую колыбельную песню. От первых двух домов теперь и щепочки не осталось, а он смежит веки, и они вырастут перед ним: каждая щель прорисуеться, на углах из пазов даже мох разный топорщится: у одного — седой, как дым (драли его на Федюнином болоте весной), а у другого — рыжий, как опаленная борода (этот из Михалевской поскотины). Все сердцем помечено, ничего не забыто.

Раскидай любую из трех изб по бревнышку и скажи: собери, как было, — ни разу не спутался бы, паз в паз вогнал. Другие, когда дом перевозят с места на место, номерами изрисуют все стены. Степан же любой ряд сруба на память знал, потому что не только пот оставлял он на

каждом бревне, а и душу. И вот эта оставленная душа и звала Степана на Николину гриву, не давала вдали от себя спокойно жить.

Детки не понимали такой привязанности отца к своей избе. Видно, Степан не сумел научить их смотреть на мир своими глазами.

Ну, ладно бы только девки. Девкам и на роду написано — жить в мужниных домах. А вот когда сыновья покидают родительский кров — это больно. И ведь какой дом оставили... Степан закрывает глаза и видит его как наяву: под одной крышей две избы — зимняя и летняя, — двор с сеновалом, в ограде подызбица, где для скота кипятили пойло, амбар, чулан и длинные, как прогон, сени. Задумано на большую семью. А по правде-то — оказалось лишним.

Сначала средний сын — Толька — уехал на чужую сторону, потом девки замуж повыскочили, о старшем — Грише — говорить не приходится: с войны пришла похоронка. Васька в ту горькую пору в ремеслуху попался. Старики-родители померли. И в хоромах оказалось будто в лесу: хоть аукайся, такой простор. Степан все опасался, что сыны вырастут, будет тесно в хоромах. И уж прикидывал, где будет пристраиваться, уж на внуков делал расчет. А выходит, внуков-то меньше, чем своих деток: Сережка да две девки от дочерей. Род на убыль пошел. Некому в хоромах и вековать.

Пока сила была, Степан надумал раскатать обе избы и собрать на старом печьевище дом помене. А то дров не напасешься на такие хоромы.

Но как ни жалко было, а старое жилье пришлось продавать. Не будешь же размечать, где, укорачивая, опиливать углы: на сухом бревне вырубать пазы не все равно. Как бы ловки руки ни были, исцелявшее дерево и под пилой и под топором непослушно, станет отскакивать плашками, а если и вырубешь паз, так все равно плотно сруб не сложишь. Только руки все изобьешь до мозолей.

Слава богу, на Степановы хоромы нашелся покупатель — сельский Совет, — купил себе обе избы под школу и выписал Сизовым билет на рубку леса для нового дома.

Все хорошо.

А вот зачем Степан сунулся снова в суболотину, убей бог, и не объяснить. Наверно, вспомнил, как Гришке кондовые ели на дом вырубал, и память не смирилась с тем, что вырубать — вырубал, а избы не поставил. И ведь какие были лесины, хоть жорабль из них шей.

Степан и теперь отобрал звонкостволье, еле в обхват деревья. Отгрохал, радуясь, дом. Да не заладилась в нем у Степана жизнь. Гриб изъел стены. Всего-навсего четырнадцать лет продержалась изба. Старики предупреждали не зря: в суболотине лучше и не рубить. А Степан звону поверил — на весь лес топор слышно, — вот и помаша топором-то еще, поклоняйся лесу.

У Степана хватило силы поставить новую избу. Но теперь он лес для нее запасал не в суболотине, а по веретьям — на сухих угорах, между ложками.

Изба двенадцать лет простояла, а и сейчас как новая: смола на бревнах до сих пор выкипает.

Да ведь смола-то — как слезы из сердца Степана. Текут, и не замечает никто. Шапку бы бросить оземь, ногой притопнуть: люди, пошто вы такие незрячие? Так и шапки ведь не заметят, не услышат крика... А и услышат — все равно не поймут.

Вот только Сережка должен проникнуться болью деда. Он из всей родни самый понятливый. Еще маленьким был, а с полуслова усваивал ученье Степана:

С ножа ешь — сердитым вырастешь.

В избе свистишь — деньги высвистишь.

Плохо пол подметаешь — шадровитую девку замуж возьмешь.

Молока попил, да губы не обтер — корова при встрече на рога поднимет.

Сын Анатолий над отцом потешался:

— Засоряешь парню мозги. Твоя религия недействительна. Приметы эти попами придуманы.

Да какая такая религия? Какие попы? Ему, Степану, отец с матерью это внушали. Им—тоже отец с матерью, и так испокон веку. И не худоому учили-то. Разве порядок, когда в избе свистят? Или хорошо, если ребенок без старания пол метет? С ножа брюкву ест? Неумытым ходит?

А то еще для неряшливых девок было придумано: белье на реке полощешь да замочишь подол—значит, муж достанется пьяница.

Шутки вроде бы все, но учили деток опрятности и старанию. Анатолий же все свое толмит: «Религия». Не религия, а желание сделать деток людьми.

Сережка относился к пристращиванию деда всерьез, и Степан выделял его не только из своих внуков, а из всех ребят на Николиной гриве. Пол подметать парень возьмется, так сориночки не оставит. Видно, не хочется шадровитую замуж брать. Вот если бы и на самом деле сбывались эти присказки, если бы хорошая досталась ему жена, нешадровитая и уживчивая...

Ох бы и наварил Степан пива на свадьбу! На радостях всю деревню созвал бы: гуляйте, пейте, внук заводит семью, внук... Вы слышите?

Степан на полуслове затих: какую деревню соберет он на пиво? Нет деревни. Пустые дома стоят, и окна заколочены досками. Только Степанова изба и не заколочена. Степан не в пример соседям ее безглазить не дал. Пусть на белый свет смотрит окнами; не выхлещут ребятишки стекла: деревня-то, как ночью, тиха. Только лисы да зайцы наследили кругом, так эти камнем по раме не звякнут.

Степан уж различал переплеты рам. И видел, что хоть и не заколочены окна, а изба-то и у него слепая: стекла—как почерневшие бельма, за ними—ни занавесочки белой, ни цветочка на подоконнике, ничего не знать. Нежилая изба и есть нежилая.

Степана царапнуло и другое. Он сразу-то и не сообразил, что, а заныло, заняло внутри, будто из него вынимали стержень.

Ну, да, с этого места раньше было уже видать и ворота с оберегавшей их от дождей крышницей. И как только Степан догадался, что его взволновало, так царапанье и затихло.

Ворота ему пришлось убирать, когда ломали хоромы. Ворота мешали сельсоветчикам разбирать дом. Степан старательно выкопал мореного дерева столбы, откатил их в сторону, к штабелям леса, приготовленного на новую избу. А то сельсоветчики и их отвезут на дрова.

Но поставить ворота заново Степан уже не сподобился. То времени не было, то настроения. Да и Наталья кудахтала курицей: «Не выставляй себя напоказ. Теперь чем скромнее, тем лучше». Она все еще жила годами коллективизации и даже этот, последний дом, который строился после войны, не дала опустить резными наличниками: «Не высовывайся, живи, как все»,—будто из-за деревянных узоров над окнами могли причислить ее к богачам и опять обложить твердым заданием, а то, чего доброго, и раскулачить. Но, по правде-то говоря, не из-за жены Степан не вернулся больше к воротам. Не хотелось делать ничего лишнего: без ворот можно жить?—можно; без узорной опушки над окнами можно?—тоже можно. Ну, и слава богу, лишь бы над головой не капало.

Это он с остуды прожитых не в родном доме месяцев, от затянувшейся с ним разлуки разглядел то, чего раньше не замечал. Без ворот подворью не хватало былой завершенности. Оно было как человек без уха. Нет, ворота все же нужны! Смотри-ка, вместо них каких кос пургой намело: отсюда даже снежные суметы видать.

Степан шагнул с дороги на целину, рванул к огороду. Снег не держал его, проваливался, но Степан, будто в этом было его спасение, лез прямоком—и вот она, баня, вот дверь в ограду, вот венское крыльцо... Еще один шаг...

На двери не замок, нет. Она крест-накрест забита двумя досками. Степан взялся за одну, за другую—не поддаются, даже не скрипнули. Сплюнул со зла. Сел на лестницу—и штаны зазвенели жестью.

— Ох, маткин берег!—Заледеневшее сукно, как железо, прихватывалось к коже.

Степан побежал в ограду. Он помнил, что за поленицей у него был спрятан топор.

Да, топор лежал за поленницей—там, куда Степан много лет клал его, чтобы не таскать взад-вперед из ограды в сени, а из сеней в ограду. Последние годы дровами занимался он один, и, когда дочь Любава приехала за его имением, ни ей, ни Наталье и в голову не пришло вспомнить о топоре. Да не только топор они оставили в доме, а и другую мелочь: кадки, косы, лари, скамейки, даже тшан для варки пива, даже котел. И дров вон три поленницы нетронутыми стоят: у Любавы и у самой хозяйство справное, припасов хватит на десять зим. Ну, и не увезла всего. А Степану в радость, что жило не разорили: в любой день приезжай и затопляй печь. Вот сейчас сковырни топором доски с дверей, войди в дом и начинай хозяйничать. Спички за кожухом лежат, дрова сухие, как порох,—разжигай огонь да оттаивай душой: до-о-ма! Сколь ни поскитался по дочерям, а снова домой попал, снова дым над трубой закурится. Забирая топор, Степан придирчиво оглядел тшаны. Ведь если признать себе самому, из-за них Степан пустился в нелегкую для него дорогу. Он знал, что тшаны давно валялись без дела, рассохлись, и их перед Сережкиным пивом не один день предстоит приводить в порядок—поправлять обручи, распаривать, чтобы доски, разбухнув от горячей воды, спаялись между собой, и тогда тшаны, когда ихпустишь в работу, не дадут течи.

Их надо было выкатить из угла на ровное место, установить на плахи, чтобы, налив кипятку, снизу можно было увидеть, протекает ли дно.

Одному за такое дело братья не по годам. Но Степан и пришел посмотреть и решить, стоит ли, как говорится, овчинка выделки. Если стоит, с Любавой вместе приедут. Сейчас апрель, а пиво варить в июне, есть еще время привести тшаны в порядок. А если они нарушились и их уже не поправить—обручи, скажем, лопнули, дно рассыпалось, и сухие доски пущены кем-то на растопку,—тогда и канителиться нечего, надо будет займовать тшаны у запасливого Фили Фофанова, который теперь жил в районе, но молва дошла до Завражья: недавно пиво варил, отмечая свой юбилей. Из района, конечно, везти не близко.

Тшаны, опрокинутые кверху днищами, стояли в углу ограды. Степан поколотил по дну одного и другого топорищем—оба отозвались здоровым, раскатистым гулом. Целые! Значит, пиво будем варить в своих, займовать не придется.

Это Степану придало сил. Он, поднявшись на крыльцо, быстро справился с крестовинами на дверях, вошел в полутемные сени. Застоявшийся воздух был холодней, чем на улице, и Степан почувствовал, как озноб мурашками пополз по спине. «Ничего, отогреемся»,—утешил себя и открыл дверь в избу.

Было в ней как-то неуютно и голо: пустые полки над окнами, просторные скамьи вдоль стен, залавок с распахнутыми дверцами—и ни стола на привычном месте, ни комода в углу, ни деревянной кровати в кути. И кадка из-под питьевой воды, кадка, которая раньше никогда не бросалась в глаза, вдруг выперла на самое видное место. Хотя на какое видное—так у шестка и стоит, как раньше. И медный ковшик по-прежнему зацеплен над ней на гвоздике. А вот замечен стал на стене, будто за зиму втрое вырос в размерах.

Степан привычно сел на порог разуваться. И уж стащил один валенок, звякнувший кованым сапогом, уж за другой взялся—и замер.

На щелястом полу лежали—кверху брюшками—тараканы. Степан трижды строился, и они трижды из дома в дом переселялись с хозяевами. Степан притерпелся к ним и не замечал совсем, что они есть, а они жили. И вот смерть настигла их, когда они оставили похолодевшую печь и бросились по избе в поисках теплого места.

Нет, не от жалости к тараканам замерло у Степана сердце. Ему стало больно, что нарушилась на Николиной гриве жизнь.

Вот сидит он на пороге своей избы, одна нога в валенке, другая босая, и не знает, а надо ли обе-то разувать. В родном доме, а переобуться нево что. Босиком же по настывшим половицам не прогуляешься: в мокрых валенках вроде бы и то теплее, в них хоть не слышно, как несет холодом из щелей.

Степан хотел было сунуть ногу обратно в валенок, но, взглянув на нее, обомлел: онемевшие пальцы стали черными, как пальто.

Он судорожно стащил с себя второй валенок. И на левой ноге пальцы начинали темнеть. Степан почему-то боялся встать на ступни, а ползком направился к кадке. И только когда заглянул в нее, одумался: разве хороший хозяин оставит на зиму воду. Надо было идти за водой к колодцу или зачерпнуть под окнами снегу. Но в том и в другом случае пришлось бы сначала растоплять печь: вода в колодце как лед — такой растирать пальцы не будешь, а снегом, как наждаком, обдерешь кожу. Лучше всего натаять снегу и сунуть в талую воду ноги, чтоб они отошли сами.

Степан босиком вышел в сени. Над ларем у него висело десятка два старых лаптей. Он вытащил из связки первые, какие попали под руку, не обращая внимания на то, что они непарные. Красоваться сейчас было не перед кем. Под лестницей, что вела на повить, он нашел слежавшиеся от мороза онучи, размял их и прямо тут же, на нижней ступеньке, сел обуваться. Ноги не ощущали холода, и Степан сразу забыл о них думать.

Теперь, обутому, можно было хлопотать по хозяйству.

Он наносил в избу дров, отыскал в подполье старые ведра и отправился за водой к колодцу.

Бадья легко колыхалась над срубом, и Степан обрадованно отметил, что льду на нее не намерзло. Видимо, мужики, ездившие в луга за сеном, пользовались колодцем по-умному: не оставляли воду в бадье, выплескивали в снег. Правда, наледи у сруба заметно не было, да и снег ненаптопанно огрузал, как в целине. Но больше всего поразило Степана то, что, когда он взялся за бадью, журавль не заскрипел привычно, а дернулся верхним концом из стороны в сторону и обессиленно затих. Внизу на него намело снегу, и Степану пришлось искать лопату да высвободить нижний конец журавля из плена.

Разогретый работой, Степан повеселел, и ему уже стало казаться, что вернулся домой насовсем, хотя часом назад он не задумывался над тем, как долго пробудет на Николиной гриве. Он воровски уходил из-под пригляда жены и дочери и, как всякий вор, боялся погони, понимал зыбкость своего вольного пребывания на родине. А теперь вот суетливые хлопоты по хозяйству вернули ему уверенность в себе: он будет жить там, где сиротливо дожидалась хозяйина его душа. Она одна была верной голо-су сердца. Сам Степан, хотя сердце не велело ему этого делать, уехал в Завражье к Любаве, а душа осталась здесь, на Николиной гриве. Сегодня они опять слились воедино, и Степан чувствовал себя молодым.

Уже пылала печь, выбрасывая из-под чела клубы едкого дыма: кирпичная труба, видать, отпотела и опрокидывала дым в избу. Он стоял под потолком и слоями спускался к полу.

Степан сидел на табуретке, облокотившись о шесток, смотрел на огонь и блаженствовал. Дым не ел глаза, он боялся огня и оттеснялся от чела струями теплого воздуха.

Дрова в печке трещали, отстреливались углями, будто обрывками каленой проволоки, которая, теряя красноту, свертывалась пепельно-бледными колечками и истаивала.

Степану всю жизнь казалось, что постепенно истаивает и его душа, что к смерти ее совсем изложут заботы и что в ту минуту, когда от нее ничего не останется, он умрет. Он не знал, когда настанет эта минута, он даже не мог почуять ее приближения, потому что смерть заигрывала с ним: она то отдавала ему ту часть души, которая была уже источена горем и давно отошла от хозяйина, то нежданно-негаданно отбирала у Степана не только эту старую часть, но вместе с нею и новую. И тогда Степан думал, что ему не много осталось ходить по земле: души не хватало.

Сегодня душа вернулась к нему как будто вся. Степан знал, что вернулась она к нему ненадолго. Но надолго он ее и не ждал. Хоть бы продержалась она до приезда внука, дала бы Степану сварить пива на Сережжину свадьбу, дала бы взглянуть на внукову жену, которой придется продолжать их, Сизовых, род. Ой, как хотелось Степану посмотреть на нее, на мать тех мужчин, которые будут носить его, Степана, фамилию.

Первое родовое пиво Степану не удалось. Потап Мокрецов спутал карты. Но Прядины все же дали согласие на то, чтобы Нюрка выходила замуж за Гришу. Поставили, правда, условие: оттянуть женитьбу до той поры, пока с Сизовых не снимут твердое задание. Совать дочкину голову в хомут, не обшитый войлоком, все же не захотели. Ну, и правильно сделали. Степан и сам понимал, что женитьбу сына в такой поворотный момент, когда на Сизовых власти стали коситься, не одобрили бы и соседи. Да и смысл — торопиться-то — пропадал: делись не делись, а твердым заданием уже обложены.

Надо было пережить.

И уж потом, когда Гришка все-таки женился, свадьбу играть не стали — сошлись в один дом, и все.

Наталья урезонивала сына:

— Не смешите деревню. По-людски давайте.

А Гришка, как кобель, отлаивался:

— Посмешили — хватит. Наше пиво давно уж выпито. Хмель и нынче из головы не вышел.

Степан не обижался на Гришку. Второй заход не всякому выдержать. Видно, надломилось в сыне терпение. Пусть как хочет, так и делает.

И у Анатолия получилось без родового пива. Ну, у этого понятно: женился на чужой стороне. Да он и дома не стал бы пива варить.

«Пережитки, — отмахнулся бы от отца. — Чего канитель разводиться? Ящик водки купим — и никаких хлопот. Те, кто поближе, сами придут, а дальних теток я и звать не буду».

Гриша же не канители боялся. Он всю родню на свадьбу собрал бы, всем бы невесту свою показал, всех угостил бы пивом. Такое событие в жизни — да разве можно без пива, разве можно радость свою утаивать? От своей-то родни? Грише стыдно было людям в глаза смотреть. Собрутся гости, может, и не напомним никто о старом пиве, выплеснутом, а каждый подумает, не вслух, так в уме пожалеет жениха и невесту: вот, мол, сойтись не успели, а напереживаться пришлось. Какое уж тут веселье, когда сердце сожмется от жалости, когда «горько!» надо бы задорно кричать, а закричат жалобно. Нет, сама жизнь продиктовала отступить от того, как веками велось на Николиной гриве. Притворяться нечего. На сердце невесело, так зубы не скаль. И других не вынуждай это делать.

Наталья все же поставила в печь корчагу:

— Пусть с ведерко хоть будет, а без пива какая свадьба! По стакашку, но для приличия надо. Крещеные ведь.

Она и представить себе не могла, что можно отступить от заведенных порядков. Это ж вызов небу бросать! И уж коль ее в большом не послушали — не стали на тшане варить, — так в малом она и спрашивать никого не намерена: корчагу в печь — и готово. Судьбу, конечно, этим не обмануть — Бог-то видит все! — но приличие все же будет соблюдено.

Потап Мокрецов как святым духом учуял, явился и глаза, бесстыжий, не прячет:

— Ты чего, Наталья, с корчагой возишься? Мужик пивовар, а ты, как насадка, над корчагой сидишь, — и подал руку Степану. — Здорово, сосед!

Надо бы сдержаться Наталье — перед свадьбой ни с кем ругаться нельзя, но она ответила с сердцем:

— С тобой скоро слезы одни будешь в рюмки-то наливать.

Потап не обиделся. Ему плюй в глаза, он скажет тебе, что это божья роса. Сел к столу, картуз положил на колено:

— Ну-ко, налей стаканчик. Во рту совсем пересохло.

У Натальи руки задрожали: не пива жалко, а бессильная злоба бьет. И ведь отказывать не знаешь как: на Николиной гриве такое не принято — отказывать. Бывало, на свадьбу набьется в «сычи» пол-избы народу, и каждого обнесешь пивом, каждому закутить подашь. Нищие, и те, прослышав, где свадьбу играют, со всех сторон собирались, и их как гостей принимали. На то и свадьба, чтобы хозяева доброту показали.

Наталья пошла со стаканом к корчаге. Степан строго остановил ее:

— Да ведь рано еще, не время. — И не поленился, встал со стула, взял у онемевшей жены стакан и поставил его в комод.

— Ну, дак я и позже приду, — не растерялся Потап. — Давно хорошего пива не пил.

И, как ни в чем не бывало, повел речь о том, что, конечно, Сизовы тогда могли настоять на свадьбе, надо было перед Прядиными на ребро говорить: пиво сварено, сговор был, смешить народ нечего.

— Пошла бы, — имея в виду невесту, сказал Потап. — Куда бы делась? Гришке надо было потверже быть.

— А это уж не твоя забота! — отрезал Степан.

И Потап неожиданно загорячился:

— Я бы ни на чего не посмотрел! Подумаешь, обложили твердым заданием, она сразу и испугалась. Я бы на раскулаченной и то женился.

— Что-то за тебя и раскулаченные не больно идут.

— А дуры, дуры! — Потап соскочил с места. Все мог он вытерпеть, а этого снести не сумел. — Жили бы как у Христа за пазухой. Никому бы в обиду не дал.

Потап намекал на то, что стал на Николиной гриве человеком далеко не последним и что такого жениха Любаве теперь поискать.

Да, Степан наступил ему на большую мозоль. Шутка ли, человека поставили председателем потребительской кооперации — вся торговля в его руках, а над ним насмеваются, что за него никто не идет.

Потап, отплеываясь, побежал к дверям:

— Пожалеют, пожалеют еще! Как барыни, просидели бы без работы за мной. Как барыни, жили бы, говорю. Как барыни.

— Ну да, жена без работы, и ты без работы — куда уж лучше!

— А с пупа бы не сорвали...

Степан захохотал:

— Не сорвали! Это уж верно.

Потап, распалившись, брызгал слюной, грозил пальцем Степану:

— Не-е-ет, тебя не твердым заданием надо было обкладывать, а раскулачивать. Савинов зря за тебя заступился!

Смотри ты, уже и на председателя сельсовета попер, до чего осмелел. На Потапа это было ничуть не похоже. Хотя, конечно, злость чего не вытворит с человеком: не осторожности — рассудка лишает.

— Савинову было видней, зря или не зря, — сказал Степан. — Он не тебе чета...

Потап чуть не взвился до потолка:

— Зря! Зря!.. Али тысячами от него откупился?

Рука у Степана, подрагивая, зашарила по скамье, рядом с собой. А сам он, будто слепой, весь напрягся, и от того, найдет ли рука то, что ей надо, зависело, уймется в нем дрожь или нет. Пальцы наткнулись на колодку из-под лаптей, сжали ее — будь дерево непросушенное, сок бы выступил из него, как пот.

Потап скользнул взглядом по затихшей руке Степана и, распахнув дверь, пулей вылетел из избы. Дверь хлопнулась скобой о стену, охнув, отскочила от нее и закрылась.

На какое-то мгновение колодка не успела миновать раствор, угодила в верхний угол захлопнувшейся двери и, оставив на ней вмятину, раскололась.

— Батько-о, да ты ведь убил бы его! — испугалась Наталья.

— Убить и надо! — отрезал Степан и пошел в ограду успокаивать себя работой. Он давно собирался перекинуть на другое место поленицу, а то она все время кренилась — сколько раз поправлял ее, постоит с неделю, а потом опять отойдет от стены, того и гляди придавит скотину. Конечно, сегодня был не тот день, чтобы заниматься дровами, но без работы Степану не размягчить сердцем — и тогда он не хозяин за столом сына. Без настроения ему сегодня никак нельзя: какая ни есть, а свадьба.

Степан протиснулся к поленице сбоку, уперся в нее плечом, и она с грохотом рухнула. Куры на улице тревожно закудахтали. Испуганно озираясь, с крыши по углу торопливо спустилась кошка. Затих у колодца сверчок.

«Всех на свете перепугал», — усмехаясь, подумал Степан, и обида, перегорая, начала уступать место житейским заботам.

Степан набрал ношу поленьев, перенес ее к выложенным вдоль подызбицы двум жердям и стал класть на них клетку. В солнечных снопах света, пробивающихся через щели в стене, мельтешила пыль. По жердям спокойно ползали муравьи. Жук-точильщик, поблескивая бурым панцирем, выскочил из прѐденного им отверстия и невозмутимо двинулся по полену. Откуда-то появилась на дровах божья коровка и, тоже не обращая ни на кого внимания, занялась своими непонятными для Степана делами. Эта жизнь шла своим чередом, и ее совершенно не трогало то, что рядом была расстроена чья-то другая.

«Ну уж так и расстроена, — укорил себя Степан. — Ничего, мы, Сизовы, живучие».

Вот сейчас Потап напомнил о Савинове — тысячами, мол, от него Степан откупился, — а Савинов у Сизовых рюмки водки не выпил. «Нет, — говорит, — что вы, нет, нет». Уж как Степану хотелось его отблагодарить, а тот на своем настоял: даже в дом не зашел. К такому с деньгами-то и не сунешься. Бывают же хорошие люди.

Степан Савинова раньше и в глаза не видал. Послали его откуда-то в Полежаево председателем сельсовета. Степан слышал не раз, мужики говорили: Савинов, Савинов. Но самому встретить председателя сельсовета не приводилось. До Полежаева восемь верст, а работы у Степана всегда под завязку, не бросишь ее: мол, хочу на Савинова взглянуть. Да ведь он не невеста, глядеть на него. Может, всю жизнь и не высмотрел бы этого Савинова.

А вышло так, что Потап встречу устроил с ним.

Твердым заданием обложили тогда не одних Сизовых — были семьи покрепче Степановой, были и послабее, — и Степан и в мыслях не допускал, чтобы идти жаловаться: не под тот, мол, меня разряд подогнали. Докажи тут попробуй, что не под тот. Разряды, они как резиновые: любой растягивается. Сегодня тебя к твердозаданцам причислили, а завтра могут и к кулакам. Заикнись только, что не туда угодил, так Потап Мокрецов постарается, переведет, куда надо, и попадешь из огня да в полымя. Тройка по раскулачиванию, в которой состоял и Потап, была в Полежаевском сельсовете самой активной. За ней закреплен был небольшой куст деревень — Завражье, Николина грива, Раменье, — так она впереди всех троек шла, расчищала для колхоза дорогу. В Завражье уже и под правление колхоза дом высвободили, и под избу-читальню. На Полежаево, на село, даже работали: там школу строили из кулацких домов. Потапу от начальства честь и квала. Связываться с ним опасно.

За две недели перед Петровым днем твердозаданцев отправили на сплав — моль подбирать. Насмотрелся Степан на этот народ. Мужики, зря говорить не будешь, не из бедняков. Ну, дак ведь и работать умели. Впрягутся в дело — только пугы трещат. Это не Потапу Мокрецову чета, который только горлопанить и мастер. Эти дело вершат молчком. Зато вечерами, сойдясь в пропахшем потными онучами бараче, позволяли себе отвести душу и высказать обиду на новую власть:

— Ведь это ж надо, сами нам землю дали, работайте, говорят, до упора — все ваше. Государству только налог... И обманули...

— Нэп, говорят, нэп, а сами нож к горлу приставили — вот и весь нэп.

— Да, может, так и задумывалось — обмануть нашего брата. Чтобы мы до надсады уработались, из порухи страну вытащили, а они бы на нашем горбу въехали в рай. В раю-то им нас не надо...

— Ну дак ведь сами себе хуже и сделают: на лодырях-то деревню не удержать. Еще вспомнят нас, когда у них все прахом пойдет.

— А тогда и тебя запишут в колхоз!

— Чтобы я работал, а лодырь за меня щи хлебал?

— Запишут, запишут! Без нас колхозы загнутся.

— Загибались бы сразу! Скорей бы тогда власти одумались...

Степан колхозам зла не желал. Кому как нравится, пускай так и живут. Он сам хотел осмотреться, но осмотреться и не дали — обложили твердым заданием.

— Вот выполнишь твердое задание, а там, может, примем в колхоз, — пообещал Потап.

«А я еще посмотрю, вступать ли», — подумал Степан.

Твердое задание определили, конечно, такое, что килу наживешь, а не выполнишь. Степан не вытерпел и сказал об этом Потапу. Тот засмеялся:

— Вот с килой-то мы тебя и отправим на Соловки!

Двух коров у Степана уже отобрали. Как и колхозники, остался с одной. Только им — в радость работа, а ему — в наказание. Никогда не была Степану работа такой опостылой. А тут — как каторга. Ничего бы не делал. Но страх — хуже, чем конвоир: разогнуться никому не давал. Сыну Анатолию в ту пору девять годов исполнилось, Зинке — семь, а они с утра до вечера в поле, и им дела не переделать. Наталья два раза в день посылала их — по очереди — проведать, как дома Васька сидит, так для них будто праздник. На одной ноге заподпрыгивают. За Ваську Наталья очень боялась: пять лет мальчонке, ума-то нету еще, опрокинет чего на себя — на всю жизнь урод. И все-то ей страхи на душу шли: то видит, как с печки спрыгнула кошка и Васька от испугу весь посинел; то представит, что Васька открыл окошко и вывалился из него, все лицо сборонил о землю; то спохватится, что печь рано закрыла, угару полная изба накопилась.

— Зинка, проведай Ваську да вьюшки, смотри, открой!

Зинка сбегает — оказывается, вьюшки и не закрыты.

Тогда новые кошмары лезут на ум. Утром ставили самовар, и он на залавке остался — ошпарится кипятком.

— Толька, перенеси самовар с залавка в чулан!

И Толька на одной ноге понесется в деревню.

Но вот уж откуда не ждешь, оттуда напасти и валятся.

Сидел Васька у подоконника, хлебал из кринки отснятую простоквашу да на дорогу поглядывал — кто откуда идет да кто с кем стоит, разговаривает, — все веселее так-то: знаешь, что не один в деревне остался, люди по улице ходят.

И увидел его, на беду, Потап Мокрецов: молоко парнишка хлебает, а твердое задание у Сизовых не выполнено. Долго не раздумывая, рванул к окошку, за створку подергал — а веревочка была не привязана, раскрылась. Васька чуть простоквашей не подавился, сполз с подоконника на пол — и реветь не смеет. Потап столкнул кринку — синяя простокваша киселем расплзлась вдоль половиц — и взобрался на подоконник.

— Ну, дак где масло прчечет? — спросил у Васьки.

Васька протянул палец, а выговорить ничего не может.

— Ага, в горнице, — догадался Потап и оставил онемевшего ребенка у простоквашной лужи.

Потап вышарил в горнице все и нашел-таки в блюде под столом что искал. Наталья к Петрову дню копила сливца для каши. За лето и килограмма не накопила. Где тут накопишь, когда все молоко уходило в налог. Каждый день, утром и вечером, Толька, оттягивая руки, уносил весь надой на сепаратный пункт в Завражье. Для Васьки Наталья воровски оставляла иногда литровую кринку, так и то сметану, когда настоится, всю оснивает. И вышло, что зря ребенка-то обирала: все равно масло Потап нашел.

Он и в подполье-то в каждом углу понюхал, и в чулан-то сходил, и на повить заглянул — ничего не выискал больше. Но из-за блюда с маслом шум поднял такой, что хоть на свете и не живи.

— За обман Сизовым набросить задания!

Набросили.

Вот тогда Наталья и заказала со знакомыми, чтобы Степан побывал дома. Пугать сразу не стала, не сказала, что Васька теперь заикается и ночами кричит, и про задание не обмолвилась словом, а передала только то, что надо, пусть как хочет, но отпрашивается домой.

Одному бы Степану, конечно, не выпроситься. Хорошо, мужики уговорили десятника, что на праздник — а Петров день подошел — надо проведать баб, вшей в бане выпарить да посмотреть на детишек.

— Ну, только чтоб в деревне не видел никто, а то и с меня голову снимут, — отпустил их десятник на день. Тоже маялся, видно, не знал, как домой урвать.

Степан боялся большой дороги, шел к Николиной гриве лесными тропами, берегами рек и, слава богу, никого из знакомых не встретил. В праздник — он знал это точно — ни в лугах, ни в лесу народу не будет, всем хватит хлопот готовить стол да встречать гостей, но все же, когда выбрался к Петрушиной речке, в родные места, забеспокоился: мало ли кто пойдет всполоснуть белье, а то пошлет ребенка пособирать на угорах вызревающей земляники. Степан из вершины Петрушиной речки решил круто взять вправо, чтобы выйти к Николиной гриве со стороны полей, и если кто и застигнет его врасплох, так можно будет спрятаться от досужих глаз во ржи.

Он сошел с береговой тропки на некошенный луг, жалея, что придется мять траву. Она вымахала до пояса и внизу, у земли, была еще совсем мокрой, хотя солнце припекало уже давно. Самое бы время косить. Но Степан находился теперь не в своей воле, и нынешний сплав продержит его вдаль от крестьянских работ, пожалуй, до самой жатвы. И все из-за проклятого водополья.

Весна в этом году выдалась на редкость угарная. Половодье захлестнуло не только луга, но и подкатилось к овинам и баням, смыло кое-где огороды. Вода поднялась за три ночи и за три же ночи неожиданно схлынула, вошла в берега, не дав завершиться сплаву, рассыпав по лугам моль.

Слава богу, Петрушина речка пока не сплавная и сенокосы остались непорченными. Но, правда, и по ним сохранились, как маленькие озерца, лывы воды.

Степан уже почти у самого взгорка, где кончался луг, наткнулся на заполненную водой выемку. Земля вокруг нее была влажная и зеленела, как озимое поле, только что пустившее к жизни ростки.

— И вправду, как озимь, — умилился Степан и вдруг замер от неожиданности.

В мочажине, изогнувшись дугой, лежала, будто изъеденный ржавчиной обрубок колесного обруча, зеленая щука. Плавники у нее шевелились, и это подсказывало Степану, что она живая. «Вот и не с пустыми руками приду», — подумал он и осторожно зашел в воду. Щука разомкнула круг и ударила хвостом по воде.

— Не уйдешь, — ухмыльнулся Степан. — Здесь деваться некуда, как в могиле.

Лужа была длиной шагов десять и шириной в два обхвата руками. Дно ее желто просвечивалось замореной травой, и, если закатать штаны до пахов, — замочиться негде, сухим вдоль и поперек всю исходишь.

— Ну, голубушка, — заранее торжествуя, заворковал Степан, погружая ноги в теплую, как чайные ополоски, воду. — Дуй ко мне.

Из-под ног с шипением струились вверх пузыри, запахло гнилью.

Щука торпедой стояла у противоположного берега на изготовку. Степан растопырил руки и пошел ей навстречу.

— Не-ет, не уйдешь...

Он следил за ее плавниками, пытаясь по ним понять, в правую или в левую сторону от него сделает щука рывок. Он хотел упредить ее, но щука рванулась Степану меж ног, и от неожиданности, услышав под собой струистое волнение воды, Степан неловко присел, будто хотел придавить проскочившую рыбину. Ноги у него поскользнулись, и Степан плюхнулся на спину.

— Ой ты, зараза! — Теперь ему было нечего опасаться, что может вымокнуть, и он пошел встречь щуке, намереваясь упасть на нее всем телом.

Она напряженно поджидала его. Плавники у нее неподвижно застыли, хвост онемел — и вся она была на плаву, как полено. Казалось, оттолкни ее палкой, и щука, пока не иссякнет сила толчка, боком, в перевертыши, откачнется к противоположному берегу и снова затихнет — неживая и неживая.

— Ну, теперь-то не проведешь! — Степан вошел в азарт и, зная, что

щуке деваться некуда — лужа есть лужа, — затопал ногами, взмутил под собою дно: любая рыба боится шума и не пойдет на угрожающе надвигающуюся на нее стену грязной воды. Но эта понимала свою обреченность и ринулась в мутную заграду, как человек бросается в омут, когда ему все становится безразличным.

Половодье заманило щуку своими просторами, и она, поверив ему, ушла от привычных берегов на раздолье и не заметила, как оказалась в иссыхающей луже. Часы ее были уже сочтены, так одним меньше, одним больше для щуки уже ничего не значило. Но она, проскочив опасную зону, опять развернулась у изумрудного берега, приготовившись к очередному тарану. Щука хотела жить.

— Э-э, да тебя голыми руками не взять, — удивился Степан и впервые подумал о ней уважительно. — Ты смотри-ка...

Он вышел на травку, присел у воды и достал из кармана кисет. Табак был подмочен. Это Степана не разозлило, не обескуражило, хотя курить очень хотелось.

— Смотри ты, — покачал Степан головой, продолжая думать о щуке. — Помирать и ей неохота.

Он снял рубаху, рассыпал по ней табак сушиться под солнцем. Щука неподвижно стояла в воде и, казалось, не замечала Степана. Муть перед ней уже оседала.

— Ну, ладно, живи, — подобрел Степан и блаженно вытянул ноги. В них еще не успело уняться волнение. Степан ощущал, как пульсирующие токи крови, то вздрагивая, то затихая, проходят по жилам и не дают телу расслабиться. «Ишь, как собака после тяжелого гона», — усмехнулся Степан над собой и посмотрел на лужу. Щука слегка пошевелила плавниками, видимо, тоже приходила в себя, сознавая, что срок ее жизни продлился.

Над Степаном взвились оводы — время клонилось к обеду, — и они напомнили о себе, не давая сидеть без дела. Степан отмахнулся от них, пощупал табак — не высох — и лег на спину.

На взгорке закричала сорока. «Кого еще там принесло?» — встрепнулся Степан и, приподнявшись из травы, тревожно огляделся. Сорока сидела на сосенке, повернувшись к нему, и всполошно стрекотала, будто оповещала кого-то, что вот он, беглец, прячется на лугу, и, если хотите его взять врасплох, торопитесь, пока он не ушел. Степан искал глазами, чем бы запустить в стрекотунью, чтоб она не накликала беды, но не нашел ни камня, ни палки и, шепотом прищипнув, погрозил сороке рукой. Она перелетела на другую сосну, подальше, и продолжала неумно кричать. Степан сгреб в кисет недосохший табак, натянул на себя рубаху и торопливо поднялся на взгорок, где вставало стеной поле ржи. Сорока покружила над ним и отстала, успокоившись, что человек шел в деревню.

Степан выбрался на межу и уже прикинул, проследил глазами каждый свой шаг: до развилки все прямо, потом перескочить дорогу, за ней начинается клевернице, тут придется до овинов ползти ползком, а там, осмотревшись, сигануть в огород и скрыться за кустами черемухи. Плохо, что он вышел к родной деревне со стороны Завражья: сейчас и ребятишки и бабы то и дело просматривают всю дорогу, пытаясь издали уследить гостей. С другой стороны выйти на Николину гриву было б надежнее: там рожь подступала к самому прогону, и гостей от реки да от лесу никто не ждет. Но тогда как переберешься через широкую деревенскую улицу? Его-то дом по другой руке. У Прони Плотникова, конечно, можно переждать, пока стоит светло. Так и у него ведь гости, Петров день — престольный праздник в Завражье. Но готовятся к нему и на Николиной гриве, и на Шумкове, и на Выселках, и на Мундоре — во всех близлежащих к Завражью деревнях. Гулянье идет в Завражье, а пиво варят везде, родня со всей округи съезжается. Пока не стемнеет, за столом сидят, а гулять уж выйдут при комаре.

Нет, Степан не мог мешкать до вечера. Сердце-то у него уже одолело всю дорогу: мыслями Степан уж давно в избе сидел. А на самом деле — стоял на крайней поля и, боясь оторваться от ржи, высматривал дорогу дальше. Хорошо, что клевер еще не скосили — видно, на семенники оставляют, — а то бы на бритой-то полосе — как таракан на ладони.

Степан куличком перескочил через развилку, залег в клеверище — и медом отуманило голову, будто за самовар уселся.

По дороге справа двое прошли, разговаривая. Степан прижался к земле, холодея от мысли, что его, когда он перебежал развилку, могли сзади увидеть. Правда, со спины его прикрывала рожь и опасаться вроде бы не имело смысла. По-гусиному вытянув шею, Степан выглянул из клеверища. На Николину гриву шли две старушки, обе в нарядных сарафанах, у обеих в руках по узелочку с гостинцами. И Степан, десятым чутьем созная, что они отвлекут на себя внимание деревни, бороздой — тут клевер был послабее, не опутывал ног — полез к овину.

В овине он отдышался. Теперь осталось заскочить в огород и скрыться в черемушнике — дело одной минуты. И он уж, когда на краю деревни — то ли под окнами у Людмилы Сидоровой, то ли у Мокрецовых — заиграла гармонь и, конечно же, вся деревня ее услышала, повернулась туда, собирался рвануть, пригнувшись, вдоль огорода, как вдруг уловил замешательство. Гармонь замолкла на полувздохе, и вместо ее игривого перебора «Отвори да затвори» деревню потряс нутряной зов. Прогоном бежали, подняв хвосты, две пестрые коровы. И если б Степан даже не видел их, а только слышал один радостный рев, и то понял бы, что случилось.

Коров гнал овод. К Петрову дню он входит в самую силу, и в эту пору скотину пасут на лугу только по росе, а потом запирают во дворах и ждут, пока не спадет жара и вместе с нею не сникнет овод. Бывает, пастих из желания посытнее накормить свое стадо чуть передержит его и прозеваает ту перевальную минуту, когда гнус поднимается на крыло, когда он саранчой накрывает скотину — и тогда уже пастьба вконец спутана, ни окрики, ни свист кнута не успокоят коров, и они кинутся врассыпную, так что потом их бывает трудно собрать.

Привычное дело: спасаясь от овода, коровы забираются в чашу ельника или несутся, не оберегая вымени, домой. Клейкая слюна тянется отъ рта по ветру, как паутина. Привычное дело: еще издали, на подлете к деревне, они начинают мычать призывно и жалобно, зная, что ни одна хозяйка, услышав их зов, не усидит в избе, а выбежит им навстречу с куском хлеба в руках.

Но эти коровы ревели не жалостливо. Они будто радовались, что их прогнал с лугов овод, и трубили о своей радости на всю Николину гриву. Зимой они простояли на колхозном дворе в Полежаеве, а теперь вот, по оводу, мотнулись за восемь километров домой, не скрывая своей тоски по старым хозяевам: смотрите на них, слушайте верный голос — ни от кого не прячутся, у всех на виду.

Степан, пригибаясь, пробежал вдоль изгороди в огород, затаился среди зелени. Теперь вся улица была у него на виду.

Под окошком у Фофановых стояли гости. Потап Мокрецов, уже подвыпивший, гужевался среди них, похаживая гоголем. Рубаха на нем была белая, будто снег. И, показывая ее, хвастаясь ею, Потап снял пиджак и, как на крючок, вздернул его на палец, перебросил через плечо.

Коровы прогоном вылетели на деревенскую улицу и, не обращая внимания на пеструю разноразленную толпу, повернули к дому Сизовых, заливаясь счастливым ревом.

Наталья выскочила за ворота, простоволосая, легкая, и охолонула под взглядами баб и мужиков, растерянно прижалась к забору. А коровы, завидев ее, прибавили прыти, запомыкивали нежно, будто подзывая к себе теленка. Поравнявшись с ней, они резко застопорили, как лошади, и еще метра два по инерции скользили вперед, пугая затаившегося в черемушнике Степана, что сомнут жену. И Пеструха, и Улька враз потянулись к рукам Натальи, облизывая их, привычно дожидаясь хозяйкиной ласки. А она стояла, немая и скованная, пока не услышала голос Потапа:

— Ну, так что, загоняй колхозных коров во двор да беги за подойником.

Наталья испуганно замахала на коров руками:

— Сы-ы, пошли! Сы-ы, отсюда!

Коровы не понимали ее, прижимали к забору и все лизали ей руки. Овод кружился над ними. Они отбивались от него хвостами, лягались, крутили комолыми головами — и все тянулись к рукам Натальи.

— Милые вы мои! — Наталья бросилась к Пеструхе на шею и заревела навзрыд.

Степан, закаменев сердцем, встал во весь рост и пошел из кустов на дорогу.

И показалось ему, что от удивления деревня затихла: перестали мычать коровы, затаились и птицы, и ветер, и трава прекратила расти — земля враз онемела. Степан видел на глазах жены слезы, видел, как она вздрагивала телом, но не слышал всхлипов. Он видел, как мехами ходили бока коров, но не слышал тяжелых вздохов. Он видел, как надвигалась на них с Натальей толпа, но не чуял ее шагов.

Слух вернулся к нему резко, будто Степан вынырнул из глубокого омута и из немого подводного мира перешел в многозвучный земной. К Степану, ухмыляясь, подходил Потап Мокрецов.

— Уж не в Полежаево ли ходил за коровами? — спросил он, переброшив пиджак с одного плеча на другое.

Глаза у него пьяно лоснились, и Степану показалось, что подковыривал его Потап без всякого зла, а так, чтобы порисоваться перед гостями: был, мол, Потап Мокрецов для всех посмешищем, а теперь сам потешается над кем хочет.

— Ты, чем смеяться-то, человека бы выделил да угнал коров, — сказал Степан, удивляясь ровному голосу. Может, потому и ровно сказано, что не увидел в глазах Потапа ни зла, ни ненависти к себе, а самому с сердцем напирать на подвыпившего человека только за то, что тот в своих глазах вырос, было б, конечно, негоже.

— А твои коровы — ты и гони, — закривлялся Потап.

— Нет, они уже не мои, — сказал Степан и, подтолкнув локтем жену, повел ее от людей в ограду. Коровы было рванули за ними, Степан закрыл ворота, и Пеструха с Улькой, ошалев от овода, выскочили на пыльную дорогу, но, добежав до прогона, повернули назад и замычали требовательно.

— Ты чего не выполняешь приказание властей? — захорохорился, как петух, Потап Мокрецов, но Людмила Сидорова оттеснила его плечом, и Потап запрыгал у нее за спиной, распалая себя криками:

— Ему колхозную скотину не жалко!.. В нем кулацкое жало сидит!.. Он из-за угла готов...

Степан вышел за ворота и опять не увидел в глазах Потапа ни зла, ни твердости.

Толпа загомонила, опасаясь скандала, зашикала на Потапа. А Людмила вышла вперед и, будто она представляла собою власть, а не раскрывшийся Мокрецов, попросила Степана:

— Пусть они жару перестоят во дворе, а то куда их сейчас погонишь?

Степан ничего не ответил. Людмила открыла ворота. Коровы, помыкая, затрусили в ограду. Наталья, запричитав, побежала за ними.

— Та-а-ак, — многозначительно протянул Потап и, как войсковой командир к провинившемуся солдату, подскочил к Степану. — Предъяви документы, что ты отпущен...

И если бы не Филя Фофанов, и в праздник вырядившийся в полинялую гимнастерку, Степан не догадался бы, чем объяснить свое появление на Николиной гриве, и, выходя, подвел бы десятника: Потап не преминет сообщить куда следует о побывке твердозаданца, и десятник, не желая отвечать головой за человека, не выполнившего его наказ — прятаться от всех, — не возьмет на себя вины за отпущенную и скажет, что Сизов совершил побег. Вот ведь, как заключенный...

Филя Фофанов осадил Потапа:

— Да кто без документов на риск пойдет...

Потап замялся, но еще раз, хотя уже и не таким твердым, как прежде, голосом, потребовал:

— А пусть все же покажет...

И Степан нашелся, как ответить ему:

— Ты не милиционер — документы требовать... За пиджаком еще из-за тебя в избу пойду...

Потап было заподпрыгивал на носочках, но Филя его охладил:

— Без документов он бы так и показался тебе.

— Это верно, — размяк довольный Потап. Все-таки его признавали за начальника. Он презрительно отвернулся от Степана и пошел к дому Сидоровых, где играла гармонь.

Филя непритворно вздохнул:

— Кто-то наверху вредит.

— А кто, Филя? — по инерции спросил Степан.

— Не знаю, — Филя, не попрощавшись, тоже направился к Сидоровым, и Степан в какой раз не сумел понять, о вредительстве в мировых масштабах толкует Фофанов, находясь под впечатлением разговоров в избе-читальне, или, жалея Степана, намекает на козни, творимые вокруг сизовской семьи.

Степану на улице делать было нечего, и он пошел в дом.

В доме было неприветливо. Пахло кислыми щами. Степан, пока Наталья ревела у коров, заглянул в печь — и, кроме ведерного чугуна, ничего на нашел. Раньше к Петрову дню вся печь заставлялась чугунками и плошками. А сегодня Наталья, видать, не ждала гостей.

— Ты чего заслонкой гремишь? — спросил с печи отец. Он теперь частенько прихварывал и потому не мог без тепла, за кожух уляжется и еще кошулей себя укроет.

— Пирогов-то не испекли? — спросил Степан.

Отец вылез из-под кошули, спустил с печи костлявые ноги и вяло махнул рукой:

— Тут тебе таких пирогов напекли — не на один праздник хватит.

И пока он рассказывал Степану, как они всем домом были на сенокосе и как Потап Мокрецов напугал Ваську до полусмерти — Васька теперь заикается, по ночам вскакивает, как дурачок, и в постели мочится, — пока он рассказывал все это, у Степана несколько раз останавливалось сердце, и он судорожно глотал воздух и задыхался. Знай Степан это десять минут назад, при встрече с Потапом, беды бы не миновать.

— А где Васька теперь-то?

— Да бегаёт... Чего ему...

У Степана немного отлегло на душе.

Потом пришла со двора Наталья и принялась все рассказывать заново. Степан не выдержал, послал ее искать Ваську. А сам сидел как на каленых углях и не знал, чем заглушить внутри жар.

Отец курил наверху, пуская вдоль потолочины дым.

— Я вот в Завражье в лавку за сахаром ходил, так Матвея Соколова видел. Обрисовал ему все как в подлинности. Говорю: «Ты бригадир колхоза, бывший Степкин друг. Как нам быть?» Он, знаешь, чего посоветовал?

— Чего?

— Говорит, пусть Степан в суд обращается. Нарушение закона, говорит, Мокрецов допустил. За это по головке его не поглядят...

— Ну да-а, нашел дурака, — вздохнул Степан, но сам подумал, что Матвей на худое не должен его наставлять. Все-таки вместе парнями гуляли, в одну деревню провожаться ходили и заодно отбивались от михалевских парней. Теперь Матвей бригадирит в Завражье, а Степан угодил в твердозаданцы. И не заметил, как разошлись дороги.

Вспоминая прежнюю дружбу, Степан все больше склонялся к мысли, что Матвей наставлял его через отца на верное дело: хуже того, что есть, уже ничего не придумаешь. Пролетарию, говорят, нечего терять, кроме своих цепей. Будь что будет. А и так жить нельзя. В суд не в суд, но до Савинова надо идти да заодно заглянуть к брату Фили Фофанова, Сидору Ильичу. Этот в Полежаево стал агентом по налогообложению, а наш, николинский, ушел в примак в село — и вот вам, выбился в люди. На Николиной-то гриве, не разделись с Филей, а веди сообща дело, может, и Фофановы угодили бы в твердозаданцы: у них хозяйство справное. Хотя нет, не посмели бы тронуть: Филя из красноармейцев.

Да, надо к Сидору Ильичу зайти, посоветоваться: он при начальстве, знает новые указания.

Теперь Степана уже не останавливало то, что он отпущен десятником тайно. Николина грива знает, что Сизов на Петров день домой прибежал, и в сельсовете станет известно. Так уж лучше вести себя как отпущенно-

му, открыто: меньше справок наводить будут, что да как. Шило из мешка уже все равно торчит. Семь бед — один ответ.

Степан дождался, когда Наталья привела младшего сына, хотел поспрашивать его, что да как, но Васька заикался — полслова скажет и две минуты мычит, не разговор, а пытка. Прижал Степан сына к себе, уперся подбородком в шелковистые волосы, и слезы сами выдавились из глаз. Совсем ослабели нервы: чуть чего — и под глазами мокро, как у бабы. Оттолкнул сына:

— Иди побегай.

А Васька и рад: отвык совсем от отца. Вылетел на улицу, будто ветром сдуло.

Пока сидели за столом и обедали, со стороны Полежаева натянуло дождя. Перевала громыхала тяжело, будто по небу катилась огромная худая телега, которая то и дело натыкалась на камни и выбивала из них тягучие огневые искры, озарявшие землю всполохами. С потока журчала вода. В избе было сумеречно.

Обед проходил молчаливо. Все знали, что Степан решил идти к Савинову, и боялись нарушить молчание. Да его некому было и нарушать. Гришка с девками с утра отправились сенокосить. Прихворнувший отец, постанывая, грелся на печке, стыдясь, что без дела остался в страдную пору. А Наталья не только вся выговорилась, но и охрипла от рева, тетеерь от нее не скоро слова добьешься.

Тучу пронесло быстро. И у Сидоровых под окном опять заиграла гармонь. Пьяный голос Потапа с повизгом выкрикнул полчастушки:

Бога нет, царя не надо,
Никого не признаем...

В избе стало слышно, как по грязи тяжело затопали — в такт гармонии.

Провались земля и небо,
Мы на кочке проживем.
У-ух!

Степан выглянул в окно. Потап задиристо выплясывал трепака. Грязь летела из-под сапог на белую рубаху. Бабы охали, кричали Потапу, чтобы он поберег одежду. А Потап, возбуждаясь от их уговоров, сбросил с плеча пиджак и, держа его за полу, волок за собой по земле. Ничего не жалко! Гулять так гулять!

Было попито, поедено,
Похожено в кабак.
Было с девками погуляно
За денежки и так.

И нагоркшая обида на Потапа заставила Степана зло сплунуть на пол.

— Да уж ты погулял... Есть чем похвастаться. Распоследняя девка тебя за версту обходила...

И, будто наперекор Потаповым частушкам, на другом конце деревни, в поле ли за домом Прони Плотникова или в избе у него — не разобрать было, — взметнулся девичий голос:

Пой, товарка веселее,
Ничего, что начали,
Кто работал день и ночь,
Того и раскулачили.

Степан обмер, ему показалось, что пела его дочь Любава. Этого еще не хватало.

— Где Любка-то? — настороженно спросил Степан.

Отец с печи ответил:

— Да мы же говорили тебе: на сенокосе все — и ребята, и девки.

— А где на сенокосе? — по-прежнему холодея нутром — одрог даже на коже выступил гусиными пупырышками, — уточнил Степан.

— В Савушкином логу, — спокойно сказал отец.

А девичий голос — теперь Степан разобрался, не Любкин, хоть и схожий с ней, — за первой частушкой пустил вдогонку другую:

Раскулачили милого,
Раскулачат и меня.
Хоть бы в те леса сослали,
Где и милый у меня.

Степан оторопело открыл окно, наполовину перекинулся через подоконник. У Прони Плотникова в избе было тихо, и гостей, кажись, не было. Да и не посмели бы гости подводить Проню под наговор. В поле, за Прониной избой, тоже было безлюдно. «Ой, никак Любка прибежала из Савушкина лога и дразнит Потапа», — на этот раз не похолодел, а вспотел Степан.

Потап и в самом деле, как охотничья собака, сделал стойку, навострив левое ухо. Он ждал, когда девка осмелеет еще больше и запоет снова. Но она, наверно, видела его и молчала.

Потап, не дождавшись, перехватил пиджак под мышку и прямым ходом двинулся к Прониной избе.

«Ну все, Проня, и за тебя возьмутся», — посочувствовал соседу Степан и — от греха подальше — закрыл окно. Потап протопал к Прониному крыльцу, но на дверях, оказывается, висел замок — было слышно, как Потап им сбренчал, проверяя, поди, на ключ ли закрыто.

— А где, тятя, Проня? — спросил Степан.

Отец ответил с печи:

— В Завражье к брату ушел. Петрован пиво варил.

Потап спустился с крыльца, вприпус побегал в огород, потом вышел — уже огородом — на проселочную дорогу.

И девичий голос, дразня его, вылетел откуда-то из лопухов, из крапивы, вымахавших в рост человека на печьевище перевезенной в село избы Федора Перминова, раскулаченного в полежаевском сельсовете одним из первых.

Хорошо тому живется,
Кто записан в бедноту:
Хлеб на печку подается,
Как ленивому коту.

«Уж не Фаина ли из лагерей убежала?» — подумал Степан о Федоровой дочке и вспомнил о сапогах, которые, как ему казалось, Федор попросил взять на хранение. Сапоги лежали на прежнем месте, под крышицей у ворот. Никогда не додумаешься, что там станут прятать самое ценное из добра: прятать обычно подальше, поглубже, а не у самой дороги. «Может, Фаина за сапогами и явилась?»

Потап, как городской — только шашки на боку нет, а рукой-то все равно, будто эту самую шашку, прижимал к поясу пиджак, — заскочил в перминовские лопухи. Но и там никого не было. Он увидел наблюдающего за ним из окна Степана и помаячил рукой: открой, мол, створки-то.

Степан распахнул окно.

Потап вышел из бурьяна:

— Это не Любава ли балуется? — спросил с угрозой.

Степан подавился кашлем:

— А проверь, если голоса не различаешь. Она в Савушкином логу косит.

— Любава, Любава, — сказал Потап торжествующе. И опять вприпус побегал к Савушкину логу. А ну, Любавы и в самом деле не окажется там?

Степан не находил себе места, пока не увидел, что Потап вернулся назад. Раз не заскочил к Степану, а отправился сразу к Сидоровым, значит, ноги ломал вхолостую: Любава косит. И ведь прощения даже не попросил за навет. Как ничего и не было.

Степан поднялся из-за стола, решив немедленно отправляться в село. Времени у него оставалось в обрез: с утра надо было подаваться на сплав. А к вечеру Наталья собиралась стоготить баню.

Степан побаивался встречи с Савиновым, но терпелу в нем уже не осталось нисколько: Потап до остаточка выскреб. Приходилось на карту ставить все: или пан, или пропал. С властями связываться он никогда не брался. А теперь и особенно страшно: время началось крутое, некогда разбираться, чей да откуда. Деток к тому же жалко. Они за отца не ответчики, а все равно с ним загремят. На Соловках места много.

Наталья о чем-то толковала ему. Он ходил по избе, слыша голос жены и не понимая, что она говорит. И только когда она подала веревку, догадался, что Наталья просила его увести коров.

— Одному-то не совладать.

— А ты Ваську возьми.

Господи, да какой из Васьки помощник: пять лет всего. На третьей версте сам растянется. Но больше брать некого: больного отца не потащишь с печи, а Наталье и дома хватит забот. Конечно, Тольку бы в погонялы взять милое дело, но и на сенокосе его руки не лишние. Придется Ваську. И, смирясь с этим, Степан перебросил веревку через плечо.

— Ты бы хоть подоила их.

Наталья замахала руками и шепотом возразила:

— Ты что говоришь-то? Ведь они чужие теперь.

Степан почесал в затылке:

— Да я ведь не заставляю. Я думал, им легче будет.

— Нет, нет, и не говори!

Васька, узнав, что отец берет его в Полежаево, запрыгал от радости. Сказать что-то хотел, да замычал как теленок. Степан не выдержал, вышел из дому и уже в открытое окно услышал, как Васька, прозаикавшись, выговорил:

— У м-меня и в-вица б-большая есть.

— Вот и хорошо, — ответила мать.

Коров за веревку вывели со двора. Они не хотели идти, упирались, помывивали, будто понимали, что навсегда прощаются с Николиной гривой, со своими хозяевами, с Васькой, который сзади подхлестывал их вицей.

Овода после дождя не было, хотя солнце и ветер уже обсушили траву. Земля дышала испариной, умытая перед праздником. Дорога, правда, еще разъезжалась от грязи. Но Степан шел обочиной. А Васька не обходил луж, и Степан слышал, как сын, отступаясь в глубоких местах, испуганно охал и поворачивал назад.

— Ты у меня в погонщики напросился или по лужам бродить? — притворно сердился Степан, и Васька какое-то время бежал по обочине, а потом опять забывался и лез во встречную лужу.

Васька, Васька... Ведь ты идешь за своей судьбой и знать ничего не знаешь. Как она к тебе обернется?

Коровы, видать, смирились с тем, что их уводили от дома, понуро шли за хозяином. Веревка, конец которой Степан намотал на руку, провисла чуть не до самой земли. Васька плелся далеко сзади, уже свянув от жары, и не забегал больше в лужи. Вица у него не взмывала вверх, а, отяжелев, оттягивала правую руку, тащила за спиной по земле.

Степан украдкой оглядывался на сына. Идет насупленный, устал-испереустал, а отдохнуть не попросится. Пот на лбу — как роса.

— Не замерз, Васька? — усмехаясь, спросил Степан.

Васька не понял шутки, ответил всерьез:

— Н-наоборот, о-о-ж-жарел, — но не заикнулся о передышке.

И Степан вдруг поймал себя на мысли, что не знает сына. Вот растет человек, а какой он — упрямый? добрый? завистливый? вредный? — Степан и понятия не имеет. Васька сам по себе растет. Свои заботы у парня, которые неизвестно, сходятся ли с заботами матери и отца. Каждый думает в одиночку. Да и как им вместе-то думать? Степан не помнит, когда с Васькой и разговаривал. Наверно, когда в зыбке качал. А потом навалилось своих забот, не знал, как и выпутаться из них. То задуманная для Гриши изба, то — будь оно неладно — родовое пиво, то вот этот сплав... Ребят и в глаза не видишь.

Ну ладно, Васька еще соплун. А Тольке девять годов: недосмотри — отобьется от рук. Наталья и то уж жаловалась: перестал ее слушаться. Она пожаловалась, а Степан и к словам ее не пристал. До Тольки ли, когда не знаешь, что с самим будет. И девки, видя, что родителям не до них, тоже отделились от матери и отца. Между собой шушукуются, а о чем — не узнаешь. За девками-то сейчас и нужен самый пригляд: на выданье девки. Мало ли что может взбрести на ум.

Васька сзади захныкал.

— Ты чего ревешь?

— Д-а-а-а, — куксаясь, заикался Васька. — Я в-вицу п-по-о-терял.

— Ну и наплевать, — успокоил его Степан, а сам подумал, что надо бы сделать остановку. Восемь километров парню без передышки не одолеть. На корову, что ли, его верхом посадить? Так, чего доброго, корова взбрыкивать начнет, перепугает парня. Как ни поджимает время, а придется чуток отдохнуть.

И все же он попробовал усадить сына на Пеструхину спину. Корова обернулась, лизнула Ваську за голую ногу. Васька засмеялся, не заревел.

— Ну, держись.

А держаться-то не за что: слетит как мешок. Пришлось отказаться от несерьезной затеи, устраивать короткий перекур.

После передышки двинулись дальше. Но Васька с первых шагов отставал, и Степан пожалел, что согласился на такого помощника. Корова-то лучше идут, чем погоняла, не сопротивляются, не рвутся никуда убежать. Как николинское поле оставили позади, так и присмирели, за всю дорогу веревки натянуть не пришлось. Можно бы обойтись и без Васьки.

Зато когда пришли в Полежаево, Степан оценил дальновзоркость жены: именно с Васькой и надо было идти. Но Наталья, конечно, без задней мысли отрядила с ним сына, хоть и угодила в самое яблочко. Бог надоумил, что ли, ее, или сердце у бабы вещунье?

Получилось так, что на сельсоветских дверях оказался замок. «Вот незадача,» — ужаснулся Степан, замирая от мысли, что ему придется возвращаться ни с чем.

Проходившие мимо бабы сказали:

— Да они у Мишки Томилова. Дом описывают.

«Ну, еще лучше попал», — совсем упал духом Степан. Не пойдешь же к Томиловым, не скажешь, что нужен Савинов. Там и без него страсти накалены. И если Савинов и вернется сегодня в сельсовет, то придет, как хмельной, толком будет не поговорить. Скажет: «Одного сейчас раскулачили, и ты за ним следом хочешь?»

Конечно, Томилов Степану-то не чета. И лавка была у того с красным товаром, и скота полный двор — своим домом управиться не могли, нанимали работников. А Степан... Да ведь кровь в голове сыграет у Савинова, так не будет считать-высчитывать, сколько ртов у Сизовых.

И, заранее пугая себя неудачным разговором с председателем сельсовета, Степан велел Ваське дожидаться его на крыльце, а сам пошел к Сидору Фофанову домой. И уж за угол завернул, когда обожгло догадкой: «Сидор же с налогообложением бегаёт по деревням». Но и торчать на глазах у всего села было неловко: сразу пойдут пересуды, что да за чем. А лишние разговоры ему были ни к чему: со сплава отпущен на один день, да и отпущен-то не по-настоящему, воровски. «Пойду к Фофанову, самого дома нет — с бабой поговорю», — решив так, Степан все же вернулся к сельсовету и наказал сыну:

— Придет дядька в военной гимнастерке — сразу дуй за мной. Во-он туда, видишь, крыша белая, свежая?

— В-в-ижу. А гим-м-настер-р-ка — это ш-шапка с-со звез-з-дочкой?

— Нет, шапка — буденовка. А это навроде рубахи, как у Фофанова. — И он оставил сына на пригретых солнцем ступеньках.

Васька сидел-сидел да и задремал. Не слышал, когда Савинов появился, не видел, как удивленно тот посмотрел на него и спросил у своего секретаря Петьки Баданина:

— Это еще что за посетитель ко мне?

— Не наш. В Полежаеве нету таких, — ответил Петька и стал открывать замок.

И вот тогда Васька проснулся, вскочил испуганно и хотел было бежать за отцом.

— Стоп! — схватил его Савинов за руку и, когда Васька стал вырываться, ласково засмеялся: — Да ты не бойся, я не кусаюсь.

Военной рубахи на нем не было, но Ваську не проведешь, он сразу понял, что это Савинов.

— А т-т-ты пошто н-не в-в р-рубахе? — спросил, заикаясь, Васька. Савинов захохотал:

— А это что? — И оттянул на себе красную косоворотку.

— Эт-то т-тоже р-руб-баха. А у т-тебя в-военная где? К-как у Фофанова?

- Военная в сельсовете. Пойдем покажу.
- Н-нет, мне н-надо тя-я-те с-сказать, что т-ты п-пришел.
- Ну, посмотришь и скажешь.

Васька заколебался.

Савинов, видно, любил ребят. Семья у него жила пока в городе, и он тосковал по детям, а то с чего бы ему Ваську ласкать.

— У меня и наган есть, покажу, — зазывал за собой он парня.

Перед наганом Васька не устоял.

И они уже с Савиновым мирно беседовали, когда Степан, не дождав-шись своего вестового, сам прибежал в сельсовет.

— Т-тя-тя, он б-без руб-б-бахи, — сообщил ему Васька, и Савинов снова захохотал.

— Хороший парень у тебя. Только вот дефект, — Савинов показал на язык. — Лечить надо.

Если б Савинов промолчал об этом, Степан сдержался бы, сел на стул к столу и начал разговор, как всякий проситель, — издалека. А тут обида, затаившаяся в нем давно, перехватила дыхание:

— Лечить, говоришь? — хриплым голосом переспросил он. — Вы ка-лечить, а я лечить?

Савинов строго сдвинул брови к переносью, но промолчал, а Петька Баданин, секретарь сельсовета, не выдержал:

— Ты находишься в государственном учреждении. Не забывайся, то-варищ Сизов, — напомнил он незнакомым, чужим голосом. Ах ты, мать-перемать, яйца курицу будут учить! Петькин отец, Данила, и то не позво-лил бы себе так разговаривать с пожилым человеком. А этот — подросток почти — до власти дорвался — и я не я, себя в зеркале встретит, так не уз-нает, на себя начальником накричит. Нет, не зря его в народе по-за гла-за Баданенком зовут. Не Баданиным, не Петром Данилычем, а Бада-ненком.

Степан был на взводе:

— Я на земле нахожусь, Баданин. — Он с трудом выговорил фами-лию как положено. — А вы меня в землю норовите упрятать. — Степан об-реченно махнул рукой.

— Товарищ Сизов! — крикнул Баданин.

Васька испуганно заревел, бросившись к отцу в колени, уткнулся ли-цом под рукав, Савинов нахмурился:

— Петр Данилович, не надо кричать.

Баданенок зло выдвинул ногой из-под стола табуретку и сел, скре-стив руки на груди:

— А ходят тут всякие! Их стрелять надо, а они у нас на нервах играют.

— Стреляйте, я согласный, — упавшим голосом проговорил Степан, сознавая, что пришел в сельсовет в неурочный час: действительно раску-лачивание разгорячило начальничьи головы.

Васька заревел еще громче.

— Ну, вот видишь, — укорил Савинов Петьку. — Перепугаем ребен-ка, а он и так заикается.

— Ничего, — холодно не согласился Степан. — Пуще этого заикать-ся не будет: он у меня и без того пуганый. Клин вышибают клином. Ва-ляйте, кричите еще...

Баданенок соскочил с табуретки.

— Да чего с ним чикаться? Он же твердозаданец! Не сегодня зав-тра и его пора раскулачивать.

— Правильно. Раскулачивайте всех подряд. Может, и мы с бабой заиками станем. Один уже нас пугал...

Савинов насторожился и попросил Степана выражаться без всяких загадок.

— А я и так без загадок. Вот у него спроси! — Степан поднял заре-ванное лицо сына. — Он тебе сам скажет, отчего заикается. Скажи, Вась-ка, ему.

— Оставь ребенка в покое! — рассердился Савинов. — Говори, что случилось?

Что случилось? А вот то и случилось. Как объяснить словами, чего, не прочувствовав на себе, не испытав на собственной шкуре, никогда не

понять. Всю жизнь не перескажешь словами. А без этого — чужая душа потемки. Вот разве объяснишь незнакомому человеку, как Сизовы выкорчевывали поле, как прокладывали по нему первую борозду: плуг выскакивает из земли, в руках не мозоли — кровь. И рубаха в поту, хоть выжимай ее. Пашня, может, оттого и рожала хлеб, что была полита не столько дождем, сколько потом.

И вот пришел тот поганый день, когда Степану сказали, что он недостойн этой земли. Нет, его не обвинили в лицо: ты, мол, плохой работник. Если б обвинили, он имел бы право на виду у деревни кричать и требовать, чтоб соседи сказали о нем все, что думают. Они-то ведь не слепые! Нет, его не обвинили, что он бездельник. Его приравнивали к тем, кого прозвали теперь насмешливо — «мироеды». Господи, да кого он объел? Как и все, ходит в лаптях. Как у всех, рубаха выпрела на спине до дыр. Как у всех? Да, как у всех, кто вставал до того, как закричат петухи, кто за день утопчется на полосе до такой степени, что не помнит, как и до кровати добрался. И вот его полоса перешла в колхоз...

— Постой, — насупился Савинов. — Ты что, против колхоза?

Господи, ну как объяснить человеку, чтоб он понял его? Неужели он, Степан, такой дурак, что пойдет против всех? Нет, и он за колхоз.

Ведь колхоз — это что? Вот, скажем, семья у Степана из двенадцати человек. И представь, что ребята уже подросли, вошли в силу... Это ж тоже своего рода колхоз. Ну-ка, такой семьей сподрученной жить или каждому сам по себе? Тут и спрашивать нечего. Степан вон извелся совсем, когда его надоумили отделить Гришку и стариков родителей. Это же все равно, что веник по пруту растирать.

— Э-э, да ты, брат, философ, — удивился Савинов.

Степан не знал этого слова, но понял, что его хвалят, и пообмяк.

— Мужик я, — сказал он в ответ. — Мужик, у которого все отняли.

Вот так — слово за слово — разговорились. Рассказал Степан о себе, рассказал о Ваське.

— Оттого и заикается парень, что вся наша жизнь заикнулась.

— Ну, ну! — предостерег его Савинов. — Не обобщай... Ну, не разобрались, может, сгоряча рубанули, а ты еще подливаешь масла в огонь.

— Да как это не разобрались? — не утерпел Баданенок. — Он внаем лошадей отдавал...

— Я? Внаем? — поперхнулся Степан. — Никогда не бывало такого.

— Неужели забыл? — подбоченился Баданенок. — Так я напомину. — Он торжествующе заулыбался. — А прошлой весной Мокрецов на твоём мерине пахал свой клин?

Ах, во-о-он оно что... И в самом деле было такое «мероприятие». Степан по-соседски пожалел Мокрецова, дал коня. У того участок уже зарастал дурниной, а лошади своей не было. Участок у него небольшой. Тем более Степан со своей пахотой управился, лошади были свободны. Сейчас бы Степан ни за что не пошел на выручку к Мокрецовым, а тогда отношения у них с Потапом натянуты еще не были. Потап свататься за Любовь не приходил. Да это же и не в прошлом году было, а в позапрошлом.

— Ах, было все-таки, было! — поймал Степана на признании Баданин.

— Да, помог я ему конем... Но не внаем...

— Помог? — скривил Петька губы. — Ой, какой бессребреник!

— Ну, бутылку он, правда, выставил, — признался Степан. — Так он сам же больше меня и выпил.

— Меряли даже, кто больше? — не унимался Петька. — А у нас сведения есть другие: внаем давал.

— Спросите у народа, внаем или не внаем... Народ все видел.

— А нам сам Мокрецов говорил!

— Слушайте его, он скажет...

Вот ведь как оборачивается: Мокрецову верят, а народу не верят. Спросили бы у Фофанова, он красноармеец, вашего поля ягода. Фофанов не совет. У Сидоровых спытайте, у Прони Плотникова... Бутылку Потап действительно выставил — так из благодарности же! Если бы Степану кто-то помог, так и Степан угостил добродетеля за это. Вон, строятся, быва-

ет,— всю деревню кличут на «помочь». И хозяин угощение выкатывает. Так уж принято, не сегодня заведено такое. И тут — как «помочь» была.

— Что-то, я вижу, вас с Мокрецовым лад не берет, — сказал Савинов и кинул взгляд на Ваську, почти успокоившегося, правда, изредка икающего. Лицо у Васьки от недавних слез было в грязных подтеках.

— А раскулачить меня грозитя, — сказал Степан и, не подумав, добавил: — Вы ведь теперь раскулачиваете, кто под руку попадет...

Баданенок опять взвился:

— Нет, вы подумайте! Да это же открытая контра! Мы — кулаком по кулаку, как партия нас призывает! А он в чем нас обвиняет? В перегибах?

Савинов остановил его:

— Подожди, Петя. — Уже только по имени Баданина назвал, без отчества, доверие ему свое подчеркнул. — Почему «кто под руку попадет»? У нас есть критерии, кто кулак, кто не кулак.

Незнакомое слово «критерии» Степана не смутило: оно стояло в ряду понятных ему слов, и от этого делалось вроде бы тоже понятным.

— Это какие же?

Он уже примеривал эти «критерии» на Мишку Томилова, от которого сельсоветчики пришли сегодня такими разгоряченными, — он-то, Мишка, по представлению Степана, конечно, кулак! — примеривал и на Федора Перминова, своего соседа: это середняк, и то не, ох, какой, и его скорей всего раскулачили из-за сепаратора — ну-ка, сепаратора ни у кого, ни на Николиной гриве, ни в Завражье нет, а у Перминова, у дурака, куплен. Да ему от трех-то коров сметану и ложкой снимать можно было, а его потянуло на красивую жизнь. Вот и ударили кулаком. Только по кулаку ли?

— Есть критерии, — повторил Савинов и, порывшись в столе, достал газету. — Вот, слушай. — Важное место из статьи, которое он намеревался зачитать Степану, у него было отчеркнуто красным карандашом. Газета истерлась на сгибах, просвечивала, когда Савинов поднял ее к глазам. — Значит, так, читаю: «Кулак может быть определен по следующим признакам: во-первых, по найму рабочей силы, во-вторых, — по эксплуатации с помощью ли торговли, с помощью ли дачи капитала в денежной форме, или с помощью сдачи инвентаря, чужого труда, и получению этим путем прибавочной стоимости».

Написано было заковыристо, но суть Степан уловил: кулак — эксплуататор или торговец. Ни он, Степан, ни Федя Перминов под эту статью не подходили.

— Это что, указание такое пришло? — спросил Степан. — Новое?

— Да не новое, а на Пятнадцатом съезде партии было объявлено.

— Сталиным? — уточнил Степан.

— Нет, Милютиным, наркомфином России.

— Этого не послушаются.

Савинов засмеялся.

А чего смеяться? Федора Перминова раскулачили после съезда, наркомфина и не вспомнил никто. Выходило, что, как и с нэпом, обманывали мужиков.

— Ну уж, если ты о нэпе вспомнил, — сказал Савинов, — я тебе прочитаю, что говорили наши руководители и об этом. — Он достал другую газету, тоже исчерпанную красным карандашом и тоже еле живую на сгибах. — «Нэп — так называемая «новая экономическая политика» — был уступкой среднему крестьянину, мелкому собственнику, мелкому хозяйчику, который еще предпочитает индивидуальное хозяйство коллективному хозяйству. Этой политики мы придерживались, придерживаемся и будем придерживаться, пока существует мелкое крестьянское хозяйство».

Тот, кто писал статью, намекал на то, что мелкого крестьянского хозяйства скоро не будет, всех загонят в колхозы.

— Товарища Сталина указание? — опять уточнил Степан.

— Нет, Молотова.

Сталин почему-то по главному вопросу отмалчивался. Или, может, у Савинова не было газет со сталинскими статьями. Все-таки с нэпом мужика обманули, тут Степана не переубедить. Насоветовали обзаводиться косилками, сепараторами, расширить посевы, увеличить поголовье скота, заинтересовали работать круглыми сутками — землю дали не в пользование, а в безраздельное владение, но, когда стали видны результаты тру-

да, разом все и прихлопнули как мышеловку. Вслух высказывать свои сомнения Степан не стал: судьбу дразнить нечего — сколь ни терпелив Савинов, но и он от поперечного Степана взовьется, как Баданенок.

Степан только и решил спросить:

— Вот когда все были бедные, почему не собирали в колхоз?

Савинов не нашелся что ответить ему, на какое-то время задумался и неожиданно предложил:

— Ну, поехали на твою Николину гриву!

Степан замялся:

— Да там... гуляют...

— Вот мы им разгон и устроим, нашли время гулять!

— Да ведь праздник...

— Религиозный! — строго возразил Баданенок. — А у нас разнарядка пришла из района: подтянуть темпы на сенокосе, наш сельсовет из-за этих праздников в хвосте плетется.

Степан уже слышал об этих самых, о разнарядках, передаваемых из района по телефону, а иногда и с нарочным под расписку: весенний сев закончить к такому-то сроку! — хоть снег на полях синееет, а выполни; жатву начать в последних числах июля! — да рожь еще и не отцвела полностью, нет, сводку портите, жните зеленую, пора «первую заповедь» — сдачу зерна государству — уже выполнять!

— Подгоняют, — заключил Степан.

— А сознательности нет, так как не подгонять, — оправдал районных начальников Петька. — Сам говоришь, на Николиной гриве гуляют, а косить самая пора.

Верно, пора. Но раньше-то не подгоняли, а все успевали в деревне сделать. Какая-то пружина все же сломалась. То ли подгоняльщики не нравились мужику и он противился им, выказывал норов, то ли мужик был не намерен работать «на дядю», который, не советуясь с ним, сколь хотел, забирал с колхозного поля себе, сколь хотел, оставлял на месте, а, пожалуй, не нравилось мужику и то, и другое. Рушился интерес к работе.

Савинов, видя, как Степан хмурится, попытался поддержать Петьку и заговорил о том, что по стране резко упало поголовье скота — даже цифры назвал, упало чуть ли не вдвое, — и расценивалось это как саботаж кулаков и несознательной части середняков. В этом году предстояло выправить положение: скот резать никому не позволят, специально сделали упор на 107-ю статью в законе, которая грозила конфискацией имущества и высылкой в чужие края. Поголовье скота будет резко поднято, а под него надо подвести кормовую базу. Вот почему такие суровые телефонограммы поступают в сельсовет из района. Да-а, тут не Потопом пахнет. Потоп исполнял, что скажут. Конечно, усердствовал сверх меры, но в этом у него был и свой интерес: по 107-й кой-чего перепасть могло и самой тройке по раскулачиванию.

— Ну так что? Едем? — повторил приглашение Савинов.

Петька Баданин суетливо засобирался, но Савинов остановил его:

— Ты, Петр Данилович, валяй на Шумково, там подшевели народ, а я уж на Николину гриву один съезжу.

«Эвоно-о что», — сообразил Степан. Не по Степанову делу Савинов ехать собрался, а подгонять людей, чтоб не провалить разнарядку. И сразу же остудил себя: а не много ли чести, чтобы из-за твоей персоны ездил разбираться сам председатель сельсовета? У него от разнарядок одних голова разболится, а тут еще ты, твердозаданец, со своими заботами вклиниваешься в его суету. Слава богу, хоть подвезет до деревни, а то время уже склоняется к вечеру и в баню, если с Васькой пешком потащишься, сходить будет некогда.

Савинов, не долго мешкая, запряг в тарантас жеребца и усадил сзади себя Сизовых. Править конем взялся он сам.

Степан проснулся от ноющей боли в ногах, будто их медленно отгрызали собаки. Нудная, заставляющая прислушиваться к себе грызь переселивала все другие чувства, и Степан, сопротивляясь ей, до крови закусил

нижнюю губу, стараясь перебить незатишающую боль в ступнях другой болью. Не в силах отключиться мыслями от нудящей свербя, которая из ног разливалась по всему телу и достигала сердца, не давая ему биться, как оно хочет, а заставляя судорожно сжиматься замерзающим воробьем, Степан затравленно озирался, будто где-то мог углядеть место, которое могло отгородить человека от мук. И когда Степан наткнулся взглядом на отпотевшее под шестком ведро с плавающими льдинками наверху, ему сразу пришло на ум, что он припас эту воду для ног. Степан торопливо попробовал в ведре рукой и испугался, что упустил какое-то время, потому что вода показалась ему перестоялой.

И все же она была иглистой, лед на ней до конца не растаял. Степан суетливо стал разуваться. Но оборки у лаптей не слушались рук, узлы затягивались туже, и, сердясь на себя, Степан оглянулся, чем бы их перевязать, вспомнил о топоре, который остался в ограде, и, едва переставляя ноги, направился за ним из избы.

В сенях его спохватило. Боясь споткнуться и съехать по лестнице мешком, Степан оперся руками о закрытую дверь, скользнул взглядом по заиндевевшей дощатой стене.

На верхнем косяке притулилась бутылочка с муравьино-желтой прозрачной жидкостью, и Степан, завидев ее, радостно замычал, будто глухонемой.

Вот, говорят, нет бога, подумал он. Да как же так нет, когда бог оберегает каждый твой шаг, когда он в минуту нестерпимой боли, сжимающей сердце и останавливающей дыхание, привел тебя к твоему спасению. Стоит только натереть скипидаром ноги, и боль пойдет на убыль, пока не стихнет совсем. Лучшего средства для натирания Степан не знал. И от ломоты в костях, и от зуда на коже, и от комариных укусов, и от ожога, и от обмороживания скипидар помогал одинаково хорошо.

Степан схватил бутылочку, взболтнул в ней жидкость, и ему показалось, что он услышал смолистый запах сосны.

Степан вернулся в дом. И только теперь заметил, что стены и потолок отпотели от настоявшегося тепла и что с матицы медленно капало, будто на улице дождь и крыша в этом месте теперь протекла. Дым под потолком уже рассеялся. В трубе, видно, прогрелось, тяга наладилась и вытянула дым из избы.

Степан сел на табуретку и, уже не торопясь, легко развязал оборки, раскрутил с ног онучи. Почерневшие пальцы разбухли. Степан осторожно потрогал их, пожимал — ничего, терпимо — и стал смазывать скипидаром. Вместо ноющей боли сразу возникла другая, резкая. Ноги защипало, будто сотни иголок впивались в кожу. И оттого, что новая боль оказалась сильнее старой, Степан обрадовался: скипидар не промерз за зиму, не утратил своих чудодейственных качеств.

Он еще раз натер скипидаром ноги, обмотал их онучами и снова придвинулся к шестку.

В печи уже прогорало. Степан подбросил на утихшее пламя несколько поленьев и, прислушиваясь, как дрова запотрескивали, стал уходить в себя. Ноги уже не беспокоили его. Степан знал, что скипидар сделает свое дело. Нужно было довериться времени, перетерпеть, пока резко пахнущее сосной снадобье не вытеснит хворь и не вернет ногам силу.

Успокаиваясь от понимания того, что это рано или поздно произойдет, Степан начинал забывать о боли, и постоянные заботы, которые не отпускали его всю жизнь, опять возвращались к нему. Они нахлынули на него, не соблюдая очереди, но Степан, не сердясь за это на них и не выгоняя из памяти даже самой малой — о том, что надо просушить валенки, — на первом плане держал заботу о Сережкиной свадьбе. Он уже твердо верил, что будет варить пиво на берегу Петрушиной речки, и уже видел перед собой веселый пожар, уносящий искры к ночному небу, которые, остывая там, не гасли, а затвердевали холодными звездами.

Степан почему-то все надежды свои возлагал на пиво, будто оно могло возродить замолкнувшую деревню, как поднимала на ноги сказочных богатырей живая вода. Будет пиво — и оживет Николина грива.

А пиво для внука Степан постарается сварить пышное и румяное. Глаз не сомкнет у пожога, но не осрамится перед гостями. Пусть все

видят, что Сережкина жизнь начинается с хорошего пива. А хорошо начнется — хорошо и дальше пойдет.

Степан уже слышал запах хмельного варева. И Николина грива виделась ему живой, говорливой. У фофановского крыльца опять играла гармонь, и опять Потап Мокрецов волочил пиджак по грязи. Только не мычали коровы, потому что на праздник их заперли во дворах пораньше.

В избе за сдвинутыми один к одному столами сидели гости, близкая и дальняя родня Сизовых, и все было, как раньше: кричали молодоженам «горько», пили хлебное пиво, спорили, хохотали. Степан, озирая застолье, радовался, что пиво разговорило всех. Для того оно и варилось, чтобы можно было за ним отвести душу и чтобы молодые сразу почувяли, что пиво и их присоединило к общим, связанным кровным родством заботам. Гости были уже навеселе, пели старые и новые песни.

А под окном у Фофановых плясал Потап Мокрецов, и был он трезвым, как стеклышко. Степан, заметив это, насторожился: чего ж он трезвым-то пляшет, обмануть, что ли, хочет всех: и я, мол, пьяный, а сам выжидает зачем-то, чтоб все напились. Э-э, так на нашей свадьбе не водится. Степан с ведром, полным пива, пошел к Фофановым под окна, остановил гармониста — и ну подавать Потапу стакан за стаканом. Потап не отказывался — он отказываться не любил. Тут и сел в грязи, понурился, затаив голову. Опять не как все. Ну, что ты поделаешь, если человек середины не знает.

Степан и рад бы его не осуждать — на свадьбе мало ли с кем чего не бывает, — а тут не сдержался, рукой махнул: «До чужого дорвался — не остановить». Пошел в избу обратно. И, пока шел, Николина грива и обезлюдела, гости разъехались по домам. Наталья встретила мужа укорями: «Последнее выпоил Мокрецову». Да как же последнее? Степан помнил, что три лагуна стояли нетронутыми. А Наталья говорит, потому и не подавали Потапу, что нельзя ему подавать: стакан выпьет — ведро в землю из лагуна уходит. Так вон почему Мокрецов плясал трезвым-то... Не подавали.

— Заверни гостей, — приказал Степан.

А сам отправился на поварню.

Там уж девки кашеварили без него, будто знали, что пиво кончилось.

— Тятя, я уж по лагунам разлила и мастер пустила, — сообщила ему Любава.

Степан вслух не похвалил ее, а про себя отметил, что дочка переняла от него умение и пиво варить, и работать. Все-то может. С топором вот только она не в ладах: тяжел топор для бабьей руки. Для сынов предназначен.

И похолодело у Степана в груди, что о сынах-то он и забыл. Будто сами всему научатся. Но ведь без отцовской науки как? До чего-то, может, и без него дойдут. А до всего не сумеют.

Он прогнал от пожара девок:

— Сыновей ведите сюда. Буду их учить пиво варить. Не бабья это забота.

А сыновей и след простыл. Вместо них Потап Мокрецов идет:

— Выливай отраву из лагунов!

Степан и рад бы ему возразить, а не может. Язык не слушается его. Только и дал выкрикнуть в оправдание:

— Да ведь это Сережкина свадьба, не Гришкина.

— А Гришкину отменили, эта сама сорвется.

Тут уж Степан не утерпел:

— Это как так сорвется? — закричал он на все луга и проснулся от хриплого крика, немощно застрявшего в горле.

Приснится же чепуха... Вспотел даже от ужаса. Обтер со лба рукавом липкий пот, прислушался к ногам. Боль в них онемела, и оттого они были как не свои: не ноги, а приставные деревяшки — хоть через огонь шагай — не услышат.

Степан проворно вскочил — не деревянные, где надо сгибаются. Прощел по избе от угла до угла — терпимо, можно ходить. И, успокоившись, снова вспомнил про сон.

И чего сегодня Потап весь день на дороге стоит? О чем бы думать Степан ни стал, Потап перед глазами маячит. Как черт из-под земли воз-

никает. И ведь не ругались в последнее время. Жили соседи соседями. Пожалуй, с приезда Савинова и началось перемирие. Нет, позже, с Гришкиной свадьбой вроде... Нет, еще позже, с той поры, наверно, как Потап стал бригадиром на Никольной гриве?

В воспоминаниях ожило сердце Степана, и он почувствовал, как отхлынула от него усталость. Руки, не привыкшие за долгую жизнь к покою, запросили работы. И Степан, радуясь этому, стал выбирать глазами, за какое бы дело взяться в первую очередь. В запустелой избе работы накопилось невпроворот: углы затянуло тенетами, окна бог весть от чего закоптели, а на подоконниках, на залавке и на полу скопилась пыль. Ну, это бабья забота чистоту наводить. Хоть и больно смотреть на грязь, но Степан никогда не опускался до того, чтобы топор поменять на тряпку. Он и сейчас искал мужскую работу, потяжелее, погромыхастей. Вот у залавка дверца искособочилась — это ему укор.

Степан принес из чулана гвозди и молоток, принялся с легкой душой за ремонт. Но дела — на три минуты. И он уж выискивал, чем бы занять себя дальше.

До переезда в Завражье Степан собирался перебрать полати, а то доски разъехались: лук высыплешь на них, и шелуха в щели лезет.

Степан с топором забрался наверх. На полатях хламу скопилось, как на свалке, — старые пиджаки, заготовки для кадок, телогрейки, железные обручи, круги проволоки... Степан стал сбрасывать все это на пол. И уж расчистил почти полати, как в руки попала деревянная колодка, по которой он плел себе лапти.

И ладонь безвольно разжалась. Колодка громыхнула о полатину, задрезжала, успокаиваясь, как волчок, потерявший силу вращения. И будто не на полатине она колебалась, а внутри Степана. На правый бок склонится — пережмет путь для крови, и в висках глухо заломит от пустоты; на левый опрокинется — остановит дыхание, и к горлу подступит тошнота.

Ну, как же он, Степан, не сдержался тогда, запустил такой деревяшкой в Потапа? Ведь на тридцать лет с лишним укоротил бы свою жизнь. Припаяли б ему расстрел, а деток кто б без него поднял на ноги? Ведь ради них живешь... Себе-то что: сыт, одет, под боком жена — и ничего не надо. А они б с голоду передохли.

Не совладал с собой. Да бог руку попридержал, опоздала колодка всего на одно мгновение — и это мгновение подарило Степану целую жизнь. Неспokoйную, хлопотную, а спроси Степана, захотел бы он снова по ней пройти, у него бы слезы от радости выступили: за-хо-тел бы! Чего же лучше желать, как не жизни.

Господи, да какими мелкими показались ему сейчас, с высоты сегодняшних дней, те обиды. Отобрали коров? Ну, и ладно. Теперь вот насильно наваливай — не надо, не взял бы. Без коров-то спокойнее. А тогда чуть в петлю из-за них не полез. Расскажи сыновьям — не поймут, осудят: ну и дурак, скажут, был. И с ними спорить не станешь: дурак.

А из-за земли убивался, сколько ночей не спал. Не он над ней хозяином был, а она над ним. Иссушила, измаяла... А любил ее больше жены. Наталья от него такой ласки не ведала, какую он отдавал земле. А ведала б — задохнулась от счастья.

Верни сейчас те ушедшие безвозвратно тридцать шесть лет, Степан знал бы, как насладиться жизнью.

Насладиться?

Степан, опешив, задумался. Чего-то ему в своих рассуждениях не нравилось. Насладиться...

Он отодвинул колодку, будто она мешала ему ухватиться за ускользающий кончик насторожившей мысли. Спустился с полатей, неожиданно потеряв интерес к работе, и сел к шестку.

В избе было пыльно. От окон струились снопы беспокойного света. Степан оглядел свой дом, в котором все было сделано его руками и все оказалось лишним. Значит, зря жил?

Вот придет смертный час, и чей-то голос от туда спросит Степана: «Готов? Все ли дела закончил?». Что Степану ответить? Все, мол, лишку даже перестарался. И этот голос насмешливо укорит: «А разве не знал, что все придем к одному?» Как не знал? Знал. С собой в могилу ничего не

возьмешь. Ни хором, которые понастроил. Ни полей, на которых пахал. Ни сметанных тобою стогов сена, ни веселого пива, ничего, ничего. Будет у тебя два метра казенной земли—и все. А ты шел к ним, растрачивая нервы, набивая на руки и ногах мозоли, проливая кровь, ругаясь, дерясь, добываясь чего-то еще. И ради чего? Ради этих двух метров земли?

Значит, ни драться, ни бороться не надо? Все равно к одному придем?

Нет! Тогда лучше совсем не жить. Уж коль так мало отпущено человеку времени, надо успеть сделать больше. Для детей своих и для внуков. Степан Сизов умрет, а Сережка Сизов продолжит жизнь. Сережка Сизов...

Но Степану не сделалось легче от того, что он справился со своими мыслями. Недовольство собой осталось. И он не мог понять, отчего оно привязалось к нему, почему не истаяло.

В печи уже прогорело, угли почернели, но из-под чела по-прежнему тянуло теплом, и сидеть у шестка было бы совсем не худо, если б не это ноющее, отдающееся в сердце толчками ощущение вины. Чтобы перебороть его, Степан опять полез на полати, и опять рука обожглась о колодку, как о крапиву. Да что же это за напасть такая...

Степан мог бы поклясться, что та колодка давно исцелилась и истоплена в печке, а вот, поди ж ты, и эта, другая, но похожая на ту, роковую, напоминает о прошлом. Есть пословица: то, что было, быльем поросло. Ой, ничего быльем зарастить не может, все останется на сердце, если сердце изранено.

Простая деревяшка, вырезанная из березовой заготовки по размеру ноги, возвращает память к тем далеким дням, когда этой деревяшки и в дому не было—в лесу росла. Она все сместила во времени и будто придвинула былую маету к Степану, вычеркнув из памяти целые годы и оставив там лишь укормные часы и минуты, о которых давно бы хотелось забыть. Но забудутся, видно, они только вместе с самим Степаном. Его не будет, и эти судные минуты ванут в небытие. А пока они живут вместе с ним, они, ушедшие в безвозвратность, живут и тревожат его беспрестанно.

Почему тревожат? Кто он им? И они кто ему? Нет, эти часы и минуты он бы, наверное, не захотел повторить. Сейчас на них у него не хватило бы сердца.

Ну-ка, как бы теперь он поехал с Савиновым на Николину гриву? Разве выдержал бы радость обрушившейся на него справедливости?

А тогда сидел в савиновском тарантасе, поглядывал на заорлившегося перед деревней Ваську — еще бы, с председателем сельсовета едет, а у председателя и наган на боку, — поглядывал на Ваську, и сердце вытерпело, не оборвалось, не лопнуло. Хоть и ехал Савинов на Николину гриву по разнарядным делам, подгонялой, но не зря спросил Степана дорогой:

— Ну, а со сплава-то как? Сам ушел?

— Нет, до утра отпустили.

— Тогда лучше, — сказал Савинов, и Степан понял, что однобокой правду оставить нельзя, а то Савинов захочет Степану помочь — и сам ожжется об однобокую-то.

— Десятник, правда, не велел никому на глаза попадаться.

Савинов сразу сообразил, что Степан побаивается — в случае чего десятник выкрутится: я, мол, не отпускал, а Степану отвечать, как за побег.

— Значит, без документов?

— Без...

— Тогда хуже, — сказал Савинов, но не пристрожил, что без отпускной справки твердозаданцы домой не ходят, тем самым оставлял у Степана надежду, что может и заступиться за него.

В деревню въехали на скаку. Савинов, видно, и сам любил покрасоваться перед людьми. Колокольцев вот под дугой ему не хватало, а то бы ухасть ухащем, и кепочка набекрень.

Остановились у Степанова дома. В ограду сворачивать Савинов отказался. Наверно, постеснялся пересудов: как же, мол, так, председатель сельсовета, а к твердозаданцу в гости пожаловал?

— Отыщи Мокрецова, — попросил Степана, — а я здесь подожду.

Степан понял его, не стал настаивать, чтобы Савинов заходил к нему в дом.

Пыль над дорогой в поле еще не улеглась, клонилась по ветру в правую сторону, как надувной платок. И у Степана заняло в груди. Пока ехали по безлюдью, Савинов был разговорчив и весел. А тут вот вдруг заскучнел и сразу стал каким-то другим, будто и знать Степана не знал, будто и не было восьми километров совместной пыльной дороги. Конечно, Степан не кол стоеросовый, разбирается в обстановке. Казенный человек по-казенному и вести себя должен. Но уж очень неожиданным был переход в настроении Савинова. И это Степана обеспокоило. Уж не признание ли об отсутствии справки так озадачило председателя сельсовета?

Степан повернул к дому Сидоровых и услышал сзади Васькин прерывистый крик:

— Тя-я, он н-не там.

— А где же?

— Он у-у-у Я-яшки М-ми...

Степан торопливо кивнул, что понял, чтобы сын не надрывался, а Васька не мог остановиться, не договорив, — и мычал, мычал, готовый разреваться от того, что слова ему не даются.

— У Митрошина, — пошел на помощь ему Степан.

— На по-по-по... — Тут уж и Степан не мог выручить.

Васька весь покраснел от натуги, отворачивался от Савинова, видно, стыдился его, и оттого заикался еще сильнее.

Савинов достал носовой платок, громко высморкался, но Степан поймал себя на подозрении: председатель вытащил платок совсем не оттого, что у него отяжелел нос. Просто настала такая минута, когда и молчать нельзя, и говорить не найдешься что.

— Так у Митрошиных, говоришь? — первым нарушил замешательство Степан.

А Васька вдруг, облегчаясь, выпалил:

— Спит.

— Ага, на повити спит, — догадался Степан.

Савинов ласково стал выпрашивать у Васьки, откуда он знает, что Потап у Митрошиных: ты же, мол, был в Полежаеве.

Степан, прислушиваясь к этим вопросам, направился в ограду Митрошиных. Господи, думал он, да чего этой мелюзге неизвестно! Она не только про сегодняшний день все выведает, а и на неделю вперед заглянет. Разве впервые Потап забирается на повить к соседу? Как подвыпьет, так и идет на сено. У себя-то повить голая, не накосил. А у Яшки как сундук, до самого верха набита. Конечно, и другие мужики заготовили на зиму. Но другие Потапу мяться на сене не разрешат. А Яшка слова не скажет, поскрипит зубами, поморщится, но промолчит, потому что запуганный.

Потап храпел на весь двор. Под голову пиджак брошен, руки распластаны. Белая рубаха зазеленилась от сена.

— Вставай, опохмелимся, — потряс его за плечо Степан.

Потап поднял голову, беспомощно уронил ее, но смьсл услышанного, видно, дошел до него, и он торопливо вскочил:

— Наливай, да не доверху: я уж, кажись, перебрал.

Он потряс головой, как отфыркивая таящая лошадь на водопое. Из волос полетела сухая трава.

— Савинов приехал к тебе, — Степан наслаждался тем впечатлением, какое произвели эти слова... Сначала Потап понуро затих, потом встрепенулся и стал отряхиваться, заправлять под штаны рубаху, приглаживать волосы, поправлять гармошку на сапогах. Набресил на плечи пиджак, да он оказался в грязи — без пиджака-то лучше. И по приставной лесенке спустился в ограду, заскочил к Яшке на мост, где висел рукомойник, сплоснул лицо, остатки воды, обливаясь, выпил и опять, как лошадь на водопое, покрутил головой.

— Где?

— Да вон посреди деревни тебя дожидается.

Неестественно выпрямившись, Потап твердо зашагал по лужайке к Савинову. Со стороны он напоминал солдата, который старается показать себя на плацу перед командиром в лучшем виде, но от излишнего усер-

дия задеревенел, будто проглотил аршин, и его, как сухое полено, может опрокинуть ветром при слабом порыве.

Степан не знал, то ли ему идти за Потапом, то ли он будет лишним при разговоре, и он нерешительно топтался в воротах, пока Савинов не позвал его:

— Вы, Сизов, тоже нужны.

В деревне уже заметили приезд начальства. Ребятишки толпились на почтительном расстоянии, не решаясь приблизиться к тарантасу, и с завистью смотрели на Ваську, который крутился вокруг Савинова и время от времени притрагивался к кобуре, подвешенной у председателя сельсовета на широком командирском ремне. Бабы сбились в кучу под окнами у Сидоровых и шепотом обсуждали, зачем пожаловал Савинов. Мужики, не опомнившись от хмеля, шли прямо к тарантасу, здоровались с председателем за руку, но не спрашивали Савинова о причинах приезда, уводили разговор на мировую политику. Савинов, посмеиваясь, отпускал какие-то шуточки по адресу американского президента Гувера и будто бы между прочим интересовался у мужиков, как идет сенокос, почему Николина грива не охвачена сплошной коллективизацией, что думают в деревне насчет колхозов.

Степан, навалившись на изгородь, стоял в сторонке и удивлялся умению Савинова находить с людьми общий язык. Кажись бы, ни мужики ему, ни он им ничего особого не сказали, а вот уж толкуют друг с другом, как старые знакомые, за словом в карман не лезут и подковырнуть собеседника норовят, и ни в чем не таятся.

— А я вот, мужики, хочу у вас как на духу спросить, — значительно проговорил Савинов и посмотрел на Степана. У Степана язык к деснам присох. Степан поежился под взглядом Савинова, испугавшись того, что председатель напрямую спросит сейчас у мужиков о нем, о Степане. «Да как же, не знаючи-то людей, про их мнение спрашивать? — изумился Степан. — Да, может, они все такие же, как и я. А может, оголтелая саранча, не моргнув, кого хочешь оговорят».

— Что лучше, мужики, пиво пить или сено косить? — заговорщицки улыбнулся Савинов.

Мужики загоготали:

— Ну, спрашиваешь тоже...

Первым нашелся Филя Фофанов:

— А мы, товарищ Савинов, и тебе поднесем. Спытай на себе. — И взял председателя под руку, намереваясь затянуть его в дом.

— Ой, ой! — заотмахивался Савинов. — Не до гулянки сейчас, сами знаете. — И повернулся к Филе: — Вот ты, как бывший красноармеец, представляешь это лучше меня.

Филя стушевался ненадолго.

— Наверстаем, товарищ Савинов, — заверил он. — У рабочего класса выходные бывают каждую неделю, а мы за лето один для себя позволили.

Все-таки Филя газеты слушать в избу-читальню ходил не зря: к рабочему классу себя подтягивал. Но и Савинов тоже не лыком шит.

— А в Троицу разве работали? — напомнил он. — А в Духов день? А в Вознесенье?

— Зато в Майские пахали, — нашелся Филя. — Отмечали день солидарности ударным трудом.

— Ну-у, мо-о-олодцы, — не без насмешки протянул Савинов. — А раньше, на себя-то, работали, наверно, без праздников вообще?

Филя не согласился:

— Сгущаешь краски, товарищ Савинов. С праздниками.

Но за каким-то чертом вдернулась в разговор Людмила Сидорова. Вот ведь бабы, нет бы послушать, что говорят мужики, так они на первый план вылезают. Сам Сидоров молчит, а Людмила выскочила вперед. Ей, видите ли, не нравится, как поставлено дело на колхозной ферме. И раз председатель сельсовета укоряет их, что они плохо работают, — а и верно, хуже, чем в единоличном хозяйстве, — так отдайте ферму сидоровской семье, они одни управятся со всем стадом — и пасти коров будут, и обихаживать, и доить, и подкормку косить. Сидоровы друг на дружку огляды-

ваться—как бы больше подруги не переделают?—не станут, а подставят под работу и спину, и оба плеча.

— И молоко всей семьей выпивать будете?—засмеялся Савинов, не придав предложению Людмила особого внимания.

— Нет, мы таким молоком подавимся,—не стусевалась Людмила.— Вам же, государству, отдавать будем.

— За денежки?

Тут Людмила споткнулась. Конечно бы, не бесплатно. Но коровы-то не свои, колхозные. А вот как сделать чужих такими, чтобы они для тебя чужими не были, а были бы все равно что свои? Поили бы их Сидоровы, кормили, холили, как своих. И народу бы столько не надо на ферме держать, сколь сейчас держат, а молока получали бы больше.

Филя тут же уточнил ее мысль:

— Она в аренду хочет.

Аренда для деревни—дело знакомое. В аренду землю сдавали, постройки, сельхозинвентарь. Но это ведь мужик мужику сдавал, а чтоб в аренду брать у колхоза... Ой, высоко летаешь, Людмила! Колхоз еще только появился, а она его по арендаторам растащить хочет. Да кто позволит?

И Сидоров, испугавшись за жену, рьяно запротестовал:

— Нет, я не согласный!

— А почему?—спросил Савинов.

— Раскулачат.

«А ведь раскулачили бы и вправду»,—подумал Степан, хотя выгоду государству от такой работы видел воочию. Конечно, если бы с каждого литра молока Сидоровым колхоз отщипывал от своей выручки даже с гульки-нос, Сидоровы и то обложились бы новыми деньгами, как керенками. Власти и без того всех уравнивать хотят по богатству, а Людмила их к старым порядкам зовет. Бабий ум короток. Но Степан на месте властей за аренду бы ухватился. А что? Собственность вся колхозная. И служила бы колхозу она, не помещику. И берегли бы ее мужики, как свою. Правда, зажиточных развелось бы много... Тут вопросец... Зажиточных власти не признавали, хоть и сулили в будущем райскую жизнь. Но какой же рай без достатка в доме?

Савинов обиняком, но поддержал не Людмилу, а ее мужа.

— Ну вот видите, какая аренда, если с супругом договориться не можете? Давайте уж как есть будем работать. Только старательнее.

— Пр-равильно!—переусердствовав, рывкнул Потап.

Все оглянулись на него. До сих пор молчавший, облокотившийся о председательский тарантас, он был не на виду у толпы, а тут сразу выделился, все обратили внимание на его мятые, в сенной трухе, штаны, зазеленившуюся рубаху и по-рачьи осоловевшие глаза.

Степану показалось, что Савинову сделалось неудобно за такого начальничка.

— Вы бы, Мокрецов, помолчали...

Толпа одобрительно загудела. Бабы даже захохотали.

Савинов вдруг спросил у толпы:

— А правда, что Сизов,—председатель сельсовета кивнул на Степана,—мерина своего Мокрецову внаем отдавал в позапрошлом году и тем самым наживался на эксплуатации бедняцкого элемента?

— Да ты что?—закричала первой Людмила.—У Мокрецова если вшами можно было разжиться... Дак они никому не нужны! Какой наем? Да ты и у самого Потапа спроси, разве ему осилить было наем?

— А вот и осилил,—отбросил Мокрецов возражение Людмилы.— Брал коня внаем!

Хоть и начальник Потап, но Людмиле деваться было некуда.

— Ну, и чем ты рассчитывался?—напористо спросила она.

— Бутылку водки дал.

Людмила всплеснула руками и закричала не на Потапа, а на Степана:

— Степка, ты-то чего как воды в рот набрал? Да ты же—я видела—сам и пахал ему... Эксплуататор-то не ты был, выходит...

Верно, Степану жалко стало коня—а ну Потап седелкой натрет ему

холку, — и Степан сам взялся за чапиги плуга. Невелик у Потапа загон — на один час работы и было-то.

— Пахал у тебя Сизов? — спросил Савинов у Потапа.

— Пахал, так я же бутылку выставил.

Людмила, видно, почувствовав, на чьей Савинов стороне, совсем осмелела и насмешливо подбоченилась.

— А который больше-то выпил?

Потап от нее отмахнулся.

— Но я же выставил, а не он.

Тут уж захохотали и мужики. Савинов только вздохнул и, протиснувшись сквозь кольцо мужиков, позвал Мокрецова за собой.

— Нам с Потапом Филимоновичем надо кой-какие вопросы обговорить.

Людмила предостерегла его:

— Во-во, этот объяснит, что такое наем, а то, наверно, не разбираешься.

Филя Фофанов уже погрузился в свои мысли, и, когда толпа откатилась от тарантаса, оставив его и Степана вдвоем, он, как бывало в накатные минуты раздумий, вздохнул:

— Вот я говорю, что вредительство есть.

— Какое, Филя? — спросил Степан.

— А Троцкий вредитель. Из страны выслали. А ведь был на самом верху.

Троцкого партийцы ругали уже не один год. Нашел, кого вспомнить Филя.

Конечно, думал Степан, для Троцкого доля выпала хуже, чем для раскулаченного. Наших мужиков хоть на Соловки сослали, но к своим людям. А этого — в чужую страну...

— Дак его-то как? С конфискацией? — уточнил Степан.

— Об этом в газетах молчат, — сказал Филя. — Да уж, думаю, с имуществом не выпустят. Враг есть враг...

Он даже лицом посуровел. Но ненадолго. Озабоченность снова изморщинила его лоб, и Филя по привычке вздохнул:

— А какое-то, Степа, вредительство наверху все равно осталось...

— Да какое вредительство? Сами мы себе и вредим...

— Нет, вспомняешь меня, осталось...

Филя совсем расстроился, лучше бы ему, пожалуй, газет не читать, изведет свои нервы. Обходились же мужики без чтения, не все даже грамоте обучались. Вот счет знал поголовно каждый — и грамотный, и неграмотный. Без счета прожить невозможно — денежки, говорят, счет любят, а деньги, большие ли, малые, водились у всех. Чтение же, выходит, на пользу не всякому. Вот Филе явно во вред.

— Сизов! — услышал Степан голос председателя сельсовета. Савинов звал его за собой. Он уже миновал с Мокрецовым сидоровский дом и чего-то — не слышно было — говорил Потапу. Савинов обернулся и снова крикнул: — Догоняй нас, Сизов!

К вечеру день совсем выладился, и не подумаешь, что перед обедом шел дождь. Обсохла не только дорога, но и на обочине уже пылила трава. Степан примечал, как из-под ног Савинова пыль легким туманцем взмывала над ромашковыми горошинами кустившейся зелени. Ему даже казалось, что он видит, как в траве остаются пыльные елочки от сапог председателя.

Потап, видимо, не решил заводить гостя к себе в дом. Сел на завалянку, и Степан догадался, что Мокрецову стыдно показывать, какой у него в избе бедлам.

— Ну ладно, и здесь побеседуем, — согласился Савинов.

Разговор начал он без разгона. Степан не ожидал от него такой крутости, и ему отчего-то стало неловко, что он является свидетелем этой несдержанности.

— Ты же представитель Советской власти, — напирал Савинов на Потапа. — Как не стыдно! Над тобой вся деревня смеется.

Степан хотел встать и уйти за угол, не хотелось ему выслушивать, как ругают соседа. Плохой ли, хороший ли, а и Потап человек. Наедине-

то с Савиновым любую брань ему можно стерпеть, а каково при свидетеле...

Савинов властно придавил рукой колено Степана: сиди, мол, и слушай.

— В религиозный праздник напился. Да с кого колхозникам-то пример брать? И они по тебе равняются. Вся деревня пьянешенька. Позор!

Потап не поднимал головы. Не отругивался, понуро молчал.

— Наверно, пьяным и в окно к Сизову залез?

Потап поднял потускневшие глаза, не соглашаясь, помотал головой.

— Трезвым, значит? И как же трезвым-то до такой мысли додумался? Представитель Советской власти, будто вор, в окно лезет... Штаны не зацепил за гвоздь? Прореху на середине не оставил?

Потап отмалчивался: тяжело с похмелья выслушивать укоры начальства. Голова, наверно, и без того гудит.

— Хоть бы собака какая схватила за ногу. Может, тогда одумался бы.

— Нет, не одумался бы, — возразил Потап.

Савинов даже опешил, что Мокрецов вдруг заговорил. Вскочил с завалянки, поправил ремень с оттягивающей его кобурой.

— Ну? Не одумался бы? — переспросил он, загораясь каким-то непонятным азартом. — Это уже интересно. А почему?

Потап подтянулся, приобретая уверенную осанку.

— А чтобы Советскую власть не обманывали... Твердым заданием обложили, так масло копить нечего!

— Я не копил, — возразил Степан. — Это Наталья кашей захотела ребят накормить — каши ребята запросили, а то все картошка, картошка... Брюхо уже вспучило от нее, — вот две недели и оставляли по кринке молока, чтобы на кашу взбить масла.

— Надо было не о каше думать, а как твердое задание быстрее выполнить, — настаивал на своей правоте Потап. Он поворачивал правое ухо вполборота, будто ждал, а что скажет Савинов.

Савинов усмехнулся:

— Ну, а красавицу эту за косу ты ухватил?

— Какую красавицу? — не понял Потап.

— Да ту, что частушки про раскулаченных пела.

— Так это Любава-а, — сказал Потап, и Степан обмер: неужели Мокрецов не застал ее на покосе? «Вот уж отстегаю ремнем, не посмотрю, что невеста», — решил он с ходу.

— Любава? — переспросил Савинов.

Потап смутился, что больно ласково назвал девуку и поправился:

— Да Любка его. — Он взглядом указал на Степана. — У нас ее Любавой зовут, ну и я тоже оговорился...

— Да почему оговорился? — не понял Савинов. — Любава... Звучит хорошо... Так ты ее за косу ухватил?

— Ее ухватишь... Я на пожню пришел — она уже там.

У Степана гора с плеч свалилась. Савинов укоризненно передернул плечами.

— А говоришь, Любава... Доказательства надо иметь.

— Дак больше некому, — выложил свои доказательства Потап. — Они одни в нашей деревне твердым заданием обложены.

— Это не доказательства.

— Он вон, — Потап указал на Степана, — по твердому заданию на сплаве работает, а убежал домой — это тоже, по-твоему, не доказательства?

На Потапа было даже не похоже, чтобы он возражал начальству. Хотя какое тут возражение — себя защищает...

Савинов нахмурился.

— Не убежал, я его вызвал, — незнамо для чего соврал он.

Потап слотнул слюну и замолчал. Опомнившись от замешательства, он оправдался:

— Ну, я-то ведь не знал...

— Вот и надо сначала узнать, а потом обвинения подвешивать! —

У Савинова настроение портилось на глазах, и Степану подумалось, что председатель сельсовета не может простить себе минутной слабости, из-за которой язык его выговорил неправду — конечно, со сплава он Степана не

вызывал. И у Степана, чтобы хоть как-то поддержать Савинова, сорвалось с губ то, с чем он уходил в сельсовет, уверившись, кто пел частушки:

— Это Фаина Перминова пела.

— Фаина? — поперхнулся Потап Мокрецов. — Да она же сосланная. Ужели сбежала?

Савинов еще больше нахмурился и спросил уже у Степана:

— А ты ее за косу поймал?

Степану стало не по себе: он никогда не закладывал соседей, а тут черт дернул делиться догадками. И при ком? При Потапе?

— Нет, не поймал, — повинился Степан.

А Потап уже ухватился за подсказку:

— Товарищ Савинов, надо сделать запросик. Может, Фаину милиция уже обыскала...

— Хорошо, сделаем, — холодно согласился Савинов и повернулся к Степану: — Возвращайтесь, товарищ Сизов, на сплав. Мы здесь разберемся.

«Ну вот, выслужился», — укорно подумал о себе Степан. Узнай о его предательстве Перминовы — и не поверили бы. А поверили, сказали бы: из-за сапог. Сапоги и сейчас лежали под крышицей у ворот. Их Степану ни обувь, ни продать — так и изгниют, дожидаясь прежнего хозяина. «Вот ведь до чего мелким может стать человек», — казнил себя Степан. Одно утешало его, что, может, пела и не Фаина. Уж лучше бы Любка пряталась в лопухах — камень с души был бы снят. И когда Любка пришла с покоса, Степан спытал у нее: «Ты?». Она не призналась ни в чем, но в глазах прыгали бесенята. «Любка», — понял Степан, правда, от этого ему не сделалось легче.

Вечером он собрал котомку с чистым бельем и харчами и, отказавшись от бани, уже не тропками, а большой дорогой, не прячась, отправился от Петрова дня в ночь.

На сплаве он пробыл недолго. Через неделю его по постановлению сельского Совета отпустили домой. Твердое задание с Сизовых было снято. Простила судьба наговор на соседку. И Савинов, видно, не придал ему большого значения, а не понравилось ему, что и он, Степан, уподобился в тот грешный момент Мокрецову, не понравилось... Какому честному человеку понравится?

Уж как хотелось Степану отблагодарить Савинова — и за то, что твердое задание снял, и за то, что не поверил в Фаину, — бежал, все думал: ну, прямым ходом рвану в Полежаево, домой не буду и заходить. А как добрался до развилки на Николину гриву, так обо всем на свете забыл. Ноги сами свернули с большака на проселочную дорогу. Не совладав с собой, Степан для себя же и выставлял оправдание: «Вот в бане помоюсь, чистое на себя натяну — тогда и схожу». А в мыслях где-то держал и другую думу: рыбки, может, ЕМУ поймать или глухаря изловить, а то с пустыми руками в сельсовет и являться стыдно. Сердце подсказывало ему, что по совети надо бы сделать именно так. И в то же время не давало покоя сомнение: а ну как он тебя не поймет? Ты от чистого сердца благодаришь, ты признательность свою ему выказать хочешь, а он как обиду примет, как рабское подношение. Теряясь от такого раздвоения в мыслях, Степан еще торопливее бежал по николинскому проселку.

Вот бы ту щуку, какую ловил в Петров день, отнести Савинову. И Степан уж дал себе обещание, что сходит в луга: все равно пересохнет тот бочажок, пропадать щуке. Он удивился сейчас себе, откуда появилось в нем тогда чувство жалости. Для себя пожалел, а подышать оставил. Что на него нахлынуло? Или просто испугала сорока? Ну, теперь-то он вольный казак. Теперь-то он никого не боится. Заберет с собой Ваську: то-то радости будет парню, когда тот слабыми ручонками прижмет извивающуюся чудо к земле.

Все! Сегодня же и сходят они.

Наталья дома была. Степан дверь не успел захлопнуть — одну ногу через порог, а другая на мосту задержалась, — как жена ветром на него налетела и повисла на шее.

— А я уж все глаза изглядела в окошко.

Была она в этот раз разговорчивой и веселой. Все смеялась, будто двадцать годов с себя сбросила.

Старик отец на печи заворочался, запокряхтывал:

— Ну, Степка, она тебе еще пол-избы нарожает.

Он спустился по лесенке вниз, сел на лавку, сухой, рубаха как на колу обвисла.

— Смотри-ко, будто сорока застрекотала. — Отец любил сноху и там, где Степану не давал спуска, ей все прощал. — Видно, еще и до новых внуков я доживу. Вишь, летает.

— Живи, живи, батя, — поддержал Степан отцовскую шутку. — По-нянчись с внуками. Там, где восемь, и девятый недалеко.

Наталья собрала на стол. И Степана как бес кольнул:

— А ребята где?

Наталья сникла, и румянец в лице остыл.

Отец сухо кашлянул в кулак, виновато отморгался и положил ложку на скатерть.

— Ребята у тебя совсем испроказились.

Степан сглотнул появившийся в горле ком, но сухость во рту все равно сохранилась.

— Ну? — поторопил он отца с ответом.

— А чего «ну»? — загорячился тот. — Меня, старика, не слушают. Ремень сниму, так язык высунут: «Ы-ы-ы...» Знают, что не догнать.

Степан перевел взгляд на Наталью.

— И на нее не смотри, — заступился отец. — Она от работы себя не помнит. Твердое-то задание когда сбросили... А то с утра до вечера в поле, да и ночи прихватывала. Мы тут с ней словом обмолвиться не успевали. Я уж Гришку научил отходить их ремнем, так две ночи дома не ночевали. И того хуже стали.

Отец помолчал, не зная, до конца ли высказывать правду.

— Да чего уж там, говори. — Степану душно стало в избе. Он отклонился к окну и, не разматывая накрученного на гвоздик шнурка, надавил на раму. Створки упруго распахнулись, звякнули стеклами.

Отец помялся, помялся — сказал:

— В Завражье бегают, у ворот сидят. Фофанов рассказывал, говорит, с него чуть пятиалтынный не взяли.

— Это как «у ворот»? — не сразу сообразил Степан. — Нищёнками, что ли?

— Нищёнками, — подтвердил отец.

— И Васька? — не поверил Степан.

— А что Васька? У него своего ума нет. Пока живет братовым.

Наталья ушла за занавеску, притихла там, как виноватая. И батя прав, как ее будешь корить: не только о детках, о себе вспомнить некогда.

У ворот сидят... Большого позора Степан и представить не мог. Как нищёнки, кепочки перед дорогой выставили и ждут, кто пойдет-поедет. Заклебится пыль вдалеке, а они уж сготовились, взглядыаются в проезжих. И если те закричат: «Эй, у ворот! Поживее!» — с насадой ухватятся за перекладину и раскроют скрипящие ворота на всю ширину, а потом долго будут шарить в пыли, пока не найдут выброшенную для них копейку.

Позор!

Степан помнил, как он маленьким ходил вместе с отцом в Вохму и, когда перед ними открывали ворота, он испуганно шархался в сторону и перелезал через огород рядом. Отец смеялся над ним:

— Штаны порвешь — обойдется дороже.

Но уже тогда Степан не терпел, если ему прислуживали. Он стыдился за тех людей, которые так легко добывали свой хлеб.

А сыновья добровольно пошли в унижение. Обутые, сытые, куда им деньги-то?

— Курят. Табачищем за три версты разит, — сказал отец.

Бывает, парни рано начинают курить. Степан и сам заразился этой отравой в пятнадцать лет. Так ведь дома каждый год под табак занимают грядку. Вон его и нарубленного в корыте лежит сколь хочешь, и в листьях сохнет на подволоке не на одну зиму. Нет, не на табак они тратят деньги.

Отец перехватил тревогу Степана.

— Нет, пьяными не видал, — успокоил он.

И смех, и грех. До чего додумался: Ваське пять годов, да и Тольке до женихов далеко, на десятый едва перевалило, а Степан уж их кем толь-

ко в своих мыслях не выставил. Детки от рук отбились — заботное сердце изнается, до всего додумаешься.

Степан представил, как на его ребят кивают соседи — вот, мол, до чего Сизовы дошли. Ох, и проучит он паразитов, живыми из-под вицы не выползут!

Обед прошел скомканно.

Степан забыл, что и на реку собирался.

Ни одно из дел не держалось в руках. Думал навоз из хлева выбросить, взялся за вилы — оказался черень надломленным; нашел другие — насажены плохо, хлябают; перенасаживать не захотел. Зашел в огород, трава по пояс стоит, уже грубеть начала. Вот уж работухи-то... Вернулся в дом за косой — на мосту двадцать кос на стене подвешено, — а выбрать не из чего, ни одного полотна нормального нет, все изрублены, как пила.

Мать честная, да отец-то мог бы ведь выправить! Ну, бабы не умеют в руках резец держать, но отца-то учить не надо. Да и Гришка уже мужик. Как они до такого достукались?

Злой, ушел в чулан, где у него в ящичке лежал инструмент, начал рыться в железках и — замер.

На крыльце хлопнула дверь. Босые ноги бойко прошлепали по скрипучим лесенкам и затихли у входа.

— Я на повить полезу, а ты в избу иди, тебя тятя не тронет, — услышал Степан горячий шепот. — Потом поесть принесешь.

— Не-е, и я на п-по-о-вить.

— Иди, а то как дам вот!

Васька неуверенно захныкал.

— Поревы, поревы у меня! — пригрозил старший брат, и Васька сдержал свои всхлипывания.

Послышался легкий толчок, Васька снова хныкнул, но поддался уговорам, взялся за скобу — от его ноготков она, как под лапками воробья, звякнула.

— Давай, давай! — поторопил Толька и, еще до того как дверь отворилась, белкой шмыгнул по лестнице на повить.

Степан вышел из чулана и, остановившись у лестницы, громко позвал:

— А ну давай выходи!

С повити никто не отозвался.

Слышно стало, как под крышей защебетали ласточки. И где-то в углу потерянно забубнил тягучую жалобу заблудившийся шмель.

— Я долго буду тебя дожидаться? — прикрикнул Степан.

На повити раздался оглушительный рев, который не удалялся и не приближался, стоял на месте.

— Я еще раз спрашиваю: долго тебя дожидаться буду?

Рев усилился, будто резали поросенка, но мясник оказался неумелым, не смог прикончить скотину одним ударом.

Степан поднялся по лестнице на повить. Толька предусмотрительно отскочил подальше от входа. Степан сделал к нему два шага. Толька, подтянувшись на руках за невысокую, в рост мужика, стену, забрался на подволоку и не переставал вопить.

— От меня не много набегаешь! — пообещал Степан и приставил к стене лестницу.

Толька шаркнулся к слуховому окну, отодвинул раму и выбрался на крышу. Дранка зашелестела под его ногами по направлению к ограде.

«Во паразит, ведь уйдет!» — удивился Степан и крикнул:

— Я за тобой бегать не собираюсь. Сам придешь.

На крыше разразился скулеж, то и дело прерываемый паузами, во время которых Толька, видно, прислушивался к тому, что происходит внизу.

— Давай смехи людей-то, — сказал Степан. — Мало посмешили, так продолжай.

Толька заревел вполголоса.

— Сейчас же слезай и иди в избу! — приказал Степан.

Скулеж поднялся на полноты повыше, потом неожиданно снизился и затих совсем.

В наступившей тишине опять доверчиво защебетали ласточки, обдавая Степана щемящей — до зависти — тоской по устоявшемуся покою.

Степан спустился с повити на мост, намеренно звякнул щеколдой, чтоб Толька услышал. Ноги у него почему-то дрожали, на рубахе проступила испарина, будто он несколько часов кряду гонялся с ружьем за зайцем.

Степан сел на приступок крыльца и стал дожидаться сына.

Толька появился из-за угла, виновато понурившийся. Рубашонка на нем была затаскана, домотканые штаны протерлись на коленях до дыр — нищенок нищенком.

— Ну, рассказывай: как до такой жизни дошел?

Толька остановился на почтительном от отца расстоянии. Потупившись, начал ковырять босой ногой землю.

— А чего?

— Тебе лучше знать, чего... Дождался бы меня у ворот, я бы тебе не пятак, гривенник бросил.

Толька пошмыгал носом, в завершение обтер его рукавом и опять проклянул:

— А чего?

— Иди в дом, умойся — вот чего, — сказал Степан. — Да рубаху смени. И портки тоже. А то стыдно людям в глаза смотреть.

Толька недоверчиво потоптался на месте, напряженно обошел сидящего на крыльце отца и не переводя дыхания взлетел на лестницу.

Степан вошел в избу следом за ним.

— Покормите оборванца-то, а то воровать пойдет.

Васька уже сидел за столом, наворачивал за обе щеки.

— Т-тят-тя, а у м-меня пя-пя-так есть, — радостно сообщил он и, оставив ложку в блюде, полез в карман. — Мне Т-толька и д-д-другой о-обещал, д-да з-за-ж-жал, ж-жмот.

Толька, зыркнув на него глазами и сознавая, видно, что попал впро�ак, рванулся к дверям, но Степан перегородил дорогу.

— Что? Чует кошка, чье мясо съела?

Толька опять занудил, всхлипывая.

Степан снял ремень.

— А ну подойди, сынок, потолкуем.

Толька обреченно сделал навстречу отцу несколько неуверенных шагов.

— Подходи, подходи, — закипая, уговаривал его Степан. — Не бойся. Где так смелый, а тут пошто оробел?

Наталья, чтоб ничего не видеть, не слышать, убежала на улицу. Васька, забыв свой пятак на столе, испуганно проскользнул мимо Степана на печь и спрятался там за спиной деда.

— Посмелей, посмелей... — Степан вприщур смотрел на замывшегося сына. — Да штаны-то сними сразу. Так будет лучше.

— Ну, подожди, тятка! — вдруг угрожающе проговорил Толька. — Я вот вырасту, за все посчитаюсь с тобой.

Степан чуть не выронил ремень из рук.

— Чего, чего? Ох, ты, соплюн ты этакий, он еще угрожать...

Толька путался в штанишках и, ярясь от этого, кричал:

— Подожди, осилю тебя! — Он сжимал кулачки и, распалив себя решительностью, заявил: — Все равно от тебя уберу. С мироедом не буду жить.

Страшное слово, которого Степану теперь уже никто не имел права бросить в укор, он услышал от сына, от несмышленища, стоявшего посреди избы без штанов. Худенькие Толькины ноги были изукрашены синяками, изъедены цыпками. С большого пальца на правой ноге, видно, только что сошел ноготь, и прозрачная роговица едва успела затянуть хлипкое место.

Господи, вот стоит он перед тобой, твоя кровь по его жилам струится, твои глаза смотрят на тебя зло, недоверчиво, твои волосы вихрами слежались на его голове — все твое, тобой данное, и все уже давно не твое, чужое.

Он обязан тебе своим появлением на свет да еще своим именем. И все? Больше не обязан ничем? А ведь ради деток вся жизнь. Ради них

и недосыпали они с Натальей, и последний кусок берегли для них, и в дом все тащили, а не из дома. Самим-то много ли надо? Все им, им, им! А они вырасти еще не успели, не оперились — и вот, получай оплеуху: отца с матерью и знать не хотят, грозятся расправой.

Так, может, и в самом деле они обязаны родителям только появлением на свет да именем, которое, кстати, не всегда и нравится взрослеющим детям, которое они со временем могут и переименовать. А ведь Степан с Натальей вкладывали в эти имена свою любовь и надежду. Анатолий, Василий, Гриша... Вот будут детки расти, набираться ума, и хорошая жизнь скатертью развернется перед их взором. Обязательно хорошая: на муки не согласились бы ни Степан, ни Наталья давать детям жизнь. Только хорошая.

А на деле-то получается, что бессильны они, что не могут провести деток по жизни так, как хотели бы. И не потому, что смертные они с Натальей, что их век сочтен. Даже если б не умирали они, а жили вечно — и то не в их воле держать ребят за руку, оберегать от ошибок и неудач. Вот сейчас они с Натальей в полном уме и здравии, а жизнь уже отобразила у них и парней, и девок. Выходит, только имя и в силах родители деткам дать. Да жизнь, неизвестно какую.

Все твое у Тольки — и глаза, и вихры непослушные, и кровь по жилам течет твоя, — но уже не твоя душа.

— Сынок, да оправдали ж меня, — простонал Степан. — Сняли заданье-то. Не мироед я.

Степан не знал, как вырвались из него эти слова и зачем они вырвались: несмышленишу-то разве понять? Ведь если б Гришка отца осудил, а то ребенок, от горшка два вершка. Но тем и обиднее, что ребенок, что с чужих слов поет, а своих не имеет. Когда еще появятся в нем свои-то слова, может, так на всю жизнь и сохранятся чужие. Ой, не приведи бог, чтобы сыновья об отцах судили чужими словами...

— Сынок, да кто же тебя научил такому?

Только все еще стоял без штанов и недоумевал, что происходит с отцом, почему тот куксится. Штаны натягивать он пока не решался и отвечать отцу невпопад побаивался: а ну как снова выведет из себя и ремень разыграет в тяжелых руках?

— От кого наслушался ты таких слов?

Молчать больше было нельзя, и Толька выбрал проверенное — заревел.

Степан поднял его на руки — ребенок, совсем ребенок, — усадил, голопопого, на колени, прижал к груди вихрастую голову. И рука, как давно когда-то, стала гладить через рубаху костлявую спину, успокаивать, ласкать. Толька поверил отцовской ладони, затих и, не стесняясь наготы — ребенок, совсем ребенок, — вытянулся у Степана на коленях так, что ноги свисли до пола.

Приласканный, Толька признался, и зачем они с братом бегают в Завражье к воротам, и кто его настраивал против отца.

Да кто настраивал? Никто. Пожалуй, само собой втолмилось в голову Тольки дурное слово. Оно же кругом летало, без него ж в деревне не обходился ни один разговор — и Толька его словил.

А началось-то с гороха все. Собрались два брата под вечер горохом полакомиться. Но какой горох о Петрове дне? Так, кой-где, плиточки, стручка нормального не найдешь. Поле в самом цвету. А им втемяшилось в голову: гороху нарвать — и двинулись.

Горох был посеян за логом и начинался прямо от дороги, поднимавшейся взлобком к Завражью. Уж додумались тоже колхознички, на самом видном месте посеяли. Тут не только ребенка раздражишь, взрослый и то не удержится, с дороги свернет в горох.

Толька с Васькой высмотрели: плитки есть.

Логом они пробрались к другому краю посева и залегли в горохе. Но лежать было б сподручно, если б тетива стручками увешана, а тут плитка от плитки за пять шагов. Сначала-то ребята осторожничали, а потом увлеклись, забыли о том, что дорога рядом. Вот тогда-то их и застукал Потап Мокрецов. Дело-то было под вечер, Потап возвращался с работы из Полежаева. Слышит: пацанье воркует в горохе. К меже прижался —

да согнувшись в лог. А логом — прямо к ребятам. Того и другого, как котят, за шкурки поднят.

— Ох вы, паразиты, горох вылупиться не успел, а вы уж, как саранча, на него налетели! Не столько приедите, сколько притопчете.

Так и повел в деревню, как на ошейниках.

И чем ближе подходили к Николиной гриве, тем крикливее становился Потап.

— На колхозное потянуло сынков мироеда! Колхозного-то не жалко, грабьте колхоз, пусть нищими все остаются, только бы пузо свое набить.

Толька ревел, отбивался, даже укусить Потапа хотел, да не мог: тот ловко держал его за ворот рубахи, и, если Толька начинал сильно брыкаться, шею до удушья сдавливало. Васька подхныкивал брату, но, видя, что ведут его не куда-нибудь, а домой, похныкивал неискренне, только из солидарности.

В деревне за ними сколготилась ребятня — Митрошины, Сидоровы и Плотниковы, — человек двенадцать сбежалось. А Потапу и любо: есть перед кем выступать.

— Вот они, мироеды, ваш пай обрывали. Вы голодать станете, а они — брюхо от обжорства разглаживать.

Неизвестно откуда вывернулась Людмила Сидорова. Оттеснила Потапа от Тольки с Васькой, головой покачала:

— И не стыдно тебе?

— А чего они, мироеды?.. — запетушился Потап и несколько раз кряду повторил это слово, не находя, чем распалить себя.

Сидорова брезгливо поморщилась:

— Тебе бы еще с грудными ребятишками воевать... Смотри, ордена не за это дают.

Потап заматюгался, ушел домой.

А ребятишки запомнили страшное слово. Потом Толька чуть не по ним что-нибудь сделает — в лапте засалит кого-то из них, в прятках отыщет первым, — все, сорвалось с языка: «Мироед».

Вот тогда-то и отправился Толька к воротам на заработки. Из-за отца-мироеда не стало жизни в родной деревне, и он решил, поднакопив денег, уехать в город. Там никто не знает, чей ты и откуда. Там ты как все.

Он уже ненавидел отца, а теперь вот тот приласкал его, прижал к пахнущей потом и табаком рубахе, и Толька забыл об угнетавшем его горе.

— Сынок, оправдали ж меня, — твердил Степан, хмелея от нежности. — Не виноватый я. Ты-то как мог поверить?

Он спрашивал несмышлениша, как большого, и уже не сомневался в том, что сыну, как и ему самому, все понятно и ясно.

Это Савинов, Савинов вернул ему сына! Савинов спас Степана.

И Степан заволновался от поразившей его мысли. Чего же он медлит? Надо сейчас же идти на реку, ловить ту щуку, которую он выпустил в Петров день. Уж если Савинов не может принять деньгами, уж если он не зашел выпить к Степану вина, то от щуки-то нельзя отказаться: это ж не деньги, не вино, на которое тоже тратятся деньги, — это ж даром доставшаяся добыча. А раз она даровая, то не может Савинов посчитать ее за подкуп, за взятку. Это ж дар от чистого сердца. Как его не принять?

На реку за ним увязались и сыновья. Степан не отговаривал их. Пусть пойдут. Это ж лучше даже, что именно они щуку поймают. От ребят всякий дар безгрешен. Уж у кого самые чистые помыслы? У детей. Перед ними не устоять никому. И у Савинова дрогнет сердце: не каменный. Ну-ка ребятишки придут с подарком... Да как их-то обидишь?

Толька нахлобучил на спину пестерь — под рыбу. Берестяное дно едва не доставало земли. Толька чуть ускорит шаги — пестерь бьет по ногам: не спеши, убавь прыти. Вот так кобылу осаживает тарантас, если коротковаты оглобли, — по ногам, по ногам. Молодая лошадь звереет: чем больнее бьет ее передок, тем она становится бешеной, тем дальше отбрасывает ноги. А Толька горбился, как старик, сбивая пестерь к голове. Мал, мал, но соображает.

Степан влюбленно посмеивался. Вот вышагивают они, мужики. То забегут вперед, то отстанут. И разговоров-то у них сейчас только о щуке.

Забыли уже, что всего два часа назад грозились отцу расправой. А пригрел их лаской — оттаяли.

Совсем ребята... Подзаматереют — минутной-то ласке и не доверятся. Да и как будешь ласкать мужика? Хорошо, если бы, выросши, походили они на старшего брата. У Гриши-то характер на зависть. Двадцать три года парню, а Степан не слыхал от него худого слова. К отцу-матери, как и в младенчестве, всегда посоветоваться придет, знает: на плохое его не наставят. И, тайно радуясь, видел Степан, что Григорий гордится отцом: тем, что и руки-то у отца золотые, что и голова-то не решето, не дырявая.

Степан настолько углубился в себя, что и не понял сначала, откуда доносится дребезжащий стук.

— Тятя, тебя, — подскочил к нему Толька и указал на окно мокрецовского дома.

Потап, улыбаясь, стоял у окна и зазывно барабанил по верхнему звену.

— Ты чего загордился? — силясь перекричать стекло, льнул он лбом к раме. — Приворачивай.

Степан и раньше-то, до твердого задания, с ним не был в друзьях, а теперь и подавно жизнь развела в разные стороны.

— Приворачивай, чаю попьем.

Степан опомнился, схмурил брови.

— Некогда мне.

— Да постой, постой, — не унимался Потап. — Я сейчас.

Степан недоуменно замешкался. Он слышал, как хлопнула в сенях дверь. Потап выкатился на крыльцо в нижней рубахе. Подал Степану потную руку.

— Здорово! — И без обиняков спросил: — Ну, в колхоз будешь вступать?

— А что? Непустишь?

— Ну, будет тебе... Ведь разобрались.

Степан не выдержал, сплюнул в сторону и пошел от оторопевшего Потапа вниз по дороге. Сыновья уже спустились по прогону почти к реке. Пестерь на Толькиной спине желтел, как надутый пузырь.

— К тебе по-хорошему, дак ты чего? — не утерпев, крикнул вдогон Потап.

Степан ничего ему не ответил.

— Вот же люди! — осуждающе удивился Потап. — Хочешь, как лучше, а они и рыло набок воротят.

Степан слышал по голосу, что Потап не притворялся, говорил от души. Тем и непонятнее, тем и обиднее было, что у него все от души: сегодня ты мироед, завтра — друг и товарищ; сегодня он готов поставить тебя под ружейное дуло, а завтра с не меньшей искренностью будет делиться с тобой последней краюхой хлеба. Как понять его? Чем у него голова-то набита? Или как пестерь на Толькиной спине: кто что положит — тем и набита; а не положит — так пустой гремит. Господи, да разве так можно жить? Не голова, а пестерь на плечах...

Уж лучше бы и не слышать от Потапа приветливых слов. По крайней мере остался бы Потап в глазах Степана каким никаким, а человеком. А то не поймешь, и кто. Завертушка на косяке у ворот: как ее ни поверни, ей все ладно, деревянная.

В колхоз зовет...

Конечно, теперь присматриваться некогда: или в колхоз, или снова под твердое задание подведут. Степан уже слышал от мужиков на сплаве, что творилось после указания Сталина не загонять в колхозы насильно, а вести запись на добровольных началах. Сталин разрешил, кому в колхозах не нравится, выйти из них назад. Доверчивые дураки из колхозов повалили валом в единоличники. Так им ни скот, который у них забирали, ни инвентарь не отдали в возврат — неделимый фонд, говорят, неприкосновенен, наживайте все заново. Землю даже не нарезают — и она неделимый фонд. Кто в города подался на стройки, а кто снова через полгода вернулся в колхоз.

— Добровольно?

— Теперь добровольности не жди. Наверху поняли, чем она грозит.

И Степану ли, только что сбросившему с плеч твердое задание, выбирать: идти в колхоз или не идти. У него уже и так почти все отняли в «неделимый фонд». Ему в колхозе только теперь и спасение.

Степан не заметил, как обогнал ребят, как миновал Яшкину кузницу — пустырь, затянутый репейником и крапивой, — как выскочил по веревке к той мочажине, в которой неделю назад застойно гнила вода.

Где она, та лужа, в которой торпедой шныряла щука? В загрубевшей, невыкошенной траве подзеленной плешью обозначилась вымоина — десять шагов в длину и шириной в два обхвата руками. Дно ее, отглаженное ушедшей водой, потрескалось, как глиняный черепок, раздавленный на дороге колесами телеги. Даже трава не могла пробиться сквозь насохшую корку.

За спиной у Степана тяжело запышкали сыновья.

— Ну, тятка, ты и ходить, — возбужденно сказал Толька и, сбросив пестерь, запаренно повалился на землю. — Думал, и не догнать.

Васька — из травы почти не видать — подолом рубахи обтирал с лица пот. Щеки у него запаленно краснели.

Степану жалко стало ребят.

— Да, — вздохнул он и тоже опустился на землю. — Вот вам и щука...

Толька почувал неладное.

— А чего, тять?

Степану не хотелось ни о чем говорить. Он молча встал, спустился к пересохшей мочажине. Из-под ног у него роем взвились зеленые мухи. Степан побоялся взглянуть туда, откуда они поднялись, подавленно съехался и повернул назад.

— Ну, ребята, пошли.

— Т-т-ятка, а-а щу-ука? — запротестовал Васька.

— Щука уже не наша, — ответил Степан, взвалив на себя пустой пестерь, и направился к дому. Сыновья неохотно засеменили за ним.

9

Степан так ощутимо переживал все это, что ему временами казалось, будто не воспоминания навалились на него, а жизнь повернула вспять и он идет по ней, молодой, с холодеющим сердцем. Ему уже все известно, что ждет его впереди. Он уже знает, что вернется домой с пустым пестерем, без щуки, а никак не может с собой совладать — идет с сыновьями к мочажине и возвращается, изнывая душой. Он уже знает, что женит Гришу на Нюрке Прядной, что Наталья заварит корчагу пива и что Потап будет просить у нее наполнить стакан. Задыхаясь, Степан снова схватит колодку и снова не сможет остановить себя.

Господи, да зачем повторять то, о чем Степану охота забыть?

Ведь Степан прожил целую жизнь, ведь он знает теперь, где был прав, а где виноват, так зачем его, знающего, толкать по старой дорожке?

— Не буду я больше бросать колодку! Не буду!

Степан очнулся в поту. И, уже находясь в яви, снова подумал: «Не буду. Еще пришибу ненароком». Ему и в яви казалось, что жизнь повторяется. И он не хотел тратить сердца на Мокрецова.

Потап ведь как заводная игрушка. Завод кончится — сам затихнет. На игрушку сердиться не след.

И тут на Степана нашло прозрение. Он вдруг вспомнил глаза Потапа: и когда тот прикатил на поварню, грозясь оставить Сизовых на кочке, и когда из Полежаева прибежали коровы, а Потап, не остынув от пляски, кричал, что в Сизове сидит ку ацкое жало, и когда Потап звал Степана на чай — глаза у него были удивительно одинаковыми, как у игрушки. Нет, с такими глазами врагов не встретишь.

А кто же они были тогда с Потапом?

Степан терялся от неподвластных его пониманию мыслей. И страдал от того, что терялся, и ничего не мог поделать с собой.

Застекленевшие глаза Потапа, немигающие и безразличные, невозмутимо смотрели в душу Степана — и не понимали ее. Зрачки в них ни разу не сузились ни от ужаса, ни от злобы. Степан стонал, орал благим

матом, а они застыли в своей неподвижности, и было ясно, что их не достигае чужая боль.

Да как же так? Не может же этого быть?

Степан кричит, а зрачок, как луна на небе, не дрогнет, не отпрянет от тебя. Зрачок мертвого человека.

Да не правда же это! Живой Потап. Степан слышит его скрипучий голос, слышит, как Потап пляшет, видит, как он здоровается с приехавшим Савиновым за руку, — и с удивлением замечает, что глаза у Потапа неожиданно оживают. От Степана не ускользает, как они прячут испуг, когда Савинов распекает Потапа, и как в них вспыхивает горячая искра преданности, как он, повернувшись вполборота, ухом ждет, что скажет Савинов. А уж если не Савинов, если сам Сталин скажет...

Прозрение еще глубже проникло в Степана: да он же, Потап, на одно ухо глухой. Ты хоть до смерти закричись, Потап тебя не услышит, потому что он к тебе все время глухим ухом повернут. Так вот отчего у него немые глаза: Потап не ведает, что ты стонешь от боли. У него здоровое-то ухо всегда не в твою сторону направлено. Никто не знает об этой болезни Потапа, кроме него самого. И Потап, чтобы не попасть впросак, бережет рабоче-то ухо, посторонние голоса не пропускает в него, а ловит только те, что прилетают к нему не сблизил — издалека.

Степан не осуждал Потапа за это. И не чета Мокрецову теряться. Ну-ка, такое время настало: все, все подчистую внове. И никто ни на Николиной гриве, ни в Завражье, ни в Полежаеве не касался подобной жизни — для всех впервые. Тут невольно друг на друга с недоверием будешь коситься: не лезь с советами, коль и самому не больше моего известно про новую жизнь! Тут невольно станешь оглядываться на Савинова: он издалека послан, им получен наказ, как и что делать. А там, вдали, сидят го-ло-вы, они знают, чего хотят.

Степан себя никогда не равнял с Потапом — последнее дело с таким равняться, — но и он на Савинова, как на бога, смотрел. И не потому, что тот снял с него твердое задание. А потому, что почувствовал: председатель сельсовета обстоятельно к жизни подходит. Не сплеча, как Потап, рубит, а разобратся хочет во всем. Хотя кому бы, как не ему, сплеча-то рубить: знает, чего добивается. Ан нет, сначала осмотрится, обмозгует как следует — и только тогда, не жалея себя, бросается в рубку.

У Степана нередко возникало желание потолковать с Савиновым за жизнь. Чуть схлестнется с Потапом, не поладит в чем — и душа тянет к Савинову: «Рассуди, разве ж можно так?» Да умом себя останавливал: у него и без тебя хватает забот, не досаждай человеку.

Но один раз не сдержался.

Как раз отборонились, отсеялись — Степан уже в колхозе был. Пришла короткая пора междустражья: полевые работы закончены, а сенокос не настал.

В огородах топились бани. Бабы полоскали белье, выпаривали из мужниных рубах пот, накопленный за весну. И душа празднично отдыхала.

Степан подправлял на ограде крышу, когда услышал: ворота скрипят. «Надо бы смазать», — подумал.

— Хозяин! — Под окном стоял Потап Мокрецов и, не желая заходить в избу, барабанил кнутовищем по раме. — Хозяин!

У Степана в губах были зажаты гвозди. Выпустил их на ладонь, встал на крыше в рост, чтобы Потап увидел его, и спросил:

— Ну, чего?

— Пахать собирайся!

— Чего? — не поверил Степан.

— Из сельсовета получено указание: расширить яровой клин на двадцать гектаров. Будем овес сеять.

Степану б не заводить себя, а он напомнил пословицу:

— Сей овес в грязь — будешь князь.

Потап в ответ выматюгался. У него привычкой стало: слов не хватало для убеждения — используй матюг.

В бригадире он настал с рождества. Чего-то не заладилось у него в кооперации: грамотешка, видно, не та, ну и пересадили его на новое место. А в бригадирах тоже голову надо иметь на плечах.

Потап принял пословицу как укор себе:

— Ты чего меня учишь? Думаешь, я не знаю, что время ушло для сева?

Вот это-то и взбесило Степана. Как же так можно? Знаешь—и все равно делаешь... Уж лучше бы ты не знал. Дурость-то можно бы и простить, а как простишь прямое вредительство? Ведь сейчас что сей, что не сей—результат одинаков. Только семена загубишь да лошадей работой измучаешь.

— Не поеду пахать!—отрезал Степан.— Я себе не враг.

Потап взвился, как овод, голос струной зазвенел:

— Перед Советской властью ответишь! Тебя Советская власть простила, а ты все в лес смотришь...

— За что простила меня Советская власть? В чем провинился я перед ней?—угрожающе выдохнул Степан, и Потап, отругиваясь, побежал из ограды.

— Каким поперечным был, таким и остался. Видишь, и слова ему не скажи. От нарядов отказывается. А распоряжение-то не мое—сельсоветское...

Степан спустился с крыши по приставной лестнице, оставив плотничный ящичек с гвоздями и инструментом.

Молча переоделся в новую рубаху и, не дожидаясь бани, пошел в село. Наталья и слова ему сказать не посмела. В другой бы раз не стерпела: не по пять же раз на неделе для него баню топить. А тут прикусила язык.

Степан уходил в Полежаево лугowymi тропками. Пахло набирающими силу травами, сосновой смолой и приречной влагой. В такую бы пору прилечь где-нибудь на взгорке и прислушаться, как изливает негу душа.

А у Степана душа кипела, для неги в ней не осталось места.

— Советской властью меня попрекать...—задыхался Степан от злости и пинал сапогами поникие от безветрия ромашки.

Как же так? Степан хочет остановить человека от безрассудного действия, а тот его же и обвиняет. Ну, ладно бы, на самом деле не знал, что сеять поздно. А то с полным пониманием идет на обман и не себя, других дегтем мажет: вы виноватые. Указанье от сельсовета... Да скажи Савинову, что нельзя этого делать, так что он, не отменит свое указанье, что он, враг самому себе? Ну, человек не имел раньше дела с землей. А ты-то вырос на ней. Так подсажи человеку, убереги его от ошибки, оборони от позора. Ведь Савинову потом отвечать за промах: ну-ка, двадцать гектаров коту под хвост...

Степан отмахал восемь верст на одном дыхании. Председателя в сельсовете не оказалось, пил дома чай. Степан не постеснялся—внутри все горело,—завалился к нему на квартиру.

— Ты вот, товарищ Савинов, чай спокойно гоняешь, а у нас преступление готовится!—бухнул прямо с порога.

Савинов, распаренный сидением у самовара, враз изменился в лице:

— Что такое?—дрогнувшим голосом спросил он и торопливо вылез из-за стола.

— Двадцать гектаров земли испоганить, совесть потерять, вместо головы—пестерь на плечах держать!—Степан сам чувствовал, что несет несурязицу, но остановиться не мог. Вот так же сани в раскате заносит—где уж их остановишь, удержаться бы самому, не нырнуть в сугроб головой.

— Ничего не понимаю,—признался Савинов.—По-человечески объясни.

Степан и сам хотел бы изложить все вразумительно, но, как ни сдерживал себя, у него получалось торопливо: и как он работал на крыше, и как прибежал Потап, и как давал наряд сеять, и как они поругались, и как...

— Ну, ладно,—остановил его, успокаиваясь, Савинов.—Теперь все ясно. Садись, чаю попьем.

И опять нахлынуло, накатило на Степана ничем не сдерживаемое волнение: земля вхолостую будет работать, семена погибнут, лошади зря хомутом понабивают мозолей, люди затратят напрасный труд, а Савинов как ни в чем не бывало уже снова уселся за стол и для Степана готовит чашку.

— Я уж думал, что такое у вас стряслось...

Степан сразу обмяк: а ведь и вправду, как чумной прибежал, как о войне принес сообщение.

Савинов все же усадил Степана за стол.

— Ну, не горит же... Двадцать гектаров за час не вспашут. Чаю поьем—или по рюмочке хочешь?—и пойдем в сельсовет. О делах будем там толковать. А сейчас ты мой гость. Так, может, рюмочку опрокинешь?

— Нет, шибко злой сделаюсь.

— Да уж куда злее-то... Посмотришь в зеркало—себя не узнаешь.

Хоть договаривались отложить деловую беседу до сельсовета, о делах снова и заговорили: что да как, отчего... Обходили стороной лишь одно—эти самые двадцать гектаров. Как ни ткнется на них Степан, Савинов отскочит в бочок: то прикроется шуткой, то на другие рельсы переведет разговор.

— Ты со мной не крути!—не выдержал больше Степан.— Говори напрямую. Не дети...

Савинов построжел. Над правым глазом у него нервно дрогнула бровь.

— Оно и верно, не дети,—согласился он и побарабанил пальцами по столешнице.— Ты вот помнишь, я тебе однажды из газетки слова наркомфина России зачитывал. И Молотова тоже. Так ты успокоиться все не мог: не тот, мол, уровень,—тебе сталинских указаний хотелось?

— Ну,—удивился Степан памяти председателя сельсовета. Это же сколько времени с той поры минуло? Не один год...

— Так я тебе указание Сталина зачитаю сейчас.—Савинов отогнулся спиной к этажерке, притуленной в углу, неподалеку от стола, и взял сверху брошюру с портретом Сталина.— Вот тебе высокое указание, выше этого не бывает...

«Ну, не Сталин же двадцать гектаров велит пахать,—мелькнуло в голове у Степана.— Сталин и знать не знает о Николиной гриве».

Но Савинов уже перелистнул пару-тройку страниц и без предупреждения, что начинает читать, стал водить пальцем по строчкам, опасаясь, видимо, соскочить не на ту: глаза, выходит, у Савинова стали слабеть, раньше он к помощи пальца не прибегал. Ну дак ведь все стареем...

— «Пока в деревне преобладал единоличник, — напрягая зрение, читал Савинов, — партия могла ограничивать свое вмешательство в дело развития сельского хозяйства отдельными актами помощи, совета или предупреждения. Тогда единоличник сам должен был заботиться о своем хозяйстве, ибо ему не на кого было вваливать ответственность за это хозяйство, которое было лишь его личным хозяйством, и не на кого было рассчитывать, кроме себя самого...»

Степан подивился, как правильно Сталин пишет, будто сам пожил в шкуре единоличника. Действительно, надеяться было не на кого, только на самого себя. Оплошал в чем-то или перед ленью не устоял, расслабился—и появились в хозяйстве огрехи.

— «С переходом на коллективное хозяйство, — читал Савинов дальше, — дело существенно изменилось... Колхозники так и говорят теперь: «Колхоз мой и не мой, он мой, но вместе с тем он принадлежит Ивану, Филиппу, Михаилу и другим членам колхоза, колхоз общий». Теперь он... может ввалить ответственность и может рассчитывать на других членов колхоза, зная, что колхоз не оставит его без хлеба. Поэтому заботу о нем, у колхозника, стало меньше, чем при индивидуальном хозяйстве, ибо заботы и ответственность за хозяйство распределены ныне между всеми колхозниками».

«Ты смотри, и про это знает», — подивился Степан. И верно, заботы грызли теперь не всех: «Колхоз мой и не мой». Иосиф Виссарионович раскусил колхозника.

Савинов между тем продолжал читать:

— «Что же из этого следует? А из этого следует то, что центр тяжести ответственности за ведение хозяйства переместился теперь от отдельных крестьян на руководство колхоза...»

«Значит, мужик не вякай, — догадался Степан, куда клонит Иосиф Виссарионович. — Но ведь у председателя колхоза голова-то одна. Одной до всего не дойти, даже если человек семи пядей во лбу». Тут Степан со

Сталиным расхотелся. И чем дальше Савинов читал, тем расхождение это росло и ширилось.

— «Теперь крестьяне требуют заботы о хозяйстве и разумного ведения дела не от самих себя, — водил Савинов пальцем по уже пугающим Степана строчкам, — а от руководства колхоза... А что это значит? — спрашивал Сталин себя и — вопрекор тому, как думал Степан, — отвечал: — Это значит, что партия уже не может теперь ограничиваться отдельными актами вмешательства в процесс сельскохозяйственного развития. Она должна теперь взять в свои руки руководство колхозами, принять на себя ответственность за работу».

Савинов положил брошюру на этажерку и опять побарабанил пальцами по столешнице.

— Ну вот, — заключил он и не сказал о прочитанном ни слова.

За столом было жарко. Самовар тонко попискивал, излучая тепло, и в его красной меди, как в кривом зеркале, Степан увидел свое отражение — широкоскулое, с растянувшимися щелками глаз и с бисеринками пота на морщинистом лбу. Неузнаваемое, не свое лицо, и к зеркалу подходить не надо.

— Мы, и верно, не дети, — повторил Савинов свои же недавние слова и, решительно выпрямившись, в упор посмотрел на Степана. — Затея с двадцатью гектарами — не Потапа.

— Понимаю, что не его. Он и сам говорил: указание из сельсовета.

— И не моя, — нетерпеливо возразил Савинов.

Степан, жалеючи, посмотрел на него: ну, не твоя, теперь ясно, а горячиться-то отчего...

— Мне на сельсовет разнарядку дали — сто восемьдесят гектаров. А семь колхозов у нас. Вот как хочешь, так и дели. Вам еще меньше других досталось.

— Так у нас ведь, кроме паров, все занято.

— И другим пары засеять придется.

Какая-то незнакомая для Степана сила звучала в голосе Савинова и умирала в Степане желание спорить: бесполезно. Такую силу не перешибешь...

— Ну, как же эдакие разнарядки спускать? — неуверенно спросил Степан. — Посевное-то время ушло. Картошку бы садить — еще куда ни шло. Хотя и то поздно.

Савинов развел руки в стороны: не моя, мол, власть.

— Так спорить надо было с районом.

— А, думаешь, район по собственному хотенью такую директиву издал? Видно, где-то не справились с планом, не вытянули...

Теперь Степан развел руки.

— А земля-то при чем? Она-то не виноватая, что не сможет по директиве родить...

— Ну, давай, давай... Еще скажешь: чужую землю не жалко?

— Скажу, — насунился Степан.

— А я уж слышал однажды, как ты об этом высказался. Не забыл сам-то?

Степан не удивился вопросу председателя. И хоть не было Савинова на Николиной гриве в ту пору, на какую он сейчас намекает, но недаром же говорят: земля слухами полнится. Передали, видать, и ему.

Случилось это в первую посевную, как Степан стал колхозником. Выехали всей деревней в поле. Фофанов, бригадиривший тогда, пошел с мерной участки делить. Отмеряет, вешку поставит:

— Это тебе... — Это тебе... — Это тебе...

Степан не выдержал:

— Филя, да не меряй ты. Пусть каждый свои загоны пашет.

Мужики его поддержали:

— Знамо дело, давайте свои.

Фофанов растерянно скреб в голове. А мужики не давали ему опомниться, кричали, как на собрание, хоть и вразной, но об одном и том же: отпусти на свои полосы.

Свои полосы... Они же рубцами, как шрамы, легли на сердце. Недород ли, дожди ли, иль градобой — они ж не столько на полосах сказыва-

лись, сколько на сердце хозяина. Да ведь на своих-то полосках каждая горсть земли руками обласкана. Как же ей изменять, своей полосе? Ну и что, что в колхозе. И в колхозе можно работать на своей полосе: к ней душа тянется, с ней ждет встречи.

— Я же на своей-то земле лучше все сделаю.

Фофанов мялся, не зная, что и сказать. Вроде бы делу такая затея совсем не во вред, а вот на пользу ль идея?

Явись на оказию Потап Мокрецов и все испорти. Шел в Полежаево на работу да завидел, что мужики в поле столпились, и привернул. Потап ведь везде затычка.

— Нет, Фофанов, — вмешался он в нетерпеливое разноглосье. — Теперь земля не моя и не твоя — общая. Пусть пахнут подряд.

И пошел себе, ни о чем не заботясь. А Фофанова как кнутом подстегнул, тот снова с меркой завышагивал по омертвевшей стерне:

— Это тебе... — Это тебе.

Степану как назло досталось мокрецовское поле — камень на камне. На своем-то Степан бы все до корешочка сносил к меже, а тут объезжал валуны, матеря старого хозяина за то, что до такой степени запустил землю, и укоряя себя, что запахивает вместе с камнями и совесть. Но были бы загоны не мокрецовские, чьи-то другие, конечно бы, не поленился, расчистил их — а тут как шлея попала под хвост: «За указчика работать не буду».

Где-то далеко в мужичьем мозгу сидело несогласие с тем, что делается на Николиной гриве. Верно, общая стала земля. Но кто-то за нее и отвечать должен. Соберешь мало хлеба, а с кого за провинность спросишь, если эту землю вспашет Сизов, засеет Сидоров, а жать будет Митрошин? Кто из них худо сработал — виноватого не найдешь. Земля ни на кого не пожалуется, а ответит на недобросовестность одним — недородом.

В обед, когда повели кормить лошадей, Степан опять за свое взялся:

— Надо землю по дворам закрепить, чтоб кто-то один ее и пахал, и боронил, и засеивал... Своей семьей... Ведь не зря говорят: цыплят по осени считают. Вот и дайте мне землю до осени.

Мужики поддакивали, а Фофанов неуверенно возражал:

— У тебя нехорошие мысли, Степан. Ты к колхозу привыкнуть не можешь...

— Ну, и живи с хорошими-то мыслями голодным, — обижался Степан и давал себе обещание со своим уставом в чужие дела не вступать. Филя газеты читает, а Мокрецов около начальства крутится — им виднее.

Да забывался, сгоряча лез с новыми предложениями, а их опять не хотели принять всерьез, и опять Степан бранил себя за длинный язык: ну его ли дело совать нос туда, куда не просит никто? Пусть у начальства болит голова обо всем, Степану же и своих, крестьянских, забот хватает.

А тут вот, когда новый бригадир, Потап Мокрецов — у Фили было мало характера, он иногда поддавался на уговоры, и его пришлось заметить, — когда Потап Мокрецов пришел к Степану с дурацким нарядом — занять под посев двадцать гектаров паров, к начальству и побежал Степан выяснять отношения: «Ты вот, товарищ Савинов, чай спокойно гоняешь, а у нас преступление готовится».

Но, оказывается, никакого преступления и нет.

Ну, нет, так нет. На «нет», как говорится, и суда нет. С самого верху указания идут. Степан засобирился домой.

— Да погоди ты! — удержал его Савинов.

Степан видел, что с Савиновым творится что-то необъяснимое: взгляд отводит в сторону, смотрит мимо тебя и только голосом, без участия глаз, подчеркивает, что он здесь начальник, что верх в разговоре будет за ним.

— Да ведь все теперь ясно, чего годить, — неуверенно вставил Степан, не зная, проявить ли ему характер и гордо уйти, или дослушать председателя до конца.

— Я не крестьянин, — сказал Савинов, — а понимаю тебя.

— Я и вижу, что понимаешь.

— Понимаю, — упрямо повторил Савинов, и голос у него накалился. — И ты пойми: надо!

— Я ведь тоже от этого «надо» пляшу. Так почему они у нас разные, «надо-то» наши?

— Не знаю,—обмяк вдруг Савинов и устало махнул рукой.—Э-э, о чем говорить...

Он был похож на пьяного, который долго упрямылся, но, неожиданно сникнув, забыл о предмете спора и сдался.

— Я ведь чувствую твою правоту,—признался тихо.—Мне рассказывали, как ты за полосы свои воевал. Говорят, кулак, собственник. Нет, крестьянин ты. Может, именно по-твоему и надо было с землей поступать... По домам раскрепить—урожай-то все равно ведь колхозный. Зато видно, кто как работает, по работе и честь воздай, и трудодни начисли... Э-э, да чего говорить!

Степан не ожидал от него такого наплыва мягкости: железный человек, а так расслабил себя.

— Да чего там,—успокаивая Савинова, сказал Степан.

Но Савинов уже и сам справился с минутной оплошностью.

— А может, сразу под корень и надо рубить.—Голос у него огрубел.—Мелкособственническую психологию безжалостно растоптать, потому что она мешает строить новое общество. Мы идем-то, знаешь, куда?

«На кудыкину гору»,—хотел ответить Степан, но пожалел охваченного маятой Савинова.

— Мы идем к полной механизации сельского хозяйства,—сказал Савинов.—Какие тут полосы делить по домам? Трактору простор нужен. Он не сможет крутиться сначала у тебя на загоне, потом у Потапа.

Савинов, видно, думами шел на разрыв—и от этого хмелел, глаза становились безумными.

Степан поднялся со стула:

— Ну, так я пошел.

— Да погоди ты!—раздраженно сказал Савинов.—Давай сообща разберемся.

Он и в самом деле вел себя, словно пьяный, хотя ни одной рюмки не поднесли они сегодня ко рту, а баловались одним чайком.

— Мне ведь про тебя Мокрецов все рассказывал,—Савинов подозрительно прищурился.

— Слушай Мокрецова, так поумнеешь.

— А ты от него не отмахивайся. Классовое чутье в нем развито.

Степан не понял, о чем сказал Савинов, но все равно председательские слова резанули по сердцу: это ему-то Потапа ставят в пример... Савинов, видно, и сам почувствовал, что хватил лишку, и уже другим, подбредшим, голосом попросил:

— Да я ведь не в укор тебе говорю. Я, может, твердостью твоей люблюсь. Я, может, завидую, что ты предельно четко представляешь, как нужно жить на з е м л е, которой кормишься.—Он сделал особый упор на слово «земля», и это Степану понравилось.

— Да чего там,—опять засмутился Степан.—Я как все.

— Нет. Все тебе в рот смотрят, а ты вещаешь. Все на тебя оглядываются, ждут, что ты скажешь.

— И к тебе на меня же бегают жаловаться,—усмехнулся Степан.

— Бывает, и бегают. Но не все. Если бы я не знал, что ты передовой колхозник—и пашешь больше всех, и по гектару за день выкашиваешь,—я бы жалобам, может, и поверил. А о человеке по работе судят, не по словам.

Интересно, а если бы по словам, так чего он, Степан, неправильного сказал?

В эту минуту он не понимал Савинова. То ли тот, не доверяя ему, вызывает на откровенность, прощупать хочет, чем дышит, то ли в себе сомневается и хочет проверить какие-то мысли в споре. Только ведь Степана на откровенность чего вызывать? Прибежал как полоумный: «Не троньте землю!» Куда откровенней-то? Весь на виду. И не зря Савинов заговорил сейчас о Потапе. Уж этот-то обо всем ему рассказал: не раз приходилось Степану схлестываться с ним. Ой, не раз... И не из-за полос только.

Степана, когда он вступил в колхоз и ему, как всем, нарезали приусадебный участок в тридцать соток, поразило, что новая власть уравнила во всем. Он и раньше знал это, знал, что уравнивают. Но раньше это пока не касалось его, и Степан не пытался осмыслить, правильно ли всех

стричь под одну гребенку. А тут, когда у него отмахнули весь клин и оставили только тридцать соток, Степан заоглядывался: у Сидорова семья пять человек — а те же тридцать соток, у Мокрецовых двое — и тоже тридцать, у Митрошиных десятеро — тридцать. И у всех по одной корове. Нет, чего-то неладно. К председателю колхоза с вопросом сунулся. «Приусадебный участок, — говорит председатель, — это подсобное хозяйство, не основное. Картошку, капустку, лучок посадить, а остальное в колхозе по трудовым получишь. У тебя, — говорит, — восемь человек на работу ходит, а у Мокрецова только сестра Лукерья. Вот трудовни и сравниют все».

Так-то бы оно так, но не так. Мужика-то не переделаешь вдруг. Мужик, он ведь себе на уме. Прикидывает, взвешивает, выбирает...

Потап, наверно, по этому поводу возвел на Степана напраслину, а Савинов и уши развесил. Как же, у Потапа какое-то особое чутье — надо делать, как сверху велят. Ему можно всех оговаривать. Уж, конечно, про споры Степана с председателем колхоза он как пить дать рассказал. Степан вспомнил сейчас, как Потап бросил ему однажды, когда он особо разгорячился, ядовитые слова: «У тебя кулацкие аппетиты», — и, испугавшись того, что сказал, потому что мужики зашумели и председатель колхоза его осадил, не забываясь, мол, Мокрецов, — испугавшись общего недовольства, Потап бочком, бочком, да и вынырнул из толпы, ушел от спора. Может, в сельсовет убежал жаловаться.

Вспомнив сейчас все это, Степан посоветовал:

— Ты, товарищ Савинов, Потапу не очень-то доверяй.

Савинов встрепенулся. Над прищуренными глазами хитровато дрогнули брови. Ну, ну, мол, послушаем, что ты сейчас рубанешь.

— Ты, товарищ Савинов, и с нашим братом советуйся, с простым мужиком.

— С обиженным? — уточнил Савинов.

— Зачем с обиженным? Со всяким. И с таким, как я, не мешает.

— А я с тобой вот уже целых два часа советуюсь.

— Устал, поди? — усмехнулся Степан. — А я тебе про кулацкие аппетиты хочу рассказать. Слышал про такие от Мокрецова?

Савинов в чашку наедил из самовара кипятку, разбавил чаем и — вот ведь хитрый! — сделал вид, что не слышал вопроса. Ну, не слышал — не надо. Не обязательно отвечать. И молчание бывает красноречивым.

Степан откашлялся: что-то сушило в горле.

— Налей и мне.

И, дождавшись, когда Савинов пододвинул к нему чашку, он обхватил, не поднимая от стола, горячий фарфор ладонями. Ему руки жгло, а Степан терпел и терпел, будто испытывал себя, проверял свою выдержку.

— Так я тебе про кулацкие аппетиты сейчас расскажу.

Савинов опять не откликнулся: не слышал — и все.

И Степан завел свою старую пластинку, потому что сердце не в силах было держать в себе боль, требовало открыть для нее выходы. И уж коль начался сегодня разговор о земле, так надо выложиться до доньшка. Пусть Савинов как хочет, так и судит теперь о нем, Степане. Но судит не с Потаповых слов, а с его собственных, со Степановых. Земля — дело серьезное. И если собираешься на ней жить и работать, в прятки играть нечего. А Степан земле не изменщик.

Ведь почему он тогда предлагал закрепить за дворами землю? Потому что мужик к земле прикипает. Он же отцами научен, что ее, как и собственную жену, нельзя пускать по рукам.

— Ну, а с приусадебным участком как? — спросил Савинов, и Степан не понял, то ли он усмехнулся внутри, то ли всерьез сказал.

— И с приусадебным чего-то не так.

Савинов уже откровенно покачал головой: «Ну и ну». А вот и не «ну»!

— С приусадебным, видишь ли, тоже неувязка выходит.

О земле думано-передумано миллионы раз. Голова от этих дум на куски разваливается.

С приусадебным участком не так-то легко все решить, как кажется Савинову. Ну, дали тридцать соток Сизовым и тридцать Потапу. А того не учли, что одному мало этого, а другому много.

И есть ведь выход из дурацкого положения, есть. Кто на что, а голь, говорят, богата на выдумки.

Скажем, Степан отделит отца — мать к тому времени уже умерла (майся один!) — и ему нарежут участок в тридцать соток, разрешат корову держать. Потом Степан отделит старшего сына Григория, потом — Любаву, Настасью... И все по закону, не подкупаешься... Знаешь, сколько таким способом можно ему земли набрать? И не один Степан такой умный. Другие-то уж всюю делятся. Не заметили разве? Земля, она, брат, сильнее всех. С ней никто совладать не сможет. Семьи рушатся, а земля живет, мужика в куль рогожий свернула: ну-ка, подумай сам, легко ли делиться...

Ведь веками проверено: люднее-то легче жить, Дом ли строить, дрова ли заготовлять — в большой-то семье, как у муравьев, дело само делается. А теперь вот земля подкашивает: надо делиться.

— Семья-то, как веник, по пруту растаскивается. Что делать-то, Савинов?

Савинов исподлобья посмотрел на него.

— А ты, вспомни-ка, сам говорил мне, что колхоз — это большая семья.

— Н-да...

Степан задумался. Было такое дело. Говорил он Савинову, что колхозом сподручней жить, что колхоз — это большая семья. Он и сейчас не отказывается от своих слов: все правильно говорил. Но ведь в большой семье у каждого свой островок дел должен быть, за который он отвечает с начала и до конца, а не до середины, как на Николиной гриве. А хозяйин-то в такой семье, знаешь, нужен какой — не чета Мокрецову. Голова из сплошных забот чтобы сделана была, а не пивной котел на плечах, как у некоторых.

— Ты на кого намекаешь? — спросил Савинов.

— Какие, к черту, намеки! — отмахнулся Степан. — Самому бы себя понять... А то иной раз думаю: «Чего же тебе надо, Степан? И себя, и людей изводишь, нервы треплешь, дома никому покою не даешь — и не прав ведь. Потап Мокрецов правый-то, а не ты». Вот какие мысли приходят.

— А ты, и вправду, философ, — повторил Савинов старые слова, не забыл, видно, прежнего разговора со Степаном.

— Вот он самый и есть, — согласился Степан. — Самый что ни на есть дурак. — И, будто подытоживая все, что было сказано и что предстояло сказать, но говорить уже не имело смысла, спросил: — Стало быть, ехать пахать?

Савинов промолчал.

Степан, расстроенный, выскочил на улицу.

На крыльце у правления колхоза сидел Филя Фофанов со своим братом Сидором Ильичом, налоговым агентом.

— Подожди, так вместе пойдем, — предложил Филя.

Бередить себя новыми разговорами Степану не хотелось, но Филя не велик говорун, будет всю дорогу молчать, вздохнет если пару раз да о врагах вспомнит — можно перетерпеть.

Степан привернул к Фофановым, поздоровался с братьями за руку и не успел сесть, как Филя огорченно покачал головой:

— Я тебе говорил, что вредители наверху остались...

Привычное начало разговора как-то разом успокоило Степана, будто и не было на квартире Савинова никакой перепалки — а ее и в самом деле не было, запоздало понял Степан, вспомнив сталинскую статью и только сейчас сообразив, зачем ее председатель сельсовета ему читал, — и привычно спросил у Фофанова:

— Какие, Филя, вредители?

— А Камнев какой-то... Зиновий...

— Да не Зиновий, а Лев, — поправил Филю брат. — Каменев Лев. Филя, не желая выглядеть дурачком, обернул поправку Сидора Ильича в шутку:

— Ну, ты скажешь еще, что Тигр.

Но брат на то и был при портфеле, чтобы знать больше рядового колхозника, и поэтому не уступил Филе:

— Лев Каменев и Григорий Зинсзев. Обоих арестовали.

Филя сразу засобирился домой:

— Ну дак, что ли, пошли...

За всю дорогу он о вредителях больше ни разу не вспомнил. Только вздыхал и с нутряным придыхом повторял:

— Да-а... Дела-а...

10

Солнце, опускаясь, вытягивало на полу переплеты рам, подбиралось по половицам к ногам Степана, и, когда темными перекладинами, как крестами, легло на обмякшие онучи, Степан суеверно отодвинулся от прямоугольника света, в ступнях снова проснулась боль.

«Ох ты, господи!» — испуганно подумал Степан, вслушиваясь в ноющее потикивание, толчками, как кровь, передвигающееся по телу. За потикиванием трудно было уследить, где оно возникало и где затихало. Временами Степану казалось, что боль шла не из ног, а рождалась у самого сердца, не давая ему работать.

Степан снова разулся, снова смазал потемневшую кожу скипидаром и снова испытал облегчение: скипидар щипался, будто ноги кусали муравьи, и пахло от смазанных ног кислым нутром муравейника. Поэтому, наверно, Степану представилось лето и неожиданно вспомнилось, как внук Сережка, склонившись над муравейником, ковырялся в нем веткой, выкапывал на иглисто бурую насыпь белые яйца, а муравьи суетливо обступали похищенные белые ядрышки и затаскивали их назад.

Степан тогда разразился бранью: как можно быть таким бессердечным! Сережка непонимающе выслушал его, и это непонимание, обидой искажившее лицо внука, поразило Степана, он вдруг понял, как далеко от него Сергей, совсем на другом конце жизни. Степан не сумел укоротить этого разрыва между собой и детьми, упустил время. И если еще остаться далеким от внука — значит, прожить вхолостую жизнь.

Он вел внука по земле, по которой ходили Сизовы вот уже не одно столетие, и на этой земле все принадлежало им, они ее оберегали от злой руки, от недоброго глаза. И Степану нетерпеливо захотелось внушить это Сережке. Уйдет из жизни Степан — ему, внуку, достанется эта земля, он по ней будет ходить.

Степан не смог бы пересказать свое состояние, свои мысли словами.

И случай пошел навстречу ему.

Высоко над лесом стояло солнце. Хвоя на елках уже притомилась и источала пересиливающий все другие запахи резкий настой смолы. Деревья удушливо никли ветвями к земле. И вдруг Степан уловил пригорклый наплыв дыма. Костер? Нет, от костра запах куда слабее, и далеко его не заносит. Видно, где-то горел лес.

Степан, как зверь, утробно вдыхал в себя гарь, но шел наперекор звериному инстинкту — к пожару. Сережка едва поспевал за ним, оступался и испуганно вскрикивал. Степан нетерпеливо оглядывался и снова бросался в чащу, на усиливающийся запах дыма.

Они выскочили через бурелом в вершину Савушкина лога. Горела высокая дремотная ель.

Огонь еще не успел схватиться как следует, выжигал по стволу серу да выедал у корней палую хвою, подбираясь к чащобнику. Дым зеленоватосизым жгутом ядовито плыл по земле, изнывая от безветрия.

Степан выхватил из-за пояса топор, без которого в лес никогда не ходил, и принялся вырубать ельник, чтобы перегородить дорогу огню. Сережка оттаскивал сучья.

Степан уже почти обошел старую ель полукругом, когда огонь выскользнул из-под низу, из-под топора почти, и незатухающей струйкой ринулся на пожухлые лапы ельника. Степан успел бы перехватить его — струйка была пока слабой, — но топор безвольно обвис в руках.

Из чащобы, привстав на когтистых ногах, навстречу огню растопырила крылья глухарка. Едва дымок дополз до нее, она захлопала крыльями, пытаясь сбить пламя. Огонь подбирался к ней, а она не отступала от него, была по земле крыльями, и молодой ельник сгибался под их тяжестью. Степан, боясь поранить птицу, отбросил топор и стал затапывать огонь

сапогами. Глухарка сползла с гнезда и, не опасаясь Степана, двинулась вперед, отгоняя огонь крыльями.

И тогда Сережка увидел ее.

— Дедушка, кто это?

Глухарка была похожа на обгоревший пенек. Она не испугалась крика, продолжала наступать на огонь. В гнезде у нее лежало восемь желтых, в бурых накрапах яиц. Глухарка отстаивала свое право на продолжение рода.

И, когда огонь потушили, когда перепачканные сажей Степан и Сережка спустились к ручью умыться, Степан ответил на удивленный вскрик внука:

— Глухарка.

Он был поражен ее готовностью отстоять гнездо и, желая в душе сказать очень много, растерял все слова и только гладил внука по голове. Сережка дрожал — от испуга ль, от возбуждения ль — и все оглядывался:

— А она непораненная?

— Нет, нет, успокойся.

— Ее кто-то зажарить хотел?

— Да нет. Пастухи, видно, не доглядели, не затушили костер.

— А огонь снова не вспыхнет?

Какое-то щемящее чувство благодарности внуку за выказанную им тревогу возникло в Степане, будто Сережка сейчас жалел не глухарку, а самого Степана и обещал эту жалость пронести через всю свою жизнь.

С этого майского дня Степан и привязался к Сережке, водил его с собой по лугам, учил ловить рыбу, различать по голосам птиц, по цветам предсказывать погоду, ездить верхом на лошади, мастерить свистки и пищали, которыми можно приманивать рябчиков...

И вот отозвалось-таки сердце внука на эту учебу, придет Сережка домой справлять свадьбу. Степан последний раз в жизни сварит пиво.

Он наматал онучи на обрадевшие ноги и, улыбаясь, слушал прихлынувшее волнение. В июне он разложит свой последний пожог. Сварит пиво для внука.

11

Под окном заскрипели колеса, фыркнула лошадь, и голос, похожий на голос Любавы, резко выкрикнул:

— Тпр-р-ру!

Пока Степан шаршился, пытаюсь подняться, дверь в избу открылась, и старшая дочь Любава, блестя мокрыми сапогами, переступила порог.

— У тебя, тятя, ум-то есть ли?—заговорила она, пряча в глазах еще не растаявший испуг.— Мы ведь всю деревню обегали. Ладно, Потап Мокрецов сказал, что тебя на Николину гриву леший унес. А то бы ищи-свищи.

Степан нахмурился. Про Потапа ему хороших слов выслушивать совсем не хотелось.

— Ты это... голоса-то не повышай,—осудил он дочь.

— Да как на тебя не повышать-то? Ровно маленький... А ну бы в ручье утонул.

Степану понравилось беспокойство дочери

— А утонул бы—таковский и есть. Туда и дорога. Свое отжил уже.— Он говорил в задир Любаве, ему сейчас очень хотелось, чтобы она укорила его за такие мысли и успокоила бы словами о том, что он никому не мешает и пусть живет себе на здоровье.

Но Любава, взглянув на отцовские ноги, всплеснула руками:

— Ты чего онучи-то, как покойник, внутрь наворачнул? И вправду, видать, на тот свет сготовился.

Легко сказала, без боли.

И у Степана опять заныло в ногах.

— Ой, Любка, вица мало ходила по тебе, пока ты маленькая была,—сказал он обиженно.

— Тятя, да за что меня вицей-то было драть?—засмеялась Любава. От весеннего ветра она зарумянилась—и не скажешь, что ей перевалило

за пятьдесят. Хотя, конечно, видать уж, что не невеста: лицо-то все заботой избито. — Не заслуживала, наверно, вицы, то и не хлестал маленькую.

— А зря не хлестал. Вица нема, да дает ума, — насупился Степан. Любава сбросила на залавок пальто:

— Натопил-то как жарко... Ты, чего доброго, и дом спалишь.

Что-то беспокоило Любаву. Она прошлась по избе, заглянула на печь, спустилась в подполье, напустив в дом промозглого холоду, и вылезла обратно, залепленная тенетами.

— Ты посмотри-ка, картошки там с полведра рассыпано, так по полу пустила ростки...

Она зябко поежилась, собрала тенета с себя и уселась на табуретку, беспечно расслабившись.

— Вот ровно чего-то оставила, а не могу вспомнить чего. — По лицу Любавы блуждала задумчивая улыбка. — Уходить никуда неохота.

И вмиг озарила Степана догадка: он-то жизнь прожил здесь, ему-то понятно, что человек оставляет на родине, — тоску. Конечно, никуда уходить неохота. Конечно, каждая щель в половице тут дорога, каждая ступенька на лестнице с тобой разговаривает. Еще в огород зайди или на реку возьми сбегай... Совсем от тоски одуреешь...

И оттого, что его настроение слилось с настроением дочери, Степан простил Любаве ту легкость, с какой сказала она про покойницы навернутые онучи. Подобалдела на первых порах от родного дома, как пьяная делалась, и не надо ее за это строго судить.

А Любава уже опомнилась, поднялась с табуретки и прошлась по избе совсем по-другому, не так, как десять минут назад. Половицы под ней тяжело поохивали.

— Ну, давай собираться. Мама там совсем извелась.

Любава закружилась на месте, высматривая, куда Степан положил фуфайку, куда бросил шапку. А Степан их, наверно, забыл на полатах. Он ведь не раздевался, пока не полез разбирать наверху рухлядь, а там его разморило, и Степан сбросил с себя ватник, закомил в тряпье.

— Где одежда-то у тебя? — спросила Любава.

— Пропил, — заулыбался Степан, а сам подумал: «Ну, поищи, поищи». Ему хотелось, чтобы дочь за ним поухаживала, а он бы перед ней немножечко покуражился.

Любава недовольно покачала головой: из ума, мол, выжил старик. А вот и не выжил. Поищи, поищи... За отцом-то не грех немного и походить.

Любава уперла руки в бока:

— Да ведь и раздетого все равно увезу. Думаешь, тут оставлю? — И будто впервые увидела, будто не замечала раньше, всплеснула руками. — Господи, и в лаптях!

А давно ли сама корила, что онучи неправильно навернул. Видать, и вправду захмелило в родном-то дому, из головы все вылетело. Тоской охватило сердце.

Любава кислотовато сморщилась:

— Не смехи людей-то. Ишь, удумал чего, в лапти вырядился.

Этого уж Степан не выдержал:

— А не тебе и указывать! Теперь мода назад повернулась. Скоро и ты в лаптях зафорсишь.

Любава насторожилась, пристально посмотрела в глаза отцу.

— Да не пугайся, в своем уме, — сказал он.

Любава натянуто засмеялась:

— Меня-то уж в лапти ты не вернешь. Отходила свое. Сейчас вспомню, что ноги все время мокрые были, — мороз по коже так и пройдет.

— И ты обуешься, — невозмутимо возразил ей Степан. — Куда ты денешься? Мода и тебя настигнет.

— У меня уж годы не те, чтобы модничать.

Степан обескураженно замолчал. С Любавой немного напорись: у нее на все резонный ответ припасен. Конечно, в пятьдесят шесть лет обуваться в лапти, даже если б и мода такая пришла, дочь не захочет. Это Степану было яснее ясного. И все же усмешка Любавы обжигала его.

— Настигнет, — повторил он упрямо.

А Любава, не соглашаясь, упрямо покрутила головой:

— Нет!— и расхохоталась. — Ну-ко, удумал чего, в лапти меня обушь... У меня, слава богу, и сапогов восемь пар стоит, не износить будет.

Если бы Любава не расхохоталась, Степан бы себя виноватым и посчитал: надо же, вздумал сапоги на лапти менять. А смехом как кипятком ошпарило. В самую душу кипятков-то попал. Степан усидеть на месте не смог, пошел из избы.

Любава суматошно закричала вдогонку:

— Ватник-то где?

Степан остановился, осмысливая ее вопрос, оглянулся на дочь.

— Ватник-то где?— переспросила Любава.

Степан пожал плечами: а бог его знает, где. Не до ватника ему было сейчас: Любава своим смехом будто всю его жизнь перечеркнула, будто завязала ему глаза и из дому вытолкнула: иди, куда хочешь,— не жалко.

А не ей бы над лаптями смеяться. Ведь и сама в них всю жизнь выходила, давно ли сапогами-то обзавелась...

Конечно, и дураку ясно, что сапоги лучше лаптей. Это и раньше ведь понимали. Да где их, сапоги, было взять? Босыми бы бегали, если б не лапти. Вот и скажи им спасибо, что выручили. Хорошо ли, худо ли— грели все же. И не смеяться надо над тем, что ходили в них, а гордиться: вот мы какие, все вытерпели, все испытали, а не сдались. Ничего нет ни из обуви, ни из одежды, а нас все равно не сломить, сами все сделаем. Это как в сказке, которую Сережка ему читал: один мужик двух генералов прокормил на необитаемом острове. Дерево о дерево потрет— огонь добудет. Из собственных волос силос делает— изловит им рябчика. А мы-то не двух генералов— целое государство кормили. Конечно, приходилось в лаптях ходить: кругом война, голод, сапогов-то ждать неоткуда... А Любава увидела лапти и насмехается.

Конечно, о моде Степан неладно сказал, переборщил. Нет, лапти не мода, а памятник тому, что человек не согнулся, выстоял. Смотри на них и не забывай: крестьянин сам не пропал и другим умереть не дал.

О моде Степан сдуру ляпнул, поверил чужим словам. Года два назад приезжал к нему один бородач аж из самой Москвы, интересовался иконами, резьбой по дереву. Степану похвастаться было нечем— все, что имелось, давно выброшено. Тогда приезжий начал песню тянуть с другого конца:

— Ну, а не сплели бы вы для меня лапоточки?— И показал на свою ладонь. — Вот такие маленькие.

Ладонь-то у него, как у ребенка, была, не больше.

Степану его просьба понравилась, да бес подоткнул под ребро, покуражиться захотелось: пусть получше поугуваривает.

Бородач не понял заминки и предложил:

— Вы не бойтесь, я хорошо заплачу.

И Степан сразу сник:

— Нет, глаза у меня не видят, теперь не сплести.— А бес так и прыгал в нем, не давал отпустить заезжего человека в покое.— Вот адресок в Москве, Сизова Сергея Григорьевича. Это внук мой. Он лучше меня сплетет. А я ему лыка с тобой пошлю.

Бородач заотнекивался: в Москве, мол, мода на лапти, и внук для него плести не возьмется. Будто Сережка тем и жил, что плел лапти, будто лаптями себе на хлеб зарабатывал. Все-таки внук не какой-то хухры-мухры, а по инженерной части работает на автозаводе.

Степан, грешным делом, про Сережку вспомнил, чтобы бородача укорить: вот, мол, внук у меня, как и ты, занимается городской работой, но и нашу, крестьянскую, знает, за лаптями побираться не побежит. А этот все свел к деньгам. Тьфу!

Степан пожалел, что и адрес ему предлагал.

А сейчас, вспомнив об этом, подумал, что о моде на лапти заговорил он со слов бородача, а не оттого, что сам верил в возврат лаптей. Но вот поди ж ты... Любава и уши развесила, приняла все за чистую монету. Бабий ум короток. Сережка бы сразу разобрался, что к чему. Разобрался бы— и смеяться над дедом не стал.

А может, и он засмеялся бы? Он-то ведь в лаптях и дня не ходил. Кому, как не ему, и смеяться.

Отчего человек человека понять не может? Отчего ты начнешь вспо-

минать — тебя и не слушают? Оттого, что в шкуре твоей не побывали, не знали, не ведали того, что тебе испытать довелось?

Вполне такое случиться может: и Сережка скривится в смехе там, где у Степана обмирает душа от жалости.

Чего говорить о Сережке? Сережка — внук. Сыновья и то свысока на отца поглядывают, плюют на то, чем вспоены, вскормлены. Анатолий приезжал в гости, так только Степана расстроил. Все-то не по ему: и говорим-то мы некультурно, и ложку в руках держать не умеем, и в избе все неладно расставили — комод не там, печь не там, а лавки давно пора заменить на стулья...

Послушаешь его — так живым в могилу ложись и помирай. Ходили как-то в Полежаево вместе. Он по селу стыдится рядом с отцом идти, через канаву перескочил — да по тропке: двоим-то, знает, не уместиться тут.

А уж чего бы ему Степана стыдиться? Жизнь прожита не хуже, чем у людей. Никто попрекнуть не вправе. Не ловчил, не юлил, от работы никогда не увиливал.

Вот если только за сыновей дать выговор можно... Холодные выросли, сердце на четыре замка закрыто. Анатолий хоть показался раз, а Васька укатил в ремеслуху — и с тех пор на Николину гриву не приезжал: «Чего я оставил в ней?»

Степан сам наведаль его. Живет справно. Жена попалась незлая. А был Степан у них в непокое: чужим себя чувствовал. Неделью гостил в Васьки — не один день, неделю, — а станет сейчас вспоминать, о чем говорили с сыном, и вспомнить нечего. Стоит в глазах все одно и то же, как сидят они за столом, Васька разливает вино по рюмкам и, смеясь, говорит жене:

— Ты знаешь, Эля, он ведь у нас кулак. Да, да, натуральный, его раскулачивали...

— Не раскулачивали, обкладывали твердым заданием, — поправил Степан.

— Ну, это почти одно и то же. Я, Эля, тебе не рассказывал об этом, чтобы ты ненароком не проговоришься где. У женщин, известное дело, язык без костей. А теперь, за давностью, можно признаться...

Э-эвон что... За себя боялся. Перед женой и то язык прикусил. А за Степана краснеть не надо, худого не сделал никому.

Наслушался Васька страшных слов — и не хватает ума до сих пор разобратся, что к чему.

Почему же так несправедливо устроено на земле? Заберется на колокольню дурак, выкрикнет чушь — а внизу рты откроют: святую правду вещает. Ум-то свой есть или нет у них?

А какой ум у Анатолия с Васькой, когда на себе не испытали того, за что корят отца? Да ведь всего-то и не испытает. Жизнь короткая.

Вот если бы было так, что какому-то человеку дали бессмертье. Живет и живет себе, не старея. Вся жизнь своими глазами высмотрит. Что хорошо и что плохо не с чьих-то слов возьмет в голову, а собственным умом разберется. И общую боль, как губка, вберет в себя, и радость запомнит. Все через одно сердце пройдет, оставит на нем зарубки. На самом-то деле как...

Была, скажем, турецкая война. Отец Степана ходил на нее, даже ранили там, а для Степана страдания отца за семью печатями. Раньше — маленьким был — отец чего-то рассказывал, да Степан — губошлеп, не больно прислушивался: свои заботы одолевали. Теперь бы и рад послушать, но отца не вернешь из могилы, все с собой унес.

А ведь жизнь-то начало берет э-эвон где... И баре-бояре были, и Стенька Разин был, и с французами воевали, и с немцами — сколько людей погинуло, сколько боли-то позади. А мы забываем ее. Не передается она по наследству, как передается дом, земля, золото. Умирает вместе с памятью нашей. И опыт предков не переходит из одних рук в другие: то, что умеет делать отец, зачастую не может сын. А если б было так: чем больше в роду испытаний, тем опытнее потомок. Будто один человек прожил длинную-длинную жизнь. Тогда бы и помирать легче было: не зря страдал. И никакого вечного человека не надо б было. Да его — все одно! — и не будет.

Степан отряхнулся от одолевающих его мыслей, а они не хотели отступать, тянулись за ним.

— Ну, так где раздевался-то? — сердито вмешалась в Степановы думы Любава и, видно, углядела свесившийся с полатей рукав. — Ишь, куда спрятал.

Она, привстав на цыпочки, ухватилась за рукав и стащила фуфайку вниз.

— А шапка где?

Степан недоумевая смотрел на нее. Какая шапка? О чем она спрашивает? До шапки ли...

Любава загремела табуреткой, пододвигая ее под полати, чтобы можно было, взгромоздившись на нее, заглянуть наверх.

— Нет, сегодня же окна заколочу и на двери замок повешу. Больше не попадешь. За каким чертом тебя сюда понесло?

— Тшаны проверил, а то Сережке пиво скоро варить.

— Тшаны, тшаны! — передразнила его Любава. — Я уж и без тебя их проверила, чего им сделается...

Она нахлобучила на Степана шапку. Как на маленького, натянула ватник и, легонько подталкивая, повернула к дверям. Степан безропотно ткнулся к выходу и уж взялся было за скобу, когда Любава остановила его:

— Господи, да что за наказание свалилось на меня... Снимай, снимай лапти! Не повезу такое посмешище.

Степан сел на порог, а дочь кинулась к печке, где поставлены были сушиться валенки, а они — кисель киселем.

— Да ведь ты ноги-то, наверно, довел. — Любава, не пряча испуга, заохала, присела перед отцом на колени и суетливо взялась разувать Степана.

Вид обмороженных пальцев ужаснул ее. Она захлопала руками, запричитала:

— Ты чего молчишь-то, как Тюха Панковский? Язык-то есть у тебя или нет? К фершалу надо ведь ехать.

Степан отмяк от заботливой ругани, смотрел на дочь слезливыми глазами и улыбался.

— Ему еще и смешно! У него и рот до ушей. Вот отрежут пальцы, так будешь знать.

— Ничего. Заживет, как на собаке, — успокоил он дочь и небрежно посдавливал ступни, показал, что не больно.

Любава боязливо нагнула ему на ноги онучи, нагнула слабо, но Степан сделал вид, что все хорошо: до телеги доковыляет, мозолей не успеет набить. А дома все равно разуваться.

И уж когда сготовился он уходить, послышалось ему, что кто-то стучит за печью по раме. Не утерпел, заглянул на кухню, припал лбом к стеклу.

Снег под окнами был нетоптанный. На нем вытаяли заячьи катыши, вороньи наброды, бусины рябиновых ягод.

— Ну, куда еще убежал? — незлобиво окликнула дочь и, томясь любопытством, пришла на кухню, встала за спиной у отца.

По переплету рамы стучала веткой черемуха. На ней уже ожили почки, набухли, выправились, готовые лопнуть от избытка зеленой крови.

— Чего увидел-то?

Черемуха скреблась по стеклу и будто уговаривала Степана не оставлять ее, обещая одарить потом ягодами. Она выросла для людей и, как живая, понимала, наверно, что без них ее дни сочтены. Раскатают Степанов дом и выкорчуют под корень деревья, завалят землей колодцы... Будет на месте деревни поле. Оно сравняет и горе, и радость — все умрет под землей.

Любава повыглядывала из-за плеча Степана, ничего не увидела и заторопила отца:

— Поедем, поедем давай... Лошадь-то застоялась совсем.

Степан молча покивал ей головой, а сам остался сидеть у окна. Он и раньше любил это окно. Откроешь его — а черемуха ветку протягивает с ягодами, и из избы выходить не надо. Нынче вот последний раз расцветет.

Цветет она пышно, забелеет враз, словно туманом укутается, — и листьев совсем не знать. Пчелы роем загудят над нею: как сторожа, оберегают, чтобы не обломали. А кто решится такую красу порушить?

— Вот заколочу окна, так больше не побежишь! — опять заворчала Любава и потянула отца за рукав. — Поехали. Мама испереживалась вся.

Она вывела Степана из дома, усадила в телегу, сеном укрыла ноги. А сама побежала назад, захропала у дверей топором.

У Степана упало сердце: Любава заколачивала дом. Степан понимал, что негоже оставлять полые сени. Уезжаешь совсем — так наладь запоры. Но, и сознавая это, Степан не мог смириться с тем стуком, который одиноко летел вдоль Николиной гривы.

Любава вернулась с топором, сунула его в передок телеги:

— Все, больше не попадешь!

— В окошко залезу! — рассердился Степан.

Любава с подозрением посмотрела на него, будто прикидывая что-то в уме.

— Нет, не залезешь, — сказала она, успокаиваясь. — Стар по окошечкам-то лазить. — Но на всякий случай добавила: — Завтра же и окна заколочу.

Степан сплюнул на снег:

— Чего палача-то из себя строишь? Бери топор да уж руби голову мне. Все одно к одному.

Любава притихла. Видно, и до нее дошло.

— Да я ведь, тятя, за тебя боюсь. Мне ведь не жалко: ходи бы... — виновато покаялась она и пояснила: — Только ты ведь немолодой... Случись чего, так никого не докличешься.

— А ты меня не хорони раньше времени.

— Господи, да разве я...

Он отвернулся от нее, потому что на глазах у него проступили слезы.

Телега, продавливая снег, выехала за ворота, и прежняя жизнь Степана стала отдаляться от него с каждым шагом лошади. Степана вдруг кольнуло предчувствие, что он видит Николину гриву в последний раз. Какой-то нутряной тайный голос подсказывал ему, что надо вылезти из телеги и поклониться родной земле: приспело время прощания.

Степан попросил Любаву остановить лошадь. Дочь, недоумевая, натянула вожжи. Степан, путаясь ногами в сене, перевалился через край и, пройдя навстречу родной деревне несколько шагов, встал на колени.

Любава заревела навзрыд.

Степан отесил поклон, посмотрел вдоль дороги, заходясь сердцем, и снова склонил к земле голову.

С закрайков поля доносилось захлебывающееся пришептывание косачей. Присвистывали в елках рябчики. В черемушнике возбужденно тренькали синицы. Степан прощально вбирал в себя это разноголосье и слышал, что оно не уживается в нем, не находит места в душе. Душа была занята только собой и не отзывалась на посторонние звуки. Была она сейчас совсем маленькая, и Степан обеспокоенно недоумевал, когда же она так усохла: ведь, кажись бы, сегодня, когда он вернулся домой, она разом помолодела и восстановила себя полностью. Выходит, она обманула его, и, расплачиваясь теперь за неосмотрительную доверчивость навалившимся на него удущьем, Степан корил себя, что незаконно расходовал тот запас жизни, который ему был дарован судьбой. А какой запас? Кто его взвесил заранее? Где тот край, переступив который, человек попадает в небытие? Кто разглядит его издали?

Да, сегодня к нему прихлынули силы, и Степан, учуяв их приближение, не берег себя: отрывал от дверей крестовины, носил воду, чинил залавок, залезал на полати. Еще вчера его не хватало бы ни на одно из этих, пусть и не сложных, но молодых дел. Да и сейчас он уже не смог бы не только поднять ведра с водой, но и удержать в руках топора: душа не давала ему в эту минуту даже оторвать голову от земли, и поклон получился пугающе затыжным. Степан уперся руками в дорогу, но голова — как примерзла, не было сил пошевелить ею. Степан захрипел и повалился на бок. Ему показалось в этот момент, что душа у него порвалась и из нее

что-то, забулькав, вылилось. «Ну, вот и все», — устало подумал он и смежил веки, приготовясь к приятию тишины.

И когда Любава завлыла над ним, как над покойником, он не поверил, что еще может слышать ее голос, открыл глаза и опять удивился, потому что отчетливо различал склонившееся над ним лицо дочери. Любава ползала на коленях по снегу и все припадала ухом к его груди, но Степан лежал, скрючившись, на боку, и ей было неудобно приставлять ухо. Степан вздохнул, выпрямился, и Любава закричала с надрывом:

— Тятенька-а, родной мой! Да что это с тобой делается-а-а?.. Ой, да не уходи ты от нас, не делай сиротами-и-и...

Степан, оставаясь равнодушным к ее причетам, прислушивался к себе: внутри что-то происходило. Какие-то силы боролись между собой. Степан не мог разобраться в них, какая тянет в какую сторону. Но он сейчас не хотел умирать, и для него было важно помочь той, которая боролась за его жизнь. Он упрашивал ее, неопознанную, что ему нельзя уходить на тот свет, не повидавшись с Сережкой. Душа, будто отступая перед мольбой Степана, принялась за свою работу, и ему сразу сделалось легче.

— Тятенька мой! — обрадованно заревела Любава. — Видишь ли ты меня? Чувешь ли?

Он, не решаясь заговорить, подморгнул ей одним глазом, и из него на щеку выкатилась слеза. Любава заметила ее, растерла ладонью.

Степан попробовал вытащить из-под себя неловко подмятую руку, повернулся на спину — нигде ничего не отозвалось на это поворачивание. И тогда он приподнялся на локтях, суеверно вслушиваясь, чем ответит душа. Она работала безоглядно, не заигрывала с ним, не проверяла, что станет он делать. И, поверив ей снова, Степан с помощью рук выпрямился, сел на дорогу.

Любава суетливо прихватила его под мышки, но разве достанет у бабы сил, чтобы поставить на ноги раскисшего старика? Степан сам напрыгся и, поддерживаемый дочерью, пошел к телеге.

В телеге он, несмотря на уговоры Любавы, не захотел ложиться, а прислонился спиной к грядке и ехал сидя.

Поля дымилась от прели, и оттого все за ними виделось смыто, в дрожащем тумане. Лес отодвинулся к горизонту, а сам горизонт куда-то уплыл к облакам, приподнялся, и земля будто прогнулась впадиной, на закрайке которой начинались завражские дома. До них было не так уж и близко. Но Степан переживал, что не успеет насмотреться вволю на все, с чем прощался: дорога, она ведь в один конец длинная, а в другой сама свертывается. Ему не терпелось оглянуться на Николину гриву, но он не находил в себе сил это сделать, он боялся потерять под спиной опору.

— Любава, — позвал он чужим, незнакомым ему самому голосом и испугался его, отчего нетерпеливо повторил имя дочери, чтобы еще раз послушать, кто за него говорит.

Любава не заметила той подмены, какой опасался он, да Степан и сам не почувствовал ее отчетливо, но ему все равно казалось, что он за короткую минуту забытья успел с кем-то переставиться голосами. А чужой голос и есть чужой, послужит ему недолго — хоть бы успеть отдать распоряжения по дому, сделать наказы...

«Ну вот, Гриша, и все», — вспомнил он старшего сына, который неустанно зазывал Степана к себе.

«Нет, батя, опять замешкаешься», — возразил ему сын.

«Да и рад бы замешкаться, Гриша, до Сережкиной свадьбы, а знаю, что не смогу».

«Как так не сможешь, если уж чужой жизнью живешь...»

«Нет, Гриша, чужой век не позаймую...»

«Да ведь в тебе уже все подменили, голос и то не твой...»

Степан открыл глаза. Любава тормошила его:

— Тятя, тятя! Миленький! Ты зачем меня звал-то? Да скажи хоть одно словечко... Тятя!

Любава опять редела. Щеки у нее были мокрые. Волосы, как у ведьмы, выехали из-под платка и льнули к лицу.

— Повороти, повороти назад, — с придыхом попросил Степан и на

этот раз совсем убедился, что голос у него чужой. — На Николину гриву повороти.

Любава, словно от того, как быстро она исполнит его просьбу, что-то могло измениться, подстегнула лошадь вожжами и начала круто ее разворачивать. Лошадь, огружая в снегу — место для разворота было неловкое, убродное, — билась в оглоблях и рывками проминала себе дорогу в сугробе. Степана дергало, он плотней прижимался к грядке, но голова у него, как у недельного ребенка, не держалась прямо, и он помогал ей руками.

Теперь, уже и не оборачиваясь, было видно Николину гриву — четыре дома, отставленные друг от друга неестественно далеко. Между ними в снежных прогалах толпились черемухи и рябины. Когда-то они стучались в окна, а теперь, не защищенные домами, дрогли на сквозном ветру. Из восьми изб осталось четыре, да и те нежилые.

Над трубой Степанова дома струилось тепло. Сразу видно, что печь топилась недавно — любой прохожий отметит: изба не брошена. Это почему-то смирило Степана с тем, что у него чужой голос, и он успокоился.

Они въезжали в деревню. Улица расступилась перед ними на всю ширину — ни одной души. Заходи в любой дом — в любом будешь хозяин.

Любава ожидающе оглядывалась на отца, не зная, куда теперь править.

— Через деревню проведи, — подсказал он, — а потом развернись и еще раз через деревню.

— Да заморожу всего. Ишь, как к вечеру стынет...

Степан не ощущал холода. Он видел, как парили поля, как сиреневым туманцем затягивало лог, и сознавал, что раз стало видать тепло — значит и в самом деле сейчас подмораживает. Но душа его отогрелась от минутного свидания с Николиной гривой. Он уж не надеялся увидеть ее и, когда клал поклоны, прощался с ней навсегда. А вот еще умудрился и на коне проехать.

Ну, теперь все. Теперь можно двигать в Завражье. Степан закрыл глаза: обратную дорогу лучше не видеть.

— Ой, тятя-а, — завыла в телеге Любава. — Не тшаны ты ездил проверять, а прощаться...

«Прощаться», — подумал и сам Степан, не до конца поняв: прощаться с Николиной гривой или уже с жизнью. Пожалуй, пора и с жизнью...

И опять к нему в мысли постучался Григорий:

«Не надо было, тятя, тебе возвращаться на Николину гриву».

«Это как так не надо? Что я, нехристь какой-нибудь и проститься похорошему не могу?»

«Не надо было прощаться... Зачем пугаешь судьбу?»

«Будет, Гришка, о судьбе толковать. Моя судьба кончилась».

«Твоя кончилась, так чужая в тебе живет. Ее-то зачем выгоняешь?»

Степан закашлялся, закрутил головой, озираясь, в самом ли деле с ним говорит Григорий.

Поле слезило глаза желтыми отблесками, отражая лучи заходящего солнца. В телеге, кроме дочери, никого не было. Любава сидела вполборота к Степану, свесив ноги к земле, и, видать, больше следила за отцом, чем за дорогой.

— Ты, тятя, отдохни, отдохни, — заговаривала она, заметив, что отец смотрит по сторонам. — Вот сейчас лог переедем — и все уж, и дома.

Значит, николинское поле еще не кончилось, на своей земле.

Он тщился выпрямиться, но его клонило в дрему, и Степан не мог с ней справиться, хотя знал, что только он закроет глаза, и тяжелое объяснение с сыном продолжится. Он чувствовал за собой какую-то вину перед Гришкой и боялся, что, начав объясняться, чего-то скажет не так, проговорится в том, в чем нельзя проговариваться.

«Тятя, ты не бойся со мной разговаривать, — вмешался в его думы Григорий. — Я ведь все знаю. Там, когда туда попадешь, узнают сразу все, ничего от тебя не скроется».

Степан пожег язык, потому как то, что его беспокоило, было пока лишь догадкой, не истиной, но и о догадке он не мог умолчать.

«Ты за меня, тятя, не переживай, — повторил Григорий. — Мне теперь все равно. — Но он все же вздохнул и добавил: — Нас здесь ничем из себя

не вывести». Он опять вздохнул, и Степану показалось, что сын говорит неправду, хочет успокоить его, а сам испереживался до дна.

Степану хотелось увидеть Григория, тогда бы он сразу отличил правду от лжи, но увидеть его, как ни силился, не удавалось. Он слышал лишь его голос, который заходил то справа, то слева, и от этого создавалось впечатление, что Гришка идет рядом с телегой, но, боясь огрузнуть в снегу, как живой, выбирает дорогу получше, перебегает с одной стороны на другую.

«Тятя, ты ведь про Нюрку хочешь сказать?» — спокойно спросил Григорий.

А Степан, испугавшись вопроса, опять подавился кашлем. Любава обеспокоенно наклонилась над ним:

— Тятя, тятя!

— Ну, чего растятыкалась! — обиделся он. — Дай с человеком поговорить...

Любава завсхлипывала, запонужала лошадь.

— Не тряси, не тряси больно-то, — взмолился Степан. — Все нутро вытрясла.

— Да ведь к фершалу надо тебя быстрее.

— Помру и без фершала.

Слева к нему опять зашел голос Григория:

«Тятя, я ведь тебе говорил: зачем пугаешь судьбу?»

«Гриша-а, да как я ее пугаю-то?»

«А так и пугаешь. Она к тебе еще не привыкла, а ты уж в угол ее загнал. Я же вижу, в угол... Вон сидит, скрючившись, и тебя в три дуги согнула...»

«Ну, а чего я такого сделал?»

«Умирать собрался. С Николиной гривой простился. Теперь вот Любаве сказал...»

«Ну и чего тут такого?»

«А у нее, смотри, есть и глаза, и уши. Поймет, что тебе не нужна, — и уйдет. Она ведь твой характер пока не знает, заигрывать с тобой не будет. Сказал: «Умирать хочу», — она и вылетит из тебя — умирай. А тебе еще пиво надо варить».

«Надо, Гриша».

«Вот и не пугай ее больше. Кроме тебя, смотри, пиво варить уже некому. Научил бы Сережу-то...»

«Да он уж умеет».

«Смотри, не пытай больше судьбу... ты помнишь, как я-то спытал?»

«Чего-то, Гриша, забыл...»

«А помнишь, как я-то прощался, когда на войну уходил? Помнишь, как Нюрке сказал: говорю, чует сердце, убьют меня? Помнишь это?»

«Да, это помню».

«Вот из-за чего, тятя, и не виню я ее. Сам виноват. Ну, мне пора назад. Потом наговоримся: там времени будет много».

«А что, сюда-то на часы выпускают?»

«Дорога, тятя, уж больно дальняя... Меня убили-то, знаешь, где...» — Голос его уже удалялся, и Степан так и не расслышал, какая земля приняла его сына.

Да, не надо было дразнить судьбу. Может, и живой бы Гриша пришел домой. Ну, а тогда-то как бы все повернулось? Какими глазами посмотрела бы Нюрка на мужа?

Теперь Степан уже доверял своим подозрениям: Гриша-то видел от туда все, он-то сейчас подтвердил — виноватая; хоть и не корит ее ни за что, а грех не отмоешь: грех под душой сидит и только вместе с душой умирает.

У Степана стеснило грудь, потому что он вернулся памятью к тем саднящим сознание дням, о которых уж стал забывать, и были ли.

Грише принесли повестку из военкомата в самый разгар жатвы. Рожь к тому времени, правда, убрали, но ячмень выкосили всего лишь наполовину, а за овсы и совсем не брались.

— Ну, маткин берег, не могли подождать, — загоревал Степан. — Мы ведь теперь до морковкина заговенья без вас проваландаемся.

С Николиной гривы призывали в армию восемь молодых мужиков. Потап Мокрецов и тот угодил за компанию. Это Степана только и утешало: всех под одну гребенку стригут, не одних Сизовых задело. Но жатва, конечно, затянется.

— Давай выхлопочем, чтоб Потапа тебе на помощь оставили, — подкузьмил отца Гриша. Был он, на удивление, веселым или делал вид, что его ничто не тревожит. — Ну, дак как, тятя, хочешь Потапа?

— Не велика надея на нашего Авдея! — сплюнул Степан, не разделяя шутки Григория, и пошел за косой, которая была прислонена к огороду.

Гриша немного оторопел:

— Да ты что, тятя? На меня-то чего осердился? Я ведь в лагерь не напрашивался... Ну, конечно, на вас и наш пай выпадет на уборке, но ведь через два месяца придем домой — все, что не домолотите, без вас одни сделаем. Истоскуемся по работе, знаешь, как...

— По бабам вы истоскуетесь, а не по работе! — отрезал Степан.

Он и сам не понимал, отчего сердился на Гришу. Гришиной вины перед отцом не было никакой, а вот поди ж ты, как самовар раскипелся...

Не давала ему покоя мысль, что в военные лагеря можно бы и зимой забирать, когда помене работы в деревне.

Но, выходит, он со своей колокольни судил. А вверху-то знали, что делали. В сентябре мужики ушли в лагерь, а в ноябре — бах! — война с белфиннами. И два-то месяца затянулись чуть не на целый год. К сенюкосу Гриша едва поспел: после войны оставили его учить молодых командиров. В июле только и заявился домой.

Конечно, знай Степан, что так обернется, не шумел бы самоваром перед отправкой сына. А то ведь и в самом деле думал, что на два месяца сына берут. Наотдыхается парень, наест ряшку на казенных харчах — и здравствуйте, тятя с мамой, здравствуй, дорогая жена: приехал на зиму полежать на печке. Не жизнь, а малина...

Гриша перед лагерями-то ходил по избе гоголем, перед женой выхвалялся:

— Ну, Нюрка, надену военную форму — все девки, каких ни встречу, будут мои. Вот Только бы еще с собой прихватить, поучить до женьбы мужскому делу.

Анатолий сидел за столом, разливал по рюмкам вино и, осклабясь, смотрел на старшего брата:

— А ты, Гришка, всех-то не порти, побереги для меня. Через год вот пойду служить и воспользуюсь адресочком.

Нюрка, порозовев от выпитого, смеялась:

— Ну, завелись! — И просила мужа: — Ты мне-то хоть пошли фотокарточку свою — посмотреть, какой будешь.

— Разошлю всем знакомым девкам, — не унимался Гриша. — И надпись сделаю: «Дарю тому, кого люблю». Ох, какая-нибудь да и приголубит...

И только перед самым отъездом, когда уж до порога дошел, обернулся, скучный такой, и говорит:

— Чует сердце мое — убьют меня.

Нюрка смехом приняла эти слова:

— Да будет тебе! Не война. На два месяца уезжаешь...

— А мало ли шальных пуль летает! — сказал Гриша, будто кто-то ему уже сообщил, чем продолжится лагерь.

Нюрка враз присмирела и повисла у Гриши на шее. А Степан сердито осадил сына:

— Типун тебе на язык! Сплеывай, когда не дело-то говоришь.

Григорий сплюнул три раза и, так и не улыбнувшись, вышел.

Нюрка выскочила за ним, но под окнами стояли уже три пролетки — жеребцы били копытами, не удержат на месте. Григорий бухнулся в задний тарантас, к товарищам на руки, — и лошади понесли, колокольцы занялись под дугами. Потап дурашливо затынул частушку:

Дроля в армию поехал,
Ничего не наказал.
Я спросила, с кем знакомиться,
На камень указал.

Степан смотрел в окно, как над дорогой к Завражью вздымалась пыль. И на сердце у него лежал камень.

Степан знал, что сердце понапрасну не ноет, предвещает какую-либо беду.

И ведь беда зашла совсем не с той стороны, с какой опасался Степан. Пули-то на финской сына не тронули (видно уж, другая война его поджидала, а эта ни единой царапины не оставила, отпустила с богом, знала, поди, что ему приготовлен иной подарочек).

Перед святками навозил Степан с Толькой дров, завалил всю ограду. И какой его бес торопил: к весне пилят дрова, а он в самые морозы удумал. Боялся без работы домашних оставить. У самого-то ее хоть отбавляй, на зиму хватит: назаказывали из всех деревень кадок, ушатов, бочек—знай только елозь рубанком по дереву. Наталья с утра до вечера гоношилась по дому как угорелая. Подзасидевшаяся в девках Верка, вторая из дочерей,— месяц назад двадцать четыре стукнуло — раным-рано убежала на ферму и возвращалась в сутемень: оно и понятно, у доярки зимой свободной минуты нет. Но ведь в доме еще пять душ. Молодица—ладно еще: эта найдет приткнуться к чему. И Катька с Зинкой заняты: с утра до вечера куделю прядут. Но сыновья слонялись без дела. Степан косился, косился на них—и вот придумал работу.

— А ну-ко, поразомнитесь немного.

— Да я-то не застоялся,—стал отговариваться Васька.—Каждый день в село бегал в школу. Только в каникулы и отдохнуть.

— Так то ты ногами работал, а теперь приспособь к делу руки,—сурово посоветовал Ваське Степан.—Не ногами на хлеб-то себе зарабатывать будешь. Ногами-то одни нищие трудятся.

В последнее время Васька его раздражал все больше и больше. Он ведь стал какой: чего бы ни работать, только бы не работать. И в школе учился сьяк-наперекосяк. Из класса в класс за уши перетягивали, до четвертого дотащили, а теперь учитель говорит: «Не знаю, как и выпихнуть. В голове ветер гуляет». Учитель-то Степану сродни, а то разве стал бы так канителиться: в каждом классе по три бы года держал. На свою шею, наверно, и нажалел: не сдать Ваське экзаменов за четвертый класс, и учителю ведь позор.

— А ну, давай побыстрее одевайся! И чтоб я тебя не видел в избе!—разгорячился Степан.—А ты, Анатолий, потачек ему не давай. Вон лоб какой вымахал—все под силу. Пилу за ручку подержает—не надседется. Я в тринадцать-то лет и на срубе сидел.

— Расхва-а-стался,—передернул плечами Васька,

Степан потянулся к ремню, висевшему на стене:

— А ну, пообезьянничай у меня еще!

Васька сгреб в охапку кошулю и шапку, вылетел, не оглядываясь, из избы—только дверь охнула.

— Когда-нибудь проучу паразита—снова зазаикаешься...

И пожалел, что сказал: э-э, со зла-то куда понесло... И отмяк сразу. Молчаливо оделись молодица и Анатолий, доложились Степану:

— Ну, так мы пошли,—и тихонько закрыли за собой дверь.

«Всех разогнал»,—осуждающе покачал головой Степан. Всякий раз переживал он из-за того, что срывался.

Он достал с полатей свою хропотливую работу—доски, обручи, молотки и клинья,—посидел, склонившись над плашечками для кадки, поперекладывая их с места на место и вышел во двор.

Дрова на морозе пилились легко—только пила играла. Опилки сыпались из-под нее крупные, как заиндевевшие иголки с сосны. Они уже залепили валенки и у молодицы, и у Васьки. В ограде смолисто пахло деревом.

— Ну, как работается?—весело спросил Степан, давая сыновьям понять, что от прежней обиды в нем и следа не осталось.

— Была бы охота—заладится всякая работа,—поговоркой отозвался Анатолий. Он стоял с поднятым топором и скалил белые зубы. Пальто с него уже было сброшено, от спины шел пар.

— Ну, ну,—похвалил Степан.—Работай до поту, так поешь в охоту.

Намерзлые плахи, казалось, разлетались надвое еще до встречи с топором: Анатолий лишь вздымет руки кверху и не успеет еще опустить

колуна, а поленья уже со звоном отскакивают по сторонам. Куча из них получилась порядочная.

— Во-во. В полплеча работа тяжела; оба подставишь — легче справишь. — Степан любил, когда люди отдавались делу без оглядки. У него душа радовалась, если работа шла споро.

Он и с себя снял пальто, взял второй топор и стал состязаться с сыном, кто кого обставит. Анатолий сделает один замах, а Степан обернется трижды, потому что сын терял время на установке чурбака, а у Степана удар был настолько точен, что чурбак, расколовшись, не падал, и по нему можно было бить в новом месте.

— Сила есть — ума не надо, — насмеялся Степан над Анатолием, и тот, хмелея от зависти к отцу, перехватил топор в одну руку, а другой стал поддерживать плаху — и мы, мол, не лаптем щи хлебаем.

— Пальцы не оставь на полене, — предостерег Степан и посоветовал: — Ты топор опускай ровно, не вкось, чтобы полено не пошло на ухо.

Но колоть уже было нечего. Пильщики подкачали, хотя и от них валил пар. Васька дергал ручку на последнем издыхании. Нюрка тоже раскраснелась, будто вареный рак.

— Ну, передохните, передохните немного, — пощадил их Степан, но пока сам не сел, Васька с молодой жестью как и не слышали приглашения. У Васьки волосы слиплись на голове, словно у барана, колечками.

«Смотри ты, и он в охоту вошел! — обрадовался Степан. — И в нем отцовское-то сидит, разбереди только. За собой бы таскать везде, так не плохой парень выдался б...»

Степан сел на березовый кряж, опасаясь, как бы дрова не раскатились, потому что их набито было в ограде чуть не до крыши. И тогда, как по команде, оставив пилу в незаконченном резе, устроились рядом со Степаном невестка и Васька. Васька дышал запаленно и все не мог поймать душу, Нюрка облокотилась о колени, смотрела в землю. Пот бисеринками усыпал ее лицо. Она украдкой обтирала его рукавом и отворачивалась, стыдилась показать, что устала.

Степану это понравилось. Он любил совестливых людей.

Нюрка прожила в его доме пять годов, и Степан ни разу не повысил на нее голоса: не за что было. Невестка, как мышка, вела себя незаметно, никому не перечила, свои обязанности перед семьей несла справно — и Степан даже забывал как-то, что в доме есть чужой человек. С дочками, бывало, схватится — выгнать из дому готов, а с Нюркой все выходило ладно. Она его другим словом, как «тятенька», и не называла. Все «тятенька, тятенька», а Степану и любо.

Беспокоило Степана одно, что не будет у Нюрки детей. На первом году супружества случился у нее выкидыш, и с тех пор она не беременела. Степан и себя-то корил, и Гришку ругал на чем свет стоит, что бабу надо было побережь, а они ее снопы возить отпустили. Ведь видели, не слепые были, что брюхо уж на подбородок полезло, а вот...

Может, с тех пор и прибавилось жалости в сердце Степана. Сыновьям задаст выволочку, на дочерей нашумит, а невестку чуть по головке не гладит. Ну, так она ведь в чужом доме, с чужими людьми, не у тяти с мамой за пазухой — ее только и пожалеть.

— Упышкалась, Нюра? — спросил участливо.

Нюрка, и без того румяная, вспыхнула еще ярче и чистосердечно призналась:

— Упышкалась, тятенька.

— Ну, не торопитесь. Успеете, время с вами.

— Да-а, у тебя не поторопишься, — подал голос Васька. — С ремнем сразу выскочишь.

Он опасливо отодвинулся на край кряжа. Но Степан засмеялся:

— Что, и ты, Васька, упышкался? Ну, тебе нельзя. Ты мужик.

— Мужик — в заднице вжик, — не согласился Васька, и из носа у него неожиданно зависла вожжа. Васька сконфузился, отвернулся, отсмаркиваясь. Степан сделал вид, что ничего не заметил.

— Ну, ладно, ребята, у меня своя работа стоит. — Он уходил в приподнятом настроении. — А вы не торопитесь. У Васьки каникулы долгие.

Работу с дровами растянули и правда чуть не на две недели. Всю

ограду запылили опилками, наносили их на ногах и в избу — Наталья на дно по четыре раза мела, а сору из-за них не убывало.

Нюрка ведрами таскала опилки в хлев пороссятам — там уж сухо стало, — а муравейники из опилок не убывали, росли с каждым днем.

— Пусть, Нюра, в кучах лежат, — успокоила невестку Наталья. — На грядки весной насыплем.

Васька к концу каникул совсем втянулся в работу, и в школу ему идти расхотелось.

— Давай, тятя, уж все допилим, подумаешь, три дня пропущу...

Но Степан не согласился на уговоры.

С уходом Васьки работа пошла замедленнее.

«Ты смотри, соплюн, соплюн, а при нем податливей было», — с уважением подумал Степан о младшем сыне.

Голос пилы теперь замолкал надолго: чурбаки надо было колоть да убирать с дороги, а то проходы к скотине во двор дровами завалены — с подойником или с пойлом и не пройдешь.

Вдоль изгороди, от ограды до ворот, разгребли снег и стали выкладывать поленицу. В один ряд дрова не вместились, Анатолий повел другой. Нюрка подвозила поленья на санках, приспособилась быстро, а Анатолий не успевал за ней. Ей что? Как попало насовала на санки да привезла, опрокинула, а ему надо, чтоб поленица, выше его ростом, была устойчива — тут полешко к полешку подобрать требуется.

— Ну, Нюрка, замаяла, — взмолился Анатолий, когда она наворотила к его ногам целый завал.

— Жених, — укорила она. — У Гриши еще адресок выпрашивал, — и безнадежно махнула рукой. — Где тебе...

Анатолий перескочил бурелом поленьев, толкнул Нюрку в сугроб. Она захохотала, отбиваясь, запылила ему снегом глаза. Тогда он, как медведь, смял ее кулем, посадил в санки и, ухватившись за веревку, — ну-у раскручивать вокруг себя. Санки с Нюркой едва не опрокидывались, приотрывались от земли и временами летели по воздуху. Нюрка визжала, как молодая девка, и не смела отпустить руками от крестовин.

Степан выглянул на крыльцо. Сын и при нем, покраснев от натуги, продолжал раскручивать санки. Веревка, как натянутая струна, едва не звенела, готовая оборваться.

— Вот изувечишь бабу у брата, так как отчитываться будешь? — засмеялся Степан. Он не придумал значения этой игре. Молодые, на работе не уломались, а сила прет через край — пусть дурную-то кровь и успокоят.

Не придумал он никакого значения и тому, когда на следующий день, выйдя во двор, увидел их сидящими рядом на бревнышке. Анатолий что-то рассказывал ей, она, откидываясь назад, хохотала. Степан слегка кашлянул, они смутились, что он застал их не за делом, и, как провинившиеся, соскочили с края, взялись за пилу — вжик-вжик, вжик-вжик...

— Да отдохните. Я ведь не подгонять вас вышел.

Но они, разалевшись, завжикали еще усерднее. Анатолий положил на полотно пилы левую руку и, видно, придавливал сверху, чтобы захват у зубов был сытнее, потому что опилки стали вылетать жирные, как червяки. Нюрке было бы не под силу тащить такого медведя, но, когда она тянула пилу к себе, Анатолий ослаблял нажим, и пила шла по резу, как в масле, не въедаясь в дерево.

«Ишь ты, щадит бабу», — удивился Степан: он никогда не замечал за сыном, чтобы тот чью-то ношу взвалил на себя. Но и это не пробудило в нем подозрений.

И уж потом, когда Наталья забеспокоилась, учуяла сердцем неладное, он, спячиваясь памятью, пережил заново и разделку дров. Вот тогда-то лишь и настоярило его в воспоминаниях, как Анатолий крутил невестку на санках, как сидел с ней рядышком на крыже и как оберегал от тяжелой пилы.

Но ведь если раздуматься, так чего тут особенного? Не бирюками же было им друг на друга смотреть: не чужие все-таки. Разве со снохой и посмеяться нельзя?

У Натальи были свои причины расстраиваться. Степану она ничего не сказывала, а только, всхлипывая, приговаривала:

— Неладно, неладно, Степа, у них.

— Да чего же неладно-то?

Она отмахивалась от него: неладно—и все... Но у него-то ведь тоже не бельмо на глазах, увидел бы. Или Натальины глаза устроены по-другому, подмечают то, что проходит мимо его внимания, не задевая?

— Ну, с чего ты взяла?

— Не слепой, так увидишь сам.

А, видно, и в самом деле слепой был. Прозрел только летом, когда уж не прозреть было нельзя. Васька прибежал в избу, и губа отвисла:

— Тятя, они на мезонине сидят.

Степан побледнел и сдержанно спросил:

— Кто они?

— Ну, Нюрка и Толька.

Степан схватил Ваську за ухо.

Васька не захныкал, не заотбивался, а выпученными глазами смотрел на отца и только приноравливался, кривя шею, чтобы уху не было больно.

— Тятя, посмотри сам... Я не вру...

Степан отпустил ухо:

— Смотри, чтоб никто боле... Ни одна душа...

Васька закивал головой.

На мезонин можно было подняться из нежилой горницы, где стояла приставная лестница. Но Васька подсмотрел брата с невесткой с подволоки, лазил туда за лутошкой—ивовыми бескорыми палками,—чтобы напилить панков.

Мезонин, как и горница, не был еще отделан, пол был застлан наполовину, и Васька, забравшись наверх, сразу увидел Нюрку и Анатолия в проеме между потолком избы и срубом мезонина. Они сидели на переводе, свесив ноги вниз. По ногам-то Васька их и усек. Подкрался, как мышь, и, присев на корточки, заглянул под сруб. Анатолий и Нюрка сидели, придвинувшись друг к другу. Ваську подогревало желание напугать их. Он хотел проползти под переводом и выскочить у них за спиной— вот было бы визгу. Но то, что они сидели плечо к плечу, так поразило его, что он, пятясь, отирал со лба пот и не знал, как поступить. Таким растерянным Васька ввалился в избу и, продолжая оставаться в беспомощности, огорошил отца:

— Тятя, они на мезонине сидят...

Степан пошел все же через горницу. Смешно было бы, если б он, как ребенок, стал лазить под переводом. И все же он старался ступать на половицы бесшумно, попридержал дверь, чтобы она не скрипнула, лестницу приставил к стене, не стукнув.

На мезонине никого не было.

Степан набрал полную грудь воздуха и облегченно вздохнул:

— У-ух!

Васькина голова торчала из лаза:

— Тятя, да вот сейчас были... Не вру...

Степан и сам понимал, что врать Ваське незачем, но он схватил повернувшийся под руку старый валенок и запустил им в сына.

Васька унырнул вниз и, не высовываясь, захныкал обиженно:

— Не обманываю... Правду говорю, а он дерется...

Степан посидел на переводе, переждав всхлипывания Васьки, и спустился вниз.

В избе тоже никого не было. Васька уже куда-то улепетал. Наталья обряжалась, наверно, со скотиной.

Степан вышел на улицу, походил вокруг дома: ни невестки, ни Анатолия не увидел. Заглянул на повить, на подволоку и, утомившись от нетерпеливого ожидания встречи с сыном, вернулся в избу.

Только работа могла его успокоить. Сел за кадки, загромыхал, загрохал. Дважды смазал молотком по ногтям и, злясь от этого, отпихнул доски ногой. Достал с подоконника табакерку, заложил по щелотке в обе ноздри, но и табак сегодня не пробирал. Чихнул, как от пыли, слезы даже не вышибло, не то что перевернуть нутро.

Анатолий пришел домой к вечеру.

— Гуляем? — спросил Степан глухо.

— Да ведь пока делать нечего, так гуляем, — ответил сын. — Вот сенокос придет — выложимся.

Степан сразу уловил в его голосе перемену — подрагивает. И глаза не задерживались на отце, масляно убежали.

— А ну-ка, сынок, снимай штаны...

— Да ты, тятя, чего? Если надо сделать чего-то по дому, так я ведь не возражаю. Скажи только.

Степан неторопливо сходил за ремнем и, не объясняясь, на весь затык трижды врезал Тольке по заднице. Сын закусил губу, повернулся и вышел, не сказав ни слова.

Конечно, он мог бы не даваться, силы у него, как у быка. И то, что Анатолий не сопротивлялся, уверило Степана, что сын виноват. В жизни бы он не стерпел, если бы оказался правым. Уж Степан-то своих деток знал...

А вот, выходит, и плохо знал. Зря расхвастался. Что, разве мог он хотя бы подумать, что один сын другому будет рога наставлять? В роду у Сизовых такого не было, чтобы кто-то переступил узы братства. Грех-то какой...

Степан распаял себя, и чем круче закипала в нем сердитая кровь, тем настойчивей укорял его голос рассудка: «Да откуда ты грех-то выискал? Ну, поиграл парень с невесткой, покрутил на санках ее — так не старики ведь они, чего в том страшного». «А на мезонин полезли зачем?» «Ну-у», — Степан разводил руками и не находил, что сказать. И все-таки он оставлял место для оправдания, не давал его занять другим мыслям.

Анатолий вечером не разговаривал с отцом. Отозвал зачем-то мать в горницу, посоветался с ней, та вернулась зареванная:

— Батька, да он ведь наладился уезжать. Говорит, собери мне белье.

— Туда ему и дорога. Пусть на стороне кобелится, а не с братовой бабой...

— Сте-о-па-а...

— А иди ты! — Он оттолкнул ее.

Наталья, завздрагивав, ушла в куть, где стояла кровать, и ткнулась в подушку.

Степану стало жалко жены, но он переборол себя и вышел на улицу.

В лугах скрипел коростель. В траве трещали сверчки. Ночь собиралась быть душной. Степан расстегнул ворот рубахи и сел. Он сидел на крыльце, пока в доме не утихли звуки. В голове было бездумно, будто после большого похмелья.

Степан поднялся, хотел зачерпнуть воды из колодца да освежить себя несколькими глотками, как из ворот вышла Нюрка. Походка у нее была неуверенная. Нюрка остановилась под окнами, послушала, спят ли в доме, и, поуспокоившись, двинулась дальше. Она не ожидала встретить свекра в крыльце — вздрогнула, увидев его, и чуть не поворотила бежать.

— Где это ты прохладилась? — спросил Степан.

— У Фофановых была, — сказала она, понурившись. — У них Филя с войны пришел.

Степан, заволновавшись, сглотнул слюну:

— Это-о когда он пришел-то?

— А вечером...

— Дак ты чего не прибежала за мной? — Степан спустился с крыльца, поправил рубаху и выскочил за ворота. У Фофановых во всех окнах горел свет. Степан не знал, то ли ему добежать до соседей, то ли поздно их беспокоить: может, спать собираются.

— Ну, девка, чего же ты мне раньше-то не сказала?

— А я у него все про Гришу хотела спросить.

Степан решительно двинулся по дороге, потом махнул рукой, вернулся. Нюрка еще не ушла.

— Чего про Гришу-то?

— Ну, когда отпустят его...

— Заждалась, поди?

Она посмотрела на Степана в упор и сказала с вызовом:

— Заждалась!

Степан не знал в невестке такой твердости, смешался и вернул разговор к тому месту, на котором споткнулся:

— Ну, и чего он про Гришу-то говорит?

— Говорит, должны на днях отпустить.

Степан потоптался у крыльца, потоптался и снова вышел за ворота. Свет у Фофановых горел уже только в маленькой половине. «Ну, потерплю до утра», — и вернулся, зная, что всю ноченьку не сомкнет глаз.

Нюрка все стояла на улице.

— Чего спать не идешь?

Она помолчала, будто набираясь духу, и сказала строго:

— Тятенька, ты про меня плохого не думай.

Степан опешил, растерянно заоправдывался:

— Да ты с чего это, девка, взяла? Я разве тебя укорял за чего-нибудь?

Нюрка как не слышала его слов. Она хотела выложить перед свекром все, что припасла для этого разговора, и, боясь сбиться, пропускала вопросы мимо ушей.

— Я не такая, как вы обсуждаете. Я Грише верная.

Ей не хватило твердости, и она заревела, уткнувшись Степану в грудь.

— Ну, будет тебе, ну, ну... — Он не знал, как успокоить сноху. Его сердце таяло, исходило жалостью, и он уж ругал себя на чем свет стоит, что поддался панике. Что ей, с деверем драться надо было в отсутствие мужа? Подумаешь, покрутилась на санках... Про мезонин он боялся уже и думать. Не было мезонина, показалось Ваське чего-нибудь.

Степан ласково подтолкнул сноху к входу.

— Иди спи. Утро вечера мудренее.

Нюрка вскинулась, поцеловала свекра в щеку и побежала в дом.

— Иди, иди, — заворчал он вслед, улыбаясь.

Неугомонный коростель все еще кричал в лугах. Его голос, похоже, отпотевал в тумане и казался Степану скрипуче-хриплым, простудным.

— Спать пора, — сказал Степан громко, и коростель, будто услышав его, замолк.

Утром сбегать к Фофанову не привелось. Анатолий объявил Степану, что уходит из дому.

Степан глухо кашлянул и, унимая дрожь в голосе, спросил:

— Куда пойдешь-то?

— Белый свет велик.

Степан сел на лавку, не зная, что сказать сыну. Сказать вроде бы надо было много: чужая сторона не медом полита, живо-два согнет в три погибели.

— Ну, погорячились — и ладно, чего меж своих не бывает! — пошел Степан на попятную.

— Ага, — усмехнулся Анатолий. — Вспомнил, что сенокос на носу, так и через себя переступить готов.

Он нарочно укладывал белье в заплечный мешок на виду у Степана, не стал этого делать в горнице.

— А при чем сенокос-то? — не понял Степан, потому что думы его были глубже: как бы не испроказила сына чужбина. Дома-то и то не догляди, так споткнется. А там доглядывать некому, сам себе голова.

— Чего прикидываешься-то? — вскинулся Анатолий. — Что я дурак, не понимаю, что без меня сенокоса не управить?

— Дурак и есть, — сказал Степан и понял, что уговаривать сына не только бесполезно, но и во вред ему: если и останется Анатолий, то потом всю жизнь будет корить отца, что помешал спытать счастье. Пусть испробует, почем фунт лиха.

Степан сходил в горницу, где у него в сундуке пряталась шкатулка с деньгами, отсчитал тридцать рублей и вынес Анатолию:

— Возьми на обживу.

Анатолий поколебался, но денег не взял.

— Мне своих хватит.

— Что, еще от ворот сохранил? — усмехнулся Степан, уязвленный отказом сына и удивленный, откуда у того деньги.

— От каких ворот?

— Ну, когда попрошайничали с братом...

Анатолий салел и, догадываясь, что покраснел, уткнулся лицом в котомку — будто бы весь сосредоточен на том, как уложить белье.

— Ты вот что, парень, не выкобенивайся, а бери, — строго сказал Степан. — Не к теще на блины отправляешься. — Он положил деньги на белье Анатолия и вышел.

Идти к Фофанову совсем раздумалось. Степан спустился по тропке к лугу и угором, незнано зачем, направился к туманившейся у леса реке. Ветер еще не обдул росу, ноги быстро намокли, и штаны по-лягушечьи стали прилипать к телу. Степан нагнулся, чтобы их выжать, и увидел в траве разрумившуюся земляничинку. Он взглянул из-под понизу — весь взгорок усеян ягодами. Степан снял картуз и, торопясь, принялся шарить руками в траве. Работа ли внаклон оживила его, или захватило дух ароматом вызревшей земляники, но Степан почувал, как по нему разливается мудрое успокоение. Рано или поздно с детками придется расстаться, под своим крылом их всю жизнь не удержишь. Теперь уж настало такое время, что сыновей при себе оставлять и смысла нет. Вот заговорил сегодня Анатолий о сенокосе: мол, работник нужен тебе. А зачем он Степану? Огород-то и вдвоем с Натальей управят. Вот раньше бы, до колхозов, Степан и говорить с сыном на эту тему не стал: земля диктовала тогда свои порядки — от нее шагу не ступишь. А теперь — красота... Воля вольная... Лети, куда хочешь: земля — не твоя!

Степан догадывался, что Анатолий наострил лыжи не сегодня и не вчера. Кругом только и разговоров было, как о вербовке: там завод строят, там копают канал, там записывают в трудовые резервы. Степан присвистнул: так вот же на какие деньги надеялся сын — на вербовочные. А он-то подумал бог знает о чем: даже мысль возникла пересчитать в шкатулке, не из нее ли вытянул. Совсем уж своих сыновей и за людей не принимает. Тьфу! Из ума выжил.

Ягод был уже полный картуз, и Степан пошел к дому, держа его перед собой в вытянутых руках.

Наталья сидела у открытого окна, ревела. Она не удивилась землянике, будто носить ее всей деревней уже давно. Не взяла в рот ни ягодки.

— Ушел ведь наш-то. Котомку за спину — и ушел.

На столе лежали свернутые в трубочку тридцать рублей. Степан догадался, что их, не замечая того, скатала жена.

— И дожидаться не стал?

— Следом за тобой и ушел.

— Не наказывал мне ничего?

— Нет. Говорит, пусть лихом не поминает.

И будто сразу обвалилась перед Степаном земля, сделай шаг — и угодишь в яму. Уж он и подумать никак не мог, что сын уйдет без него. Оттого и из дому отправился, что надеялся все же втайне: а вдруг Анатолий, дождавшись его, одумается — и стоит Степану, вернувшись, попросить, чтобы он остался, и сын не выдержит, сбросит котомку. А он и попроситься не захотел. Ничего не скажешь, уважил родителя.

— Нюрка где? — отдышавшись, спросил Степан.

— А за им увязалась...

— Чего, тоже сбежала? — испугался Степан.

— Да нет, провожать укатила.

— А-а, — не разделяя осуждения жены, протянул Степан. — Ну, ладно, хоть Нюрка проводит. А то совсем, как чужого, из дому выгнали.

— Степа, да я ведь просилась до Полежаева его проводить, а он отказался. Он с Нюрой пошел.

— Будет голову-то не тем забивать!

— Ой, Степа, если бы и вправду это напраслина... А я ведь не слепая, я вижу все.

Степан не захотел слушать жену, пошел точить косы: не сегодня завтра бригадир даст наряд на луга. Земляника поспела — считай, сенокос настал.

А через неделю — без письма, без предупреждения — нагрязнул домой Григорий. Фофанов, выходит, не зря говорил, что скоро отпустят. Хоть и в разных местах служили, а знали один про другого, когда чей черед.

Нюрка, как полоумная, бросилась с порога к нему на шею, да так и висла, не отпуская, пока спать не легли.

Степан даже не удержался, ткнул в бок жену:

— Ну, видишь?

— А в глазах стыда нет, так как зовут? — не сдавалась Наталья.

Степан даже заопасался, не наговорила бы она сдуру чего на сноху.

— Да я ведь пока из ума не выжилась, — успокоила его Наталья. — В их дела мешаться не стану, — и тяжело вздохнула.

Теперь дни так и заперелистывались: Нюрка не отпускала от себя ни на шаг Григория, а Наталья смотрела им вслед и вздыхала. Будь бы сын поострее на ухо, давно бы услышал материнские охи. А он и глазами, видать, подал: мать поджимает губы, а он и этого не замечает.

Степан уж выволочку устроил жене:

— Ты что, захотела осрамить нас на всю деревню?

— Бог с тобой, Степа! Думай, что говоришь, — перекрестилась Наталья.

— А губки бантиком не вяжи! И чтоб оханья твоего тоже не слышал больше! Ишь, развздыхалась...

Наталья присмирела, походила по дому и, уж когда Степан, успокаиваясь, стал забывать о разговоре с ней, призналась тихо:

— Не могу на ее, сотону, и смотреть. С души воротит.

Степан не разделял ее неприязни. Сноха ходит за мужем, как за маленьким ребенком, а свекрови не по нутру. Ну, поворотится все у Гриши, станут жить с женой, как кошка с собакой, — этого, что ли, хочет Наталья? Видно, вправду сказано: двух баб под одной крышей держать нельзя — рано или поздно поцапаются. Наверное, не худо б теперь отделить молодых...

Но наступившая страда отодвинула все заботы. Сенокос навалился крутой, потому что погода стояла ядреная, солнце жарило, как в пустыне. Знай успевай поворачиваться. Пока роса не спадет, косили, а после завтрака отправлялись на гребь. Успели подбрить все ложки, все полянки в лесу — никогда не бывало, чтобы заготовили столько сена.

И не успели как следует нарадоваться этому, как подоспела жатва. В баню сходить стало некогда — круглые сутки в поле. В реку заскочишь, ополоснешь с себя пот — и снова на полосу.

За работой забылись домашние неурядицы. И Степан уж думал, время примирило со снохой и Наталью.

Ан нет! Перед Октябрьскими праздниками она отозвала Степана на кухню и заговорщицки сообщила:

— Нюрка-то ведь беременная...

— Вот и хорошо, — не поверил Степан.

Наталья поджала губы.

— А раньше-то чего не беременела?

Степан прищипнул на нее, и Наталья с неделю ходила обиженной. А Степан все приглядывался к снохе — ничего не заметно: все такая же, как и была.

— Ну, конечно, ты увидишь, когда брюхо к носу поперет, — сказала Наталья.

Степан и в самом деле убедился, что невестка беременная, когда об этом заговорила вся Николина грива.

Наталья над ним издевалась:

— Ты, пожалуй, и сам-то забеременеешь, так не заметишь.

Родила Нюрка в последний день марта. Сережка лежал еще весь синопный, на человека-то не похожий, а бабы, приходившие на него поглазеть, в один голос твердили, что внук — вылитый дед Степан. Степан пристаивал у люльки часами, пытаясь отыскать в Сережке свои черты, но лицо у внука было сморщенным, как у старца, и уловить сходство с кем-то могли только те, кому совсем безразлично, на кого похож новорожденный. Наталья тоже заглядывала в зыбку и тоже пока не решалась определить, чьего больше во внуке — сизовского или прядинского. Степан тревожно косился на жену: что-то у нее в голове? А сам, одевшись, уходил в неоттапливаемую горницу, доставал бумагу и карандаш и в какой раз брался за календарь. Он пыхтел, высчитывал, и у него получалось, что Нюрка не доносила двух недель. Он не верил себе и принимался за арифметику снова. Иногда у него не сходилось со старым расчетом на день-

два, и это Степана радовало, потому что он надеялся отыскать и другие ошибки.

Измучившись, он бросал карандаш и думал, не подключить ли на помощь Ваську. Но втягивать сына в щекотливое дело все-таки было стыдно. И он, отказавшись от цифр, стал рисовать на бумаге палочки: как день — так и палочка. От приезда Григория до Нюркиных родов на листе выгоридился целый частокол, и Степан, боясь в нем запутаться, стал делить палочки по месяцам — по тридцать штук в группу.

Наталья и застала его за этим занятием. Усмехнулась, поджала губы.

Степан, поникши, признался:

— Не доходила сноха-то.

Наталья сердито его осадила:

— Ты сам не доходил!

Степан, не веря, поднял на нее взгляд. Наталья рассердилась не на шутку. Сгрэбла со стола листок с расчетами и смяла его в кулаке.

— Не до-хо-ди-ла-а! — передразнила мужа. — Понимал бы чего-нибудь.

Она швырнула скомканную бумагу в угол, потом одумалась, подняла ее и подоткнула за сарафан — чтобы выбросить в печку.

— Не до-хо-ди-ла... Две недели еще ничего не значат. У всякой бабы по-своему. Я у тебя, может, с каждым ребенком в срок не укладывалась.

— Ну, да... — не поверил Степан. — У нас все было в срок. Я никуда не ездил.

— А ездил, так уселся бы тоже высчитывать, сошлось али б разошлось?

Степан смутился. Шутить с Натальей, что, конечно, уселся бы, под горячую руку опасно, и он, сдаваясь, сказал примирительно:

— Да мне за тобой зачем считать?

— Ну, и за снохой бумагу не переводит. У нее для этого свой подсчетчик есть.

— Да я что?.. — не находя слов, оправдывался Степан. — Я ведь ничего...

Он все еще не мог опомниться оттого, что Наталья выступила на защиту снохи. Уж кто, как не она, больше-то всех недовольства высказала?

Наталья, будто прочитав его мысли, сказала:

— Родила, и слава богу. — Но, испугавшись, что муж не так истолкует ее слова, суегливо добавила: — Сережка-то весь ведь в Гришу. И волосики, как у него, на пробор.

А пробор-то — будто не знает — Нюрка гребенкой сделала:

— Вот, — говорит, — будет Сережа на папку похож...

Ну, конечно, теперь его можно сделать похожим на кого угодно. А вот вырастет...

И все же сомнения улеглись в голове Степана, тревожили его меньше и меньше.

Первый внук — радоваться надо, а не за расчетами сидеть. И Степан тетешкал Сережку больше, чем своих деток. К Грише даже ревновал, когда тот на правах отца оттеснял деда в сторону.

А ревновать-то бы и не надо. Три месяца только и понянчился Гриша с сыном: новую войну объявили.

И вот ведь, чужало, видно, сердце. Отправляться стал, опять виновато сказал:

— Убьют меня, тятя.

Степан рассердился на него, обругал как распоследнего дурака. Так обруганным и уехал Гриша, не по-человечески и простились.

Нюрка не могла Степану такое простить — сидела на кровати и причитала:

— Ведь он не куда-нибудь, на войну отправляется. С какими нервами-то уехал от нас. Ведь у него сердце от обиды зайдется...

Степан прикрикнул и на нее:

— Да хоть бы ты-то заткнулась!

Нюрка удивленными глазами посмотрела на свекра — глаза большие, по плوشке — и завyla, оглохнув сразу же от своего воя, отключившись от всего, что ей говорили, уйдя в себя, будто мертвая.

— Ой, Гришенька мой родной, без тебя-то и я не нужная никому здесь...

Степан взял из люльки ребенка, чтобы мать не отставила его от ума, прижал к себе и обрадованно ощутил, как через пеленку доверчиво проникает от внука тепло.

Он вышел с ним из избы на солнышко. Сережка причмокивал, открывал рот, показывая беззубые десны.

— Ну что?—прищелкивал Степан языком, заигрывая с внуком.— Растем?

Сережка уже прислушивался к голосу, внимательно следил глазами за дедом. Но он еще не умел улыбаться сознательно и делал это только во сне. А Степану хотелось, чтобы внук узнавал его и встречал улыбкой.

И, конечно, со временем дед дождался и этого.

Вот так Сережка и пришел на замену сынам. Сыны теперь уж не те. Да и где они?

Анатолий писал, что его тоже взяли на фронт. А от Гриши за всю войну принесли один треугольничек. Ну, Гриша сам распорядился своей судьбой, доконал свою душу испугом: на медведя идешь, так и то не обробишь слабого слова, а тут война, и какая...

Нюрка с горя в нитку иссохла, а слезами, матушка, горя не отогнать. Васька, пока не уехал в ремесленное училище, приносил ей из школы газеты, где приводились примеры, что из мертвых солдаты воскресали в живые. А как четвертый класс по второму-то году закончил, так и поехал в Шарью учиться на токаря.

Один свет в окне у Степана остался. Без Сережки бы хоть пропадай. А тут как в бане отдушина. Затоскуешь—Сережку тискать бежишь, сразу сердце отмякнет.

А уж когда парень стал подрастать, и не нарадуешься.

Степан забирал его с собой на работу, учил запрягать лошадей, показывал, как надо сеять, как насаживать обруч на колесо, как смазывать телегу, как выбирать в лесу дерево на оглоблю. И все следил, чтобы внук не надсеялся: надсада, кроме отращения к работе, не даст ничего. Они вместе с Сережкой водили купать лошадей, ходили с ружьем на уток, искали грибы, пекли на костре картошку.

Сережка к натаскиванию деда относился с большой охотой, оказался очень понятливым.

А наука, когда она вся на виду, не хитрая. И Сережка запомнил ее:

Ворона носом только к ветру садится.

Первый прочный снег выпадает только ночью.

Курицы прячут голову под крыло—будет холодно.

Поздней осенью комары появились—жди мягкую зиму.

Облака идут против ветра—к снегу.

Туман зимой к земле опускается—к оттепели.

Гром зимою—к сильным ветрам.

Перелетная птица течет стаями—к дружной весне.

Из конюшни доносится храп лошадей—к ненастью.

Все так просто, веками проверено. Только в память вбирай да пользуйся. Крестьянину без этой науки совсем нельзя.

Грачи сели в гнезда—через три недели выходи на посев.

Пузыри в комьях земли появились—время сева уже подоспело.

Если береза вперед опускается—жди сухого лета, а если клен, то мокрого.

Лист на дубу развивается—время улова щук.

Да мало ли чего приметил народ! Степан и сам не знает всего. А что известно, конечно, вдолбит Сережке. Расскажет, и как осина скрипит, и отчего кричит в лугах коростель, и как зяблики пересвистываются, и почему глухарь глохнет от собственной песни.

Однажды они ходили с Сережкой в поскотину вырубать колья и, уже изрядно обсмолив руки, сели передохнуть. Весенний лес был полон птичьего гомона. Степан и решил попытать Сережку, как он усвоил его уроки:

— Это кто пищит?

— А это чей голос?

Серезка сбился всего в одном месте. Так Степан и заранее знал, что тут внук оплошает.

В ельнике пел еж, а Серезка перепутал его с дроздом. И еще упорствовал: дрозд, мол, и все. Конечно, песня дрозда напоминает ежиную. Только дрозд у земли никогда не расчувствуется, выберет самое высокое дерево, а еж руладит на грешной земле. И голосок у него по тону ниже дроздиного.

Старики и то впадают в ошибку, когда слышат ежа. Где уж тут мальчишке с налету усечь его голос!

Степан и не торопил время: придет час, когда Серезка не хуже деда станет разбираться в лесной науке.

Одно его начало беспокоить, что после войны Нюрка все чаще запоговаривала о переезде к своим старикам. Ее, конечно, можно понять: Гришу жди не жди уже не дождешься. А ведь ей немного годов. Баба в самой поре, Серезка б не помешал, так могла бы себя устроить еще неплохо.

Степан сначала отмалчивался, будто и не слышал намеков. А потом не хватило духу становиться снохе поперек дороги.

— Смотри сама, — вздохнул он огорченно. — Мы неволить не будем.

— Тятенька... — Она не знала, чего сказать, а Степана ожгло это слово, будто он раньше и не слышал его. Тятенька... Вот уедет, подберет себе нового мужа, и Степан уж не тятенька ей — никто.

— Серезку-то, может, пока оставишь? Пусть у нас поживет...

— Ой, как же я без него? — задыхнулась Нюрка испугом. — Я ведь на него посмотрю, так Гришу и вспомню. Сердцем-то сразу и обрадею.

Степан понуро кивнул: конечно, сыну без матери не житье.

— Ну, хоть в гости к нам отпущай.

— Тятенька... Да я ведь не заслужила от тебя таких укоротов. Раз-ве буду его удерживать? И сама прибегу.

— Ну вот и ладно, — похвалил Нюрку Степан. — А замуж выйдешь — так и ЕГО приводи. — У Степана не повернулся язык сказать по-другому. Но Нюрка не осудила свекра, стыдась, размазала по щекам слезы.

— Ой, тятенька, кому я теперь нужна?..

— Ну, ну-у, не выдумывай. Не кривая ведь.

А вот и не кривая, да замуж больше ни за кого не пошла. «Все, — говорит, — кажется, что Гриша живой: с работы домой бегу, и сердце токает — не он ли у окошка сидит?» И сватались за нее, были мужики подходящие, а она Гришу до старости прождала. Родители померли, одна управлялась и за мужика, и за бабу. «А я, — говорит, — тятенька, у тебя научилась: и топор теперь насажу, и косу срежу, и огород выгорожу...» «Ну, огород-то ставить меня позови, приду». «Ну-ко, в такую даль звать. Мы с Серезкой и сами умеем. Чего у меня не выходит, он делает».

Степан горделиво выслушивал похвалу внуку и все ждал от снохи, что она скажет ему спасибо за выучку сына: ведь не сам же он до всего дошел, не с топором же в руках родился. А Нюрка не догадывалась о терзании свекра и все хвалила Серезку, хвалила...

Степан не выдержал и предложил:

— Летом на каникулы снова его ко мне посылай. Еще чему-нибудь научу.

— Ой, тятенька, и рада бы я послать. Да как же мне без него? Пропадут.

У Степана чуть не сорвалось с языка: «Ну, и переезжайте к нам оба!» — но вовремя остановила трезвая мысль: одних стариков Нюрка похоронила, так зачем на вторые-то похороны ее зазывать. Теперь уж Степану с Натальей осталось по белому свету гулять недолго: слава богу, перевалило на седьмой десяток.

— Ну, на недельку-то хоть отпусти.

— Да на недельку он у меня убежит и без спросу.

Степан радостно закивал головой:

— Убежит, убежит! Я знаю.

И в эту минуту Нюрка нравилась ему больше своих дочерей: не подлаживаясь под него, похвалила так, что плясать охота.

— Вот сенокос управим — и прибежит.

И Степан, мучаясь ночами от дум, дожидался внука, высчитывал сроки, когда Сережка может прийти. Наталья пугливо прислушивалась к его шепоту, торопливо прерывала Степана:

— Ты чего бормочешь?

Степан лукавил, не признавался.

— Ну, опять разбудила, — притворяясь, зевал он.

— Да как не будить! Опять во сне разговариваешь.

— Ну, и послушала бы немного. А то с такого сна сбила.

Степан тяжело отвыкал от внука. Пока Сережка в Шайме учился, еще можно было терпеть: все-таки на каникулах прибегал. А уж если неумоготу было его дожидаться, Степан сам налаживался в гости к снохе. В году-то по два-три раза и виделись. А уехал Сережка учиться в Москву, и взяла Степана тоска. Да еще удесятерил ее переезд из Николиной гривы в Завражье. Степан места не находил. Куда ни приткнется, сердце колет — и все, ничего с собой не поделает. Сережкино письмо только и успокоило. Степана даже озноб от радости прохватил: ну-ка, из города придет домой свадьбу справлять. Москвичку сюда привезет. Сыновья не показывались, будто на горбых женились, а внук твердо пообещался: варите пиво. Значит, тянет его туда, где пуповину-то резали. Значит, и суженую свою без оглядки любит, раз хочет ее родне показать. А по любви сойдутся — только и жить.

И в какой раз Степан начинал твердить себе, что Сережка взял характер отца. Гриша был такой же уговористый да покладистый. Ни Анатолий, ни Васька не держали в сердце тепла для других людей. А Гриша был ласковый.

И как Степан мог сохранить в себе подозрение, которое заронила в нем Наталья и которое сама же с тех пор и выбивала из мужа, слычая фотографию Гриши с Сережками: весь, мол, в отца? Как у него духу хватило Грише о своих сомнениях сказать? Ну-ка, сын — убитый ведь, не живой — из такой дали шел к нему на свидание, а Степан только его расстроил.

Степан уж забыл, что не он говорил о Нюрке, а Гриша сам, что Степан даже поддакивать ему боялся: до того испугала его осведомленность сына.

И опять он услышал голос слева:

«Тятя, ты себя не казни. Я ведь не от тебя узнал».

«Гриша, ты зачем воротился-то? Тебя ведь там заругают».

«А все равно опоздал. Теперь долго не выпустят. Так одно к одному: что час, что четыре — все равно проштрафился».

«И наказывать будут?»

Гриша зашел с другой стороны: там уже стоял снег, идти было легче. И пока заходил, не уловил, наверно, вопроса, потому что повел речь совсем о другом.

«Я, тятя, у тебя-то спросил, чтоб проверить. А у нас там никто ничего не знает. Как в сундуке, лежим. Мне уж бабы здесь рассказали».

«Да какие бабы? — опешил Степан. — Никто ничего не знает».

Гриша недоверчиво захихикал:

«Ну, тятя... Чобы об этом да и не знали бабы...»

«А не слыхал, не говаривали».

«И мама никому не обмолвилась?»

«Что ты, Гриша! Она и меня-то дураком окрестила, когда я сказал об этом».

«А меня бабы уверяли хором, что Нюра путалась с Анатолием».

«Гриша, да выдумки это! Она и сейчас тебя ждет. Ты сходил бы к ней: здесь ведь недалеко».

«Нет, к ней пока рано. Пусть поживет».

«Дак ты за мной вернулся?»

Гриша отстал от телеги. И Степан мучительно дожидался, когда он подойдет.

— Любка! Останови лошадь-то. Али не видишь: человек-то устал. Посади его.

— Да какой, тятя, человек? Никого нету...

— Нету, нету... Али не чувствуешь, что с Гришей я разговариваю? Вон, видишь, отстал? — Степан силился повернуться. — Во-о-он, за сушилку по-

шел... На дороге мочиться не стал, тебя постыдился... Подожди минуту. Любава попридержала лошадь, Степан, успокаиваясь, сел прямо.

— Ну, теперь, тятя, можно?

— Теперь поехали.

Ему показалось, что Гриша на бегу застегнул середыш и сел на телегу.

«Ты бабам, парень, не верь».

«Да я ведь для того к тебе и пришел, чтобы правду услышать».

«Не виноватая Нюрка».

«Ну вот, теперь и помирать будет легче».

«Гриша, дак али у вас-то еще помирают?»

«И у нас помирают. И ниже нас — тоже».

«Ну-у... Стало быть, мне еще жить да жить...»

Гриша соскочил с телеги:

«Ну, до свидания, тятя. А ты, раз жить наладился, так мешать не буду».

«Да подожди, я тебе про Сережку еще не рассказывал».

Гриша уже ничего не обронил в ответ.

Они въезжали в Завражье. Колеса пересчитали мостовины шаткого настила через канаву, и телега заскрипела песком.

Степан сразу заметил, что Любава поворотила не в ту сторону:

— Ты меня не на кладбище ли ладишь отправить? — Встреча с сыном облегчила его, и он вошел в память. — На кладбище я не поеду.

Любава удивленно обернулась к нему.

— К фершалу еду.

— К фершалу, к фершалу! — передразнил он Любаву. — К старухе вези, не к фершалу.

— Тятя, ты ведь совсем худой. Пусть фершал посмотрит.

— Не знаю я нашего фершала! Он и здорового-то в больницу отправит.

— Дак, может, и в больницу придется, — подавленно проговорила Любава.

— Как это так, в больницу? Больно сладко поешь! Я еще к Сережиной свадьбе пиво стану варить.

— Ну, и без тебя бы сварили...

— Вы сварите... Киселя какого-нибудь...

— Да полечили, так не хуже ведь было бы...

Степан чуть не сказал: «И дома помру», — да вовремя спохватился, вспомнил о наказе Гриши: а ну как душа подслушает? Он ведь теперь не знал, чья в нем поселилась. Со своей-то можно было обо всем говорить: друг к другу привыкли. А эту как бы не испугать. И Степан, чтоб ее успокоить, задорно сказал:

— А меня лечить не от чего. Здоров, как бык.

Любава неуверенно поворотила лошадь домой.

12

Степан залежался в больнице до черемуховых холодов. Он не мог оправдать за такую затяжку ни врачей, которые не соглашались его отпустить домой, ни дочку Любаву, которая в свои еженедельные наезды в район забегала к нему и кормила обещаниями, что в следующий раз она придет уже специально за ним и его муки кончатся. Степан догадывался, что Любава с врачами в сговоре, и все боялся сплеховать, не настояв на своевременной выписке, и тем самым прозевать Сережину свадьбу.

— Любка, да я ведь здоровее не буду. Меня ведь годы подкосили, не хворь, — умолял он дочь похлопотать перед больничным начальством. — Дома-то и стены помогают. А здесь одна тоска... Здесь я помру...

Он уже не опасался чужой души, поселившейся в нем, и говорил, что думал. Да она и жила незаметно, притерлась, видно, к его характеру и не все угрозы Степана брала на веру. Она уже была как своя.

— Помирать ведь, Любка, меня оставляешь...

Любава не смотрела ему в глаза.

— Да возьму, тятя... в другой раз возьму...

— Ну вот, опять в другой раз...

Он пересиливал себя не задать дочери главный вопрос и не удерживался, задавал снова:

— А Сережа-то не приехал еще?

— Да ведь я бы не утаила, сказала, — хмурилась Любава, а Степан по глазам дочери видел, что она от него чего-то скрывает, скорее всего про приезд внука, и не говорит ему.

— Ты, Любка, голову мне не морочь, забирай поскорее! — требовал он. — Я уж тут со всеми фершалами переругался. Ничего не понимают, а берутся лечить... Я им тут такого разгона дал...

Любава испуганно охала и оглядывалась по сторонам, не подслушивает ли кто их разговор.

— Ты хоть, тятя, не хвастайся этим, — умоляла она. — А то и вправду лечить не будут.

Она уходила от Степана, всякий раз заискивающе улыбаясь ему, и он, сознавая, что дочь опять оставляет его на чужих людей, испепелял свое сердце обидой на черствость Любавы: «Вот и ей стал не нужен...»

От сынов он уже отвык, и их отчуждение не тяготило его. Но Любка-то не такая... Неужели он проглядел и ее? Неужели она притворялась, что дорожит отцом? А сама только и думает, как бы его поскорее избить? Конечно, старики детям в тягость. На излете жизни это хорошо понимаешь и мучаешься от придавившего тебя к земле понимания. Уж лучше бы помереть до того, пока вызреет в голове осознание своей ненужности.

Жизнь и без того коротка. Ее не хватает даже на то, чтобы успеть сделать самое необходимое. Нет, даже не всё необходимое, а малую толику из того, чего не сделать никак нельзя. В недовершенном полагаешься на детей: они твоё начинание продолжают, а дети не успеют — подхватят внуки. Так и живешь ожиданием и надеждой, что ты начинал не зря.

А ведь если раздуматься, поковыряться в памяти, то и придешь к итогу, что жизнь — это не что иное, как сплошное ожидание. То ждешь появления на свет детей, то лучшей доли для них, то справедливости, то, если к земле вернуться мыслями, тихого дождя, омывающего озимь, то солнышка, от которого потрескивает вызревший колос, то ветерка, помогающего высушить сено и отогнать от коров овод, то вперемежку и того, и другого, и третьего. А по-крупному-то судить: ждешь от жизни, что не сегодня — завтра она будет лучше. И уж если не повезло тебе, то, надеешься, судьба смилостивится к твоим детям, не к детям, так к внукам. Без ожидания жизнь утратила бы свой смысл.

Степан, смирившись с тем, что для себя он уже ничего не дожидается — не все в рубашке родятся, он, Степан, из числа невезучих, — молил бога, чтобы счастье не разминулось хотя бы с внуком. Сереже положено, если бог следит за тем, как распределяется на земле справедливость, недобранное и Степаном, и особенно Гришей — а стье рассовать по своим карманам. И пиво, которое намеревался Степан сварить для внука, было той картой в колоде, без которой играть бессмысленно. Степан суеверно считал, что от пива будет зависеть, как сложится у внука жизнь. Гришино пиво выплеснули на землю — и Гриша в земле лежит с молодых лет. Сережкино пиво должно вобрать в себя и хмель, и сладость, и буйную удаль, и необходимую для удачливой жизни осмотрительность, которые скопили за долгий век своего существования на земле все предшествующие поколения Сизовых. Без хорошего мастера такого пива никому не сварить. И Степан рвался душой на подмогу внуку. Душа у него трепетала и ныла. Она понимала, что ее надо лечить не в больнице, а у пожара на берегу реки. Порошки и уколы на нее не действовали. Нет, он еще поживет, не все дела переделал на свете, и ему больше нельзя в больнице лежать.

Врачи все-таки уразумели, видимо, это и, когда Степан потерял всякую надежду выписаться, отпустили его домой. Но душа, оказывается, надорвалась больницей, и родные стены не помогали ей воскреснуть. Да как же так? Почему она столь bestолкова? Неужели не понимает, что надо собрать оставшиеся силы и вспорхнуть уж если не соколом, то хотя бы малой пташечкой? Ведь это в жизни Степана будет последнее родовое пиво. А может, в нем живет уже не его душа, а та, подставная, о которой говорил Гриша, и она настолько ленива, что хуже старой, давно изработавшейся?

Степан лежал в углу на кровати. В открытые окна залетал запах че-

ремухи. Черемуха отцветала. Но пчелы еще жужжали над ней. И Степан, потерявший счет времени, по этой нехитрой примете — по окутавшим черемуху пчелам — определил, что весна еще не пророснула мимо него, что она дает ему шанс ухватиться за жизнь и подняться с постели. «Вот придет Сережа, и встану, — утешал он себя. — А пока поберегу силы».

Вся деревня перебивалась у его изголовья. Даже Филя Фофанов, приезжавший в Шумково по своим делам на короткий час, заскочил к нему. И Степана ошеломила догадка: прощ а ю т с я.

«Да нет, я не помру!» — воспротивился догадке Степан.

Филя, похоже, заметил в его глазах страх и успокаивающе сказал:

— А ты выглядишь хорошо... Мне сказали, что ты исхудал, а ты ничего-о.

Филя врать не умел, голос у него был спокойный, и это благотворно подействовало на Степана.

— Сдал, конечно, немного, — признался он. — Но собираюсь пиво внуку варить. Свадьба скоро у Сережи.

— Слышал, слышал, — поддержал Фофанов. — Я поэтому и зашел сказать: у меня тшаны сохранились. Если ваши не уцелели — бери мои.

Душа у Степана разом взнялась. Он почувствовал, как она подступила к горлу.

— Спасибо, Филя... У меня тшаны есть, — проговорил он, сглатывая переполнившую рот слюну.

— Ну, дак и хорошо, — похвалил его Филя. — Теперь, наверно, во всем районе только у нас с тобой тшаны и уцелели.

Филя еще о чем-то толковал ему, но он уже ничего не слышал. Разговор о тшанах вытеснил из головы все, и Степан удержал в памяти только Николину гриву, где эти самые тшаны ждали хозяина. Он видел сейчас родную деревню всю в черемуховом цвету. И ему казалось, что над домами гудит невидимая струна. Степан пытался ее разглядеть, потому что гул от нее то, успокаиваясь, затихал, то вновь напрягался, будто кто-то натягивал струну и отпускал ее и она, вибрируя, извлекала из себя медноголосые звуки. Догадка явилась к нему неожиданно, когда он спустился с крыльца под черемуху. Да это ж пчелы гудят! Они роєм нависли над кустами разнежившихся деревьев, и гул от них, истончаясь, улетал в поле, кружил, взмывая к небу, над улицей, прикипал к земле.

Степан любил эту пору года. Наступала весна, и он всякий раз оттаивал душой, потому что весна вселяла в него надежды на новый хлеб, на сытую и ладную жизнь.

Степан хотел сорвать ветку черемухи, но она, как рука, отпрянула от него к окну, и он увидел, что рамы-то заколочены. Исполнила все же Любава свою угрозу, забила досками их наглухо. И будто ножом полоснуло по сердцу: нежилая изба и цветущее дерево, бьющее ветками по замшевым доскам, словно зовущее хозяев вернуться... Дерево наладилось жить, а дом приготовился умирать...

Ноги у Степана не выдержали, подкосились, и он упал в молодую траву.

За оградой скрипел колодец. Степан понимал умом, что это раскручивает ветром ворот, а душа-то не соглашалась, она шептывала, что это бабы воду берут.

Степан пытался встать, выйти за угол и посмотреть: может, и в самом деле бабы вернулись, но ноги подгибались, как ивовые, и он, обессиленный, валился мешком.

Да что это такое с ногами-то, совсем отымаются. Он помнил, что в водополлицу поморозил их. Но память его удержала и то, что светлые пузыри, отзудив, давно изошли на нет. Значит, на него навалилась какая-то другая болезнь.

«Старость», — вдруг догадался он и испугался своей догадки. До такой старости, когда делаются непослушными руки и ноги, когда ты становишься в тягость родне, у Сизовых никто не хотел доживать. Степан — первый, кого постигла горькая участь, и это его совсем расстроило.

Степан упал, лежит, а его в обезлюдевшей деревне и поднять некому. Права Любава была, когда, приехав за ним в водополлицу на Николину гриву, пугала, что, если он еще раз убредет сюда и смерть настигнет

его в дороге, никто не сможет ему помочь. Хорошо бы в избе помереть, а то, как собака, на улице. Степан чувствовал, как стягивало кожу на голове, будто она усыхала, и от этого мурашками высыпал и на затылке, и на висках озноб. Он гусиными пупырышками с головы переполз по шее на спину и стянул кожу на ней, потом перебрался в ноги и уж там-то постарался как мог, ломая их судорогой.

Степан не хотел умирать бродячей собакой, приподнялся на руках, высматривая, в какой стороне изба, и полез на карачках к ней. Он слышал, как остывает тело, и понимал, что вот-вот отнимутся руки и он уже не сможет ползти.

Нет, надо все-таки возвращаться в избу. Пока забытье не извалило на бок, со смертью можно еще потягаться силами—а вдруг она и отступит.

Он дополз до крыльца, поднял измазанное землей лицо и увидел, что двери забиты крестовинами досок. Ну да, он же слышал тогда, как Любава грохала топором. И топор не оставила, принесла в телегу.

Все, помирать собакой...

И какая-то волосатая рука подсунула ему сбоку клочок бересты и спички.

— Поджигай, Степан, поджигай, — зашептал чей-то знакомый голос. Степан не мог вспомнить чей. — Согреешься, Степан, поджигай...

Степан не сразу догадался, что советчик предлагает ему спалить дом, а догадавшись, согласился с советчиком, укоряя себя, что не додумался до этого сам. Спалить дом надо было еще в прошлый приезд. Чего ему безглазым—с заколоченными-то окнами—стоять? Все равно на месте Николиной гривы быть пустырю! Спалить! Спалить! Ни сынам, ни ему, Степану, дом не нужен. Гори все синим пламенем!

Степан швырнул спичкой по коробку и дрожащей рукой подсунул язычок огня под бересту, сразу запузырившуюся, зачадившую. Запахло дегтем.

«Ну вот и все», — подумал Степан, забив огонь под дверь, и она, как облитая керосином, взнялась снизу доверху — краска окалиной отскакивала от нее. Огонь с двери переметнулся на крышу, выел мох в пазах сруба, загулял по стене, которая тут же и почернела.

«Ну вот и все». — Степан почувствовал облегчение, его уже отпустил озноб, и силы вернулись к нему, да не нынешние, а молодые, что сначала Степана обескуражило, а потом он понял: да это же те силы пришли, которые он растратил на дом, они не захотели сгорать.

«Нет, мне жить уже незачем», — решил Степан и, полный сил, как язычник, шагнул в огонь. Его облизало пламя, и он, обугливаясь, заревел навзрыд... и проснулся.

Фили уже в избе не было. Около кровати стоял Потап Мокрецов и тормошил его:

— Степан! Степан! Ты чего так стонешь? Фила Наталью сейчас найдет.

— Не надо Наталью... Это я так... Сон тяжелый увидел...

Степан отвернулся от незваного гостя к стене. «Этого-то зачем черт принес?» — подумал он недовольно. Потап сопел за спиной, не уходил. Вот ведь: сны просто так не являются к человеку. Они чаще всего бывают вещими. Привиделся Степану пожар — точно что не к добру. А не к добру и есть: приперся за каким-то лядом Потап — не на один день настроение будет испорчено.

— Степа, дак чего тебе такое приснилось? — приставал Потап.

— Твоя задница! — отрезал Степан, показывая, что разговаривать с ним не намерен.

Потап обиделся, засопел тяжелее.

— А я думал, тебя снова твердым заданием обкладывают, — зло-радно хихикнул он.

— А теперь хоть раскулачивайте. Ничего не надо, — спокойно ответил Степан.

Он сказал эти слова и не удивился тому спокойствию, с каким про-износились они. Теперь ему действительно ничего не надо. И не потому, что жизнь прожита вся, осталось на самом доньшке сколь-то недель, а может, и дней только. Просто выгорело внутри, изржавел тот стержень,

который раньше держал Степана на ногах от темна до темна. Ведь как тогда было: при первых петухах всполошится и, если даже поленится встать, все равно глаз не сомкнет до рассвета: «Ой, надо бы сегодня клин допахать», «Ой, Любаве лемех не наточил», «Ой, хомут у Карька протерся, надо бы зашить, пока не разъехалось...» Разойкается, что и спать, выходит, в эту ночь было нельзя — работа испереждалась хозяйна, того гляди, не возьмутся за нее, так прокиснет.

Савинов однажды ему сказал: «Ты, Сизов, раб у земли». Степан не согласился с ним: какой же раб — он хозяин. И уж потом — сколь волос на голове выпало — понял: а и вправду раб. Земля ушла под колхоз, так, словно без детей оставили. И еще неизвестно, кого он больше любил — детей или землю. Будь у него земля, разве бы отпустил сыновей из дому? Да ни в жизнь! Всех при себе держал бы. Для земли это, может, и лучше, а для детей? Прав Савинов, прав, и их бы рабами сделал. Всю жизнь и их бы заставил копать в навозе. Они вот выбрали для себя другое — к машинам пошли. А главное-то в жизни — они, не земля. Ведь только детки до могилы в душе лежат. Они одни. Как он об этом забыл?

Ой, даже вспомнить горько! Повели со двора коров, так в петлю готов был сунуться. И смех, и грех. Будто ради коров да земли и жил, будто не было у него и деток. Им теперь вот навязывай лишнюю-то корову, так не возьмут. А он-то убивался по ней, он-то метался сколько годов, места себе не находил: без земли и без коров остался. Вот бы Савинова увидеть, вот бы ему сказать: «Твоя правда, Василий Петрович, твоя. И ведь я бы тебе раньше поверил, если бы не этот баламут Мокрецов. Зудит, зудит на ухо — и подумать не даст, только злит».

Хоть бы теперь-то не пристаивал, дал отлежаться. Может, не сегодня завтра позвонят по телефону из Шаймы и скажут, что Сережа уже приехал. Степану нервы тратить на пустяки нельзя. Ох, выходит, не только перед Потопом, но и перед собой он лукавил, когда говорил, что ему уже ничего не надо. Нет, все-таки надо. И до последней минуты, видимо, человеку бывает чего-то надо. Вот ему, Степану, надо пиво сварить.

Степан опять провалился в сон. Ему было тревожно и душно. Чья-то безжалостная рука обрывала с настенного календаря листки. Степану хотелось остановить ее, но ему не хватало мочи крикнуть, чтобы незнамо кому принадлежащая рука не распоряжалась чужими днями, не укорачивала время. Степан, онемевший, следил, как из календаря выпадали июньские дни, потом июльские, и голос Сережки, которого в избе не было, торжественно объявил:

«Свадьбу справляем в августе!»

«Сережа, да почему в августе? — запротестовал Степан. — Давай, как наметили, в мае...»

«В мае — примета плохая: всю жизнь маяться...»

Степан задохнулся: и вправду, такая примета есть...

«Ну, тогда в июне давай. Мне до августа не дотянуть».

«Да ведь август уже и идет», — сказал Сережка.

Степан ему не поверил и выскочил на улицу. Сережки нигде не было. А без него Степан не мог разобраться, какой стоял месяц: май или август. Это ж надо, совсем из ума выжил...

Сережкин голос сердито сказал неизвестно откуда:

«Если и июнь сейчас — все равно в августе!»

А ведь на июнь ладили. Не на май, конечно, он, Степан, перепутал, а на июнь...

И вдруг Степан как прозрел, догадавшись, отчего внук затынул со свадьбой, перенес ее с июня на август. Сережка же на Николиной гриве ладил ее играть. А Степан там и дом спалил — какая свадьба!

Над Степаном опустилась ширококрылая, как самолет, птица, вцепилась когтями в его рубаху и подняла над землей:

«Смотри, что натворил!»

Степан увидел родимое пепелище и взмолился, чтобы птица посадила его туда.

Птица перенесла его на Николину гриву.

«Любуйся плодами своих рук», — сказала она.

На месте взбы была куча золы, а вокруг нее толпились черемухи.

Они-то как не сгорели? Черемухи отяжелели от черных ягод, но их некому было срывать.

А почему некому? Степан же видел сверху: стояли дома! Он оглянулся — и вправду вся деревня цела.

Филя Фофанов в гимнастерке — столько годов носит, а не износил — уже шел к нему по дороге и, подойдя, не подал руки, вздохнул:

«Вредители, Степа, у нас завелись», — сказал он тоскливо.

«А кто они, Филя?»

«А ты!» — сказал Фофанов и ткнул его пальцем в грудь.

Степан хотел закричать, что нет, но увидел, как с кучи золы ветер поднял облачко пепла и понес его вдоль деревни: все до единого, кроме Сизовых, дома стоят, а на их подворье крапива даже перестала расти.

Степан так расстроился, что огуз, как в снегу, по колено в землю. Вина за ним, видно, была тяжелая.

Филя обдал его запахом пота и ушел к себе: стоять ему некогда, надо работать — стукоток молотка полетел от его двора по ожившей деревне. Степан посмотрел вдоль дороги — а народу-то, а народу-то... Все собрались. У каждого дома — как муравейник. Сидоровы все понаехали, Людмила наличники красит, ребятишки лестницу держат, на которой она стоит, беспокоятся, чтоб не упала.

У Митрошиных в сборе все — колодец вроде бы чистят. У Прони Плотникова воду в баню таскают. У Мокрецовых и то чего-то делают — двери все время хлопают, Потап с Федосей бегают взад и вперед. Федора Перминова семья и то явилась из высылки.

Только Степан один, как перст. И куча золы из-под ног у него раздувается ветром.

«Тятя, — услышал Степан голос сына Григория. — Ты зря убиваешься. Твоей вины нету ни в чем».

Значит, Гришка все же пришел, а не показывается, не хочет, чтоб батя его увидел.

«Тятя, да я ведь убитый, я сам-то там остался лежать», — оправдывался Гриша, а не сказал, где там, побоялся, видно, что у отца неостанет сил сходять к нему на могилу, а назови место — Степан и бессильный туда пойдет.

«Далеко это, тятя, в болотах, в лесу», — пояснил сын.

«Вот и на могиле у сына не побываешь», — совсем сник Степан, и земля под ним продавилась еще глубже. Гриша увидел это и подсказал:

«Тебе нельзя расстраиваться».

«Да все грузну и грузну — земля подо мной растворяется».

«А потому что чужую вину на себя берешь», — укорил Гриша.

«Да какую чужую-то? — не согласился Степан. — Только с Васькой выжил из дому — слова ласкового от меня не слышали. Только и талдычил им: работать, работать... О коровах убивался, о лошадях, о земле, а о сынах и не вспоминал никогда, как батраки они».

«Тятя, да ты и сам ведь батрак», — сказал Гришин голос.

«Батрак, Гриша, батрак, я не отказываюсь», — согласился Степан. — Уж я-то работухи поломил».

«Тятя, не виноватый ты», — повторил сын.

«А кто виноватый?»

Гриша промолчал и, невидимый, зашел с другой стороны, где клонились долу отяжелевшие ягодами черемухи. «Видно, захотелось отведать», — понял Степан и, тоже повернувшись туда, сорвал кисточку.

«Да сейчас и наши придут, — донесся Гришин голос. — Ты не расстраивайся... И ноги-то потихоньку выдергивай из земли, выдергивай...»

Степан послушался его, вытянул одну ногу, переставил ее на твердь, а уж вторую-то вытащить из земли оказалось и того проще.

«Ну, вот видишь, — похвалил Гриша, — а то совсем духом упал. Не расслабляйся».

Степан услышал, что Гриша ест черемуху, косточки не выплевывает, так целиком ягоды и глотает.

«Поешь, Гриша, поешь, — воддержал он сына. — Там-то вас, наверно, впроголодь держат».

Ой, не надо было напоминать о том месте, откуда Гриша пришел. Сын услышал о нем и сразу же засобирался в дорогу.

«Мне пора, — сказал он. — Моя отпускная кончилась».

«Ну вот, опять один остаюсь...»

«Да я же тебе говорил, наши сейчас придут. Я их по дороге и встречу... И на них погляжу...»

«А кто идет-то? Только и Васька?»

«Нет, мама с Любовой».

Да-а, парней уже не вернуть. За богатством погнался Степан — сыновья оказались чужими.

«Тятя, да не за богатством... Ты вспомни-ко, ты же твердым заданием обложен был».

«Они ушли при колхозах», — возразил сыну Степан.

«Да не одни они. Обезлюдели все деревни».

«А в нашу-то вон вернулись».

«Ой, тятя, мне пора, — сказал Гришин голос. — Но и ты обомрешь от счастья».

«От какого счастья?»

Гришины шаги удалились. Натальи с Любовой все еще не было. Степан стоял у кучи золы один.

Он вздрогнул, когда услышал раскатистый голос Федора Перминова:

«Поживее, мужики, поживее!»

У Федора Перминова почему-то на подоконнике стоял сепаратор, и из него рекой лились сливки. Колхозные машины с цистернами — одна за другой, одна за другой — едва успевали подъезжать к окошку. Федор Перминов гордый ходил от шофера к шоферу и торопил:

«Ребята, не заезжайте! Река же течет...»

Он был в хромовых сапогах. «Так и они не сгорели? Дождались-таки своего хозяина», — обрадовался Степан и сник: из перминовского дома сбегала по крылечку Файна, заметила Степана и закричала ему:

«Да прощаю, прощаю тебя... Знаю, что не по злему умыслу наговорил на меня».

И как только она его простила, на пепелище у Сизовых и начал расти дом. Да не последний, не маленький, а отцовские хоромы — под одной крышей две избы, двор с сеновалом, амбар и чулан. У Степана захолонуло сердце. Это же надо, прощение-то Файны чего вытворляет!

Хоромы уже стояли как прежде. И даже ворота — столбы из мореного дерева — оказались под своей крышицей. Степан обомлел: столбы утрамбовывал камнями Сережка, внук. И молодница, жена его, не шадровитая, видная из себя, помогала ему. Москвичка, а не брезговала грязной работой, носила камни к столбам. «Вон Гриша-то какое счастье сулил!»

«Сережа, внучек ты мой!» — обрадовался Степан.

Но Сережку почему-то обступили колхозные доярки, и Людмила Сидорова, вымазанная краской, громовым голосом говорила ему:

«Ты, Сережа, в Москве теперь живешь... Так который в сельском-то хозяйстве больше понимает — Брежнев или Косыгин, — расскажи ему про наш-то колхоз... Скажи, есть такая дура, Людмила Сидорова... Пускай они мне разрешение на аренду дадут...»

«Да ведь дали уже, — услышал ее Федор Перминов. — Видишь мою реку?»

«Это тебе дали, а мне нет... Ты по-за колхозу живешь».

Степан — не в силах удержать радость — порастолкал баб и бросился к Сережке с невесткой:

«Внучата мои! Приехали все-таки!» — И он обрадованно заплакал.

Людмила укорила его:

«Степка, а ты чего тут раскуксился? Аренду дадут, дак и ты сыновей заставишь вернуться...»

«Теперь уже не заставишь», — усомнился Степан.

«Ну вот внуки уже приехали...»

Степан хотел пояснить, что внуки приехали свадьбу справлять, погостить. Но Людмила не стала слушать:

«А что? Устроишь механиком. Инженерá по машинам и здесь нужны... У нас машин-то эвон сколь...»

Цистерны со сливками одна за другой, одна за другой отъезжали от дома Федора Перминова.

«Внучата вы мои милые!» — не надеясь на то, о чем говорила Люд-

мила Сидорова, еще сильнее заплакал Степан. На слезы-то как раз и по-доспели Наталья с Любовай.

Потап Мокрецов не дал Степану досмотреть сон, испуганно тормозил уже за плечо:

— Ну, чего ты, Степа? Чего? Опять реवेशь...

Степан потрогал рукой лицо — под глазами и вправду слезы...

Филя Фофанов сидел на табуретке и испуганно моргал, переводя взгляд со Степана на Наталью, которая дрожащими руками распечатывала порошок:

— Выпей, Степа, лекарство...

После лекарства ему полегчало. Но ни днем, ни ночью он в эти сутки уже не уснул. Сережка привиделся ему неспроста: видно, и для него Степану пива не варивать.

13

Внук позвонил по телефону из Шаймы, что свадьбу будет справлять у матери. Степана это известие не расстроило, он уже был готов к нему: конечно, Сережке напели в уши, что дед лежит в лежку, вот он и не поехал на Николину гриву. А Степан бы, приедь только Сережа, сразу б поднялся.

— Наталья, кто пиво-то варит?—то и дело подзывал он жену.

— Да я ведь тебе сказывала.

— Ну, еще скажи.

— Сережа сам варит.

— Да-а,— вздыхал неопределенно Степан. — А солод-то у него чей? Надо бы наш послать.

— Да наш и послали.

— А-а... Ну, ладно... Наш-то хороший...

Он затихал, уходя в себя, но стоило Наталье звякнуть тарелкой, загреметь ухватом, как снова требовал ее в закуток.

— Слышь, надо бы позвонить Сережке-то.

— Чего еще?

— Пусть хмелю-то не жалеет. Теперь лето, без хмеля пиво быстро прокиснет. А горечь можно и сахаром снять. Пусть не боится.

— Да не знает он без тебя...

— Может, и не знает. Сходи в контору на телефон.

Наталья выходила на улицу, стояла под окнами, пережидая, пока Степан не заснет. Но, проснувшись, он возвращался к старому:

— Звонила?

— Звонила.

— Ну, чего Сережа сказал?

— Да он на поварне. В сельсовете сказали: передадут.

— Жди, передадут они.

— Да ведь от сельсовета до Нюрки двадцать шагов. Али не передадут! Председателя-то, поди, ведь и на свадьбу позвали...

Это ненадолго успокаивало Степана. Но потом он вспоминал новый наказ и опять отправлял Наталью на телефон.

Наталья бранилась, но выходила на улицу и опять пережидала то время, за какое можно дойти до правления колхоза и дозвониться до Шаймы.

— Ну?— встречал ее вопросом Степан.

— А ругаются в Шайме. Говорят, что за советчик выискался! Пускай сам приезжает да и руководит.

— Они только ругаться и знают.

— Я им так и ответила.

Степан вконец измаял Наталью, пока она не догадалась соврать, что Сережка слил пиво по лагунам и пустил уже мастер.

— Дак скажи ему, пускай в лагун-то по бутылке водки поставит. Раскупорит и, не выливая, ко дну в лагун и опустит. Крепче пиво-то будет ходить... По бутылке на лагун хватит.

— Да он уж так и сделал.

Степан недоверчиво смотрел на жену, но она не мигала, и он отводил взгляд.

— Ну, ладно.

В беспокойном ожидании он провел еще два дня, пока Любава к назначенному сроку не уехала в Шайму. Степан хотел отправить вместе с ней и Наталью — навари, мол, мне супу и поезжай, подомовничай и без вас, — но она побоялась оставить его одного.

После отъезда Любавы Степан стал просто невыносим: исказнил жену, что не надоумила его передать приветы родне, Любава поехала, а он, ну-ка, забыл наказать, чтобы выпросила все про Сережкину бабу и про самого Сережку, забыл попросить, чтобы Любава привезла отцу попробовать пива.

— Наталья, позвони в Шайму-то. Пусть хоть один стакашик пошлют с Любавой.

Но Любава и сама знала, что без пива ей возвращаться нельзя. Молодица налила трехлитровый бурак. Сережка насовал для деда и бабушки подарков сумку, но Степана, кроме пива, ничего не обрадовало.

Он слабеющими руками принял от Любавы стакан и отпил наполовину, слыша, как горячие токи пошли по телу.

Пиво было сварено неплохое, но ему не хватало горечи. Пожалел все же внук хмелю. А погода-то вон какая — солнце с неба не прячется, как бы не проквасили пиво.

К вечеру, как по заказу, пошел дождь, захолодило. За пиво можно было уже не опасаться.

Степан, успокоенный, в ту же ночь помер. Перед смертью мнилось ему: он еще раз отведал свадебного пива, у него захорошело внутри, и он с облегчением подумал, что больше его ни обложат твердым заданием, ни раскулачат.



Р а в н о в е с ь е

Век

У века — противоречивый нрав	Все подряд
И противоположные стремленья:	Сдавали — без отпора и расплаты,
Он — костолом,	Что в олицетворениях его,
И он же — костоправ,	В гримасах
Не обещая, впрочем, исцеленья!	Человеческой личины
Порывом разрушенья увлечен,	Всего охотней видим
Он выкорчевал лучшее, что было,	Не причины
А нам оставил —	Творящегося
Разве что уныло	И не существо,
Теперь скорбеть, что бездуховен он	Что, зная ложь и понимая вздорность,
И что согласно выводу такому	Заполняющие наши дни,
На протяжении лет его	Свое потворство
И дней	И свою покорность
Страшней бывало —	Оправдываем тем, что искони
Не было тусклей,	Быть гласом вопиющего в пустыне —
И трудно предпочесть одно другому.	Небезопасно
Но каждый перед всеми виноват	Да и ни к чему,
И все мы	Что век, состарившись, уходит ныне,
Перед каждым виноваты	Прощая всем,
В том, что на милость веку	Кто не простит ему.

Спор

История народа принадлежит царю.

Н. Карамзин.

История народов принадлежит народам.

Н. Муравьев.

История народа принадлежит поэту.

А. Пушкин.

Хитрец, или мудрец, или простак
Неторопливо проникает мрак
Минувшего, богатого уловом.
Он обеспечен и столом, и кровом,
Которым, в сущности, цена — пятак.
Он был поэтом — и владеет словом,
Чтоб, не без риска угодить впросак,
Перебелить, не повредив основам,
Событья — сообразно взглядам новым —
И убедить, что было только так.

Он занят врачеванием хворобы
Общественной, не зная, что микробы
Давным-давно проникли и в него,
А современнику милей всего
Беспамятства безгрешные сугробы.
Он в меру пониманья своего
Желал бы докопаться до того,

Что всем продемонстрировать могло бы
Бессмыслицу вражды, бесплодые злобы,
Разумного начала торжество.

Отточен слог. И безупречна фраза.
Но всякий лист невидимо для глаза
Заляпан посреди и по краям
Чумой, войной, потопом, недородом...
История принадлежит народам.
Историки принадлежат царям.

Дары

Поглядев на бумагу, где царской рукой
Назначается пенсия в сумме такой,
Что и хватит, и даже останется вроде —
Что угодно купить и по всякой цене,
Произнес Карамзин: «Если милость ко мне
Беспредельна, то, стало быть, жизнь на исходе...»

Значит, выпала участь дожить до того,
Что в глазах современника твоего
Все, что было, уже не дела, но деянья!
И пришла пожинания славы пора.
Разве что завитушки чьего-то пера
Оскорбят неумеренностью воздаянья...

Ну, а мне — совершенно иные дары,
По-фламандски вещественны и пестры,
От заслуг не зависимы, ни от сезона...
Да потратить не хватит ни дней, ни часов,
Так что незачем дверь замыкать на засов,
Так что и пересчитывать нету резона.

А возможно, и вовсе не стоит труда
Забрести наудачу неведемо куда
В поводу пресловутого чувства шестого,
Чья узда и рука вдохновенно легка!
И узнать, что для выхода из тупика
Надо легкого легче и проще простого:

Красноречие рыбы и зоркость крота,
Да еще для меня — за меня — обжита
Эта самая хата, которая с краю,
Где живет в достатке, в любви, в тишине...
Как сказал Карамзин, если щедрость ко мне
Не имеет границ, значит, я умираю...

Стена

Уже зима почти прошла,
Напомнив холодами цену
Покоя, света и тепла,
Короче, своего угла,
Импровизации на тему
Железа, камня и стекла...
А неотложные дела
Всечасно образуют стену
Вокруг меня. И ничего
Не позволяет видеть эта
Стена, помимо одного
Едва заметного просвета.
По счастью, общая беда

Незавершенного труда
И тут не знает исключения!..
И мне отчетливо видны
За внешней стороной стены
Те бесконечные мгновенья,
Где безмятежно разлита
Тщета взаимного творенья,
Ночных купаний нагота
И неизбежность пробужденья...
Когда не этот бы просвет,
Душе открывшийся нектар,
Я мог бы свой остаток лет
Бюстрепетно свести на нет

И умереть в своей кровати.
 Однако в мире
 За стеной
 Всему ведется счет иной
 И мало ценится такое
 Смирение перед судьбой,
 И надвое прямой тропой

Как бы распорото лесное
 Пространство траурно-сквозное,
 Где надо мной и над тобой,
 Легко поддерживая своды,
 Не покачнутся деревья,
 Так что кружится голова
 От их немислимой свободы...

Возвращение

Щедро и немилосердно
 Достается на веку
 Все, что лучше бы — посмертно...
 Но по капле, по глотку
 Возвращает как бы детство,
 Как бы всплытие со дна,
 Замечательное средство
 Под названьем: ночь без сна.
 Возвращает в то, со стажем,
 Состояние, в каком
 На каких-нибудь, ну, скажем,
 Двадцать лет одним глазом
 Заглянуть хотя бы в щелку...
 Оказалось: шло к тому,
 Чтобы, сорок лет отщелкав,
 Очутиться одному
 У разбитого корыта,
 Где с моих не сводит глаз
 Бытия, а также быта
 Этот самый... в общем, класс.

Где считается побегом
 Влево шаг и вправо шаг,
 А в июле дождь со снегом
 Застает врасплох не так,
 Как обыденность попытки
 Между прочим, по пути,
 Невзирая на убытки,
 Непременно мне ввести
 Внутривенно и подкожно
 Страх, беспомощность, вранье...
 И осмыслить невозможно:
 Что — чужое? что — свое?
 Но зато легко прикинуть
 Выход — выгода ясна:
 На миру не то что сгинуть,
 На миру и жизнь красна,
 И заботы плеч не тянут,
 И оптимистичны дни...
 А из всех цветов не вынут
 Только желтые одни.

Равновесье

В эпоху многоголосья
 Являет немногословье
 Душевного равновесья
 Единственное условие.
 Пусть мысль удалась на славу
 И губы разжать торопит,
 Но, чтобы начать слово,
 Бессмыслен былой опыт,
 Не впрок и не на потребу,
 Затем что на этом свете
 Есть время ловить рыбу
 И время сушить сети.
 И все хорошо к сроку,
 А главное — ненарочито.

Есть время входить в реку
 И время читать Гераклита.
 И, может быть, справедливо
 И понято непревратно,
 Что лучшая часть улова
 В прорехи ушла обратно.
 И, может быть, не напрасно,
 Хотя и не в нашей власти,
 Есть время гулять розно
 И время бывать вместе.
 Не хуже других повод,
 Каким ни гляди взглядом,—
 Ты станешь латать невод,
 А я посижу рядом...



Биянкурские праздники и другие рассказы.

1928—1940

Предисловие

Эти рассказы были написаны между 1928 и 1940 годами для эмигрантской либерально-демократической русской газеты «Последние новости», издававшейся в Париже под редакцией П. Н. Милюкова. Первый номер газеты вышел в 1920 году, последний — 13 июня 1940 года, накануне входа немецкой армии в Париж. Через три дня помещение редакции было разгромлено.

Я начала писать прозу в 1925 году и в течение двух лет искала почву, или основу, или фон, на котором могли бы жить и действовать мои герои. Старой России я не успела узнать, и писать о ней, даже если бы я ее знала, мне было неинтересно: в эмиграции и в ее центре, Париже, было достаточно «старых» писателей, которые могли увлечь воспоминаниями о царской России тех, которые жили в прошлом. Писать о Франции и французских «героях» (как делали некоторые из моих сверстников, начинающих прозаиков) мне не приходило на ум: я не идентифицировалась ни тогда, ни позже ни со страной, ни с ее языком. Можно было, конечно, начать писать «о себе», как делали по примеру Пруста многие молодые писатели Запада в это время, но я тогда ни говорить, ни писать о себе не умела, мне необходимо было найти, хотя бы в малой степени, установившуюся бытовую обстановку, людей, если не прочно, то хотя бы на некоторое время осевших в одном месте и создавших подобие быта вне зависимости от того, нравятся мне эта обстановка, ими созданная, и нравятся ли мне они сами.

В юго-западном углу Парижа есть пригород Биянкур (который обычно пишется — Бийанкур), который постепенно слился с Парижем. Он находится между Сеной и Булонским лесом, и в нем стоят огромные заводы — сталелитейные, автомобильные и другие, связанные с мощной французской тяжелой промышленностью. Автомобильный завод Рено после войны 1914—1918 гг. начал разрастаться, и т. к. рабочих рук не хватало (Франция в первую мировую войну потеряла около полутора миллионов людей), то Рено стал искать рабочие руки. Ему нужны были 1) мужчины, 2) люди здоровые и молодые, 3) люди, которые могли бы приехать на постоянное жительство, 4) и могли бы научиться работать, обзавелись бы семьями и слились бы с местным населением.

Таковыми людьми оказались русские «белые» из армии Деникина и Врангеля, белогвардейцы, «белогвардейская сволочь», как их называли в Советской России в то время. Они были эвакуированы в свое время, после разгрома на юге России, и сидели и ждали своей участи на Принцевых островах (Дарданеллы), в Бизерте (Африка), в Болгарии, Сербии и других странах. За белой армией потянулись в эмиграцию тысячи штатских людей, которые уже в личном порядке старались найти себе место в далеко не спокойной послевоенной Европе. Рено стал выписывать по контрактам рабочих из бывших офицеров, солдат и казаков Добровольческой армии. Примеру Рено последовали другие владельцы заводов, а также и само французское правительство, озабоченное аграрными проблемами и захваткой рабочих рук в деревне.

Я приехала в Париж на постоянное место жительства в 1925 году¹. Белогвардейцы меня совершенно не беспокоили. Я начала работать в газете Милюкова почти тотчас же (Милюков к армии Деникина и Врангеля отношения не

¹ Владислав Ходасевич, поэт и критик, и я выехали из Советской России (тогда еще не было СССР) весной 1922 года, и три года, с перерывами, прожили в доме А. М. Горького, в Саарове, Мариенбаде и Сорренто.

имел). Только в 1927 году я узнала, что «русские массы» можно увидеть по воскресеньям в русской церкви. Я пошла туда и удивилась количеству людей (полная церковь, толпа во дворе) — в огромном большинстве мужчин, в десять раз меньше, чем мужчин, — женщин и даже наличию совсем маленьких детей при полном отсутствии детей школьного возраста и подростков. Я узнала также, что есть церкви в пригородах (мы стали называть их «сорок сороков») и что есть пригороды, где не только церкви, но есть и лавки, и русские вывески, и русский детский сад, и воскресные школы; там соблюдаются русские праздники по старому стилю; там какие-то русские комитеты усиленно заботятся о стариках и инвалидах мировой войны. И что в Биянкуре 10 000 русских строят автомобили Рено.

Это была та основа, которую я искала.

Как я позже писала в своей автобиографии (1972 г.), после первых же рассказов моей серии «Биянкурские праздники» с меня в парикмахерской перестали брать на чай русские мастера, сапожник пытался набить мне подметки даром. В гастрономическом магазине хозяин угощал меня конфетами, а биянкурские дети постепенно стали узнавать меня и показывать на меня пальцем.

Я не знаю, понимали ли мои читатели иронию моих рассказов, сознавали ли, что «праздники» — не бог весть какие в этой их жизни, что между мной самой и моими «героями» лежит пропасть: образа жизни, происхождения, образования, выбранной профессии, не говоря уже о политических взглядах.

Прошло более 50 лет, как эти рассказы были написаны и напечатаны, и около тридцати лет, как я в последний раз перечитала их. Их историко-социологическое значение (как мне сейчас кажется) далеко превосходит их художественную ценность. О «русских массах» эмиграции почти ничего написано не было¹; о «трудовом классе», о «пролетариате» (непотомственном), о людях без языка, вырванных из родной почвы без надежды вернуться назад, растерявших близких, выкинутых в Европу после военного поражения, сейчас никто ничего не знает и не помнит. Как я писала в своей автобиографии:

«Гудит заводской гудок. Двадцать пять тысяч рабочих текут через широкие ворота на площадь. Каждый четвертый — чин белой армии. Люди семейные, налогоплательщики и читатели русских ежедневных газет, члены всевозможных русских военных организаций, хранящие полковые отличия, георгиевские кресты и медали, погоны и кортики на дне еще российских сундуков вместе с выцветшими фотографиями, главным образом групповыми. Про них известно, что они а) не зачинщики в стачках, б) редко обращаются в заводскую больницу, потому что у них здоровье железное, видимо, обретенное в результате тренировок в двух войнах, большой и гражданской, и в) исключительно смиренные, когда дело касается закона и полиции: преступность среди них минимальна, поножовщина — исключение, убийство из ревности — одно в десять лет, фальшивомонетчиков и соавратителей малолетних по статистике — не имеется».

Историко-социологическая ценность, пожалуй, не требует дальнейших комментариев. Но художественная сторона этих рассказов нуждается в некоторых пояснениях: ирония автора должна была проявиться в самом стиле его прозы, и потому между мною и действующими лицами появился рассказчик. Самые ранние из «Биянкурских праздников» не могут не напомнить читателю Зощенку (и в меньшей степени Бабеля и Гоголя), и не только потому, что я по молодости и неопытности училась у него, но и потому, что мой герой — провинциалы, полунинтеллигенты поколения, выросшего в десятых и двадцатых годах, говорили на языке героев Зощенки, потому что все эти рабочие завода Рено, шоферы такси и другие, читали Зощенку каждую неделю в эмигрантской прессе, перепечатававшей каждый новый рассказ его в парижских газетах в двадцатых и тридцатых годах на радость своим читателям.

Когда я говорю о «языке героев Зощенки», то это требует небольшого уточнения: язык был тот же на классовом уровне, на географическом, образовательном и бытовом, но эмигрантский язык этих лет имел одну характерную черту, которую язык Зощенки не имел: он впитывал в себя слова французские, переделывая их иногда на русский манер. Таким образом, язык героев «Биянкурских праздников» более пестрый, менее унифицированный язык и, если в него вслушаться, имеет следующие элементы:

1. Старомодная, устаревшая речь чеховских и предчеховских времен, с частым употреблением имени-отчества даже в том случае, когда люди бывали на «ты»; речь, обращенная к женщине, всегда как к чему-то драгоценному и редкому, прекрасному и хрупкому; особый, полувзрослый говор детей. Выражения «благодарствуйте» и даже «мерси». Язык, полный словечек, идиоматизмов и

¹ Я знаю книгу Д. Мейснера «Миражи и действительность», Москва, 1966, и книгу Л. Любимова «На чужбине», Москва, 1963—1964. Оба автора — русские эмигранты. Книга Мейснера издана в количестве 200 000 экземпляров, но Мейснер, при всей своей осведомленности, жил между двумя войнами не в Париже, а в Праге. В книге Любимова 412 страниц. Он в ней рассказывает свою жизнь. Половина ее посвящена дореволюционному периоду и выезду из России. Парижский период главным образом касается Франции и французских русских политиков, писателей и общественных деятелей в изгнании, и «русским массам» отдано не более 15—20 страниц.

провинциализмов, не язык Бунина, Рахманинова, Дягилева и Ремизова, но язык южной России, людей, прошедших, может быть, четыре класса гимназии, ускоренный выпуск военного училища.

2. Слова, подхваченные из советских газет или от случайных приезжих из Советской России, как «спец», «шамать», «баранка» (автомобиля), которые могли вращаться в язык на родине, но могли и не удержаться в нем.

3. Слова, обозначающие нечто новое, не бывшее до того, которые наспех были придуманы в редакциях русских газет при переводе с французского, понятия, еще, может быть, не найденные, как «одномоторник» (про аэроплан, который только после второй мировой войны стал называться эмигрантами самолетом).

4. И, наконец, — слова французского обихода, не переведенные на русский язык, вошедшие в речь, как «бистро» (небольшое кафе, где больше пьют, чем едят) или «комплё вестон» (пиджачная пара с жилеткой), еще десятки других. Ни одной из этих четырех категорий я не злоупотребляла: они попадают в тут и там в моих рассказах, но сознательно я их не культивировала¹.

Критика, а также литературные друзья не раз говорили мне, что я постепенно отойду от этого (частично заимствованного) сказа, и чем скорее, тем лучше. И они оказались правы. Уже году в 1931-м я параллельно с «Биянкурскими праздниками» начала писать рассказы собственным голосом, отказавшись от сказки, а в 1934-м окончательно освободилась от него. Но на этом и кончилась «Биянкурские праздники»: они без сказа существовать не могли. Начался другой период, может быть, менее социологически интересный, но, несомненно, художественно более зрелый, приведший меня к моим поздним рассказам сороковых и пятидесятих годов, в которых я уже полностью отвечаю и за иронию, и за основную позицию автора-рассказчика целиком. И где герои рассказов не люди, которых я наблюдаю внимательно и осторожно, но деклассированные интеллигенты, среди которых я жила и с которыми идентифицировалась.

Сейчас уже никого не осталось в мире из тех и других: средний возраст эмиграции был 40—50 лет в двадцатых и тридцатых годах, и могилы русских могут быть осмотрены на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, другом предместье Парижа, где «старым местом» называется аллея, где похоронены люди, умершие в сороковых и пятидесятих годах, а «новым» — необозримое пространство в правой стороне кладбища, где похоронены люди в шестидесятых и семидесятых. Те, кто еще жив в так называемых «старческих домах» (тоже эмигрантское языковое измышление), потеряли память или дар речи. Подпоручикам и мичманам царского времени восемьдесят и больше лет. И в церкви на улице Дарю можно по праздникам их видеть. Это опять история и социология, и мне, может быть, удалось закрепить часть ее для будущего, в ее трагикомическом, абсурдном и горьком аспекте.

Н. Б.

Аргентина

Милостивые государыни и милостивые государи, извиняюсь! Особенно государыни, оттого что не все в моем рассказе будет одинаково возвышенно и благопристойно. С Иваном Павловичем случился истинный конфуз. Он так и сказал мне, уезжая: «Со мною, друг мой Гриша, у вас в Париже конфуз произошел». Я на это ничего не ответил, только помялся немного: в его конфузе я слегка повинен был, — да помахал платком, как у нас здесь принято, когда поезд тронулся.

Иван Павлович прибыл из провинции в позапрошлую пятницу, оставив на руках у компаньона, К. П. Бирилева, моряка и кролиководца, свое кроличье хозяйство. Целый год писал он мне, что не может больше обходиться без женского пола русского происхождения и что решил во что бы то ни стало жениться. «Друг мой Гриша, — писал он, — поймешь ли ты меня? Ты молод, ты живешь, можно сказать, в столице всех искусств, к услугам твоим, по причине удачной внешности, прелестные дамы. А я, мало сказать, что несу на себе унылый груз сорокапятилетнего возраста и волосом редок, но еще и

¹ Два выражения, которые случайно были услышаны мной в парижском метро, я, впрочем, не использовала: шел бородатый бродяга и всматривался в лица встречающих. Наконец он увидел русское лицо.

— Где тут выход? Куда заворачивать-то? Выход на воздух где?

Парень остановился, подумал и ответил:

— Направо и еще направо заворачивайте, дедушка. Как увидите надписи «Сортир», тут и выход. Так он у них называется.

На скамейке метро сидела скромная парочка. Он еказал:

— Что это от вас так хорошо пахнет, Лидочка? Приятно рядом сидеть.

Она ответила, скромно потупившись:

— А это мой новый парфен.

погряз в разведении здешних кроликов вдали от развлечений. Хозяйство наше в запустении, дом нечист и неуютен, костюмы наши с Бирилевым Константином подчас не зачинены, просто срам. С борщом труднее нам, чем инану в поле... Найди мне, Гриша, русскую невесту, чтобы не гнушалась нашей деревенской тишиной, чтобы была хозяйлива и невзыскательна к мужской красоте. Помни, что Бирилев Константин моложе меня и фигурой тоньше. Пойми, родной мой Гриша, что я единственный твой двоюродный дядя и что других родственников у тебя на свете нет».

Подобные письма приходили не реже одного раза в месяц и всякий раз щипали меня за сердце довольно сильно. Картины сельской жизни неутешительно рисовались передо мной. Но что было делать? Иван Павлович заблуждался во многих пунктах на мой счастливый счет: живу я не в мировом центре, а рядом, в Биянкуре; с утра до ночи гублю жизнь на заводе; знакомых барышень у меня немного, а какие есть, все метят на красивые должности (вроде как подавать в «Альпийской розе»), и предлагать им ехать за три часа от Парижа варить борщ, хотя бы и по любви,—самому позориться. А насчет починки костюмов как-то даже неловко их спрашивать.

И, однако, месяца три назад, в дождливый майский вечер, когда на душе стало вдруг грустно и одиноко и захотелось дружеских взоров, отправился я к мадам Клаве в отель «Каприз» и во всем ей признался.

Мадам Клава полотенцем прикрыла голый манекен на ножке, попросила у меня папироску и задумалась.

— Может быть,—сказала она, склонив головку,—дядя ваш удовлетворился бы наемной работницей? Этим куда легче помочь. У меня, например, есть один знакомый, он сейчас без места, я могу его рекомендовать, потому что уж если кого нанимать, то, конечно, мужчину.

Тут скоро и кончился наш неудачный разговор. На прощание я поцеловал Клаву ручку.

Но вот однажды встречает меня мадам Клава в бакалейной лавочке, берет за рукав и просит вести себя в «Кабаре» для неотложной и секретной беседы.

Новость, сообщенная мне Клавой, была роковой для Ивана Павловича: из Эстонии прибыла в Париж партия семейных рабочих, стараниями наших комитетов отсылаемая не то на юг Франции, на сельскохозяйственные работы, не то в Канаду. Партию эту расселили пока что у одной из городских застав. В числе прибывших находился Клавочкин знакомый, некто Селиндрин, а при нем, кроме законной жены и троих детей, еще и сестра, девица девятнадцати лет, по имени Антонина Николаевна Селиндрина.

Вечером того же дня я написал письмо Ивану Павловичу, требуя его приезда. Я сообщил ему имя и возраст девицы, и кратчайший способ добраться ко мне с вокзала, а когда в прошлую пятницу я вернулся с завода домой, Иван Павлович, сидя у окна, уже поджидал меня в моей комнатенке. Он тут же сообщил, что уже видел верхушку Эйфелевой башни, когда проезжали по мосту. За два года нашей горькой разлуки он посмуглел и поздоровел, а глаза его так и горели. Он, между прочим, привез с собой в узелке яиц и замечательный кроличий паштет. Веселью нашему в тот вечер конца не было.

Наутро, проснувшись в постели рядом с Иваном Павловичем, я, каюсь, начал его разглядывать с точки зрения Антонины Ивановны Селиндринной, и, должен признаться, он мне очень понравился. Борода его была черна и, можно сказать, размеров великолепных; большой нос, несколько неправильной, но могучей формы, выдавал силу характера пополам с большой сердечной нежностью. Зубы Ивана Павловича (рот его был слегка раскрыт) были крепки и желты и придавали мужественное выражение спящему лицу. Одним словом, я легкомысленно представлял себе Ивана Павловича с цветком в петличке на ступеньках биянкурской мерии об руку с Антониной Селиндринной... Заводской гудок выгнал меня из дому.

Решено было ехать знакомиться с Антониной Николаевной в воскресенье днем. Не буду распространяться о субботнем вечере: Иван Павлович говорил мало, мало ел, зато дышал часто и глубоко, особенно в парикмахерской у Бориса Гавриловича, куда мы оба отправились, пошамав, и где протомили нас до девятого часа (обыкновенная субботняя история!). Зато и благоухали же мы потом на всю нашу рю Насьональ, как заправские женихи!

В воскресенье утром Иван Павлович побывал у обедни. В половине второго дня по ровной июльской погоде вышли мы из дому в приподнятом духе и отправились в город. Трамваем нам предстояло ехать не менее получаса до заставы, где стояла с прошлой недели эстонская партия переселенцев. Тут Иван Павлович начал со мной разговор, который, видимо, с самого приезда лежал у него на сердце.

— Гриша,— сказал он мне,— как ты думаешь, могу я составить счастье женщины?

Я не задумываясь отвечал, что да.

— Гриша,— продолжал он,— скажи мне как перед богом: нет ли чего-нибудь отталкивающего в моей наружности? Или подозрительного в судьбе? Или юмористического в поведении?

Видя, что он ужасно волнуется и опасается предстоящего счастья, я от всей души начал его утешать.

— Иван Павлович,— сказал я как можно тверже,— вы превосходный человек, насколько я вас знаю, и если только вам понравится мадмуазель Селиндрина, то, конечно, вы ее осчастливите, соединясь с нею. Подумайте сами: вы устроены, вы в некотором роде помещик, дела ваши процветают. Вы берете себе в жены девицу неимущую, сироту, лишнюю в семействе, девицу, которую, по всей вероятности, эксплуатируют и брат ее, и невестка, как меня, например, эксплуатирует мосью Рено. Вы женитесь на ней, она обретает в жизни защитника и становится хозяйкой ваших владений. Что предстоит ей без вас? Русские переселенцы эстонской страны, тяжелый труд где-нибудь в Австралии или Канаде. Да вы, может быть, будущий оплот всей ее жизни, если только она придется вам по вкусу.

— По вкусу! — вскричал Иван Павлович с горькой усмешкой.— Ты, Гриша, счастливый человек, если не знаешь, что значит жить без женщины, без жены, когда никто вокруг тебя не щебечет, когда в доме пусто и сиротливо. Когда некому душу открыть.

Я подумал о мадам Клаве и смолчал.

Мы благополучно сошли с трамвая и зашагали к Порт д-Итали.

Иван Павлович не шел, а летел, и я летел вслед за ним. Шляпа на нем сидела как нельзя лучше; синий костюм, бледного тона галстук с жучком в виде булавки и коричневые, совершенно новые башмаки — все было первого сорта. Однако, несмотря на этот шик, даже издали нельзя было принять Ивана Павловича за какого-нибудь беспринципного франта или развязного модника, нет: и фигура, и лицо его выражали глубокую задумчивость, сосредоточенность мысли на одном предмете. У самой заставы указали нам на длинный деревянный барак. Мы вошли во двор.

Нечего и говорить, что убогость, и бедность, и непонимание французского языка нашли мы тут в огромных размерах. Детский крик стоял в воздухе, не говоря уже о запахах; по-видимому, жизнь в бараках ничем не отличается от жизни в теплушках революционного времени — грязь и теснота те же; мужчины расквартированы отдельно от женщин. На женской половине стирали, стряпали, шлепали орущих детей... Словом, было чему подивиться.

Первая, кого мы увидели, была высокая черноволосая девушка в черных чулках и ботинках на шнурках, в черном платке. Мы спросили ее, нельзя ли отыскать для нас Антонину Николаевну Селиндрину.

— Это я,— сказала она и поклонилась.

«Ах,— подумал я,— четыре сбоку ваших нет! Вот приятная неожиданность».

Иван Павлович приподнял шляпу.

— Позвольте представиться,— сказал он не без важности,— Кудрин, Иван Павлов. А это друг и племянник мой Гриша.

Антонина Николаевна поклонилась еще раз. Она была причесана на прямой пробор, темные брови дугами так и расходились по лбу, а под ними немного испуганно, но приятно смотрели глаза. Она не улыбнулась.

— Вы, вероятно, предупреждены о нашем визите? — спросил я, намекая на мадам Клаву.— Не пойти ли нам в ближайшее «Кабаре», не выпить ли чаю немножко?

— Нет,— сказала она и покачала при этом головой,— мне отлучиться никак нельзя: дети слегка больны, меня могут позвать.

И остались мы втроем посреди того неприличного двора разговаривать.

— Я слышал, Антонина Николаевна,— сказал Иван Павлович доволь- 50

бойко,— вы намерены с семьей отправиться в Канаду? Неужели вас не пугает столь далекое путешествие? Правда, теперь некоторые смельчаки в сутки океан перелетают, но кораблем туда дней восемь езды, я полагаю?

Она печально посмотрела на Ивана Павловича.

— Нет, я не боюсь,— сказала она,— восемь так восемь.

— Не грустно вам было покинуть родные края?

Искорка промелькнула в ее глазах.

— Нет, мне было безразлично.

— Вас, вероятно, манит отчасти неизведанная даль?

— Как вы говорите?

— Я говорю: чужие края тоже могут вам прийтись по вкусу. На Эстонии, говорю, свет клином не сошелся.

— Да, конечно.

— Вот только работать вам там придется не по силам, знаем мы, что такое Америка, там, говорят, всюду отчаянная фордизация.

— Работы я не боюсь.

— Ну конечно, особенно если вы с семьей едете, сообща, значит, работа будет.

Она вдруг покраснела, губы ее дрогнули. Я дернул Ивана Павловича за рукав.

— А как вам Франция нравится? Париж, например? Или (что там Париж!) французская провинция?

— Я не видела Парижа,— сказала она с усилием,— у меня не было времени осмотреть достопримечательности. Дети слегка больны. Когда я была в прогимназии...

Она запахнула платок на груди и умолкла.

— Антонина Николаевна,— сказал вдруг Иван Павлович,— вам кто-нибудь что-нибудь говорил обо мне?

— Говорила Клавдия Сергеевна,— сказал Антонина Николаевна с облегчением,— говорила, что вы ищете...

— Помощницу! — вскричал Иван Павлович радостно.— У меня, видите ли, маленькое хозяйство, то есть у нас с Бирилевым Константином: кролики, глупые такие животные, скажу я вам, но плодятся, плодятся... И трудно, знаете ли, одним, трудно в хозяйстве, и уныло, простите меня, на душе. А работа у нас не тяжелая, еда сытная. И доходы все наши на три части делить будем.

«За ваше здоровье!» — подумал я и отошел в сторонку.

Антонина Николаевна стояла молча, и брови ее слегка сдвинулись.

— Мне сорок пять годов,— продолжал Иван Павлович уже более степенно,— всего два года, как мы затеяли дело, но идет оно недурно, можете справки навести, дело идет превосходно. Характером я незлой, ей-богу, хоть Гришу спросите. Да что говорить, вы еще успеете меня узнать, а я вас уже и сейчас знаю: как увидел, так и узнал. Прошу вас, Антонина Николаевна, будьте моей женой.

Может быть, честный человек не стал бы смотреть на нее в эту минуту. Я смотрел. Я видел ее длинную черную юбку над вполне еще приличными башмаками, ее плечи, обтянутые старым платком. Рукава кофточки были ей коротки, узкие руки с пальцами в черных трещинках вылезали из них и прятались под платком.

Он выпалил это с поразительным прямотушием и двинулся к Антонине Николаевне. Она заметно побледнела.

— Благодарю вас,— прошептала она так тихо, что я едва расслышал.— Но я не могу быть вашей женой.

Иван Павлович остановился как вкопанный.

— Что так? Неужели противен? — спросил он испуганно.

Антонина Николаевна мотнула головой. Слезы блеснули у нее под загнутыми кверху и книзу ресницами.

— Произошло недоразумение,— прошептала она,— я думала, вы пришли нанимать меня в работницы.

Иван Павлович не двигался. Она вдруг опустила голову, взглянула на пыльный, мощный камнем двор.

— Оскорбление это, если не объясните,— произнес Иван Павлович неуверенно.— Как честный человек и солдат, прошу вас... Гриша, отойди, дружок, подале.

Она побледнела, глаза ее заматались, губы она сжала.

— Оскорблять вас не могу. Простите меня. Меня опоили, обманули... я на третьем месяце.

Прошла длинная минута молчания.

— Произошло недоразумение, — повторила Антонина Николаевна, — и я прошу вас ничего не говорить Клавдии Сергеевне. Об этом никто не знает, кроме моей невестки и брата. Я думала, вы пришли нанимать меня в работницы.

Я не видел его лица, он стоял спиной ко мне, но я удивился, что он все стоит. Зато Антонина Николаевна менялась в лице и теребила платок на груди.

Наконец Иван Павлович дрогнул весь, опомнился.

— Вот как, — произнес он медленно. — Недоразумение. Нет, работницы мне не надо. Извиняюсь за беспокойство.

Он повернулся и пошел к воротам, и я отправился за ним. С улицы я не удержался и оглянулся: Селиндрина стояла и смотрела нам вслед.

— Опоили, обманули, — повторил Иван Павлович про себя. — Брат-то что смотрел? А не осталась в Эстонии — значит податься было некуда. Гриша, вот случай-то, а? Вот стыд-то!

Я не смел взглянуть на него.

— Это я во всем виноват, Иван Павлович, легкомыслие дурацкое сгубило. Вызвал вас в Париж, заставил потратиться, как идиот, водил к парикмахеру вчера. Уж я мадам Клаве этого так не оставлю.

Озлился я в ту минуту сверх всякой меры.

— Молчи, Гриша, — говорил Иван Павлович, — я ей слово дал не рассказывать, и ты не смей. Ведь это ей позор. А ты представляешь, что она дома от невестки терпит?

И он вдруг сильнеешим образом покраснел.

Бес так и ходил во мне, и я не знал, каким мне средством успокоиться. Совестно мне было перед Иваном Павловичем, стыдно было взглянуть ему в глаза. Все старые Клавдины обиды припомнились мне тут же, в трамвае. Антонина тоже давила на воображение. Приехав домой, Иван Павлович в одном нижнем белье сел к окну.

— Завтра уеду от тебя, Гриша, — сказал он. — Нечего больше мне у вас тут делать. Свалял дурака, пора возвращаться. А кто бы это мог ее таким образом загубить? Может быть, этой самой прогимназии учитель или просто так, какая-нибудь сволочь фабричная с гармоникой?

От этих слов слезы восхищения чуть не прыгнули у меня из глаз: хоть бы он обругал меня, хоть бы обложил в сердцах! — мечталось мне. Хоть бы Антонину на должное место поставил.

— Бог с ней, Иван Павлович. Охота вам обо всякой распутной размышлять, только время теряете.

Он опять покраснел, весь насторожился.

— Ты что, в уме? Она-то распутная? Ты, брат, ничего в женщинах не понимаешь.

Без аппетита пообедал я в тот день, вернулся не поздно, Иван Павлович уже спал. Утром рано попрощались мы с ним, но, когда я вечером вернулся, он был еще здесь, он сидел на моем стуле, он никуда в тот день не уехал.

— Прости меня, Гриша, — сказал он со смущением, — покину я тебя завтра. Сегодня еще придется тебе потесниться.

Я тогда увидел в нем не подобающую солидному человеку перемену: мысли его оказались в полном разброде. За обедом на этот раз потребовал он к казацким биткам водочки. А ночью несколько раз вставал (он спал с краю) и разговаривал сам с собой.

Утром во вторник мы опять простились. На прощание он сказал:

— А что, Гриша, по американским законам плохо ей придется, с ребенком-то?

Американских законов я не знаю, да он, как видно, и не ждал от меня ответа.

— Нет, ты мне вот что скажи: невестка-то пилит ее с утра до вечера? Ведь пилит?

— Даже наверное.

И опять он не уехал. Да что говорить! Сидел он в гостях у меня до самого четверга, когда вдруг пришла открытка от К. П. Бирилева с настойчивой просьбой вернуться.

Когда в четверг вечером пришел я домой (по дороге я встретил, но сделал вид, что не узнал Клавку, хотя в чем была ее вина? Ведь она, по словам той, ничего не знала), когда я вошел к себе и увидел Ивана Павловича в си-нем костюме с жучком, я догадался, что он принял решение. От городской атмосферы в моей комнате и недостатка здоровых движений он за эту неде-лю отчасти потерял яркие краски сельского жителя. Но сейчас энергия так и ходила в его глазах, и я вспомнил его желтые зубы, виденные однажды,— признак большой мужественности.

— Гриша, вези меня,— сказал он мне просто.— Один я дорогу не найду. Пусть родит, я ребенка усыновлю, кроликов ему после себя оставлю. Не могу я этого дела бросить, все дни томился и душой, и телом. Пусть переезжает ко мне, пусть пока живет, а там посмотрим. Очень у нее глаза оказались за-мечательными. А плечи худые какие, заметил ты? А платице помнишь? Теперь, верно, таких платьев никто уж и не носит, пожалуй.

«Помню и глаза, и плечи, и платице,— подумал я в ту минуту,— а все-таки никак этого не ожидал».

Но Иван Павлович не дал мне опомниться. Он в радости своей затормо-шил меня так, что я, не переодевшись и не помывшись, оказался через пять минут на пути к Парижу. Он шел рядом в счастливой задумчивости, а я... Бог весть чего только не передумал я в те минуты! Мысли так и летели мне навстречу, как голуби, душа парила в небе. Чуть смеркалось. Туман жар-кого дня стоял над домами. Шли мы с Иваном Павловичем на край света, и я от удивления и восторга то и дело взглядывал на него.

В таких настроениях мы и в трамвае ехали, больше молча, так что люди могли подумать: каждый из нас едет в отдельности, и даже по разнице в ко-стюмах наших вовсе никак не могли нас вместе связать. И это тоже весели-ло меня.

И вот подходим мы к заставе, видим барак. Вечер. Пыль. Пиво везут. На заборах афиши за это время сменили, новую драму расклеили. Подходим к бараку, входим во двор. Тихо. Окна и двери заперты. Берет Ивана Пав-ловича страхок.

— Пойдем-ка, Гриша,— говорит,— в ближайшее бистро, спросим-ка би-строшника, что здесь за перемены произошли в наше отсутствие.

Пошли в бистро. Уехали, говорят, нам муж-жена бистрошники, третьего дня увезли их всех в Аргентину, на плантации.

(Заботами, значит, наших комитетов.)

Спрашиваем: может быть, не все уехали, не, так сказать, все без исклю-чения? Может быть, хоть кто-нибудь остался, предчувствуя, что не будет ему в Аргентине счастья?

Отвечают: нет, никто ничего не предчувствовал, ничего об этом не слы-хали.

— Гриша, да что же это? Да как же это понять? — воскликнул Иван Пав-лович. Но воскликнул он это уже в пятницу, на следующий день. Тогда же, в четверг, он ничего не сказал ни мне, ни бистрошникам: вышел на улицу, опять, видит, пиво везут...

Это не в Аргентине ли все танец танго танцуют?

1929

Фотожених ¹

Герасим Гаврилович, брат всем известного Бориса Гавриловича, отец се-мейства, пехотинец и маневр, сидел на скамье посреди площади и крутил пальцами. Домой идти не хотелось — там у него тесно и обед на лишнюю персону не рассчитан. В ресторанчике у нас для него тоже тесновато, а глав-ное, денег стоит. Вот и сидел брат нашего Бориса Гавриловича и, так ска-зать, бил баклуши.

Вечерело. Гуляли парочки. Не надо думать, что кавалер с барышней, этого у нас за отсутствием барышень не бывает. Просто гуляли маневры, и всё почему-то высокий с маленьким, обмахивались они от жары кто чем, папиросы курили, заходили в «Кабаре» и вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они.

¹ Фотогеничный — выразительный, обладающий свойствами, благоприятными для воспроизведения на фотографии или киноэкране (Ушаков). По-французски — фотоженик.

А больше, по правде сказать, проходили в свою улицу обедать.

Сидит Герасим Гаврилович, крутит пальцами. В бакалейном магазине фонарь зажигается, пахнет оттуда соленым огурцом, леденцом и рыбкой. А на углу квасом торгуют, на другом — нищий фотограф околачивается. Словом, картина обычная.

И видит вдруг Герасим Гаврилович вечернюю французскую газету под скамейкой, и поднимает ее, и, пока еще светло читать, пропускает он китайские события и прения депутатов, а также интересные лаун-теннисные состязания и прямо переходит к объявлениям. Надо заметить, что Герасим Гаврилович за семь лет французской жизни наловчился читать объявления различных предложений труда и даже полюбил это чтение. Часто ему их читать приходилось, но все почему-то с незаметными для простого глаза результатами.

Безо всякой спешки, без всякого видимого волнения протыкает Герасим Гаврилович указательным пальцем газету, выдирает из нее лоскуток и сует в карман. И затем как ни в чем не бывало и даже несколько кисло переходит к прениям депутатов, покуда друзья-приятели, плотно покушав, не выходят из ресторанчиков и не наступает августовская ночь.

Много где видели фигуру Герасима Гавриловича: служил он на греческом пароходе, работал в шахте в Бельгии и на заводе в Крезе. Почему и как попал он к нам, мы не знали. Уважаемый брат его одно время хотел учить его своему искусству, но ничего не вышло: парикмахерского таланта у Герасима Гавриловича не оказалось. А жена его день-деньской с детьми мучилась.

— Неужели же ты, такой-сякой барон Распролентьев,— говорила она ему сердито,— никуда приткнуться не можешь? Неужели так-таки бог тебе никакого таланта не дал? И ты жизнь прожить собираешься безо всякой профессии?

— Почву из-под меня вынули,— говорил тогда Герасим Гаврилович,— ни пространства ваши, ни времена, ни климаты мне не подходят.

А Борис Гаврилович, энергичный брат его, произносил любимую свою речь о том, что каждому человеку необходимо познать себя. Ты, говорил он, распознай, куда тебя гнет, об этом еще древние греки напоминали, расчухай наперед, в чем твои способности: в шахте ли работать, или парикмахерскому искусству служить. А то в наше время пропадешь без специальности. Знаем мы этих, которым все позволено!

С объявлением в кармане вышел Герасим Гаврилович назавтра рано поутру из дому и направился в контору анонимного кинематографического общества. Анонимность этого общества немного смущала его, но он решил махнуть на это рукой.

Контора помещалась в просторном павильоне; за дощатой перегородкой было шумно, шла работа, слышалась трескотня, чей-то голос кричал грубо, никого не стесняясь. Здесь же за столом сидел человек злорадной внешности, а перед ним молча и тоскливо толклись, как барашки, пришедшие наниматься в фигуранты — фигурировать толпой или по несколько человек — в новой кинематографической драме.

Барышни тут были модные, совсем безбровые (была одна густобровая, но та, как выяснилось, мечтала о комической роли). Безбровые барышни щеголяли браслетками, сережками, цветными пахучими карандашиками. Было два разбойника и один генерал, все трое в потертых пиджаках и держались вместе. Была золотая молодежь с нахальными галстучками; пока что молодежь перемигивалась с барышнями. Начальник конторы обращался со всей этой отарой по-свойски: чуть голову поднимет и уже видит — годен ты или нет. Подошел к столу и Герасим Гаврилович.

— Фрак имеете? — спрашивает начальник. — В футбол играете? Менует танцуете?

Герасим Гаврилович поворачивается уходить.

— Стойте,— кричит начальник. — Вы пригодиться можете! Мосью (имярек) вас посмотреть должен.

Боже мой, с какой завистью посмотрели на Герасима Гавриловича безбровые барышни! Их всех тут же выпроводили, да и золотую молодежь вместе с ними. Оставили из всей компании одного разбойника, так что вдвоем

с разбойником и просидел Герасим Гаврилович часа полтора в ожидании важных решений.

Мосью (имярек) в тысячной фуфайке, потный, худенький, красивый, прибежал, курая сразу две папиросы (чтобы крепче было) и играя складным аршином. Он не обратил на Герасима Гавриловича никакого внимания, пока не отыскал в ящике конторского стола большое яблоко и пока тут же его не съел. Затем он кинулся в кресло (из которого по этому случаю столбом встала пыль) и велел Герасиму Гавриловичу и разбойнику погулять перед ним так, как если бы они гуляли по мосту и любовались на реку. Не спросив ни про фрак, ни про менюэт, он повел обоих за перегородку.

Под высокой крышей павильона громоздился завидной величины испанский город. Несколькo испанских кавалеров, позевывая, освежались бутербродами. Испанский ребенок весь в краске жался к матери, уж никак не испанке. Это был перерыв. Две лестницы вели под потолок. Там, расставив ноги, кто-то качался, должно быть, заведующий освещением, а может быть, и акробат. Два маляра, высокий и маленький, не спеша прогуливались. Курить здесь не полагалось.

— Герасим Гаврилович, вы ли это? — воскликнул один маляр. — Голубчик, не узнаете? Я вас на пароходе знал, я вас в Крезо... Конотешенку забыли?

Герасим Гаврилович пошел обниматься.

— Вы что, работу ищете? Маляром? Плотником?

Герасим Гаврилович застыдился.

— Актером по объявлению. Жду начальства для решительного ответа. Конотешенко, маляр, ужасно обрадовался.

— Да вас, верно, пробовать будут, чтобы узнать, фотожених вы или не фотожених. Вот вам счастье, Герасим Гаврилович: другие сюда неделями шляются, пока не поставят их стенку подпирать за двадцать два франка в сутки, а вам, видно, рольку хотя бы дать. Вот и у вас будет наконец специальность. А правда, внешность ваша сильно подходящая, как вы раньше не догадались?

Тут необходимо заметить, что внешность Герасима Гавриловича совсем не та, что у Бориса Гавриловича: как всем известно, рост Бориса Гавриловича небольшой, Герасим же ростом очень длинен. Волосы Борис Гаврилович профессионально мажет вазелином, у Герасима они стоят клочьями над ушами; и носы у них тоже разные — у одного он сделан из хлебной корки, а у другого из свежего мякиша.

Присел Герасим Гаврилович в павильоне на лавочку, заслушавшись Конотешенку. Неужели правда жизненный путь привел его к настоящей деятельности? Четыре сбоку, ваших нет! Неужели он открыл самого себя, как указывали греки? Неужели и время, и пространство, и климат подойдут ему наконец?

Еще часа полтора прождал Герасим Гаврилович бок о бок с разбойником. Испанские кавалеры пошли на биллиарде играть. Ребеночка увели. Что за перегородками делалось, было неизвестно. Скука собралась было погубить Герасима Гавриловича, как вдруг велели ему и разбойнику вставать.

От помады и краски на лице стало его слегка подташничать. Навели ему брови, скрестили над носом. Идите к аппаратам, говорят, будет вам первая проба.

— Не смотрите, — кричат, — в аппарат! Не смотрите, — кричат, — в лампы!

Четыре сбоку, куда же смотреть? В фонарь — ослепнешь, в аппарат — чего доброго, скажут: не фотожених.

— Смотрите в подставку, выберите себе какой-нибудь безобидный гвоздик и сверлите его!

(Выбрать-то выберешь, а ну как его возьмут отсюда да и унесут с подставкой вместе?)

Пошло! Колесики вертятся, свет шипит, заведующий освещением тут как тут, начальник в тысячной фуфайке покрикивает:

— Туды! Сюды! Комса! Еще! Анфас! Пошли!

Тьфу ты, черт! Конотешенко из глаз скрылся.

А рядом с Герасимом Гавриловичем, чтобы расходов меньше, разбойник тоже вертит-крутит бровастой рожой и к команде прислушивается.

За ответом велели явиться через три дня, заботу о снятии вазелина с лица от себя отклонили. Вернулся Герасим Гаврилович домой в три часа пополудни. На улицах никого, завод гудит. В «Кабаре» пусто. У Бориса Гавриловича в парикмахерской послеобеденный отдых: дама завивается.

И думал Герасим Гаврилович о том, что, если выпадет ему такая звезда на шею, что окажется он фотожених, вся его жизнь пойдет по-новому. Денег будет хватать. Будет он сниматься — знакомым карточки дарить. Жена начнет кое-чему в жизни радоваться. Борису Гавриловичу утрет он нос, своему знаменитому братцу. Настанет день, и съест он вдруг что-нибудь вкусное или штаны новые купит... Не каждому в жизни счастье, не каждый — фотожених. Вот Конотешенко, уж какие, кажется, знакомства в анонимном обществе, а и тот не артист. Если выпадет Герасиму Гавриловичу такой счастливый орден, значит определится в этом мире его судьба, нелегкая судьба пехотинца и маневра.

Долго ходил-бродил он в тот день по улицам. На завод раздумал возвращаться: странно как-то актеру на завод идти. Домой он вернулся под вечер. На дворе китайцы друг друга водой поливали, у богатых жильцов граммофон наяривал модный танец, и собственные его, Герасима Гавриловича, дети на всю лестницу шумели.

Умылся Герасим Гаврилович, испачкал полотенце. Жена пригорюнившись сидела у кухонного стола.

— Мне бы с тобой окончательно поговорить надо, — сказала она ему как-то даже ласково. — Не найдется ли у тебя свободных полчаса? И можешь ли ты еще логически мыслить?

Он заулыбался, попросил обождать три дня и снова вышел из дому.

Это был тот самый час, когда над бакалейным магазином фонарь зажигается, когда вкусно пахнет биточками из открытых дверей рестораничков, когда, наконец, и неугомонный Борис Гаврилович запирает свои двери, запирает ставни, но работу не прекращает: с заднего хода он принимает известных ему клиентов. А с улицы легонько попахивает скрытой парфюмерией, виден в щелку розовый свет, да, если приложить к ставням ухо, слышно цык-цык-цык, как цыкают легкие длинные ножницы.

Стоял Герасим Гаврилович и слушал это цыканье, и хватало оно его за душу, словно трубная музыка. На улице было темно, пусто и безрадостно. Он думал о себе, о жизни своей, вредной и безалаберной, о тяжелом времени, чужом климате и о законе географического пространства, по милости которого лишился он, собственно, своей законной почвы. А ножницы тихонько цыкали за ставнями, и продолжало пахнуть вокруг пылью и парфюмерией.

Три дня прошли. Герасим Гаврилович то лежал на кровати, то шлялся по улицам. Денег признали в счет будущего. Жена плакать перестала. Трое маленьких детей в школу собрались идти — самый возраст им делаться грамотными людьми.

Наступил Герасиму Гавриловичу срок возвращаться в анонимное общество.

Все по-прежнему под высокой крышей, только душнее немножко. Разбойник уже дожидается своей участи, сидит. Присел и Герасим Гаврилович. И видит: непонятные какие-то аппараты стоят, и люди ходят, озабоченные и тоже непонятные, а лампочки горят всё какие-то скучные. Конотешенки не видать. И стал он размышлять о своем близком будущем: что за роли придется играть, может быть, какие-нибудь совсем маленькие? Может быть, придется личности изображать какие-нибудь неуважительные? Может, ему начнут замечания делать, грубо ругать? Или испортит он ненароком своей физиономией пластинку и потащат его в суд убытки платить?

Как-то тоскливо становилось у него на душе в ожидании часа. Рядом разбойник сжимал кулаки и губу закусывал, разбойнику не сиделось. Томился Герасим Гаврилович, даже спать неожиданно захотелось.

Через сколько-то времени вышло начальство.

— Вы, — говорит разбойнику, — можете идти на все четыре стороны: в вас мы не нуждаемся. А вы, — Герасиму Гавриловичу, — действительно фотожених. Ничего против этого не возражаем.

Кровью налились глаза разбойника и пошел он прочь. А Герасим Гаврилович остался стоять посреди павильона. Вышел кое-кто на него посмотреть, тысячная фуфайка в глазах замелькала.

— Идите,— говорят,— гримироваться, через полчаса съемка, покажем вам, что делать.

Стали Герасима Гавриловича красить, брови скрещивать. Не пристаёт к нему нынче уголь, намучился гримировщик. Пришел Конотешенко, робко со стороны на друга посматривает.

— Выпал вам жребий,— шепчет он,— Герасим Гаврилович, старайтесь! Вас потом в Испанию повезут, за сто франков в сутки, на всем готовом. О вашей необыкновенной внешности разговор вчера у начальства был.

Надели на Герасима Гавриловича лохмотья, вывели. Стало ему не по себе. Зачем, думает, тогда о фраке спрашивать было?

И вот выходит из невидимых дверей испаночка, роняет кошелек. Кошелек бисерный, вязаный, черт его знает, что в нем! Стоит Герасим Гаврилович, как пень, двинуться не может. А ему надо этот кошелек поднять, и на груди спрятать, и осторожно ступешаться как ни в чем не бывало.

— Подымите,— кричат ему,— раз вы фотожених! Дело за малым, главное вам бог послал (или что-то в этом роде).

Стоит Герасим Гаврилович, смотрит на кошелек. Берет его сомнение, робость охватывает. И то, что у всех на виду пройтись надо, и то, что кошелек чужой,— все его смущает.

Фуфайка ему повторяет:

— Вам сегодня выходит чужой кошелек поднять. Оброненный кошелек, с золотом. И предстоит вам его себе на грудь сунуть. У вас подходящее для этого выражение лица.

Смеется испаночка, и люди смеются, но кое-кто сердиться начинает.

Решился Герасим Гаврилович. Поднял кошелек и пошел отдавать его фуфайке. И видит: стоит сбоку Конотешенко, и стыдно Конотешенке.

— Вам,— говорит,— жребий выпал.

Объяснили в третий раз, отмерили шаги. Опять пошла испаночка кошелек ронять.

Бросился Герасим Гаврилович за ней, схватил кошелек с полу и ей в руку сует. Аппаратчики даже выругались французским словом, на свое терпение перестали надеяться.

Не бывать Герасиму Гавриловичу артистом.

— Разгримируйте,— говорят,— этого фотожениха. Ну его к лешему!

Испаночка на него смотрит с сочувствием:

— Может быть, ему попробовать гранда сыграть? Он мне нравится.

До гранда ли тут! Пошел Герасим Гаврилович снимать с себя испанские лохмотья, стирать с бровей сажу. Вздумал было перед уходом Конотешенку поискать, да тот скрылся куда-то.

Никто ему вслед не посмотрел, никто на него не оглянулся. Так и отправился он, не попав в ногу с веком, от тех мест домой. Хладнокровно пошел он, вечернюю французскую газету купил по дороге — опять объявления читать. Припомнились ему кое-какие прежние победы на житейском фронте, да уж очень давнишние, о них распространяться не стоит.

В тот день ближе к ночи я его встретил.

— Что, Герасим Гаврилович, как дела? Как с мосью Рено личные ваши отношения?

— Прерваны отношения.

— Как здоровье вообще и в частности?

— Глаза болят третий день, режет мне глаза дневное освещение.

— Что так?

Тут он мне все и рассказал.

— Как,— говорит,— Гриша, слышал ты нечто подобное? Или, может, в газетах читал?

Я подумал с минуту. Говорю:

— И не слышал, и не читал. В газетах теперь все больше, наоборот, про выдающиеся подбородки пишут, про то, как люди жизнь достигают. А про вас, боюсь, никто, пожалуй, и читать не станет.

И никакой жалости не почувствовал я в тот момент. Жалость мы вместе с багажом тогда в Севастополе оставили.

О закорючках

Мадам Клава сказала мне:

— Что это вы, Гришенька, все о каких-то своих знакомых пишете, о людях довольно обыкновенных и, прямо сказать, скучных? Одному не удалось кинематографическую карьеру сделать, другой невесту проворонил, уж не помню, что третий сделал, все какие-то бесцветные личности, право! Что бы вам написать два с половиной слова о человеке — царе природы, об американской складке какой-нибудь, да так, чтобы сердце забилось и захотелось бы все бросить и к нему бежать, ловить с ним миг безумного счастья, переселиться к такому человеку в номер и сотворить с ним дивную сказку.

— Американской складки нету, — отвечал я, — американской складке откуда быть? Но есть господин один, мужчина, не мальчик, который близко был от того, чтобы такой складкой сделаться. Прямо был около того, как я около вас близко.

— Ну и что ж? Коли не вышло у него, присочините ему конец, чтобы было заманчивее.

— Ошельмуют. Все догадались давно, что никаких американских складок на моем горизонте не имеется.

Она задумалась.

— Ну ладно, напишите тогда все, как было, а мы уж посмотрим. Напишите всю правду, и имя, и отчество, и фамилию проставьте настоящие.

Хорошо. Пришел я к себе домой, сел за стол и написал рассказ про Александра Евграфовича Барабанова. Есть такой человек, одно время нам его часто видеть приходилось.

Начал я свой рассказ с описания погоды, многие наши писатели погодой не брезгают, собственно, некоторые только этим и прославились. То есть писатели наши, правда, больше обращают внимание на природу, да ведь зато и материальное положение их как-то лучше нашего. А у кого материальное положение неважнец, тому где природу смотреть прикажете? Погода, та как-то ближе и заметнее, погода, она до самых косточек иной раз тебя проймет, до самой душеньки прошьет, особенно если дождик.

«Стояла осенняя, дождливая, холодная, ветреная, сырая и скучная погода, — так начал я. — Неба на сей раз вовсе не было, то есть оно несомненно где-то было, высоко-высоко, например, подле других планет, или далеко-далеко, ну хоть бы, скажем, в Орле или Казани. В Париже неба не было, были тучи. Густо шли они над нашими забубенными головушками, попадались нам то и дело на глаза. Много было туч, больше чем надо. А на душе было бог знает как одиноко.

Александр Евграфович Барабанов вышел из вокзала на площадь, и сердце его забилось, кто его знает отчего. Всего тут было понемножку, и надежды, и одинокость, и предчувствия, и безденежье, и никак не первая молодость. Всего тут было слегка нанизано, оттого и забилось сердце. Александр Евграфович постоял немного у вокзального выхода, вид у него был такой, словно он коротко богу молится. На самом деле ему пришла в голову совершенно бесполезная, бессовестно глупая мысль: а что, думал он, как с этого самого парижского вокзала осенним, и сырым, и вредным для ревматиков ветром втянет меня обратно через вокзальный порог, да в поезд, да пойдет носить по всем моим прежним дорогам, по городу Тионвиллю (оттуда он приехал), по Льежу, Ужгороду, Белграду, Александрии, Принцевым островам, по кораблям, поездкам, дорогам и рекам? А что если окажусь я сам-друг с вощью на нижней палубе английского парохода, да как пришвартуемся мы, в качестве последнего этапа странствия, к одесским берегам? (Оттуда все и началось.) Вся эта непростительная мысль мелькнула в барабановской голове мигом и мигом пропала. И Александр Евграфович двинулся не в обратном направлении, а все опять-таки вперед. И как это, вообще говоря, человека вообще ноги несут?

Он сошел с лестницы, удивился количеству газет в газетной будке и обратил внимание на цветочный магазин по левую руку, если идти к стоянке трамвая. Трамваи шли и шли мимо него без всяких объяснений. Тогда он засунул руки в карманы.

Левой рукой он что-то придерживал с левого боку, там что-то такое трепыхнулось и затихло, правой рукой он нащупал бумажку, перечел назубок известный адрес, но уже как-то по-новому, по-свежему. не так, как читал до

сих пор. До сих пор читал он его платонически: вот она, улица, вот номер, а вот и трамвай, для них указанный. Сейчас он вплотную был у самого этого трамвая, а пройдет время — вплотную подступят к нему и улица, и дом, и...

Трамвай с Александром Евграфовичем со свистом, звоном и грохотом пустился в путь.

Что за город Париж! Никакого он участия не примет в приезде человека! Будь ты семи пядей во лбу, несутся мимо тебя люди, ни один не оглянется. Может, тебе весь мир обнять хочется, никому до этого дела нет, может, тебе, как одному известному мальчику, лиса все внутренности выела, так с лисой и сиди, никто не поинтересуется. Не то что, говорю я, в Орле или Казани. И приезжие наши без остатка в таких случаях на две категории разделяются: одни говорят тебе (помню, я был таким) — и не надо, коли не хотите, и я не стану глазеть на вас, ну вас к лешему, хоть вы и красивы, и знамениты, и черт знает как величественны. И действительно, не смотришь на него час-другой с дороги или до самого вечера крепишься характером, волю упражняешь. Другие же, привыкнув за свои путешествия ко всяческим унижениям, так и пялят на него глаза, — ничего, что Париж тебя невниманием в грязь втоптывает, наше дело маленькое, наше дело столицей мира любоваться, если довелось нам ее, вот подите же, посетить проездом. Ее, а не остров Тристан Дакунья.

Александр Евграфович не только любовался Парижем, пялил, как сказано, глаза на все, начиная с домов, увешанных вывесками, и кончая ногтем кондукторова мизинца, он с сочувствием взвешивал в мыслях каждую городскую изящную деталь, каждый прыщичек на городской физиономии. Выйдя из трамвая, он расспросил про дальнейшую дорогу и пошел уже пешком, и долго стоял на одном перекрестке (известно каком), любуясь на подвешенную железную дорогу, подвешенную на каменных подпорках посреди улицы. И странные мысли пронеслись у него в голове. Коммерческие.

Он пришел по адресу в большой богатый дом. Швейцариха ввела его в лифт, нажала кнопку. Узкие дверцы хлопнули его несколько раз по носу и пальцам. «Ишь ты, двери-то кусаются», — подумал он. Выходя, он опять получил по шее. Он отправил машину вниз, а сам постоял с минутку на площадке. И новые мысли опять полезли ему в голову. И опять коммерческие.

Он вошел, придерживая в левом кармане то, что трепыхалось там давеча и теперь затихло. Его попросили обождать. Он с достоинством уселся, попросил стакан воды. Ему принесли воду, он церемонно отпил глоток и вернул стакан. Он старался услышать, кто говорит в соседней комнате, кто именно. Не слышится ли там голос девочки лет четырнадцати (да, уже полных четырнадцать лет, смотри, пожалуйста, как бежит время!). Девочки Любочки не слышно ли голоса?

В комнату вошел барин. Это был деловик, деляга, по всему виду — высокого полета птица, с чистыми-чистыми, очень чистыми руками, бритый, аккуратный, такой, словно никуда никогда из великолепного города не выезжал да тут и родился.

— Здравствуйте, Павел Петрович, — сказал Александр Евграфович, вставая в струнку. — Здравствуйте. Перед вами находится Барабанов.

Павел Петрович протянул обе руки и дотронулся до плеч Александра Евграфовича.

— А! Барабанов! Очень рад. Рад. Очень, очень рад. Поджидал вас всё время.

Оба сели к столу. Бумаг на столе было видимо-невидимо, и телефон стоял тут же, и русские счета, и пишущая машинка — вру! — две пишущие машинки. И подле чернилницы — цветочек в стакане.

Александр Евграфович спросил почтительно:

— Здоровы ли, Павел Петрович? Марья Даниловна как? Мамаша?

— Все здоровы и целы, живем, не голодаем. А вы как?

— Мы слава богу. А Любочка?

— И Любочка... О вашем деле раздумывал все эти дни. Интересное дело.

— Не получая ответа на письмо и думая ускорить, сам решил двинуться, Павел Петрович. Сегодня утром из провинции прибыл, специально побеседовать с вами. Вот и Любочке привез...

— Сегодня утром? И сразу ко мне? Очень с вашей стороны энергично. Давайте поговорим.

— Вот Любочке я привез...

— И Любочка здорова, мерси. Учится, первая ученица в школе, молодец. Так как же, обмозгуем, что и как, и вместе кусочек хлеба с маслом заработаем.

Барабанов сосредоточил мысли, пошевелил пальцами и затих.

— Мне лично, Павел Петрович, комиссии не надобно, только то, что найдете нужным. Мне бы вместо комиссии патентик один пристроить.

— Ваше изобретение?

— Мое. Ходы и выходы вы все знаете, умеете всякое дело начать и кончить. Мне вместо комиссии патентик на изобретение получить, судьба моя через это устроится.

— Хорошо, это мы сделаем, это нетрудно. Вы что же, прямо дельцом настоящим стали?

— Что вы! Разве станешь так просто? Это все от досуга. Мысль работает непрестанно, даже утомляешься, голова устаёт. Вот и сейчас, идя к вам, уже кое-что в мозгах мелькнуло: об использовании, например, свободного пространства между подпорками городской железной дороги. Можно бы, например, у городского управления концессию взять на устройство там гаража, или бань, или торговли, пропадает пространство, это при современной-то скученности! Или вот еще лифтные дверцы: несовершенное устройство!

— Потихоньку, потихоньку! — закричал Павел Петрович. — Для начала расскажите мне все, что знаете о том, о первом деле, о котором писали. О закорючках.

Барабанов приставил одну ногу к другой.

— Как писал я вам, Павел Петрович, работали мы по уборке военной проволоки в бывшей фронтовой полосе. Ну, работали месяц, работали два, даже свыклись с этой проволокой, даже лучшего не желали. Тогда перевели нас снаряды убирать — все по тому же старому контракту. Ну, мы и с этим примирились. Нельзя, конечно, сказать, чтобы мы полюбили снаряды, как родных детей, однако не жаловались, и вот пришла мне с месяц назад одна коммерческая мысль: с кем было поделиться? Один вы можете знать, как такие дела начать и кончить.

— Ну-с, дальше.

— Мысль эта была вот она: у самого паршивого использованного снаряда имеется сбоку эдакая маленькая медная закорючка, которая представляет вполне самостоятельную ценность, как металл, разумеется. Вот и представилось мне: найти на белом свете ловкача с капиталом, хотя бы, к примеру, вас, Павла Петровича Гутенштама, пусть он все эти закорючки на корню купит, их посбивает (артели нашей, кстати, работу предоставит) и на вес их продаст. Там, если посбивать умеючи, на полмиллиона меди наберется. А мне за идею патентик пристроит.

— А с кем дело вести придется, думали вы?

— Все, все обдумано, даже смешно. Сперва я сомневался: не будет ли здесь какого-нибудь противоправительственного акта? Стал узнавать у начальства: а не нужны ли кому-нибудь эти закорючки? Какое, говорят, схлопотать это дело нетрудно, концессию, говорят, министр даст, губернатор, говорят, стоном стонет, не знает, что с закорючками делать! Тут обязательно согласие власти дадут, если только знать, как это дело начать и кончить.

— А от кого это зависит, от военного министерства или от гражданских властей?

— Так точно, от военного. Вы у них как бы подряд возьмете: на сбиwanie закорючек. На откуп, значит, закорючки эти пойдут. Вы артель наймете, наших там человек тридцать находится, вместе с Андреем Никанорычем, может, помните такого по Ростову? В этом году на Успенье поп приезжал, службу служил, две газеты выписываем. Вот им и работа. Сами вы учет всему ведете, а закорючки и возить никуда не надо: по соседству, в городе Метце, промышленный завод один помещается, сталь льют. Он вам всю медь скупит и еще патентиком моим заинтересуется. Я уж знаю.

— Знакомства у вас там?

— Знакомства. В низших классах населения, но полезные, могут пригодиться.

Павел Петрович поджал губы и потянул носом.

— А комиссию вы какую хотите?

Барабанов стал стесняться.

— Мне бы только расходы по поездке окупить, наградными не интересуюсь. Патентик мой судьбу мне устроит. Патентик мой не обременит вас?

— Нисколько. Но сперва урегулируем закорючки. Сегодня же я позволю одному крайне влиятельному лицу, наведу у него кое-какие справки, потом съезжу к другому, тоже очень интересному лицу — необходимая заручка. Из двух разговоров выведу среднее арифметическое. Приходите завтра в это же время, принесите паспорт и патент. Если среднее арифметическое будет благоприятно, сейчас же отправим ваши бумаги в специальный департамент. А с закорючек я заплачу вам полпроцента с валового, если дело полмиллиона стоит, вы получите две с половиной тысячи. Выведем среднее арифметическое, отправим патент в департамент и завтра же вечером выедем на место, чтобы мне с положением вещей ознакомиться.

Александр Евграфович встал:

— Чтобы суметь это дело начать и кончить.

Павел Петрович тоже встал. Ушки его горели и сквозили на свет чем-то розовым, словно абрикосы. Он потер руки с сухим звуком, поправил пенсне, бровь погладил.

— М-да.

— Я теперь пойду, Павел Петрович. Приветствуйте Марию Даниловну и мамашу.

— Спасибо, непременно. Так до завтра?

— И Любочку. Я ей вот прихватил...

— И Любочку непременно. Она в школе сейчас, у них занятия с прошлой недели начались. Стараются.

— Вот тут у меня...

— Непременно. Все скажу. Она вас помнит, спрашивала как-то: а что, папочка, Барабанов? Такая, право, умница.

— Приветствуйте.

Он отступал и отступал к дверям, сперва к первой, потом ко второй, выходной. Щелкнул усовершенствованный замок, еще шаг один, и он очутился на лестнице, и дверь за ним закрылась. Стало тихо. Потом проехал грузовик, вздрогнул дом и успокоился. И тогда закричал со двора тряпичник.

Александр Евграфович прижал руку к левому карману. Осторожно, чуть отойдя от двери, он стал вынимать оттуда что-то, что как будто норовило выскочить у него из рук. В ладони его поместился лопухий, с подогнутыми лапами и вялым хвостом щенка неизвестной породы, за разговором не сумел Барабанов передать его Павлу Петровичу для Любочки. Иногда покидала Барабанова по мелочам всякая решительность.

Он спустился, спрятав щенка в карман, и пошел по улице. Вот это был город! Вот это был, не считите за излишнюю восторженность, Париж! Серый день так и дул ветром, небо садилось на голову, шум рвал душу, с углов тянуло жареными каштанами.

Пошел Барабанов не спеша, словно был он в себе уверен, как в самом верном друге. Ему не пришло в голову поискать себе в каком-нибудь отеле «Каприз» пристанище. Денег у него было ровно двадцать три франка с копейками, да еще десятка, взятая в долг, да еще, само собой разумеется, обратный билет до места жительства. Но до завтра, до решенного отъезда, ему больше и не надо было.

Он гулял, не задумываясь над направлениями, осмотрел много различных улиц, длинных и коротких, торговых и господских, несколько раз над домами виделась ему башня, но достичь он этой башни никак не смог, то вправо, то влево уходила она от него. Да оно и лучше: дойдя до башни, Александр Евграфович непременно взобрался бы на нее со всеми своими коммерческими мыслями и, наверное, стал бы выдумывать на ней разные штуки: а что, например, если устроить по вечерам вдоль этой башни световую рекламу? Или еще какую-нибудь чепуху в этом же роде. Походил он и по большому казенному осеннему саду, все интересуюсь, запрут этот сад на ночь или нет. Тут увядание природы было в полном разгаре: фонтаны не действовали, лист носился по ветру трухлявый, бурый, прилипал к башмакам, к детским носам, к на всякий случай раскрытым зонтикам бонн и вялек.

В семь часов, порядком устав, отправился Александр Евграфович в столовую поужинать, истратил с чаевыми четырнадцать франков и снова вышел, и уже на улице покормил свой левый карман размятым хлебом. Щенок выглядел едва живым.

Казенный сад оказался заперт. Темнело на всех парах, серый воздух густел, фонари здесь и там рвали его. Потянулось время бульваром со скамейками. Он присел и сосредоточился, и папиросу зажег.

Завтрашний день не беспокоил его, совесть его была перед ближайшим будущим чиста. Достаточно было вспомнить довольный вид Павла Петровича Гутенштама, чтобы спокойно ждать приближения завтрашнего дня. Военное министерство, завод в Метце, квартира Павла Петровича, поезд, в котором Барабанов приехал в Париж и в котором поедет завтра домой,— все это сначала медленно, а потом все скорее стало носиться в голове.

Бульварные фонари побежали вдоль на него рядами, они бежали быстро, но ни один фонарь не обгонял другого, они бежали, как бусы, спущенные с нитки, как медные бусы, как круглые закорючки, высыпанные откуда-то из черного пространства. Он не успевал их считать, девяносто девять с половиной просыпались мимо него, одна последняя половинка застревала где-то близко. Эта половинка была его собственностью. Сотни тысяч закорючек летели, и Павел Петрович говорил — приятным голосом чисто вымытого столичного человека, — что...

— Засыпать воспрещено, — сказал полицейский и прошел мимо.

Бульварные фонари теперь стояли неподвижно, зато трамвай летел та-рахтя на каждой стрелке.

Барабанов перекинул левую ногу на правую, но тут визгливо пискнул в кармане щенок. Он вытащил на свет божий потомственную дворняжку. Это его протрезвило. Он поговорил с ней немного, упомянул Андрея Никанорыча, что-то туманно обещал ей на завтра.

Не нашлось у него минутки, чтобы передать подарок Любочке, все это время он был занят мыслями об изоляции токов высокого напряжения.

Кому нужны вообще эти токи высокого напряжения? Пес их знает! Изоляции этих токов было посвящено барабановское изобретение, и патент касался этого секрета. Судьба его через это должна была устроиться, судьба бывшего военного человека, и важная бумажка лежала у него в кармане, вместе с адресом Гутенштама, вместе с обратным билетом, вместе с сиреневым паспортом этого года. Все лежало вместе на широкой барабановской груди.

Впереди была независимость. Гуляй, душа, уезжай, приезжай, о новом открытии думай!

Он поднял воротник. На бульваре теперь было по-ночному тихо. Он решил, что щенок нагулялся, и опять положил его в карман. Мысль его вернулась к письменному столу Павла Петровича. А от него — к Любочке.

Она теперь сладко спит, смыв с пальцев чернила, будильник утром разбудит ее, она вскочит, пойдет бегать по комнате, в школу спешить. Наденет платье, бусы нацепит металлические; медные бусы рвут нитку пополам, сыплются по рукам ее, по платью. Он должен считать их. «Папа, а где Барабанов твой? — кричит Любочка. — Помнишь, как он меня, маленькую, в Александрии на ноге качал?» А бусы все сыплются с тонким звоном. Не пропусти ту единственную половинку, она твоя!

— Засыпать воспрещено, — опять говорит полицейский, трогает за плечо и проходит дальше.

— Пардон! — кричит Барабанов, встает и уходит.

Светает. Там, над крышами, над казенным садом, который бог весть когда отопрут, светлеют облака, и нечаянный дождик спешно падает на дома, на мостовую, на Барабанова. Дождик перестает, и за облаками всходит солнце, не у нас, а где-то высоко-высоко, подле других планет, или далеко-далеко, ну, например, в Орле или Казани. Барабанов идет по городу, кажется, он выпался, кажется, ничего худого о его настроении сказать нельзя.

Он попадает в квартиру господ Гутенштамов к одиннадцати часам утра. Так ему назначили. Он выпил кофе и съел четыре рогульки, два яйца, бутерброд с колбасой, у крана на перекрестке (известно каком) вымыл руки и брызнул немного воды себе на лицо. Щенка пришлось оставить около городского мусорного ящика: отчего он сдох, было неясно — то ли он задохнулся в кармане, то ли прижал его Барабанов ночью, когда уснул на скамейке.

То ли слишком рано отняли его у матери. Он звонит у двери. Бегут открывать. И тряпичник опять звонко кричит со двора.

Он остается стоять на площадке. Звонит телефон, но никто не подходит к телефону. Он звонит на всю квартиру, ну пусть в ней пять комнат или даже семь, неужели же так-таки никто не слышит этого звона? Нет, бегут, бегут издалека и кричат: «Это, верно, из бюро!» И его впускают.

И опять тишина. Что-то странное делается за закрытыми дверьми, какое-то движение. Кто-то как будто хочет войти к нему в переднюю и не входит. Медленно открывается дверь, и оттуда, держась за нее, выходит Марья Даниловна, какая-то опухшая, непричесанная. Она всегда носила корсет и высокую прическу из своих и чужих волос.

Она останавливается, стоит неподвижно, взгляд ее тухнет, красное, воспаленное лицо начинает дрожать.

— Барабанов, он ведь назначил вам,— говорит она и качается из стороны в сторону, такая большая и тяжелая женщина,— Барабанов, вот как нам увидеться пришлось... Он умер, ночью, во сне, от сердца. Он лег и не проснулся...— Она плачет, заметно, ноги ее подгибаются. Барабанов молча стоит.

— Никто даже представить себе не мог, что у него большое сердце. Помните, как он бегал и в теннис играл и все такое? Он вчера по вашим делам ездил. Другие до ста лет живут. Он вернулся вечером такой довольный...

Барабанов говорит:

— Я уйду, не буду вас задерживать, не до меня вам.

Она ничего не отвечает и плачет. И он идет к двери. На самую короткую минуту он останавливается перед ней. Обернуться, спросить про мамашу, про Любочку? Или лучше молча выйти. Или вдруг Любочка выбежит сейчас из дальних комнат? Но никто не выбегает, и он решает уйти, и мотает головой, как будто отвешивает поклон, в решительные минуты он не всегда знает, как ему поступить.

И ему вдруг вспомнились закорючки, ночь на бульваре, сны, и то, что спать, собственно, было воспрещено.

Впрочем, обратный билет был у него в кармане».

И тут кончил я свой рассказ. И то боюсь, что длинно: ведь не биянкурец Барабанов, и, значит, нечего читателей занимать его личностью. Боюсь тоже, что скажут: тут до американской складки очень далеко, сто верст скакать! Тут до американской складки, как, например, до Орла или Казани!

Но ближе нам ничего такого встречать не приходилось.

1920

Цыганский романс

— Выпьем, Гриша, за прелестную парижанку Ирочку!

— Выпьем, Петя, за прелестную парижанку Ольгу Федоровну!

В улице, что идет поперек нашей, близко-близко от черной реки, в девять часов вечера начинается ночь и продолжается ночь до четырех. Таковы обычаи и порядки. В девять часов вечера выходит из-за домов луна, не каждый день, этому никто не поверит, но, когда она есть, она выходит серая, жирная, обвислая и светит в поперечную улицу, светит на красные и рыжие фонари и фонарики. Какая картина! Какая красота!

У венгра в заведении задернуты занавески. Там играют двое — на мандолине и на гитаре, и кто хочет присутствовать, тот должен платить деньги. Играют двое во славу хозяйина, у хозяйина две жены в Южной Америке, работают на него. Он толст, он богат.

Две жены, а третью он довез только до Парижа. Здесь прошла она однажды по улицам, и больше ее не видели. У нее были рыжие волосы до полспины, грудь, которую никакое платье укрыть не могло, и печальный низкий голос. Она вышла подышать немножко парижским воздухом и не вернулась в заведение, и, говорят, страховое общество выдало венгру за жену деньги.

Он толст, он богат, столы у него деревянные и политы вином, мандолина с гитарой сидят в углу на лавочке, грязные, волосатые, носатые, басовитые. Дым стоит в воздухе, одинокая девушка в дыму сидит, молчит, ждет клиентов.

— Выпьем, Гриша, за прелестную парижанку Лялечку!

— Выпьем, Петя, за прелестную парижанку Веру Дмитриевну!

От большого пьянства потеют стекла, стены и двери становятся липкими. Голоса поднимаются все шумнее, люди придвигаются друг к другу, влажные волосы падают на глаза, руки хватаются за кружки, за стулья, за ножи. Двое бросаются друг на друга. Когда здесь убивают, то тушат свет, выгоняют клиентов и музыкантов, выносят убитого на мостовую, кладут возле тротуара и запирают двери — на сегодня довольно!

Убитый лежит скрючившись, без шляпы, но в пальто. Люди — мы с вами, скажем, — проходят мимо и говорят: насосался, неприличный черт, по канавам валяется, как гений. Начинает светать. Только дернется что-то в небе, неизвестно даже с какой стороны, и прохожий, если только он не очень задумчив, увидит густую черноту в лице лежащего и, памятуя обязанности гражданина и обывателя, анонимно пойдет в ближайшее кафе звонить в полицейский участок.

И вот, гудя на два квартала, с трудом завернув в поперечную улицу, высокий, закрытый грузовик остановится возле трупa. Никого, ничего. Музыка здесь давно кончилась, восемь человек, веселых, сытых, гладких, семейных, в синих мундирах, спрыгнут на мостовую. Меньше их в эту улицу не приезжает, не принято.

А сверху, из высоких этажей, высовываются пленительные головки, рубашки падают с плеч, и из глубины вонючих комнат призывно гудят недовольные басы.

Человека увозят, и в газетах о том не печатают: люди окрестных мест обидеться могут, квартиранты жить не станут, коммерсанты торговли могут не открыть.

Но зато кто поселился, тот живет. Угаром дышит. Кто торгует, тот уж ни за что не закроется: до полуночи свет горит, цены висят на пирожки и рубашки. Вдруг да китайцу ночью галстук понадобится, вдруг да барышне пластырь купить захочется?

— Выпьем, Гриша, за прелестную парижанку Танечку!

— Выпьем, Петя, за прелестную парижанку Марию Петровну!

Наискосок от венгра желтолицые, косоглазые в кости играют, и белолицым в их обществе дышать трудно. Только трое выдерживают, три невысоких и не очень пышных особы, они не сменяются. Они сидят по стенкам уже много лет. При благоприятных обстоятельствах у них от этих китайцев уже могли быть дети, уже дети эти могли бы в школу ходить.

Из-за этих трех иногда бывает, что поднимается визгливый крик у столов, и кинется один на другого и пятерней — за горло. Но двумя здесь не обходится, вступает третий, за третьим — четвертый. Кричат коротко, отрывисто и в нос, двери и окна — настежь и занавесок нет. И тогда бегут прохожие из этой улицы туда, где посветлее, где лампочки сияют убранством, где... ну, словом, ищут прохожие чего-нибудь получше, чем поперечная улица.

Неподалеку, на втором этаже, живет юноша, который совершенно незаметным образом выкашлял одно легкое — ничтожную часть самого себя. Он належал себе пролежни, бедро открылось у него и сочится, но мамы нету и он один. Окошко его открыто, доктор велел ему дышать, чем возможно, и он с постели смотрит в окно, а там — кабак. Там нет ни мандолины с гитарой, ни желтолицых, впрочем, сидят там серолицые и играет рояль. И женщина неопикуемой роскоши и красоты поет там в биянкурские праздники цыганские песни. Юноша потеет, держась за последнее легкое, и глязет на окна того кабака так, что хочется плакать.

Эх, Дуня, в какой черноморской прогимназии оставила ты свое золотое детство?

Он смотрит сверху на два ряда столов, покрытых белой бумагой фантези, на красные обои, на стойку, за которой суетится высокий дворянин с бородкой, на того, кто играет на рояле и чью голову не видеть, а видны только руки, колотящие по клавишам, на портрет не то генерала, не то адмирала, припиленный к стене. Он смотрит на вырез черного платья, на кудрявую шаль, на большие бронзовые цыганские руки с абрикосовыми ногтями, — предсмертная ясность зрения удивляет доктора. Доктор лечит его от пролежней, истерики и пота, от туберкулеза доктор не брался его лечить.

Эх, Дуня, неужто ты так и не взглянешь наверх, в мрак, в окно, в два дрожащих от бессонницы глаза?

Она отбивала так каблуком и поводила изредка круглыми плечами. Пьянист играл вальсы, под которые отцы наши сдавали Порт-Артур. Она брала со стола, из стакана плохонькую розу и чесала этой розой себе кончик носа, напевая трум-трум-трум, отчего душа ее исходила грустью и жалостью к себе самой. Роза эта была казенная, тутошняя роза, и пришилить ее к груди или заткнуть за ухо не было позволено.

Когда входил посетитель, чаще — один, редко — с дамой, она окидывала его взглядом от колен к плечам и потом проходилась раза два глазами по посетительскому лицу, словно надеясь всякий раз встретить в этом нестоющем лице какое-то чудо. И каждый раз она отводила от лица не слишком свежую розу, чтобы и самой показаться во всей красе. И каждый раз с досадливым равнодушием закидывала голову и напевала трум-трум-трум.

Тогда стремительно начинал бегать взад-вперед за стойкой благородный дворянин, перетирая что-то, не слишком чистое, оставлявшее пятна на тряпке. Дворянин сверлил глазами пришедших, и бородака его, наследие лучших, хотя и беспокойных времен, словно бегала по низу худощавого лица.

— Что прикажете?

— А что у вас есть?

— Селедка с луком.

— А чай?

— Имеется, как же-с.

— А водка?

— Так точно-с.

— А...

Проходила минута. На рояле брался богатый аккорд, длительный, но не слишком громкий.

— А блинов у вас нет?

— Помилуйте!

— А люля-кебаб?

— Хе-хе-хе-с, извиняюсь.

— Ну так дайте мне в таком разе графинчик с подобающими онёрами, а мадам жelaет котлетку.

Пьянист ударял по клавишам и хотел разнести инструмент на части.

«На сопках Манчжурии», «Алеша-ша!», «Две гитары», «Рамона», «Бублички», «Алеша-ша!», «Зачем было влюбляться», «Очи черные», «Кирпичики», «Рамона», «Алеша-ша!».

Гудела педаль, однажды нажатая, переносила последние нотки двух гитар в бублички, неопределенные слова без конца и начала в отчетливые, не здешнего темперамента куплеты. В те несколько секунд, когда пьянист, закинув голову, будто млея над слишком пронзительной нотой, можно было услышать:

— Есть, конечно, такая страна, где слоны мухам дорогу уступают, но пока что: если у тебя есть бумажник, держи его крепко.

— Что это, братцы, у меня сегодня как будто денег много?

— А это вам, Игнатий Савельевич, Бодров два с половиной долгу отдал.

Дверь открылась в десятый раз, и в струе чистого ночного воздуха вошел высокий человек, выбритый, в пенсне. На нем было пальто — в России такие пальто назывались коверкотовыми, и шляпа фасона самого последнего, из пухловатого материала. Он вошел независимо, выбрал себе место подле зеркала и сел. Из деревянного портсигара вынул он папиросу, постучал, закурил. На деревянном портсигаре золотыми буквами было нацарапано: «Брак — тюрьма сердец». Человек по привычке прочитал лишь последнее слово, и то наоборот. И над этим словом красиво задумался.

Дуня взглянула на вошедшего, и вдруг глаза ее стали другими, немного пьяными, и рот приоткрылся. Она бросила розу и подошла. Закрыла собою зал, наклонилась к гостю грудь и спросила:

— Белого? Красного? Отчего давно не были?

— Белого.

— Целый месяц не приходили. Что для вас сыграть?

— Что хотите.

— Попеть для вас? Думала: а вдруг и совсем не вернетесь?

Она постояла около него, пока не разгорелось у нее лицо. Дворянин

спешно готовил узкогорлый литр белого вина. Пол двинулся под Дуней, закачался на стене губернатор.

Она пела, что полагалось, потом разносила вино, потом подсчитывала с дворянином количество казацких биточков, гамбургских и деревенских бифштексов, гусарскую печень сотэ — все съеденное за обедом. (Дух этих биточков и гусарской печени не выветривался здесь и великим постом.) Потом в рассеянности подседа к столику, где сидели давно известные ей люди, почти что родственники, и прошла с одним почти что родственником фокстрот под «бублички», показав присутствующим со всех сторон свою роскошную фигуру, от которой становилось темно в глазах. Но взгляда она не спускала с посетителя в шляпе.

Он курил, сидя неподвижно, вид у него был не по месту интеллигентный и спокойный. Шум и красные обои нравились ему, должно быть, — оставьте меня в покое! — временами прикладывался он к толстому стакану, — надоело мне всё!

— Что ж вы мне ничего не скажете?

— А что же вам сказать?

Она села рядом, вдруг позабыв обо всем на свете.

— Вы уезжали?

— Нет.

— Почему же обещания не сдержали?

— Обещания для того и даются, чтобы их не сдерживать.

Он подумал-подумал и усмехнулся.

— Что это у вас за сережки? Кажется, таких не было?

Она наклонилась к нему, затаив дыхание. Зеленая стеклянная капля в золотом обруче упала ей на щеку. Она положила свою большую темную руку на стол и посмотрела, не бьется ли жила у запястья. Но рука была совершенно спокойна.

— Как вы сказали: обещания?..

Он улыбнулся, но не ответил.

— У вас есть кто-нибудь сейчас?

— Когда есть деньги, всегда кого-нибудь бог пошлет.

— Зачем же вы пришли сегодня?

Он огляделся с удовольствием.

— Люблю понаблюдать, всегда любил. Биянкур — не Париж, Биянкур во всем мире единственный. Интересно изучать. Вот и вас, например. Почему же не надеяться!

Она смотрела ему между бровей с неприятным выражением лица.

— Сколько с меня? — спросил он.

Она шарахнулась со стула, написала счет огрызком карандаша на бумажной скатерти. Он заплатил, встал и пошел.

Она отнесла деньги дворянину, ступая не в такт музыке, потом запахнула паль на груди и вышла тоже.

Гость уходил, шагая прямо по мостовой, он шел быстро, помахивая тростью. Он шел в сторону города, впрочем, все стороны у нас хороши.

Далеко-далеко, за закрытыми ставнями углового дома, польские маневры пели свой собственный гимн стройным хором. Звезды висели в небе, луна шла мимо, оловянная, никому не нужная луна. В кирпичах недостроенного дома ругались мужчина с женщиной. Тротуары были пусты. Дуня, притихнув, проследила, как человек завернул за угол. В противоположной стороне невидный, звонкий, прошел трамвай.

Из окна второго этажа на нее смотрел умирающий мечтатель. Вытягиваясь, он видел тот именно кусок тротуара, на котором в полосе света оставилась Дуня. На улице она всегда казалась ему меньше ростом, чем внутри, между столами. Там она представлялась здоровенной, пол должен был трещать у нее под ногами. Здесь, когда она куталась, когда смотрела ушедшему вслед, была она молодой, легкой и беззащитной.

Он знал все, что мог видеть в раме раскрытого до отказа окна, от низкой звезды, которая, конечно, имела название, от трубы под ней, из которой перед обедом шел бурый дым, до залепанного, а иногда и хуже, противоположного тротуара этой темной поперечной улицы, где спать можно только днем; но спать и не бредить он больше не может, а когда он бредит, его будит хозяйка, которой внизу, в постоянных сумерках, становится от этого бреда не по себе.

Дуня тоже пошла прямо по мостовой. Вечер был теплый, весенний вечер. Совсем близко, где-то, может быть, в саду коммунальной школы, расцвели цветы. Деревья были видны через забор, улица там вымощена булыжником и что-то нашему брату напоминает. Это бывает, когда пахнет медленной весной и цветут акации белыми цветами. И если тихо и грустно, и если никого, то напоминает довольно сильно. Какой-то уездный город. Каждому свой.

Дуня почти побежала. Вот так, наверное, бежала по этим местам третья жена венгра — хотела пройтись немного подышать, посмотреть, где река, где кинематограф, а где пуговицы продаются. Вышла горделиво, а потом тоже почти побежала, завернула за угол и — конец. Потом говорили, что выловили в реке рыжую женщину, да не в Биянкюре это было. Потом говорили, что в шикарном доме, известно каком, видели похожую на нее, но она клялась, что не понимает по-венгерски.

Завернув за угол, Дуня не остановилась, наоборот, она заспешила, как могла, вниз, к набережной.

— Послушайте,— крикнула она,— мне вам сказать надо!

Человек с тростью остановился. Он дотронулся двумя пальцами до своей пухловатой шляпы. Это был вежливый человек, видимо, культурный.

Дуня перебежала улицу и остановилась перед ним. Здесь шла дорожка под деревьями, над самой водой. Вода шевелилась и поблескивала. Дуня, по всему было видать, ни о чем как следует не успела подумать, видела перед собой человека и вся трепетала — не больше.

Он собрался ее спросить о чем-то или только сделал вид. Она вдруг сделала вид. Она вдруг сделала движение, и он угадал, что она собирается плюнуть ему в лицо. Он схватил ее за руки, чтобы наверное знать, нет ли у нее в руках какого-нибудь опасного предмета. Предмета не было. «Ах ты...» — сказал он злобно и ударил ее по лицу. Она сбросила с его головы шляпу, сшибла пенсне и вцепилась ему в волосы, довольно густые и приятные на ощупь.

— Поди ты к черту! — тихо крикнул он и бросил ее в сторону. Она не упала, ударившись о дерево.

Он ступил к ней, раздавив с хрустом пенсне на дорожке, и поволок ее к обрыву, к воде. Ему бы уйти. Она толкнула его, но он удержал ее. Она еще раз толкнула его в грудь. Он выпустил ее с ругательством, таким, что даже удивительно было: приличный человек и такому научен.

Юноша на втором этаже все тянулся и тянулся к окну, так что хрустели кости.

Он привык к границам своих наблюдений, он мог роптать на бога сколько влезет. Снизу доносился шум голосов, посуды, музыки. Там хлопала дверь, там пелись песни, плясали, били по клавишам. Звенели стекла, собаки просыпались во дворах, визжали коты на крышах.

Ему было больно касаться собственного тела, и он все раскидывал руки и потел. Собравшись с силами, он иногда брал с изголовья полотенце и вытирал лоб, затылок, грудь, вытирал мокрые ладони. После этого ему приходилось несколько минут отдыхать с закрытыми глазами. Потом он опять смотрел вниз на пьяниста без головы, на два ряда столов в беспорядке и на портрет (боже, царя храни!) генерал-губернатора.

Внезапно откуда-то раздался выстрел. Стрельба под праздник все равно что ничего. Нет такого человека у нас, который бы от стрельбы забеспокоился. Выстрел был негромкий, в стороне моста, возможно, что пьяный стрелял в фонарь, — это любят.

Дуня шла по поперечной улице и на этот раз по тротуару. Здоровенная она у нас, Дуня, и когда идет — слышно. Кудрявую шаль она несла в руках, шаль была изорвана в клочья. Но Дуня имела вид приличный, то есть не приличный, а обыкновенный. Успела она обратить на свою внешность внимание.

Она остановилась, не дойдя до дверей, чтобы, вероятно, окончательно придти в себя. Из отеля напротив на нее смотрели, но она этого не видела. Отель этот вроде нашего «Каприза», и называется он, кажется, «Сюрпризом». И дом стоял как дом: обыкновенный, в котором спят.

Взявшись под руки, как в атаку, прошли по улице с веселым галдежом итальянцы. Стараясь петь на три голоса, выводили страстные слова: тут было и соли, и маре, и аморе, — чего тут только не было. А еще некоторые изображали губами всякие инструменты, играли в оркестр, наплевав на всех и на все. Дуня дождалась, когда они пройдут.

И тот, на втором этаже, дождался тоже и сказал:

— За чарующий взгляд искрометных очей не боюсь я ни мук, ни тяжелых цепей.

Она вздрогнула, подняла голову. И тут ей захотелось плакать.

— Сеничка, это вы? Что вы меня пугаете? — Никого не было видно.

— Нет, это не Сеничка, — сказал тихий голос в окне с тоскливым испугом. — Какой такой Сеничка? Вы разве ждете Сеничку? Нет, я не Сеничка. А вы хотели Сеничку?

И вот на улице стало тихо. Мужчина с женщиной додрались под стенами недостроенного дома и теперь, обнявшись, спали на земле, на досках, сваленных здесь накануне и потому сухих. Ветер поднимался из-за реки, неся с собой запахи большого ночного счастливого города. Не дай бог парижский ветер в Биянкуре — нечем дышать тогда нам всем. Дует он хитро, тонко дует, то удушьем, то заманчивой, но вредной свежестью, которая расслабляет, от которой идут все сны, мечты и дурманы. Запретить бы вовсе ему отсюда на нас дуть. Но как обойтись без Парижа? Немыслимо. Ведь душа к этому ветру навстречу рвется.

— Выпьем, Гриша, за прелестную парижанку Женечку!

— Выпьем, Петя, за прелестную парижанку Клавдию Даниловну!

Кому-то понесли третий графинчик. Дуня вернулась к столам, к дворянину, к розе. Тут ее ждали, тут за то время, что она по улицам бегала, в том углу хор составился, хор из почти что родственников. Только ее и не хватало.

— Выпьем, Гриша, за прелестную...

— ...за прелестную парижанку...

1930

Вместо некролога

Я помню с детства его большие белые босые ноги, в крепких желтых сандалиях, с широким поперечным ремнем, отделявшим пальцы от подъема. Это было последнее лето перед войной. Помню, мы сидели в лодке: Миша на носу, мы с Леной на первой доске, за нами — на второй — он, орудуя веслами, а на корме за рулем сидел еще кто-то, уже не помню кто. Во всяком случае, там кто-то, конечно, находился, потому что, когда я обзирывалась и старалась мимо гребца взглянуть назад, мне кто-то мешал.

И вот внезапно между мной и Леной появились эти сандалии, эти ровные пальцы. «Мне нужен упор, — сказал он, — подвиньтесь, мелкота». Я подвинулась и уже не знала, что делать с руками, чтобы только случайно не задеть его. А озеро было такое металлическое, такое нарядное, финские сосны такие темные. Над ними, над далью кто-то могуче и небрежно размазывал закат, и на воде было то единственное вечернее молчание, о котором и не догадываются оставшиеся на берегу.

«О, закрой свои бледные ноги!» — сказал голос позади меня, доска за скрипела от нажима, и весла заработали шумней.

На обратном пути я уже круто, подло ненавидела его. «И вовсе не надо пуд соли с человеком... достаточно увидеть босые ноги... Как противно! Они выдают его, неужели он не видит? Самовольные, тупые... Лучше самые полосатые носки, чем это». Взошла северная луна, играла с водой, отводила от нас черный берег.

Между тем он был молод, писал стихи, носил длинную бороду, чтобы скрыть, как говорили, свой некрасивый звериный рот, умел акварелью изобразить всех нас, как мы плывем в лодке, а он в этих самых своих сандалиях идет по водам к нам навстречу; или еще: стоя с нами в лодке, протянутой рукой останавливает бурю. Он играл на рояле какие-то несуразности, заставляя нас петь хором слова, сочиненные им и не имеющие никакого смысла. Когда я узнала, что ему двадцать лет, я очень удивилась:

— Миша, ты знал, что Корту двадцать лет?

— Врешь! Я думал, пятьдесят.

— Лена! Ты знала, что Корту двадцать лет?

— Кто тебе сказал? Не может быть!

Таким образом я дошла до кухарки, которая на мой вопрос ответила: «Рассудительный жених будет».

Теперь то последнее лето вспоминается каким-то особенно засушливым,

с бесчисленным падением звезд, с пожарами, чуть ли не даже пронзенное кометой.

Корт жил на соседней даче, у родственников. Мы иногда ходили к нему: ради крокета, ради гигантских шагов, ради вереском заросшего обрыва, с которого съезжали на собственных штанах до самого озера. Нас угощали чаем с ватрушками, и мы старались вести себя прилично. В комнате Корта это удавалось с трудом: слишком много было там соблазнительного.

— Двигайтесь, мелкота,— говорил он, выгоняя нас за дверь.— Ничего не украли?

А украсть хотелось одну из толстых тетрадок, в которые он твердым круглым почерком записывал свои стихи.

И вот нам самим стало двадцать лет: и мне, и Лене, и настала такая осень, когда мы не вернулись в город, а остались зимовать над озером, в соснах, потому что между финским местечком и Россией прошла граница, и еще никому в голову не приходило перейти эту границу туда, а не оттуда. Снег очень скоро завалил нас совсем. В старом бревенчатом доме остались жители — словно четные цифры, нечетные были вынуты жизнью: отец Лены был неизвестно где, осталась мачеха. Миша был убит, мы обе были живы; дворник ушел на заработки в Выборг, у нас осталась одна кухарка. Почему-то перебиты были обе собаки, и из всего живого, того, что многие годы здесь бегало, плодилось, подавало голос, осталась одна каурая Пенка, пожилая кобылка с розовой ноздрей.

Заматав голову толстым кухаркиным платком, надев тесную шубу, подпоясавшись багажным ремнем, сунув ноги в крепкие валенки, я рано утром, в снежной темноте, белесой, зыбкой, шла запрягать Пенку в санную тележку. Выпив чаю и закусив булкой, мы уезжали за три версты в городок: сперва — на станцию, за газетой, за новостями, потом — в кооператив, где получали на день потребное количество сельдей, крупы и масла, потом — в лес, за хворостом. И обратно мы приезжали, сидя высоко на срубленных, еще снежных ветвях, лихо правя профилем.

Перед вечером на лыжах мы шли на закат. И хотя и тут была цель: еловые шишки для самовара, но от молодости и беспечности нам казалось, что идем мы перед ужином любоваться заходом солнца, идем нагуливать аппетит, дышать морозной прелестью леса. Оттолкнувшись палками, чуть согнув колени, сохраняя руками равновесие, зорко глядя перед собой, мы вдруг пускались вниз, по целому снегу, ныряли в долину и опять выносились вверх. Там мы останавливались, ели черный кооперативный шоколад и пробовали курить. И растрепанные, румяные, пьяные от папирос и воздуха летели домой.

Соседние дачи были пусты, стояли заколоченные, глухие; та, на которой когда-то жил Корт, совсем осела в снег; другие продавались на слом. Весной, когда потекли ручьи, в молочном свете дня все они — розовые, голубые, белые — оказались черными. Говорили, что внутри них — на вершок воды, что тес отсырел до того, что и на топливо не годится.

Помню утро, когда Лена одна поехала за провизией, а я осталась дома по случаю стирки. За зиму накопилось множество белья (зимой стирать не отваживались). Дом был в пару от кипевшего котла, и сад был в пару от весеннего солнечного дня, и над оттаявшим прудом, где мы полоскали горячее белье в ледяной воде, тоже стоял пар.

— Я встретила... Угадай, кого я встретила,— кричала Лена,— сегодня из Петербурга пешком, едва не застрелили в Белоострове... Корта! Корта! Какая ты недогадливая!

Он развел нас с ней очень скоро. Она уходила к нему после завтрака и возвращалась вечером, и он приходил с ней, сидел до ночи. Он поселился в станционном флигеле, где теперь сдавались комнаты, у него с собой были деньги, материнские тяжелые серьги, которые он ездил продавать ювелиру в Выборг. Борода его была все так же редка и длинна, рта не было видно вовсе. В глазах появилась какая-то масляная злоба.

— А что же стихи его? Акварели? Таланты? — спросила я однажды.

— Его очень ценили в Петербурге,— отвечала Лена,— он был знаком с Блоком, Есенин посвятил ему стихотворение.

— Что же, он печатался где-нибудь?

— Нет, он презирает это. Но ты не можешь себе представить, как он прям, как умец, как непохож ни на кого из тех, кого мы с тобой знаем.

Она, веселая, смелая, такая ладная во всем, что ни делала, и он — долговязый, волосатый, с впалой грудью и землистым лицом, с какой-то непристойной жадностью в движениях: взять под руку, схватить хлеб. И это была любовь.

— Прощать врагам?— говорил он, а мы все сидели, не зажигая света, белой майской ночью вокруг стола и слушали, слушали.— Нет, в этом есть что-то от половой патологии. Я не согласен прощать.— Пахло еловым дымком из жерла горячего самовара, с валенок натекали лужицы, тикали стоячие часы.— Они в меня целятся, здоровые парни, но я живой, я им не мишень, чтобы в меня попасть. Между мертвым и живым больше разницы, чем между человеком и архангелом. А еще больше разницы между тем, чем ты хотел стать, и тем, чем стал. Видели ли вы когда-нибудь мать семейства, которую прочили в Сарру Бернар?.. Послушайте, скажите мне, будьте добры, кого это оплакивают здесь? Я сейчас шел и на разных углах, на разных улицах видел трех плачущих женщин. Что это, обычай какой-нибудь? А безногий какой-то полз и смеялся, можно было бы даже сказать: смеялся, как безногий. Вы заметили, что калеки очень много смеются? Особенно в дурную погоду. Впрочем, в ненастье всегда веселей: мы же любим кошек, сов, ночных бабочек, даже нечисть всякую, если она молода. Как же нам не любить темный, дождливый ноябрьский день?

И все в таком роде. Потом Лена запирала за ним калитку, возвращалась в нашу комнату. Я ложилась в постель, не спала, плакала, мучилась ожиданием, что она мне всё, всё скажет. Уже окно было раскрыто в благоуханный июньский мрак, уже шумели в саду соловьи, цвела жимолость, когда она заговорила. Не для того, чтобы поделиться со мной своим счастьем: счастьем не делятся, его держат при себе. Для того, чтобы поделиться гложущей ее заботой. «Я, кажется, беременна»,— сказала она в темноте, и мы вдруг поймали друг друга за руки: кровати наши разделяла тумбочка.

Корт уехал в конце лета. Пенка отвезла его на станцию: Гельсингфорс — Штеттин, или Антверпен, или Гавр — такие вещи забываются прежде других. Во всяком случае, из Гельсингфорса он уехал на пароходе.

Я сидела на козлах, они — сзади, в маленькой нашей плетенке. Его длинные ноги не поместились, и он, попросив меня подвинуться, уперся ими в козлы. Я опять мешала ему.

— Какое милое гамсуновское время провел я с вами, мои душечки,— сказал он по дороге.— Одна была беленькая и добренькая, другая — черненькая и сердитая. И все, что было, было нарисовано перышком-гушью на серой бумаге. Правда?

Она обняла его и поцеловала в губы, которые не видела, а только чувствовала, и, когда в последний раз оторвалась от него, была так бледна и некрасива и держалась за меня.

— Скорей, скорей,— твердила она, и мы успели: у поворота на Перкиарви мелькнул его поезд, но никто не помахал нам из поезда. Остался дымок. Он держался в зеленом небе так долго, что, когда мы приехали домой, можно было еще с нашего крыльца, с нашего балкона посмотреть на него в последний раз.

И вот нам стало тридцать лет, но мы уже были не вместе. Она осталась там, давала уроки, ходила по снегу, продала Пенку, отпустила кухарку. Мачеха ее состарилась, и они жили втроем в одной комнате, в людской, подле кухни, а дом разрушался вокруг них, зарастал дико и грозно сад. Она осталась там, а я была в Париже и получала от нее письма, раз в год, не чаще. И в том письме, которое пришло этим летом, была фотография: у перил нашего балкона стояла девочка лет десяти, тоненькая-тоненькая, с тоненькой косичкой, с тоненьким носиком, с длинными, худыми руками (а в руках была большая соломенная шляпа). Она стояла задумавшись и смотрела вдаль, туда, где — я знала — сверкает озеро в июльский день. Она смотрела мимо аппарата, мимо меня, она будто ждала чего-то, как ждали когда-то и мы. Она уже ходила в школу, хорошо училась, понимала по-фински. Но жить было трудно, школа была далеко, мама занята целый день, бабушка — глухая. А зимы такие длинные-длинные...

Но где же был Корт? Куда девался? Неужели никто не слышал здесь про него? Ведь он писал когда-то стихи, ведь в Петербурге и Москве его многие знали. Неужели в портфелях наших редакций не застряла какая-нибудь его рукопись с адресом на обороте? Или на каком-нибудь собрании не записался он в ораторы? Или не устроил какой-нибудь лекции в провинции «по личным воспоминаниям»? Не издал книжки неплохих декадентских стихов? Десять лет о нем ничего не было слышно, и вдруг в газете мелькнула его фамилия, его имя и отчество — о чем с глубоким прискорбием сообщала жена.

Небольшая толпа, человек сорок мне незнакомых людей, провожала его гроб на кладбище, в предместье Парижа. Впереди, сейчас же за гробом, смотря, как обычно, в колеса колесницы, шла женщина в глубоком трауре, ведя за руку одетого в черный суконный костюм мальчика лет шести, востроносенького и бледного. Я прислушивалась к тому, что говорилось вокруг, но все, что говорилось, было либо о погоде, либо о неудобном часе похорон. Большинство шагавших были французы, чем-то друг на друга похожие, вероятно, служившие в одном и том же учреждении. Когда колесница остановилась у могилы, двое из бюро, тужась и кряхтя, сняли с колесницы большой венок с надписью на ленте: «Спи в мире, дорогой коллега». У открытой могилы была произнесена небольшая речь: администрация и служащие акционерного общества «Труд» прощались с Кортом и обещали не забыть его трудолюбия, его аккуратности, его стараний, его скромности, его пунктуальности, его усердия.

Все стояли, глядя в землю. Вдова тихо плакала за своей вуалью. Рядом стоял ее сын. Мальчик задумчиво смотрел в сторону, где за кладбищенской стеной — я знала — течет река, шумят деревья, проходят поезда. Он смотрел вдаль, будто ждал чего-то... Да, ему никак нельзя было дать больше шести лет.

№ 1

РАССКАЗ

В то время как Сергей Валентинович Терехов готовился ко сну и собирался перед тем выпить чашку теплого молока с медом, Паша Базыкин лежал в придорожной канаве и видел далекую зеленую звездочку в розоватом ночном небе. Отчего в эти минуты небо казалось ему розоватым, он не мог понять, как не мог он и приподнять тяжелую, гудящую голову и хотя бы пальцами рук пошевелить. Канавка, узкая и сухая после июльского жаркого дня, своими глинистыми стенками с колючим бурьяном обнимала его тело, почти лишенное жизни. Какой-то надломленный, острый стебель вколосился в плечо, но отогнуть его или отодвинуть не было сил. Зеленая звездочка то исчезала, то вновь загоралась, когда возвращалось сознание. И странно же в эти моменты прояснения ощущал себя Паша: ему хотелось смеяться, и, возможно, он и смеялся и даже хохотал широко раскрытым ртом, но хохота не слышали ни бурьян, ни далекая звездочка; пусть бы мимо по дороге случайно прошел человек, и он не услышал бы, потому что смеялась лишь душа Базыкина, еще живая. Душа его была живее тела, это он в ясные моменты понимал отчетливо и цеплялся за это, ибо ничего иного, что давало бы хоть малейшую надежду, не было, кроме ощущения жизни души. Язык, разбухший и шершавый, раздирал рот. Если бы звезда оказалась льдинкой и таяла у него на лице, на губах? Он почти осязал эту льдинку, губы холодели, но шершавый язык вновь касался сухих губ — и звезда все так же высоко мерцала в небе.

А смеялся Паша над самим собой.

Может быть, смех его, неслышный ни небу, ни людям в поселке, уже залегшим спать, все же привлек-таки одно живое существо. Сквозь гул в ушах различил он тихий лай и повизгивание, а потом по его лицу прошло горячее, частое дыхание. Большой черный пес стоял над ним и лизал его щеки. В узине канавы псу было трудно стоять, он распирался лапами, и, когда отряхивался, с его лохматой шерсти на пылающее жаром лицо Базыкина слетали водяные брызги: наверно, пес перебежал ручей или ночное росное поле оставило влагу на его лохматых боках и животе. И Базыкин начал слизывать влагу с длинной шерсти. Пусть и ничтожные, но эти капли воды освободили его дыхание, он застонал. Пес выпрыгнул из канавы, и в ночи явственно раздался его басовитый, отрывистый лай. Сергей Валентинович Терехов так же, как и другие обитатели поселка, которые еще не спали, слышал этот лай, но не придал ему никакого значения. Пес исчез, его долго не было. Вернулся, виновато скуля над Базыкиным: никого не привел на помощь, просил прощения... Но шерсть была такая же мокрая — и Паша, уже отчетливо осознавая, придерживал пса рукой за шею, опять слизывал влагу с его шерсти. Потом случайный друг лег рядом, втиснувшись между человеком и глинистой, заросшей бурьяном стенкой канавы. Лежал и, опустив голову на передние лапы, смотрел в лицо человека.

Почему же Паша смеялся над собой?

Он работал механиком, обслуживал птицеводческий комплекс. И вот сегодня вечером, после того как поколдовал часок-другой над капризным зарубежным механизмом, который подавал корм многим тысячам кур, отправился на окраину райцентра, где строились новые двухэтажные коттеджи. Паша с удовольствием прошелся вдоль коттеджей и остановился возле того из них, что предназначался для его семьи. Здесь должен был осенью поселиться сам

Базыкин, с ним и его отец, мать, братья и сестра. А может быть, и Зина, обещавшая в ближайшие дни пойти с ним в районный загс и подать заявление о том, что он, Павел Базыкин, и она, Зинаида Элимжанова, желают соединиться в законном браке. Так вот, когда Паша, пережив счастливые минуты мечтаний и собираясь уйти, повернулся к коттеджу спиной, от дуновения ветра, вдруг зашевелившегося ветвями деревьев, со второго этажа свалилась двойная оконная рама, да прямо на него, на шею и спину. Паша очнулся через час, не меньше. Кое-как высвободился из-под рамы и отполз от дома по бетонным плитам недавно проложенной и еще не заасфальтированной дороги. «Да уж, куда как смешно!» — думал Базыкин, лежа в канаве, в которую с невероятным трудом завалился, вовремя сообразив, что какая-нибудь машина запросто наедет на него и раздавит, если он в темноте останется на дороге.

После долгой утраты сознания он вновь почувствовал себя и удивился: сейчас он лежал голый в ярком освещенном помещении без окон, с белыми стенами. Еще больше удивился бы он, если б заметил, что на щиколотке его правой ноги привязана бечевкой небольшая фанерная бирочка, но бирочки он не видел: не мог приподнять голову. «Если я, допустим, в бане, — раздумывал Паша, — то почему лежу как бревно и не моюсь?» Ответ на свой немой вопрос он получил вскоре. Скрипнула дверь помещения с белыми стенами, и вошел седой приземистый старик в грязно-белом халате. Из-за полы халата виднелись и позванивали медали. Старик мурылкал: «Ах эти черные глаза в испанском стиле... Один туда, другой сюда, меня пленили...» Так это ж Перфилов, санитар районной больницы.

«Эй, Перфилов! Чего я здесь валяюсь?» — спросил Паша. Ему казалось, что спросил он громко и внятно, однако старик санитар и глазом не повел в его сторону. Шаркал ногами в красных носках и растоптанных желтых босножках и обходил взглядом Базыкина, да, обходил, это чувствовалось. «Боится он или стыдится меня, голого? Перфилов! Как же его звать-то, имя-отчество?..» Забыл... а скорее всего и не помнил, потому что сам Паша в больнице никогда не лечился, лишь навещал мать, когда ей резали аппендицит; всего дней восемь она и пробыла, тогда и познакомился с Перфиловым и запомнил его любимый напев. «Перфилов, чего молчишь?» — сердясь, окликнул Паша, но санитар по-прежнему глядел мимо. Резко скрипнула дверь, вошли двое. Одного по голосу сразу узнал — районный прокурор Дичков. А кто же еще? Но, как только тот произнес свои первые слова, и он вспомнил: Терехов. Если Паше случалось участвовать в собраниях, совещаниях, а их на душу населения хватало в Добытовском районе больше, чем всего прочего, то чаще других в последнее время упоминался Сергей Валентинович Терехов, с ним связывались какие-то надежды; кто же он, где работает? — этого не мог припомнить.

Терехов с опаской оглядел квадратное помещение без окон, беспощадно высвеченное большими электрическими лампами. Осторожно озирался и прокурор.

— Один... А все равно бирка с номером на ноге, видишь? — баском сказал прокурор.

— Да, номер первый, — тенористым голосом отозвался Сергей Валентинович.

— Положено, — робко вступил в разговор старик санитар Перфилов. — В морге человек должен под номером состоять. Такое заведение.

«Значит, я в морге?.. Ничего себе дела! — Паша, как ему казалось, резко шевельнулся, чтобы привлечь к себе внимание. — Неужели ж они не видят, что я живой?» Нет, никто из троих не заметил ни малейшего шевеления. Базыкин лежал тихо, вытянувшись на спине, холодный и голый. Обрывком старой простыни было прикрыто лишь причинное место. Холода он не чувствовал, а пришедшие слегка вздрагивали. Перфилов же, давно освоивший это жутко-белое помещение и никак не отличавший его от больничных палат, коридоров, хозяйственных подсобок и всего прочего, пояснил:

— Там, вон в углу, вроде бы шкаф. Со стенкой почти сливается... Холод подает. Лучше любого холодильника, только не в середину, а внаоборот, помещение подхолаживает... Регулировать можно.

Перфилов не стал дальше распространяться насчет «холодильника», испугался, как бы начальники не взяли рассматривать машину: в ее недрах старик прятал самогонный аппарат и десятилитровую канистру с ядреным пятидесятиградусным напитком.

— Агрегат большой, а работает без шума,— сказал прокурор, мельком бросив взгляд на санитаря.

— А с чего шуметь, когда в исправности? — буркнул тот и отвернулся, отметив пронзительность прокурорского взгляда. Прокурор был задумчив, старику же от страха показался его взгляд пронзительным. И без того широкий и низенький, Перфилов стал еще ниже, будто втиснулся каким-то чудом в цементный пол морга. Тревожно задвигались его фиолетовые глазки под рывками, с сединой, пушистыми бровями.

«С чем же они сюда пожаловали? — подумал санитар.— Ну, прокурор и раньше бывал. А Терехов — нет. На большой должности человек, если считать по нашему районному ранжиру. Ему-то что здесь надо? Не иначе как комиссия по всей больнице — от регистратуры до морга».

Слово «комиссия» чаще всех других слов слышалось в Добытове. То райторг проворовался — комиссия. То в школе после завтрака у детишек разыгрался понос — комиссия. То бумажный плакат с какой-то матерщиной наклеили на фасаде райкома — опять комиссия. Интересно, с чего Терехов проверку начнет? Вообще, по разговорам, он мужик скромный, хоть и руководитель. Взятки не берет, чем удивляет все население. Обыкновенных жителей в кабинете своем принимает запросто. «Вряд ли он с комиссией, — успокоил себя Перфилов.— Красть нечего. Разве моих покойников?»

Между тем на Пашу накатила темная волна, он некоторое время ничего не слышал, а тут хлынул вдруг сытный, душный запах поспевающей ржи. И он, Базыкин, с Зиной Элимжановой пробирается среди ржаного поля по узенькой тропинке. Базыкин почему-то огромный, почти достает головой ночное, сплошь усеянное звездами небо. Зина, которую он пропускает по тропинке перед собой, совсем-совсем маленькая. «Кажется, она мне по плечо, — думает Паша, — а сейчас как ребенок...» Зина оглядывается, вскинутые уголки к вискам синие глаза блестят воровато. «Ох, Пашка!» — шепчет она и кидается ему на грудь.

Они лежали, истомленные, не слыша ни шелеста колосьев, ни соловья, подающего снизу, от края покатога поля, из густых кустарников, судорожные трели. Воздух был теплый, а землю под собой они нагрели своими телами. Теперь их терзал голод. «Ща, момент!» — Паша подхватился, нарвал колосьев, жесткими ладонями растер их, отшелушил. «Ешь...» — насыпал зерен в узкую ладошку Зины. Оставил немножко и себе, забросил в рот. «Слушай!» — сказала, быстро работая зубами, Зина. «Что?» «Приложи ухо к щеке, вот... ну, сюда же!» Он прижался ухом к ее щеке, а она продолжала жевать. «Ого! Хрум-хрум-хрум... жернова!» Зина тихонько смеялась, и он жмурился, довольный, что кормит ее. «Еще!» — по-детски капризно поклячила Зина. «Чего еще?» — Он обнял ее. «Зерен, зерен!» — уперлась было она кулачками в его грудь, но тут же припала к нему — и небо сбросило на них все звезды.

— Вот судьба у парня, — отшвырнул звезды голос Терехова. — Ему грамоту вручать, а его нет...

«Кого нет?! Кого? Меня?! — кричал Паша. — Да вы с извилин соскочили!»

— За что ему грамоту? — спросил санитар.

— Технику для птицы обслуживает отлично, — ответил Сергей Валентинович и тут же устыдился: какая там грамота, когда перед ним мертвый человек?..

— Пашка до любой машины и не дотронется, а как рингеном всю просветит! — Санитар восхищенно цокнул языком. — Не зря его звали Паша Воробьиный Глаз.

— Воробьиный? Это чем объясняется? — нахмурился прокурор.

Санитар смутился:

— Люди-то, они... с умом-разумом не стыкуются... Разговорились про Пашкины механические таланты. Кто-то сказал: мол, глаз у него соколиный, зоркий. А он-то сам как захохочет: «Соколиный! Скажут тоже... Уж воробьиный, куда ни шло». Посмеялись и стали звать «Паша Воробьиный Глаз». Народ, он... ему токо подкинь чего посмешней!

— Не знал... — слегка обвинительно протянул прокурор. — Паша Воробьиный Глаз... А вот не увидел, как на него оконная рама летела. Шейные позвонки перебиты... центральная нервная поражена... шок...

— Да, чок — и конец... — Терехов опустил голову. Высокий, сухощавый

и уже чуть согбенный в свои тридцать восемь лет, он беспокоило поправлял очки на аккуратном, с горбинкой носу. Тем внушительнее выглядел рядом с ним прокурор Дичков, широкоплечий, розовощекий блондин.

— Недосмотр, что ль, случился в смысле Пашиной гибели? — вскинул фиолетовые глазки Перфилов.

— Ветер налетел, а дом недостроенный, рама и упала, — объяснил Дичков. — Подгоняли ребята рамы, а гвоздями закрепить и забыли. Все у нас вот так, абы как...

Терехову надоела настырность старика санитаря, он тихо и решительно сказал:

— Подите, пожалуйста, прогуляйтесь.

Старик зашаркал своими желтыми босоножками и подчеркнуто тщательно попрыгал за собой дверь.

Прокурор подошел поближе к Базыкину. Тот лежал на длинном, покрытом оцинкованной жестью столе. Еще три таких же стола пустовали. Лицо Паши разбилось, когда сверху на него обрушилась оконная рама и он упал лицом вниз. Курносый нос избородили царапины. Черный кровоподтек закрывал почти всю левую щеку. И странно неподвижными застыли открытые серые глаза на белом как снег лице. Кровоподтек лишь подчеркивал мертвенную бледность щек и шеи. Высокий лоб, белый, с черно-красными вмятинами, длинные, чуть вьющиеся каштановые волосы. Сильный торс, бугристые бицепсы, густо заросшая грудь, раскинутые волосатые длинные ноги.

Терехов же не приближался к столу, на котором покоился Паша, ему хотелось поскорей покинуть морг. Было холодно и страшно, казалось, вот-вот Паша встанет и потянется к нему своей волосатой окаменевшей ручищей.

И все же Сергей Валентинович не жалел, что пришел сюда. Тем более еще и потому не жалел, что на больничном дворе повстречался с прокурором Дичковым и теперь мог не по телефону или в кабинете, а именно здесь обсудить необычайное происшествие.

Оно осталось бы обычным несчастным случаем, пусть и с трагическим исходом. Но заключение о смерти Базыкина, подписанное врачом Шелковской, опротестовал главный врач районной больницы Евгений Вилейкин. Вчера он вернулся из отпуска. Опытный травматолог, Евгений Антонович Вилейкин, помимо всего прочего, обладал незаурядной интуицией. Со смешанным чувством восторга и страха он открыл, что в человеке, которого сочли мертвым, еще теплится жизнь. В анатомичке больницы тщательно обследовал его. Сделал анализы, взял пробы тканей организма, а все полученные данные заложил в компьютерную аппаратуру. Да, в Добытовской поселковой больнице был установлен опытный образец отечественной компьютерной аппаратуры. Вилейкин выбил ее в Минздраве: ему помог однокашник по институту, ставший видным и деятельным чиновником. И, к радости главного врача, аппаратура сработала безотказно и точно.

Придя к выводу, что Павел Базыкин впал в состояние летаргии, Евгений Антонович решил, что нужно срочно пригласить в Добытово крупных медиков из Москвы, провести консилиум. Перед отъездом в Москву он оставил районному прокурору свое письмо.

Письмо это прокурор прочел по телефону Терехову.

«Такого у нас еще не случилось...» — забеспокоился Сергей Валентинович.

Вилейкина в больнице уже не было, он срочно выехал в Москву. Шелковская дежурила ночью, поэтому тоже отсутствовала. Молоденький врач, недавно присланный в район, уже успел уяснить здесь, кто есть кто, и поначалу хотел было почтительно провести Терехова в кабинет главного врача. Вспомнил, что кабинет пуст и заперт. Пошел впереди Сергея Валентиновича через больничный двор. Здесь он и Терехов и встретились с прокурором Дичковым. Все трое испытали удивление: начальники удивились тому, что встретились в столь необычном месте, молодой врач — тому, что оказался рядом с двумя начальниками сразу. Дичков, которому по его служебным надобностям приходилось бывать и в морге, жестом отпустил молодого врача, и тот с облегчением побежал в главный корпус больницы, где его ждали живые страждущие люди.

— Признаюсь тебе, Сергей Валентинович, меня прямо-таки шархнуло письме главного врача, — говорил Дичков, острым взглядом криминалиста окидывая Пашу Базыкина. — Очень рад, что мы тут с тобой встретились.

— Скажи-ка, почему Вилейкин оставил его тут лежать? — спросил Терехов.

— Нашел, что так ему лучше.

— Здесь — лучше?!

— Холода не чувствует. Состояние, подобное анабиозу... и летаргии. А кроме того, здесь покой.

— Да уж, полный покой... Ну, Вилейкин... Летаргия! — Нельзя сказать, что Сергей Валентинович никогда не слышал этого слова. И слышал, и читал, особенно в юности, когда увлекался фантастикой, которую давно уже стал презирать за бесполезность. Но с явлением таким — летаргией — он лично в жизни никогда не встречался, потому теперь и воспринял как нечто несуразное, чего и быть не может.

— Да не возмущайся ты... Бывают, редко, но бывают случаи, когда живых принимают за мертвых. Вообще у нас в стране при Советской власти ни единого человека живым в землю не закапывали... — В сдержанном баске прокурора почудилась Терехову ядовитая ирония. — Это еще при Николае Первом случилось. Похоронили одного великого писателя. А когда, много позже, проводили эксгумацию, нашли, что лежит он не на спине, а почти ничком, еще и скорчился.

— Скорчился?..

— Видно, очнулся от летаргического сна, стал задыхаться, в мучениях и корчился.

Рассказ об этой поразительной кончине сильно ободрил Пашу. «Значит, не с одним со мной такое могло приключиться!.. А даже вон с великим человеком...»

— Я не знаток в медицине, — дабы убедить Терехова, завершил свою мысль Дичков, — однако читал: бывают самые различные формы летаргического состояния.

Прокурор вынул было пачку сигарет, но сунул их в карман:

— Нельзя. Я могу табачным дымом повредить ему.

— Кому?..

Паша радовался. Ему казалось, что косо надетая на его голову колокольня старинной церкви, разрушенной еще в тридцатые годы, стала вдруг легче, он начал плясать. Колокольня качалась, вертелась красно-голубым ковром небо, а он плясал и плясал. Эх, если б на колокольне были колокола, как они пели бы сейчас! Но Пашу-то не волновало безмолвие колокольни, он радовался: она не давит его к земле, и с ней на голове и в обнимку с ней можно плясать. «Живой!..»

Сергей Валентинович отошел в угол, подальше от обитого жестью стола.

— Душа его еще, как говорится, не успела отлететь, только вчера умер, а мы с тобой возле него треплемся.

— Что касается Вилейкина, его наблюдений, ты не сомневайся. Опытный врач. Многие вещи определяет точнее, чем в областных клиниках. В судебной экспертизе помогает иногда... А ты, кажется, написал что-то о Базыкине?

— Хотелось теплей поздравить... — понурился Терехов.

Паше предполагали вручить Почетную грамоту Верховного Совета РСФСР в торжественной обстановке, в районном клубе.

От имени района слово взялся произнести Терехов. Прикидывал, что же о Паше можно сказать? Взял в отделе кадров птицекомплекса его анкету, биографию. Образование среднетехническое, служил в инженерных войсках; строил БАМ. После армии вернулся в родной поселок. Имеет благодарности за хорошую работу. Вот, собственно, и все. А соберется в клубе много народу. Сказать надо нечто необыкновенное, чтобы запомнилось людям. Да что особенное придумаешь, если образование такое высшее, какое дает заочное отделение института мелиорации? Не подобрал он знаний, жаль. Но не позволял мозгам застаиваться. Внимательно процеживал новую информацию, хлынувшую со страниц газет и журналов. Да, кроме того, поняв, что время требует почаще общаться с людьми — и с отдельными, и с массой, как-то предпринял попытку исправить плохую от рождения дикцию. Вслух читал стихи, скороговорки и, если дома никого не было, кричал и шептал. Стал ходить к реке, набирал в рот промытые камешки и в те моменты, пока грохотали по железнодорожному мосту эшелоны, пытался, с камешками во рту, издавать звуки, уподобляясь Демосфену. Возможно, Сергей Валентино-

вич до виртуозности отточил бы дикцию, если б случайно камешек не проглотил. Пришлось обратиться в больницу, и там проталкивали камешек по пищеводу особым зондом. Потом он объяснял: ужинал, наспех закусывал на берегу реки и не заметил, как во рту оказалась малюсенькая галечка... От того случая осталась легкая травма гортани. И вместо блестяще отшлифованной дикции получил он чуть заметную хрипотцу, не помогали ни теплое молоко, ни боржоми. Между прочим, хрипотца придавала его голосу внушительную, попугивающую тональность. Вообще любил он припугнуть тех районщиков доступных ведомств и рангов, которые, по его мнению, обюрократились. Но Паша-то Воробьиный Глаз не подчиненный служащий и не интеллигент. Работяга, первоклассный механик. Потому Сергей Валентинович и пожелал сказать о нем доброе слово в клубе при вручении правительственной награды. Пораскинув умом, нашел, кто сумеет помочь ему, подготовить выступление: обратился к Пашиной невесте Зине, заведующей клубом. В районной газете изредка появлялись ее заметки, написанные и разумно, и хорошим слогом. Уж про своего любимого жениха выхватит из души и чувства, и слова, подходящие для торжества, можно не сомневаться.

Написав искренние и возвышенные странички, Зина зашла к Маечке, машинистке, работающей в прокуратуре, и попросила перепечатать. Шепнула по секрету, что сочинила для торжественного вечера и что приветствие будет зачитывать Сергей Валентинович. Маечка оставила себе третий экземпляр будущей речи: настолько тронули ее Зиночкины чувства, запечатленные на бумаге.

С гордостью за нее машинистка показала прокурору, своему начальнику, сочинение подруги...

— С похоронами придется потянуть...— без видимой настойчивости, скорее просительно сказал Василий Никитович.— До возвращения главного. Вдруг ему удастся привезти московских светил, провести консилиум?

— Зачем это?

— Чудес, говорят, не бывает, а все же хочется надеяться.

«На что ж тут надеяться?»— Сергей Валентинович прикоснулся пальцами правой руки ко лбу Паши— и отдернул руку: таким жутким холодом повеяло.

Обхватив свои пальцы левой, теплой ладонью, Терехов с искренним состраданием думал: «Глаза открытые... Некому было закрыть, когда умирал. А теперь еще издеваться над ним замыслили... Кромсать покойника?.. Нет, нельзя этого допустить! Чтоб не остался в памяти людей каким-то подопытным кроликом. Намечали награждать его в клубе, там будем с ним и прощаться. Сам, первый, в почетном карауле встану...— Сергей Валентинович вытянулся, опустил руки. Почувствовал слезы на глазах. Снял очки. Отвернулся, чтоб Дичков не видел, промокнул платком. И опять вытянулся.— Какую все-таки ерунду мог выдумать Вилейкин... Стоп! Прославиться захотел. Вон что!.. Ну, конечно, не иначе. Интервью в одной-другой газетке. Потом уж поди докажи, что с ним было. Все одно усойший. А сенсация уже прошумит. В каком-то зачуханном Добытове объявился врач особенно талантливый. Тут он из глухомани— да прямо в московскую клинику! Вот и вся комбинация...»

Сергей Валентинович повернулся к Дичкову:

— До чего ж распоясались циники всякие!

Прокурор заикнулся было спросить, о каких циниках идет речь, но уловил в тенористом говоре Терехова хриловатые нотки, которые появлялись у него в моменты гнева. Все в районе знали: если Сергей Валентинович начинает хрипеть, нужно или соглашаться, или закруглять беседу. Знали и то, что спор только ожесточает его. Если уж вбил что-либо себе в голову, никакими доводами не выбьешь. Попробуй сейчас сам Паша встать с оцинкованного стола и поздороваться с Сергеем Валентиновичем, тот, наверно, лишь тряхнул бы головой, приняв это за галлюцинацию, и ничуть не изменил бы своей убежденности, что механик птицекомплекса мертв, как всякий нормальный покойник. Мало того, в душу Терехова вкралось подозрение, растущее от минуты к минуте, подозрение в том, что его обманывают, причем обманывают нагло и бессовестно и неведомо почему...

Брезгливо взглянув на прокурора, он с обидой, хрипло выдохнул:

— Кошунство!— И вышел из morga.

Как обычно, в этот день Сергей Валентинович принимал посетителей—

по заранее расписанному порядку или сегодня возникшей необходимости. Разговаривал по трем телефонам, стоящим на его столе, отвечал на звонки. Подписывал бумаги. Тем не менее жалость к Паше теснила ему грудь, а то, что Евгений Вилейкин умчался за медицинскими светилами, он также ни на миг не забывал. Главный врач известен своей настырностью: не только опытный образец медицинской техники затащит в никому неведомую больницу, он и министра из кресла выхватит и доставит в поселок...

Беспощадный свет электроламп не доходил до Базыкина. В разрушенном сознании проплывали картины, короткие картинки мелькали, возникали голоса людей, треск его мотоцикла; иногда до ломоты в ушах врвался усиленный болезненным током поврежденных нервов тысячеголосый писк кур и цыплят с птицекомплекса... Голос Зины он старался удержать, чтобы не исчезал: чуточку гортанный тембр, унаследованный от отца ее и деда, умилял его. «Мое татарское иго!» — шутливо говорил он ей, она смеялась вскинутыми к вискам глазами, материнскими по цвету, синими: ее мать, русская крестьянка Елена Фадеевна, соединила судьбу свою с татаринном Закиром Элимжановым, родила четверых детей. Старшей была Зина...

— Одну вещичку тебе покажу, — сказала Зина, приподнимаясь с земли, с Пашиной куртки. Взяла из кармана своей вязаной шерстяной кофточки, которой она прикрывала грудь, вчетверо сложенные листки — и стала читать. Речь про Пашу на праздничном вечере, написанную для Сергея Валентиновича Терехова. Паша лежал, широко раскинув могучие руки, и слушал серьезно.

— Неужели я такой необнаковенный? — спросил он, нарочно коверкая слово, когда она кончила читать.

— Я еще поскромничала! За тебя... Знала, что ты будешь стесняться. А то можно и еще многое про тебя сказать...

Базыкин не стал ни одобрять, ни возражать, с разумом своей любимой он считался больше, чем со своим.

— Если так нужно... и ты находишь...

— Считаю, утверждено! — приказательно-смешливо объявила Зина, сложила аккуратно листки, водворила их в карман кофточки и хотела было опять прикрыть ею торчащие, как маленькие купола, груди, но Паша вырвал кофточку из ее рук, обхватил, прижал ее — и она сразу потянулась к нему уже распухшими за нынешнюю ночь губами...

Звезды на небе начали бледнеть, а колосья ржи, вдавленные в серую землю, отпечатались причудливым золотисто-зеленым орнаментом. Зина встала с земли голая, не отворачиваясь от Базыкина, а играя перед ним, легкая и словно бы прозрачная под луной. Встряхнула перемятую блузку, юбку, оделась; угольно-черные длинные волосы скрутила на затылке узлом. Медленно, нехотя оделся и он. Поднял на руки свою подругу и понес по тропинке через ржаное поле, уже потерявшее теплоту и душевную сладость, и незаметно отчего из глаз его вдруг полились слезы. «Милый, ты что? — ощутив влагу на своем лице, восторженно воскликнула Зина. — Пусти меня, я пойду!» Идя рядом с Базыкиным, она прижималась к нему плечом, глядела, пытаясь понять причину слез. «Ничего... Видно, люблю тебя...» — «Я тебя еще больше!» Желтеющие колосья вспыхивали под луной, как огоньки свечей, и все поле было залито тихим их светом. Сейчас, вспоминая эту последнюю ночь с любимой, Паша понял, отчего хлынули слезы: всю его душу тогда вдруг сжала тоска предчувствия.

Прокурор Дичков, сидя в тесном кабинетике, думал о том, что ему предпринять. Позвонил в область своему шефу, желая заручиться его поддержкой: он хотел бы вынести постановление районной прокуратуры, временно запретить захоронение, да случай из ряда вон выходящий, надо согласовать. Пришлось все объяснять подробно. Его соединяла по телефону с городом Майя, Маечка — машинистка и технический секретарь. Слышимость была плохая. Маечка нервничала, прокурор, надрываясь, разговаривал в своем кабинете — и Маечку, сидящую в приемной, повергло в ужас то, что сообщал Василий Никитович областному прокурору: Пашу Базыкина хотят похоронить, а он помирает и не собирается. Дальше из кабинета доносились лишь отдельные слова, а затем и полные фразы: «Да, да, лучше уж доложить лично! Я немедленно выезжаю...» Дичков быстро, боком вывернулся в приемную, достал из пачки сигарету, закурил, взглянул на секретаршу, оцени-

вая, слышала ли она его телефонный разговор с начальством, махнул рукой: а, мол, все равно.

— Маечка, я — в область. Завтра вернусь.

Маечка, придя с работы, места себе не находила, сердила мать: все из рук падало. А позже стремглав бросилась к Зине, вывела ее из дома и, задыхаясь от волнения, обрушила на подружку все, что поняла из прокурорского телефонного разговора.

Зина охнула и так вцепилась в тщедушную свою подружку, что та застонала. Зину узнать было трудно: под глазами пролегли темные круги, лицо осунулось, она не спала уже вторую ночь. Дневала и ночевала возле Пациной койки в больнице, в специальной палате для совсем безнадежных, ожидая, что он очнется. И когда врач Шелковская профессионально-сочувственным полупешотом сказала, что больной скончался и нет смысла возле него сидеть, девушка без сознания сползла с табуретки на желтый линолеум пола.

Рассказ Майи вдохнул в ее душу новые силы...

Не сказав ничего матери и отцу, мелькнувшим на крыльце их одноэтажного, с полисадником домика, Зина побежала к Терехову. Дом его, добротный, тоже одноэтажный, но кирпичный, с обширными пристройками, стоял невдалеке от сквера, где возвышался памятник Ленину. На том же пьедестале еще тридцать пять лет назад стоял монументальный Сталин, но молодые уж и не знали об этом, а старики забыли. Зина нажала кнопку звонка, вышел сам хозяин. Его привычно доброжелательное лицо было в этот момент сосредоточенным и соболезнующим.

— Слушаю вас, Зина, — он приветливо указал на раскрытую дверь. — Заходите в дом, пожалуйста.

Девушка понялась было, но тут же подалась к Терехову и тихо сказала:

— Сергей Валентиныч!.. Не разрешайте хоронить Пашу. — Упала вдруг на колени, вскрикнула: — Похороните лучше меня!

— Да зачем же вас-то, Зиночка? — теряя спокойствие, Сергей Валентинович стал разнимать ее руки, обвившие его ноги в полосатых пижамных штанах. — Отпустите же! Мне... неудобно... Еще кто увидит, что вы стоите передо мной... в такой позе.

Освободившись от нее, вернулся в дом. Жена спросила:

— Зина была?

— Да... — рассеянно буркнул Терехов.

«Какая славная получилась бы пара! — думала жена о Паше и Зине. — Видеть их рядом, когда они ходили вдвоем по поселку, и то было приятно. Он гигант парень, она маленькая, гибкая, вся так и струится и льнет, льнет к нему...»

— Просила что-нибудь? — Она наливала в синие чашки теплое молоко, накладывала в розетки густой гречишный мед.

— Ничего не просила.

— Все ж актрисуля Зиночка... Почему на коленях стояла? Извини, я в окно видела.

Пришлось рассказать.

Жена расстегнула пуговицы халата: ей стало душно.

— Несчастный случай, понятно. Очень их обоих жаль... очень! Да к чему вокруг этого карусель устраивать? Консилиум, а того пуще потом еще и эксгумация?! Само слово-то гадкое... — Верхняя губа, розовая, сочная, брезгливо приподнялась, обнажились красивые зубы. — Вообще-то Вилейкин вроде бы и человек милый: и поест любит, и веселые анекдоты рассказывает... Однако самомнение у него ну просто непомерное, оказывается!

— Тише. Детей разбудишь.

Жена притихла.

Терехов близоруко сощурился, поставил на колени телефонный аппарат.

— Ты не видела, где мои очки?

Жена подала очки. Ее умяляло то, что муж, собираясь говорить по телефону, обязательно надевал очки.

Он вознамерился позвонить кое-кому из ответственных работников, посоветоваться. Но опустил трубку на рычаг, с раздражением думая: коллеги из районного руководства, пожалуй, отделаются общими фразами или пождут, что скажет он сам, — и немедленно согласятся...

Зина постояла, потерянно глядя на ярко освещенные окна тереховского дома, потом бросилась в другой конец поселка, к больнице. Вскоре оказалась возле неприметного здания морга. Окон тут не было, но светилась дверная щель: санитар Перфилов гнал самогон. Заколотила по двери кулаком. Перфилов спросил:

— Кого там леший несет?

— Матвейч! — закричала Зина. — Открой, Матвейч! Это я! Зина Элимжанова...

Перфилов попросил подождать маленько: ему нужно было слить в пластмассовую канистру свежий самогон и запрятать канистру и самогонный аппарат в стенной морозильник. Зина топталась перед дверью, кусая губы, слезы лились по ее щекам.

— Пашенька... родной! — шептала она темнеющему небу, где уже начали пробиваться первые звезды.

Увидев Зину, Перфилов отшатнулся: длинные черные волосы ее разбросались по плечам и груди, она скулила:

— Пусти меня, Матвейч... а?..

— Куда пустить?

— Пусти к Паше...

— Так чего тебе тут? — Перфилов запахнул свой грязно-белый халат. — Ему-то уж все равно.

Зина выхватила из кармана кофточка сложенную вчетверо трехрублевку, всегда носила при себе на случай срочного отъезда на автобусе в город или если подвернется в магазине что-либо из продуктов. Сунула санитару трояк в его мягкую широкую лапу.

— Я только посмотрю на него...

— Не положено, — пробурчал Перфилов, но, спрятав трояк в карман халата, впустил Зину.

Она увидела своего суженого и тихо-тихо, не дыша, пошла к столу, на котором он лежал.

Санитар, деликатно кашлянув в рукав халата, вышел.

— Паша, это я... — сказала громко Зина. — Я пришла к тебе. Ты меня слышишь?

Она после разговора с подругой Маечкой неколебимо поверила, что он не умер. Беломраморное лицо Паши с кровоподтеком вдоль всей щеки было неподвижно, как и его тело, но Зина верила, не могла не верить.

— Пашенька, я не дам тебя похоронить! — Она обнимала его холодные, как стальные камни, плечи, целовала крепко сжатые губы, прижималась к нему. Он все это слышал, все понимал и вспоминал, как любила она лбом, щеками, носом зарываться в густые темные волосы на его груди, шепотно, озорно смеялась и тихонько вскрикивала: «Борода! Борода!»

Дальше перед ним начали мелькать картинки вечера в районном клубе, их с Зиной выступление, вызвавшее бурный восторг публики. Они изображают номер «Цыпленок идет в Кудкудаки». Среди зрителей, как всегда, рабочие и служащие птицекомплекса, им и адресованы и шутки, и танцы, и песенки. Высоченный Базыкин, комично меняя шаг, то вытягивая, то как бы в паническом страхе втягивая шею, изображает цыпленка. Зина, бранчиливая, злая курица-наседка, подламывая красивые ноги, ковыляет рядышком и поет, обращаясь к Базыкину: «А куда же ты идешь?» — «В Кудкудаки!» — отвечает он; она еще настырней спрашивает: «А чего же ты найдешь?» — «Ничеваки!» — раздается в ответ. Базыкин изгибается, будто под тяжестью утюга, фырчит, словно бы из него, лежащего на сковороде, брызжет горячий сок, и, уминая свой баритон до тонкого голосочка, выводит: «Жизнь прекрасна и легка, я — цыпленок табака!» Публика азартно аплодирует, хохочет...

— Зиночка, — промолвил он громко и старательно-внятно, — я очень рад, что ты пришла ко мне... Зина, не отдавай меня!

Конечно, она не слышала этого, но в ней с каждой минутой крепла надежда, что Паша жив. Современная аппаратура, изощренные анализы и интуиция дали эту надежду талантливому врачу Евгению Вилейкину. Зина с той же точностью все постигла душой. И, когда вернулся старик санитар Перфилов, она бросилась к нему, затормошила его:

— Матвейч! Он живой, Паша! А на него уже и номерочек, бирочка фанерная, номер один... Видишь? Это как же понимать, Матвейч?!

Санитар понял это по-своему: он суетливо вышел, пробежал до основного здания больницы и рассказал врачу Шелковской, которая дежурила в тот вечер, о «поведении» Зины. Шелковская попросила санитаря привести Элимжанову к ней. С трудом оторвал он Зину от Базыкина, от обитого оцинкованной жстью стола. Шелковская внимательно взглянула на рассыпавшиеся по плечам длинные, почти до талии, волосы, не удивилась ее сияющим глазам; она сразу поставила, как ей казалось, безошибочный диагноз: страшное потрясение лишило девушку разума.

— Бедняжка, бедная девочка! — вырвалось у нее, и она смахнула платочком наворачнувшиеся слезы. — Сейчас мы тебе... поможем...

— Спасибо, доктор! — Зина поняла слова врача как желание помочь Паше. — Можно вернуть его к жизни, значит, да, можно?!

— Не волнуйся, милая, сейчас... — Тяжко вздыхая и путая цифры на диске, набрала номер телефона областной психиатрической больницы, располагавшейся в Добытовском районе, километрах в пяти от поселка. Оттуда немедленно примчался небольшой закрытый автофургон, дюжие санитары набросили на Зину какую-то связывающую одежду и швырнули в кузов фургона. Отчаянное же ее сопротивление Шелковская отметила в медицинском сопроводительном документе как явный признак умопомешательства.

На третий день после несчастья похороны, как полагалось бы по обычаю, не состоялись... Пашины друзья и гроб сколотили, и вырыли могилу. Родственники приготовили поминки. Но Пашу не разрешали взять из морга: в своем письме, которое главный врач оставил в прокуратуре, он настаивал не разрешать похороны в течение недели.

Утром, это уже на четвертый день после происшествия, все сильнее волновавшего добытовцев, Терехов шел по улицам поселка. И заметил вдруг: знакомые люди, а их среди жителей было много, вместо обычного: «Здрассте, Сергей Валентиныч!» — опускали головы и проходили мимо.

«Плохой, очень плохой знак», — встревожился Терехов.

Подписав срочные бумаги в своем кабинете, он взглянул на часы: 10 часов 20 минут.

«Прокурор совсем хорош, никаких вестей не подает...»

Сергей Валентинович не знал, как странно обернулась поездка прокурора в областной центр.

В областном городе, откуда сам прокурор был родом, готовилась свадьба: во второй раз женился Анатолий — двоюродный брат Дичкова, токарь вагонностроительного завода. Василий Никитович почитался как фамильная гордость среди всех родственников, в общем, простых, необразованных людей. Как раз в тот день, когда Дичков собрался ехать, и позвонил Анатолий. Называл его ласково брательником, просил заглянуть на свадьбу хотя б на полчаса, поздравить. Он уже и родню невесты оповестил, что ожидает брата-прокурора. Теперь стыдно и унизительно будет, если тот откажется. Дичков рассудил, что доберется до города уже вечером, идти в областную прокуратуру все равно будет поздно. Он заедет к брату, посидит там полчаса, потом — в гостиницу. Отдохнет, сосредоточится, а утром соберется — и на прием. Заверил брата, что обязательно приедет. Сам за рулем, подкатил на запыленной служебной «Волге» к кафе, где справляла свадьбу. Любящие родственники оглушили его приветственными криками, хлопаньем в ладоши. Он произнес тост, поздравил новобрачных и собрался покинуть застолье, но не тут-то было... Его смяли горячими объятиями. Он пытался объяснить, что приехал по чрезвычайно важному и срочному делу и завтра утром ему нужно быть в областной прокуратуре. Упоминание столь почтенной инстанции произвело совсем обратное действие, родственники и друзья объединились теперь уж и вовсе в каком-то свирепом обожествлении Василия Никитовича: ого, он прибыл не за покупками в городской универмаг, а вона куда! И неужели не выпьет еще разочек вместе со всеми за здоровье жениха и невесты?!

— Эгоист! — накаляясь злостью, уламывал Анатолий. — Его позвали как порядочного, а он всех на себя мотает!

Дичков отказывался пить, рвался из родственных рук и каким-то нечаянным образом съездил жениху по физиономии. Тогда в двоюродном брате засигналила классовая жадность: мелкорайонный обвинитель портит его, трудяги, задушевный праздник, еще и рукоприкладство себе позволяет... Ана-

толий ответил проворно и сноровисто. «Свадебного генерала» заставили-таки ради того, чтобы никогда, во веки веков, не было вражды между родными, выпить рюмку-другую. Он и тосты начал бессвязно произносить. Один тост, маловразумительный и никому не понятный, произнес за здоровье Паши. Затем почетного гостя отвезли на квартиру дяди, где он блевал, стонал, проклинал себя. Взревел от горя, обнаружив, что, вероятно, в кафе, где буйствовала свадьба, пропал его кейс. Черт бы с ним, с кейсом, но в нем лежало адресованное районной прокуратуре письмо Вилейкина, в котором тот подробно, аргументированно доказывал, почему необходимо повременить с похоронами до его возвращения из Москвы.

Когда утром Василий Никитович появился в областном своем ведомстве, сотрудники, даже давно знакомые, брезгливо дергались: изо рта с рассеченной губой еще исходили спиртные пары. Областной прокурор, проинформированный помощником и секретарем, не принял его, поручил заместителю. Тот рассеянно слушал преступно благоухающего коллегу из района и не находил убедительными его речи.

Не лучше сложились и дела Вилейкина. Оказавшись в Москве, Евгений Антонович, низенький толстяк, лобастый, русоволосый, бросился в Минздрав в надежде, что ему поможет институтский друг, но тот находился в заграничной командировке.

«К кому же мне сунуться?» — соображал Вилейкин, легкой походкой толстого, но поворотливого человека меряя коридоры министерства.

Зашел в один из кабинетов. Объяснил причину приезда. Хозяин кабинета, лет сорока, спортивного склада, в затемненных очках, предложил сесть. В Москве стояла духота, Вилейкин наслаждался прохладой кондиционера. Сквозь затемненные очки чиновник долго смотрел на гостя, как бы что-то припоминая.

— А! — воскликнул он наконец. — Это вы уволокли куда-то к черту на кулички экспериментальную аппаратуру? Опытный образец? Вы?!

— Я не уволок, я получил официально!

Хозяин кабинета не захотел вдаваться в подробности просьбы Вилейкина, торопливо, неприязненно подал руку, стремясь поскорей выпроводить его.

Другой сотрудник, более высокого ранга, сановитый, вероятно, подражающий манерам дореволюционных профессоров, рассматривал материалы Евгения Антоновича, тихо что-то мурлыча. Добытовский путешественник тоскливо смотрел на часы — высокие, напольные, с длинным, оскорбительно ленивым маятником.

— Право, не знаю, что и думать...

— А почему бы не посоветоваться?! — напористо возразил Вилейкин. Но неожиданно раздался бой часов, тех самых, напольных, с ленивым маятником. Часы били гулко, степенно и, как казалось Евгению Антоновичу, необычайно громко. Нашему правдоискателю, прошедшему пятый или шестой кабинет министерства, в звоне этом чудилось издевательство: он только что начал вновь объяснить свою миссию, а часы заглушали его слова. Вилейкин силился преодолеть и громкость, и ритм неумолимого механизма. Сановитый сотрудник, со значком отличника здравоохранения на лацкане пиджака, выражением лица откровенно давал понять, что вслушивается в приятный ему, привычный бой часов, но отнюдь не в пояснения добытовского медика. А Евгений Антонович еще запальчивей пытался втолковать, сколь необходимо срочно, чрезвычайно спешно послать группу врачей из Москвы, провести консилиум...

По министерским каналам распространилась молва: странный доктор из какого-то далекого района носится по этажам и коридорам, врывается и требует оживить покойника... Вилейкина принимали все более недоверчиво, пересылали из кабинета в кабинет, и хождению этому не виделось конца...

Может быть, в тот момент, когда главный врач добытовской больницы, кипя негодованием, ерзал на краешке стула в очередной приемной, а именно в 10 часов 50 минут, на четвертый день после несчастия, Терехову позвонил давний другок по работе в комсомоле, главный редактор районной газеты Лузганцев:

— В больнице наш корреспондент побывал... Там, во дворе, жители поселка собираются. Толпа, судя по всему, буйная.

— А Дичков и Вилейкин никаких сигналов не подают, — сдерживая раздражение, бросил Терехов. Нажал кнопку звонка.

Вошла секретарша — седая, быстрая, четкая.

— Соедините с больницей. С Шелковской.— И, когда его соединили, спросил: — Анна Владимировна, что там у вас?

— Ломают дверь морга. Кричат, что сами хотят проверить, что с Базыкиным...

— Ваше медицинское заключение где?

— У родственников покойного.

— Документ имеет законную силу?

— Всегда имел... И я давала подобные заключения, и сам Евгений Антоныч. Но в этом случае, в связи с... с его особым отношением...

— Понятно. Вот что, Анна Владимировна... Выдайте Базыкина родственникам. Бедолага... Ему и на том свете покоя не дадут! Выдайте. Сегодня же проведем гражданскую панихиду. И похороним.

Сергей Валентинович опустил трубку, поднял ту, что лежала на столе:

— Ты мой разговор с врачом Шелковской слышал?

— Да.

— С народом нельзя не считаться. Особенно в крутые времена... Будь здоров.

— Сергей Валентиныч, погоди... Много, очень много писем! Так никогда не бывало.

— Чего хотят?

— Вот ты сказал, что Базыкину не дают покоя и на том свете... А на каком свете все мы живем-поживаем?.. Иногда возникает вопрос и, знаешь ли, повисает в воздухе.. Может, ты выступил бы в газете? Порамышлял бы...

— Я?..

Терехов откинулся в кресле, рассеянно оглядывая обширный свой стол и прикидывая, под каким бы удобным предлогом отказаться, но вдруг увидел машинописные листки Зины Элимжановой.

— Погоди...— сказал он в трубку. Полистал страницы.— Пожалуй, я дам тебе заметку.

Опустив трубку и отодвинув телефон, Сергей Валентинович взял из мраморной подставки ручку, поправил странички, написанные для него Зиной. Заметка получилась острая. Некоторые фразы о безалаберности строителей, о безответственности и чванстве аппаратных работников звучали обличительно. Сделал довольно резкие обобщения, захватив в поле зрения весь район. Отдал дань и самокритике. Подписал: «Сергей Терехов». Задумался: надо ли указывать должность? Нет, лучше не указывать, демократичней.

Нажал кнопку звонка. Мгновенно возникла секретарша.

— Перепечатайте. Все отложите — и сразу перепечатайте.

Из приемной доносился приглушенный стрекот пишущей машинки.

Смуглое, со впалыми щеками лицо Сергея Валентиновича светилось воодушевлением. Он стоял посреди кабинета, сейчас казавшегося ему удивительно уютным. Сердце горячо билось, отзываясь на его мысли: «Ближе, еще ближе к людям!.. В этом вся суть. И на работе встречаться, и семьи навещать, знать по имени-отчеству. Из-за чего ссорятся, чем мирятся. Детишкам вихры трепать ласково, как своим собственным... Вот выступаю в газете. Широко: говорю о судьбе и гибели рабочего человека, о каждодневных заботах, о хлебе насущном. Скромно, ненавязчиво даю ориентиры...»

Присел к столу, любовно всмотрелся в заметку. Попросил секретаршу завтра передать пакет в редакцию.

Снова вспомнил о Дичкове, о Вилейкине:

«Как же теперь наш гениальный врач будет выкручиваться? Если и привезет кого-либо из Москвы, те ни с чем и уберутся обратно. Выкапывать жители не позволят. Хоть сто прокуроров приказывай! Люди скажут: кому-то надо счесть с кем-то свести на этом бедственном случае. А заводили сами и опозорятся с их показушной эрудицией. «Не делай ничего лишнего,— изрек древний мудрец,— ибо все лишнее ложится на твой горб». Да, не позавидуешь милому толстяку, торопыге... Скорее всего придется ему вообще покинуть Добытово...»

Поселок успокоился. В клубе сорок минут шла гражданская панихида.

Толпа людей с просветленными лицами двигалась в сторону кладбища.

Было торжественно и чудно в июльских бездонных небесах и чинно ча кладбищенской земле. Играл духовой оркестр. Много народа провожало в последний путь лучшего механика птицекомплекса. Прощальное слово про-

изнес его директор, еще кое-кто говорил. Но все отметили яркую речь Терехова. Женщины прослезились.

Слушал речи и Паша. Что-то в нем произошло: он яснее стал соображать, слышать, а вот двинуть хотя бы зрачком по-прежнему не мог. И не чувствовал прикосновений — поцелуев матери, отца, братьев, сестры. Среди всех голосов и звуков он ловил голос Зины — и не различал его. «Или нет ее здесь?» Ему хотелось позвать ее, но то ли обида, то ли слишком горькая тревога мешали ему это сделать; хотя, думал он с тоской, все равно ведь никто не откликнется на его зов, та же Зина не отзывалась, когда рыдала возле него в морге.

Застучали молотки: кто-то — судя по голосам, знакомые ребята — забивали гвозди в крышку и обод длинного красного гроба. Базыкин впервые за все четыре дня, когда с ним приключилась беда, испугался, потерял себя, а когда вновь нашел и понял, что еще дышит, по крышке гроба грохотали комья земли.

Поздно вечером на кладбище пришел пес, тот самый, с длинной шерсти которого Паша слизывал влагу, когда лежал в придорожной канаве. Пес лаял, завывал, а гладко прибитую землю на могиле царапал когтями. Угрюмый песий бас мешал уснуть Сергею Валентиновичу Терехову, он позвонил в милицию.

— Слышите? — спросил дежурного. — Выйдите на улицу и послушайте, я подожду.

Дежурный в полной растерянности вернулся и виновато отрапортовал:

— Ничего не слышно, разве что собака голос подает.

— Немедленно прекратить! — услышал дежурный, и в его трубке помчались частые гудки.

Что, кого, как прекратить? Дежурный, молоденький старшина, поначалу не схватил мудреный смысл распоряжения. Потом вызвал милиционера:

— Шугани псину или, если снова голос подаст, пристрели.

— Гавкает, чего особенного? — Пожилой милиционер в сомнении тронул кобуру пистолета.

— Ты вслушайся! То гавкает, то воеет на весь поселок. А людям отдыхать полагается, — наставительно сказал старшина. — Терехов звонил. Ясно?

Совершено уверенный в том, что его распоряжение будет исполнено, Сергей Валентинович лег спать. Жена ждала его в постели. Он положил сухонькую, изящную голову на ее мягкую, с легким запахом духов, широкую и теплую грудь и сразу уснул. Жена ощутила боль на груди. Осторожно, боясь разбудить мужа, она сняла с его лица очки. Вспомнила, что встал он к телефону говорить с милицией и надел очки перед тем, как позвонить, вспомнила эту забавную его привычку и нежно улыбнулась...

В самом начале ночи Терехову приснилось: он медленно прогуливался по кладбищу с Пашей Базыкиным. Паша был такой, каким выступал в поселковом клубе, изображая цыпленка табака: в одной только набедренной повязке, при галстук-бабочке, в широкополой шляпе, обутый в лакированные сапоги на высоких каблуках со шпорами. Волосатую грудь украшала, как брелок, висящая не на цепочке, а на длинной бечевке фанерная бирка «№ 1». Терехов увлеченно пересказывал свою речь на похоронах и говорил, что очень-очень любит Базыкина за его необычайную жизненную активность. Паша то лучезарно, то виновато улыбался. Переступая через могилы, он легко, словно в танце, вскидывал ноги, и тогда ярче звезд сверкали шпоры на высоких каблуках...

Милиционер, посланный дежурным, дошел до кладбища, обнесенного старинной кирпичной оградой. Петляя по заросшим узким тропкам, прокрался к могиле Базыкина. С колена прицелился, но хрустнула веточка, и черный ком метнулся в сторону секундой раньше выстрела. Милиционер решил: не найдет ничего в кладбищенской темени, — и ушел. Пес вернулся, опять залаял было, но посмотрел туда, откуда прогремел выстрел, и замолк. Всей шкурой чувствовал он, как глубоко под землей исходит в последних муках человек, и терпеливо ждал. Вытянув морду к расплосованным луной облакам, он ждал жалости от неба...

Альберт ЛИХАНОВ

З а м е т к и о б о т ч у ж д е н и и

Где вы, мечты лучших умов отечества о братстве, единстве, окрыляющей общечеловеческой любви? Отзовитесь же, вечная надежда жить по правилам добросердечия незнакомого к далекому, охота улынуться встречному прохожему, готовность понять и помочь тому, кому понимание и помощь так нужны, или вы потерялись во тьме — надежда, охота, готовность? Впрочем, потеряясь, исчезнуть можно не только во тьме, но и в ослепляющем мире неестественного света, как, например, при несмолкающих вспыхах ночной грозы над морем, когда и зрячий становится слепым и не может различить даже крупных предметов, не говоря о частностях.

Не так ли и с нами?

Слепящая ярость непривычной свободы лишает зрения; жажда освободиться от старых пут оборачивается торопливостью, при которой младенец бывает выплеснут вместе с водой; нравственное, добродетельное, зажатое вчера, сегодня не поспекает встать во главу духовной жизни общества, зато откуда-то всплывают, застыя сознание, жесточенность, рвачество, озверелость, нетерпимость, зависть по поводу и без повода.

Воля, так долгожданная нами, вдруг поворачивается неожиданной, непредполагаемой стороной, не соединяющей, но разъединяющей людей.

Отчуждением.

Что же это такое — отчуждение? Как и откуда свалилось на нас? А быть может, оно всегда было где-то возле, неподалеку, как в углу, затянутом тенетами, покачивается серая куколка неведомой бабочки, и вдруг настает миг, когда странное существо распахивает над нами свое крыло...

1

В середине шестидесятых я работал в Новосибирске, был собкором «Комсомольской правды» по Западной Сибири. Газово-нефтяные страсти обрелись тогда в форме торжествующе-предсказательной. Геологи-теоретики под водитель-

ством академика Трофимука все тверже и увереннее называли возможные объемы месторождений, слова их подкреплялись практической разведкой, и все же до эксплуатационной лихорадки, похожей на клондайкские страсти, было еще далеко и, как я понимаю теперь, нечто совсем иное занимало головы величин первой ступени, собравшихся в белокаменном гнездовье под крылом академика Лаврентьева.

Сухопарый, экспансивный и резкий в той же точно степени, как и деликатный; внимательный и хозяйственный, Михаил Алексеевич прожил жизнь подвижника. Сам факт создания Академгородка под Новосибирском — Сибирской академии — и по сей день украшает хрущевскую эмпирическую эпоху, сияет драгоценной жемчужиной. Критично оценивая новейшую историю, протоптанную нашими собственными башмаками, стоит заметить, что продвижение науки в Сибирь — ведь уже в другие времена становились на ноги Восточно-Сибирское и Дальневосточное отделения «большой» академии — оказалось традицией ненарушаемой, а, напротив, развивающейся даже в самые «стоялые» времена потому, что первый пример, новосибирский Академгород, выводил науку со столичных «прошпектов», блистательно доказал свою, подтвержденную делом полноценность.

И мне кажется, получилось это прогрессивное дело не только потому, что было наполнено здравомыслием, но еще и потому, что это оказался редкий, может быть, даже единственный случай тех лет, когда держатели власти послушались держателей мудрости.

Нет толку — да и не в том смысл этого моего отступления — перечислять достигнутое сибирской наукой за не столь уж долгие годы. Достаточно назвать несколько имен первой величины, так сказать, всеосознано лидирующих сегодня в отечественной науке и возросших, ставших именами именно там, в Сибирской академии: нынешний прези-

дент АН Г. Марчук, академик-физик Р. Сагдеев — я писал тогда о нем в «Комсомолке», самом молодом ученом, избранном членкором, — ему едва перевалило за тридцать, академик-экономист А. Аганбегян, внедрявший в практику нечто небывалое — экономическую математику...

О Лаврентьеве ходило множество легенд. Хрущев поддержал его идею Сибирской академии, но пробовал и диктовать: шептуны да наушники, от которых, видеть, никогда не избавиться людям, взошедшим на пирамиду власти в любом государстве, — дело лишь в доле самоконтроля лидера, его чувстве государственности и здравомыслия, — так вот эти самые советчики нашептали не шибко подкованному вождю, что Лаврентьев, прикрываясь властью, данной ему от «самого», пригрел под крышей Академгородка бог весть каких аферистов и лжеученых. Дрозодильщиков, к примеру, которых так ясно и определенно высмеяла марксистско-ленинская философия, морганистов и вейсманистов, само существование коих ставит под сомнение тысячу раз проверенные партийной наукой положения о несуществовании наследственности. Какая, мол, наследственность может быть при социализме, когда мы во всем — вперед и выше и вот-вот перегоним Америку на душу населения!

Сильно и мутно тут все перемешалось. И смех, и слезы. Это именно в Новосибирске то ли под тайным влиянием прогрессивной академии, то ли из соображений отчаянного правдолюбства, но вовсе не исключаю, что, может быть, и по причине элементарного разгильдяйства, — в Заельцовке, по дороге к старому аэропорту, явилась глазам хохочущего народа наглядная агитация свойства весьма подбелдыкивающего. Сперва глаз проходящего и проезжающего вникал в кумачовый лозунг: догоним и перегоним Америку по всем видам харчей к такому-то конкретному году. Второй, метрах в ста от первого, гайшный и вроде сугубо деловой, уточнял: «Не уверен, не обгоняй». Этот бесхитрый сюжет превратился в бродячий анекдот, бумерангом приходивший ко мне от жителей разных городов и весей, но то, что факт этот был в Новосибирске, свидетельствуют на Библии: сам видел и сам хихикал. Негромко, правда. Громко мы еще не приучены, да и не скоро обучимся впрямь, несмотря на новые «русские сезоны» правдолюбия и гласности.

Ах, Михаил Евграфович, дорогой Салтыков-Щедрин! Как ни зывали к вашей тени, требуя явиться на свет божий наших новых времен дублеров бесцензурного смехотворчества, никак что-то не явятся они — да не смехачи разного дешевого рода, которых как раз пруд пруди, а громкоголосые смеяльщики, смех которых всегда сквозь слезы и всегда с такой болью, что хоть кричи!

Только, мнится мне, неспроста великий Щедрин при полном академическом,

да и неоднократно массовом издании и переиздании не получил за долгие десятилетия равенства и братства титула деятеля отечественной культуры первостепеннейшего, как, впрочем, и Некрасов, которого из школьных учебников почти что начисто вынули, ибо уж слишком большой смех у одного и слишком сострадательный плач у другого.

Несмирение и сострадание воспитывают желание в зеркало заглянуть, да такое, где не только себя, но и все окрест увидеть мыслимо без всяких кружевных убранств словесного ли, мнимо-научного, так сказать, общественно-философского толка. Кстати, сам термин «общественные науки», по всем приметам, изобретение ликургов, мыслящих за зарплату. Пусть-ка ответят они народу попроще: есть у нас новая философия? Новая мораль? Или приснопамятный «Моральный кодекс строителя коммунизма» и есть вершина «общественных наук», о которой ныне поминать вроде уже неприлично? А других на горизонте не видать.

Но вернемся в Академгородок той поры. Чему молились тогдашние тамошние? Кибернетике. Ядерной физике. Цитологии и генетике. Экономико-математике.

Был там и гуманитарный институт, но что-то я не помню, чтобы он оное усердствовал над так называемыми общественными дисциплинами. Философские «сходки» академиков цепляли мир объективный, а гуманитарии занимались реалиями своих отраслей — сибирской археологией, к примеру, разысканием старинных рукописей.

Что бы это означало? Очень простое — правда, простое с точки зрения сегодняшней. «Тогдашние тамошние» молились прекрасному богу, избранному, впрочем, задолго до них, — истине объективной.

Непереизданный философский словарь трактует кибернетику как буржуазную лженауку, а тридцатилетний Юра Журавлев получает Ленинскую премию за открытие таких возможностей кибернетики, которые немедля хватает в свои объятия тогдашняя «оборонка». Старик Лаврентьев, как и весь ликующий город, принимал Хрущева не без ощущения радости и определенного рода победы. Тогдашний вождь, говорят свидетели, радовался, как дитя, — Сибирская академия была порождением его времени: правда, заслуга лидера являла собой «немешанье» умным да решениям, гарантирующие кирпичи, а это — и без всякой иронии — вклад немалый, ведь сколько еще стоит, гложет и сохнет у нас дел если не великих, то необходимых по причине отсутствия то того, то сего, что по существу-то является всего лишь подручным материалом для создания важнейших ценностей — национальных и человеческих, тормозной колодкой, скрипящей под колесом локомотива, — да вот толку выбить эту колодку, этот клин все у нас недостает. А ведь у наших конкурентов забот такого «стратегического» свойства давным-давно нет.

Словом, ликуя и гордясь, похоже, лично себе приписывая содеянное, а уж во второй черед — истинным творцам города науки, испытывая хозяйский раж, партийный лидер тех времен, кроме похвал и одобрений, все же устроил своему неугоному любимцу Лаврентьеву основательный распекай за то, что тот выдумал какой-то там дурацкий институт цитологии и генетики, собрал со всей страны подозрительную публику, разогнанную известными постановлениями, пригрел ее у себя и вроде как своей настырностью и неподчинением известным биологическим истинам портит общую картину — положительную и полезную в целом.

Лаврентьев действительно собрал по крохам остатки порубленного племени вейсманистов и морганистов. Генетики с мировым именем, чтимые и цитируемые солиднейшими биологическими заведениями всего мира, жили в отечестве нашем, бедствуя, кто как мог. Кто-то устроился учителем музыки, кто-то преподавал в забытой богом школе, кто-то удрался чуть ли не в механику.

Дмитрий Константинович Беляев, ставший директором института, под властной дланью Лаврентьева не только собрал разогнанных классиков генетики, но вырастил целые поколения настырной молодежи в ту пору, когда все тот же «Философский словарь» трактовал генетику не по-вавилловски, а по-лысенковски, навешивая на эту область науки позорные ярлыки. Заметим, что Лысенко ведь не был одинок. Его «биологические» взгляды поддерживала целая свора так называемых обществоведов, деятельность которых за отсутствием научной аргументации превращалась в политическое доносительство. Ведь ежели в живой природе могут передаваться по наследству не только положительные, но и отрицательные физиологические свойства, — это, конечно, упрощенная, но все-таки соответствующая «той» правде модель, — то, значит, и советский человек может генетически нести родимые пятна буржуазного общества в светлое будущее. Ату их!

Я далек от мысли, что Хрущев ставил вопросы столь же убого. Но ему требовались сверхсрочные успехи в сельском хозяйстве. Он же обещал «догнать и перегнать», а тут какие-то дрозофилы, генная инженерия и прочая муть.

Они схлестнулись, судя по легендам, лидер и ученый. Несогласие вылилось в продолжительное неудовольствие. Поговаривали, что Лаврентьев сломал себе шею на этой генетике.

Но Хрущев еще раз смирился с теми, кто не сильнее — мудрее. Новосибирская академия генетику и цитологию сохранила и сберегла на новом, хоть и ином свойстве. неприятии властию.

Власть враждебная и разрушающая становилась властью не очень грамотной и в малограмотности своей все же уступчивой.

Что ни говори — прогресс.

Итак, каков все же общий знаменатель не вполне явных, не всегда открыто декларируемых и в то же время яростно защищаемых и не менее горячо утверждаемых принципов тогдашней Сибирской академии? Сосредоточенность на точных физико-математических дисциплинах, на прикладных разделах науки и связанной с ней техники, на развитии нового экономического мышления. Утвердившиеся, достигшие общего, в том числе государственно-ведомственного признания отрасли науки, как бы выстроившись в кружок, прикрывали своими спинами тех, кто послабее, например, генетиков.

У всей этой работы был определенный фон, раздражавший многих, так сказать, официальных лиц. Обком партии не раз пытался обвинить если и не всю Академию, то отдельных ее лидеров в аполитизме, в небрежении общественными науками, в выходках, едва ли не подрывающих строй. К этим выходкам относили, например, выставки художников-модернистов, в том числе московских, которым в столице дыхнуть не давали, а вот в Сибирской академии с видимым удовольствием принимали и даже одобряли. Немало звону — умели же у нас раздуть слона из мухи — было и вокруг академического конкурса красоты, когда у прелестных лаборанток и кандидаток наук — представляете, шептали ханжи! — обмеривали не только талию, но и бюст. Подразумевалось, что уж за этим-то непременно последует общеакадемический разврат, оснащенный мощью ядерных ускорителей и вычислительных машин.

Может, люди, бывшие ближе к делам и жизни Академгородка той поры, оспорят меня, но все эти годы я совершенно определенно чувствовал негласное презрение массы ученых к общественным наукам, ярко выраженное желание из всего гуманитарного внедрить в академию лишь объективно гуманитарное. Повторюсь, здесь лидировала археология.

Мне кажется, все это было следствием научных борений не таких уж и давних лет, и многие, даже увенчанные лавровыми венками академики предпочитали до поры до времени не распространяться относительно разнообразных дискуссий по языкознанию, биологии и всевозможным подвидам философии, за собственное, негласное мнение в коих отныне если и не сажали, то опалой, недоверием и разного рода ярлыками жизнь отравляли, и вполне всеерьез.

Мысленным взглядом виделось невидимое, но, может быть, самое главное: размежевание, отчуждение в науке одного от другого, объективного от субъективного.

Один из лидеров сталинской эпохи, Хрущев страдал всеми волюнтаристскими болячками своего поколения. На одно правое дело приходилось десять эмпирически-субъективных. Посетив Америку и восхитившись сельхозпрогрессом, он

решил тиражировать прогресс, похоже, не удосужившись глянуть даже на глобус, где северная столица Штатов Нью-Йорк находится на широте Еревана. Человек из народа, не взбравшийся на интеллектуальные вершины, он позабыл полезное народное присловье: «Тех же шей, да пожикже влей». В моей старой записной книжке новосибирской поры сохранилась цитата, кажется, из «Нью-Йорк таймс». Неведомый мне автор, критикуя своих лидеров за то, что не американцы, а русские первыми запустили спутник, а потом и космический корабль с человеком, упрекал их примерно такими немаломудрыми словами: «Наши лидеры,— писал он,— опять подтвердили типичное заблуждение политиков, ошибочно полагающих, что вершина власти равнозначна вершине мудрости».

Мне казалось, новосибирские академики недекларированно расписываются под этой формулой применительно к отечественным бедам. Вершина мудрости определялась многими из них конкретным делом, даже деянием. Открыто выступать против власти предрержащих, к тому же перед журналистом, тогда еще не было занятием безопасным. Правда, неугомон Лаврентьев почем зря нес бывшего первого секретаря тамошнего обкома — это от него шли в Москву мелкотравчатые сомнения по поводу идейной верности новосибирских академиков, для которых самый любимый десерт после их научных обедений — противопоставить себя обкому, а следовательно, партии.

После падения Хрущева, похоже, эти «мнения» в Москве слышались все чаще. Кое-что разрушалось. Например, «Факел». Советский райком комсомола — это надо же! — создал свою хозрасчетную фирму, привлекая молодых, как, впрочем, и не только молодых, и не только ученых, но и рабочих, техников, лаборантов к внедрению научных достижений. Этакая внедренческая система. Ее немедленно завалили заказами. Одна польза, и никакого вреда. За работу, исполненную после службы в институтах и в выходные дни, люди, пришедшие в «Факел», стали получать еще по одной — а то и не по одной! — зарплате. Райком комсомола стал миллионером. Можно это вообразить?

Теперь-то можно. А тогда, в шестьдесят шестом? Нонсенс! Капитализм раздает научный подрост! Чуть ли не антисоветские происки в области самой деликатнейшей — экономической!

Прихлопнули!

В физматшколе ввели в программу современную литературу. Я тогда уже уехал в Москву, случилось так, что мне дали вроде бы на экспертизу курс этой литературы. При этом тонко намекали: ты, мол, побдителнее, все это — вроде гайной контрреволюции. А что там было? Ну, «Коллеги» и «Звездные мальчики» Аксенова. Ну, Гладиллин, Василь Быков, Астафьев. Из поэзии — Цветаева и Ахматова. За исключением двух по-

следних имен даже по тогдашним временам — все цензурное и печатное. Сегодня вполне тривиально суждение, что сквозь сердце подростка к классике пробраться можно — да и нужно! — через современное слово, оно проще подводит к истоку, да и первоначальный смысл его подчеркивает основательней.

Ан нет! Программу раздраконили как юношество разлагающую. Комсомольские и минпросовские выводы вполне однозначно отрицали робкие эксперименты учителей всего-навсего единственной школы, подчеркивая вредность оторванной от общества элитарности.

С точки зрения сегодняшних — бескрайних порой — вольностей те новосибирские «грешки» кажутся наивностью, недостойной элементарного упоминания.

Нет, наша память обязана сохранить все эти мелочи.

Один из наших наиважных общенациональных недостатков — скоротечность памяти. Еще недавно столь болезненное, драматичное, сокращающее нашу жизнь и внушающее недоверие мы склонны скоренько позабыть, стремясь к более значимым величинам и к новым заботам, которые вновь доставляют обиды, слезы, непонимание. Одолев и их, мы вновь выбрасываем все это в мусорный контейнер из нашей памяти, как отработанное, ненужное и недостойное даже воспоминаний. Так, разве иногда, к слову...

Но в чем же тогда состоит суть образования на ошибках? Стремительность забвения дорогих могил — а разве она не сродни нашей общей социальной забывчивости? Непамятность — разве это не признак национального бескультурья? Масштабность забывчивости — разве это не реальная угроза рецидива, когда нас не возносит по диалектической спирали, пусть с трудностями, но вверх, а вертит по кругу, где всякий новый оборот дарует нам все те же, лишь только чуть подзабытые нами ошибки?

Природа беспамятства — это важнейший аспект психологических и философских исследований, если, конечно, речь о настоящей, а не обслуживающей сиюминутные потребности психологии и философии. Сегодня серьезные философы и психологи поворачивают свои интересы к природе человека и защите его природы, и лишь это, одно это, может сломать перегородку между точными дисциплинами, естественными науками и, так сказать, обществоведческими — чаще всего абстрактно-теоретическими — разделами мышления.

Здесь самое время сказать о конформизме. Напомним латинский корень это го слова: *conformis* означает «подобный, сообразный». Человек, сообразный господствующему мнению. Личность, подобная другим, не отличная от иных, пассивно и безоговорочно принимающая существующий порядок вещей, не отравляю-

щая свою жизнь спорами, отстаиванием особого мнения — да и просто не утруждающая себя владением этого мнения, словом, беспринципность, соглашательство как образ жизни, легкое усвоение правила, которое диктует сильный, особенно если этот сильный — начальник, лицо власть имущее, даже если это лицо — всего лишь крикливая и наглая продавщица за прилавком, у которого толпится очередь.

Всяк из нас, социалистических недо-теп, не то что в свидетелях бывал, но и сам покрикивал, отталкивал правого, который говорил продавщице: «Ты же мне недовесила!» — а та куражилась, напала, и долгая, осатаневшая от работы и многостояния очередь орала на правдолюбца, защищая неправду: «Хватит! Отойди! Подумаешь, десять граммов ему недовесили, жлоб!»

Разве это не унижительный конформизм? И чей? Толпы? А может, частицы народа, мощной силы, которая по усталости и нетерпению становится силой соглашательской? С чем соглашательской? С кем? Да со злом, с неправдой и обманом.

Это ситуация бытовая, примитивная. Увы, соглашатель сидит в каждом из нас.

Не стоит путать это понятие с такими благороднейшими достоинствами, как терпимость, умение выслушивать чужие доводы и разделять их, но не по принципу: приводящий их умнее, сильнее, властнее, а по принципу убедительности аргументации и здравомыслия.

Соглашаться с другим, другими, с тем, что говорится сверху и снизу, — не значит непременно быть конформистом. Некритичность и нежелание думать самостоятельно, больше того, назревающая со временем необходимость предложенного мнения, директивы, потребность в чужих соображениях — вот что такое конформизм, удручающий социально-политический феномен, к которому наша управляющая система на протяжении десятилетий приучила миллионы людей, целые поколения.

Осмелюсь заявить, что конформизм у нас стал нормой духовного бытия, заразил всех или почти всех, за исключением уникальных единиц, силой внутреннего сопротивления которых обладает далеко не каждый.

Более того, вольно или невольно, но конформизм масс — цель всякого государственного устройства, один из инструментов духовного управления, очень часто превращающегося, увы, в инструмент подавления. Разноголосица мнений, многообразие точек зрения — так называемый общественный плюрализм усложняет процесс управления. В этих условиях типовое мнение государства, его органа или лидера требует аргументированных доказательств и проверки практикой и выглядит внешне не как общеприятное или безоговорочное мнение, но как дискуссия или эксперимент равных.

Не каждый государственный деятель, достигший власти, терпелив и способен на протяжении всего «властного» отрезка своей жизни к терпимости открытого обсуждения, публично аргументированному доказыванию той или иной точки зрения.

Как показывает новейшая история, волюнтаризм государства, особенно единичного, сформулировавшего в качестве государственной концепции единый для всех идеал, всегда будет стремиться к конформизму масс — хотя бы по своей природе. Во многих отношениях конформизм — это методология управления всякой государственности. Массы, разделяющие общепринятую, да еще выработанную государственным механизмом точку зрения, более податливы к государственному же управлению. И хотя существует философская антитеза конформизму — неконформизм, иначе — противостояние приспособленчеству, отрицание пассивного соглашательства с существующим порядком вещей, критическое осмысление типовых мнений, в основе сопротивления конформизму должно быть все же не противодействие, которое может вновь стать типовым, опять превратиться в типовую модель несогласия со всем и вся, — и на Западе неконформизм уже обретает форму массовых, с лозунгами, выступлений, митингов, демонстраций, отрицающих все, включая и здравые начала, — а мыслящая личность, индивидуальность, духовно развитый и выпадающий из ординарности человек.

Человек мыслящий. Всего-то? Вспомним изначальное: гомо сапиенс!

Однако мыслящее существо — не природная данность, а продукт воспитания.

Но как воспитать такую личность? Авторитарная система воспитания всегда была орудием конформизма. Все ученики должны думать так, как велит учитель. Если у них возникают наивные вопросы — заметим, что детская наивность, часто символ логической чистоты и некий, вскрывающий нарывы скальпель, — увы, наивная дотошность сплошь да рядом прижимает к стенке учителя-конформиста, мышление которого невариантно, а идея, которую он считает единственно возможной, связывает его по рукам и ногам.

Реакция однозначна: эмоциональное подавление, крик (это в лучшем случае), административный жим — проработка, обсуждение в учительской, что приводит лишь к одному — стерилизации детского мышления, чувству страха, если в голову ребенку — не то что на язык — приходит неординарный вопрос и не дай бог — несогласие.

Конформистское мышление всегда идет сверху; снизу же следует лишь реакция на него, продукт труда странных, мягко говоря, свойств.

Но вот одна показательная выписка из довольно свежего, 1983 года, «Философского словаря»: «В отличие от конформизма, социалистич. кол л е к т и в и з м

предполагает активное участие индивида в выработку групповых норм, сознат. усвоение коллективных ценностей и вытекающее отсюда соотнесение собств. поведения с интересами коллектива, общества».

Боже мой! Да это же прямо-таки энтимологический пример самого конформизма. В статью о конформизме в качестве мнимой антитезы прикололи засушенную бабочку конформистского стереотипа.

Доказательства? Да их сколько угодно раскидано вокруг нас. Во времени и пространстве.

Вернемся, к примеру, в новосибирский Академгородок середины шестидесятых. Рождение «Факела» — внедренческой хозрасчетной, по сути — кооперативной, фирмы не явилось ли фактом «активного участия индивида в выработке групповых норм» и так далее — до конца «философской» формулировки середины годов восьмидесятых? И что же из этого последовало? Решение абсолютно конформистского толка: мол, «Факел» разрушает экономический фундамент социализма. Превращает безналичные деньги предприятий — одно из главных обвинений! — в наличность райкомовской кассы, которая платит ученым и техникам — прямо по Райкину — «самашедшие» деньги. Пусть-ка, дескать, они делают то же самое за свою и так немалую зарплату на своем рабочем месте. Полезное дело разрушили, хотя его защищала авторитетнейшая академия! Причина? Конформизм не позволяет того, что выскакивает наружу на четверть века раньше срока, и тут никакие теоретические формулировки о социалистическом коллективизме не в помощь — ибо сама «теория» надуманна.

Впрочем, сроки в таких делах — сплошь да рядом понятие субъективное, и не будет особой ошибкой утверждать, что новые экономические перемены — аж когда назревшие! — могли бы начаться и через пятьдесят лет на окончательных, впрочем, руинах социализма.

Остается подтвердить к истории «Факела», погибшего четверть века назад, но еще тогда убедительно доказавшего общепринятое ныне право свободной продажи-купли свободных мозгов, рук во имя развития дела и здравого смысла, немаловажную сентенцию из того же «Философского словаря», непосредственно предшествующую вертляво-бездоказательной формуле о природе «социалистич. коллективизма». Вот она:

«В совр. бурж. обществе К. (конформизм.—А. Л.) по отношению к существующему социальному строю и господствующим ценностям насаждается системой воспитания и идеологич. воздействия; он является типичной чертой деятельности бюрократических орг-ций».

Поневоле подумаешь: а может, такая дружная ирония к общественным наукам серьезных физиков, математиков, биологов Сибирской академии тех давних лет—

равно как и многих других серьезных представителей объективно точных дисциплин, независимо от их географического местоположения — мотивировалась самой главной слабостью обществоведения, конформистски выдаваемой за силу? Ведь едва ли не весь свой пар, едва ли не все усилия официальное обществоведение тратило на выискивание различий между априорно негативными признаками буржуазного устройства и априорно позитивными достоинствами социализма, выполняя субъективно-волюнтаристский соцзаказ безграмотной властности? Генетика там почему-то двигалась вперед, опираясь на намы достижения, а у нас — обречена на разгон и уничтожение; кибернетика — буржуазная лженаука...

Ладно, с тем разобрались, а в философии, социологии, в экономике, политике — сколько лет, десятилетий, а может быть, столетий не сдаст еще свои позиции всякого рода вульгарность и примитив, подсовывающие здравому разуму меченые карты, пустозвонные формулы, недоказанное или же вовсе опровергнутое жизнью суесловие в упаковке псевдонаучной фразеологии.

Доказательств тому более чем достаточно. И без особых умственных напряжений любой искушенный жизнью и собственной практикой легко заметит: «грехи» конформизма «в совр. бурж. обществе» абсолютно адекватны его грехам и в «совр. соц. обществе». Не так ли? Разве не системой воспитания и идеологического воздействия насаждается конформизм и у нас? Разве не является он «типичной чертой деятельности бюрократических орг-ций»?

Примеры? Вряд ли они нужны. Ими переполнены до краев газеты. Сотни тысяч примеров, когда бюрократизм в организованном и, так сказать, стихийно-расплывшемся состоянии, проникая в идеологию и воспитание не там, «за речкой», а у нас дома, являет такие разительно-устрашающие образцы конформистского насилия и надругательства, что волосы дыбом встают.

Сколько натворил социалистический конформизм святым именем революции, именем Сталина, именем покорения непокорных? Во времена, близкие к инквизиции, Галилей, отрекшись от своих идей официально, все же осмелился публично произнести вечно слышимое и сейчас: «А все-таки она вертится!» И не был за публичность сию четвертован. Выходит, даже в те времена достижение мировоззренческого конформизма насилием хотя бы из дальнейшего снисхождения позволяло произносить пусть задним числом столь несогласительные фразы, позволяло допуск: ты отрекся, а дальше можешь сказать что хочешь.

Было ли мыслимо такое века спустя, в эпоху сплошной электрификации и гуманизма на словах? Увы, конформизм новейших эпох оказывался куда более жестким. Вспомним: «Если враг не сдастся, его уничтожают!», «Что не с нами,

тот против нас!», «Лес рубят — щепки летят!», «Сын за отца не отвечает!»

Что это? Голые лозунги, фразы, оторванные от жизни? Увы, условия существования, ежечасный диктат, страх, внушающий конформистскую, приспособленческую правду как единственное условие выживания, насаждаемое идеологическим воздействием всех возможных средств, воспитанием.

Помню студенческое, поразившее меня впечатление давних лет. Готовясь к экзамену по зарубежной литературе, я с явной неохотой принялся за «Седьмой крест» Анны Зегерс. Прочел книгу залпом и почувствовал явственную опустошенность. Опустошила, уничтожила меня проходившая сквозь всю книгу идея всеобщего предательства. Внушившие себе беспредельную веру в идею гитлеризма, национал-социалистического толкования чести — а вовсе не из одного лишь чувства страха — люди осмысленно и с яростным остервенением предавали тех, кто позволял себе мыслить хоть чуточку иначе, чем положено. И кто кого предавал? Отец — сына. Сын — отца. Родные — родных.

Лучше бы обходиться без параллелей, особенно такого свойства. Но ведь на истории Павлика Морозова выпестованы целые поколения людей в нашем любезном отечестве. Доносительство и наушничество — отнюдь не только прежняя явь многих школ, где отличничество — едва ли не в массовых масштабах — форма ябедничества, потому что мало знать уроки, надо слушать во всем учителя, даже если он требует предательства пусть и в «детской» форме: кто набеда-курил, кто передразнил, кто подговорил?

Любовь требует прощения, — хотя и не всепрощения, — это ее важнейшее условие. Равно как антилюбовь, нелюбовь и ее продолжение — ненависть тоже требует своих «достоинств» со знаком минус: непрощения, а значит, ябедничества в детстве, наушничества в юности, анонимок и подножек во взрослости.

Конформизм суперсоциален, ибо это не только общественно-политическое воздействие силы, но и ответное нравственно-психологическое поведение личности человека. Как известно, социальная психология учредила даже такой термин — «конформность», что означает, грубо переводя, клубок причин, которые как бы приучают человека к разной дозировке конформизма. Наука определяет сущность этих явлений как социализацию личности, готовность ее чувствовать себя привычно в любой социальной системе.

Ненаучно говоря, забота социализации состоит в том, чтобы не оказалось у нас (или не у нас) белых ворон, чтобы все вороны были серые. Впрочем, оставим претензии к науке. Она ведь сама по себе не способна красить белых в серых, а уж тем паче — наоборот. Наука лишь исследует, регистрирует, констатирует. Так вот, она констатирует, что личность, испытывая групповое давление, а может

быть, будучи подвержена влиянию общественного мнения, демонстрирует свой персональные достоинства: уровень развитости и образованности, класс интеллекта, состояние психики, подверженность внушению, глубину самооценок и их прочность, самоотношение, самоуверие, самоуважение, потребность в похвале и чувствительность к критике...

Конформные реакции, утверждает социальная психология, у детей выше, чем у взрослых. Женщины покладистее мужчин, поведение человека в группе отличается от его же поведения в одиночку, словом, приводящих обстоятельств великое множество, всех не перечислить. Но вот что любопытно: конформность не считается самостоятельной личностной чертой. Думаю, спецы по тонкостям проблемы не будут в сильной претензии за то, что я, огрубляя все эти категории, замечу: человек не всегда зависит только от себя, от своих соображений и желаний. Он может даже не заметить, что ведет себя вопреки самому себе под прессингом разных обстоятельств, часто причем обстоятельств малозначимых. Разве, совершив какой-нибудь поступок, мы так уж редко клянем себя за необдуманность? За то, что вел себя, как все, хотя душа твоя подсказывала иное. Или ты поступил, как тебе советовали люди, которым ты не веришь, но вот прислушался, и всё вышло плохо.

Все эти частности, из которых, по сути, и вяжется сеть нашего бытия, не есть приспособленчество, конформизм, а скорее приспособляемость к многообразию «правил» жизни. Жить-то надо. И надо считаться со многим, что тебя окружает, если даже ты согласен далеко не со всеми правилами игры по имени «жизнь». В конечном счете приспособляемость не есть обязательное условие подавления личности, ее индивидуальных свойств.

Конформизм же смахивает на поминутную отдачу чести всем мнениям и рекомендациям, идущим сверху, сбоку, снизу. Конформизм — форма всеобщей подчиненности. Именно конформизмом, и вовсе не буржуазного толка, можно объяснить всенародное согласие со сталинскими процессами 37-го года, облыжными обвинениями Вышинского, массовыми расправами, с фантастически бессмысленными расстрелами. И вот что страшно: чем выше поднимался репрессивный вал, чем больше людей погибало, тем плотнее соединялись остальные, свободные лишь до поры до времени, в своем конформистском воссоединении против «врагов» социализма.

По-разному оценивается поведение знаменитых героев революции, шедших на расстрел с именем Сталина, но я полагаю, эти факты надо относить не к вере и преданности, а к фанатизму конформизма.

Приняв раз и навсегда единственную для себя «правду», человек не позволял себе усомниться хотя бы в способах ее реализации.

Но не сомневающийся — не свободен. Выходит, просто веры, даже в самое что ни на есть святое, мало. Вера должна быть двусторонней, обоюдной, взаимной. Вершишь ты — ну что ж. Но у тебя должны быть весомые гарантии, что верят и в тебя. И что есть тому необходимость.

Односторонняя вера — залог отчуждения: политического, социального, этического.

4

Так что же такое отчуждение?

Все тот же «Философский словарь» нового образца трактует его как — извините за долгую цитату, но что делать? — «социальный процесс, присущий классово антагонистич. обществу и характеризующийся превращением деятельности человека и ее результатов в самостоят. силу, господствующую над ним и враждебную ему. Истоки О. — в относит. обособлении индивидов в произ-ве и возникающей на этой основе частной собственности, в антагонистич. разделении труда. О. выражается в господстве овеществленного труда над трудом живым, в превращении личности в объект эксплуатации и манипулирования со стороны господствующих классов, в отсутствии контроля над условиями, средствами и продуктом труда».

Социофилософы, которые все так до тошно и, что особенно важно, абсолютно уверенно знают «про них», «про нас» же отделяются никого не убеждающей словесной сумятицей; чтоб не быть голословным, позвольте продемонстрировать, как же выглядит отчуждение в нашем обществе, если оно, отчуждение, конечно, «у нас» существует.

Итак: «Действительные пути преодоления О. выявлены в теории науч. коммунизма. Они заключаются в уничтожении эксплуатации, всемерном развитии обществ. отношений, в преодолении противоположности между умств. и физич. трудом, городом и деревней, в развитии коммунистич. сознания, демократизации управления и всей обществ. жизни. Социализм уничтожает коренные источники О., а его полное и окончат. преодоление осуществляется с построением коммунизма».

Поняли? Как говорится, бурные аплодисменты, переходящие в овации. Все встают. А уж дальше у кого как. Кто рыдает, кто хохочет.

И сколько же это, интересно, еще понадобится нам витков истории, чтобы так называемые ученые, умеющие складывать столь эталонно скользкие, а главное, пустомякинные оборотцы, сгинули, как нечисть, дурацкая самые разнообразные головы, особенно молодые и доверчивые?! Неужто общественные «науки», которые все это безмятежно и беззастенчиво творят не когда-то там, в исторической дали, а сейчас, у нас на глазах, и в самом деле веруют, что мыслимо без содрогания прочесть обвинение «им» хотя бы такого

свойства: «Общими особенностями понимания О. в совр. бурж. философии и социологии являются антиисторизм, психологизм в трактовке причин О., превращение О. в сущностную характеристику человец. бытия».

Но, кажется, хватит риторических восклицаний. «Философский словарь», будем надеяться, еще не философия, по крайней мере — хоть это и против логики жанра — не квинтэссенция лучшего из лучшего, а всего лишь собрание так называемых «истин», недалеко и не всегда ушедших от их бесстыдных аналогов тридцатилетней давности.

Вульгаризация, примитив, заказная — только вот кто заказывал? народ? — ярлыковщина и беспомощность в оценке социально-политических отличий не могут сегодня уже никого заставить слепо принимать на веру модернизированные догмы.

Доказательств требуется больше. А мыслей — человечней. Думы о том, как бы уязвить «их» и обелить «нас», надо сменить на простую человечность, где и боль, и слезы, и недоумение, и радость, и грех, и праведность. И политика, и экономика уже, кажется, вплотную приблизились к первоистине, по которой единственный критерий справедливости — человек и его сущность во всех, в том числе житейских, проявлениях.

Наша жизнь не тряпичный половик, сшитый из лоскутьев чьих-то далеких от нас измышлений, высказываний, цитат. Практика každодневногo существования — это наши отношения с другими, равными нам в быту и на работе, разговоры с детьми и родителями, стояние в очередях и телефонные обмены, мучительная экономия жалких заработков и попытка свести концы с концами, борьба за собственные идеи и убеждения, которые не всегда есть признак конформности, скорее, наоборот, отчаяние, которое испытываем мы, сталкиваясь с несправедливостью или яростно цветущим бюрократством независимо от того, какого он класса — жэковского или министерского.

Испытывая пустоту, бессилие и даже никчемность собственного существования, ссорясь, по разным причинам отдаляясь друг от друга, отчуждаясь, мы что-то не думаем о стирании граней между умственным и физическим трудом или ликвидации отличий между городом и деревней. Да и окончательная победа коммунизма, которая вконец преодолеет отчуждение, что-то перестала нас волновать.

Право дело, посмотришь окрест — все стремятся к достижимому, одни мы мечтаем десятилетиями. О чем? О коммунизме. То нам обещали, что еще нынешнее поколение людей будет в нем обретаться, как сыр в масле, то называли конкретные даты, поясняя, что коммунизм и множество разнообразных харчей на душу населения — это и есть искомая мечта человечества... Словом, доктрин и лозунгов, тяжеловесных, как асфальтовые катки, во множестве нас пережало. сплющивая все

человеческие надежды, и вот мы пришли к открытому согласию, что разумней всего оставить в стороне контрольные сроки и безмятежные натюрморты голландских живописцев в переводе на мнимую надежду, а взяться все же за дело, отдать наконец-то власть Советам, а землю крестьянам, пусть даже спустя семьдесят лет после революции. А главное, сэкономив кулач и газетную бумагу на все тех же лозунгах и несбывшихся обещаниях, вернуть народ к мастерству, к профессионализму, к простому желанию увлеченно и выгодно работать.

Не знаю, у кого как, но самое плохое настроение у меня тогда, когда я по тем или иным причинам не могу делать свое дело. Внутренняя температура, если можно так выразиться, падает, в голову лезут дурные мысли, какая-то необъяснимо-отвратная сизая хмарь отравляет отношения с близкими. Давно уже понял себя: самое лучшее лекарство — взяться за дело.

Поначалу я наивно полагал, что это мой личный психоз, но потом добрался до не такой уж мудреной догадки: безделье противоестественно для человека, разлагает и дисквалифицирует его.

И тут я хочу обратиться к примитивной, на мой взгляд, трактовке серьезнейшей марксовской формулы. Он говорил, что мерилом богатства человека является его свободное время. Ну, мы и дули вперед! Раз свободное время, значит, конечно, прежде всего учеба, кино и театры, всяческое саморазвитие, словом, человек «сам над собой» растет и возвышается. Что подразумевалось под сим? Что все мы со временем станем самым культурным народом. Но как-то незаметно это происходило — впрочем, весьма сомнительно, что происходило вообще. Нет-нет, инженеров наштамповали мы явно лишку, как лишку же, выясняется, и сталь льем, тут же превращая ее в металлолом и ни на что не годную ржавчину, дипломов о высшем образовании тоже раздали немислимое число, ухлопав триллионные средства, но богаче вроде не стали. В сфере культурной заметного превзойдения не достигнуто, напротив, поотстали почитай что всюду, кроме, может, вечно экспортного балета, отчего многие его звезды самоэкспортировались на чужбину за достойной их ног свободно конвертируемой валютой.

Здравомыслие вроде бы ясно определяет «незакованную» формулу Маркса: конституированное ограничение трудового дня, рабочей недели позволяет человеку поступать со своим свободным временем как с богатством, принадлежащим лично ему. Хочет — идет в музей, читает книгу. А хочет — продает свое свободное время. Как продает? Да как захочет. Поработает еще полсмены на своем заводе, выстрогает игрушку сыну, внуку, а то и вовсе на продажу. Возьмет землю, построит дом, вырастит картошку, помидоры, а то и женшень, съест сам — на рынок бегать лишний раз не надо — или

продает другим, ведь, подсобляя таким манером себе, ты помогаешь государству.

Но — нет! Практические теоретики, равно как и теоретические практики, все норовили сверху объяснить, да еще к философии прибегали, бедного Маркса ставили с ног на голову. Работаешь лишку — хапуга, а то и еще похлестче. Работаешь на стороне — скопидом, накопитель. Кооператив — это только колхоз, ох ты боже ж мой, где вы, теоретики-обществоведы — да промкооперация, в лучшем случае грибы собирай за три копейки, деготь гони, а уж, скажем, живицу не тронь — это казенка, государственный доход. Вот и бездельничал народ, громадная, талантливейшая нация.

Отчуждение — это, верно, «трудовая» категория. Но по правде жизни не только в буржуазном обществе, а и у нас оторванные от человека результаты труда пробуждают недобрые эмоции. Не станем углубляться в материи экономические, например, какую часть цены произведенного труда — со всеми амортизациями и покрытиями получает тот, кто работает, сколько реально стоит тот или иной труд, почему тот или иной продукт — кусок мыла, турбина.

Абсолютно бессмысленны и «обвинения» буржуазной философии в психологизме трактовки отчуждения.

Синдром вульгаризаторства и примитивности, продиктованный непрременным стремлением к размежеванию той или иной категории «у нас» и «у них», выглядит порой просто смехотворно.

Осмелюсь утверждать: отчуждение есть не только «трудовая» категория, но и этическая. Да, способ владения средствами производства и различие права собственности оказываются значительными факторами процесса отчуждения. Однако далеко не все определяющими.

События в экономической жизни нашей страны доказательно утверждают, что самые размарксистские теории могут быть перевраны и извращены практикой, что социалистическая собственность вовсе не механически гарантирует освобождение человека от трудовой несвободы и экономического унижения, что доморощенные факторы определения количества и качества, централизованное распределение лишают лидера-производственника не просто маневра, но освобождают его от поиска, предприимчивости, вяжут по рукам, воспитывают бесчужденную покорность или сопротивление, самой отчаянной мерой которого становится бездействие как противодействие глупости, а это не назовешь иначе, чем нонконформизмом социалистического толка.

Мне вообще кажется, что пробил час искать не различия, а сходства сложностей внешне противостоящих систем. Первая же попытка подступить к этому хотя бы на основах здравого смысла свидетельствует о том, что негативизм многих наших отечественных бед давно стал категорией, явлением, а не просто набором отрицательных фактов. Для анализа

явлений надо освободиться от устаревших догм и шор.

Отчуждение людей, размежевание социальных факторов, отчуждение как результат активного действия бюрократизма сверху донизу и наоборот; отчуждение в семье, коллективе, а точнее, в конгломерате индивидуумов, очень разнородных чаще всего. Отчуждение между группами, непримиримость их амбиций, направленных не на приближение к истине и добру, а означающих лишь единственно борьбу за власть, пусть даже эфемерную; отчужденность, несмотря на призывы и слезы, между поколениями, между субкультурами в единой национальной культуре и, наконец, национальное, точнее, националистическое отчуждение, которое появилось у нас совсем как будто неожиданно и в то же время оказалось результатом чрезмерно регламентированной несвободы — в экономике, политике, духовности, — словом, отчуждение всюду.

А разве не отчуждением власти от народа стала попытка развернуть сибирские реки на юг, уничтожение Аральского моря как бы для мелиорации, может, и давшей одномоментный плюс, но вред принесшей неизмеримо больший?! Отчуждение решающих и исполняющих, волюнтаризация верховных директив, хождения по мукам ведомств изобретательного, находчивого ума, отрицание социальных инициатив как права на гражданские поиски, отмена свободы совести, как будто и совесть можно запелить, словно птицу, в клетку...

Попробуем же, отринув предрассудки вульгарной примитивности, без заглядки в справочники: чье это — «наше или буржуазное?» — руководясь лишь здравым смыслом, порассуждать о природе отчуждения людского как первоосновы антипедагогичности, а значит, античеловечности.

5

Самое обширное пространство межчеловеческого отчуждения — взаимоотношения мужчины и женщины — любовников, мужа и жены, любящих и ненавидящих. Но этому посвящены многопудья романов всех эпох и народов, большая, пожалуй, половина поэзии и несметное число разнообразных трактатов — философских, социологических и множества иных, — вот уж истинно вековая, беспредельная вариативная и всегда новая сфера испытания духа человеческого.

Из океана книг, которые я ценю за разные их достоинства, — а среди них для меня первенствует сила эмоционально-художественного впечатления, сама по себе воздействующая на человека как непосредственный урок, — я все же выделю два, может, и не самых сильных, но весьма поучительных романа Андре Моруа — «Превратности любви» и «Семейные узы». Все дело в литературной форме этих романов: они неразрывны друг от друга, по сути, это парный, или

зеркальный, роман, единая вещь, где в одно двухстороннее зеркало смотрятся мужчина и женщина, муж и жена, и почти все события, которые с ними происходят, оба оценивают справедливо, но каждый руководствуется при этом своей правдой, своим чувством, своим ощущением. Внешне каждое событие оценивается равнозначно, иначе — событийная сторона жизни одна и та же, но вот внутренне у каждого все свое. «Двойное зеркало» — роман Моруа можно было бы назвать и историей разночтения одной и той же семейной жизни, в которой — чем больше всего поражает роман — оба главных персонажа, муж и жена, по-своему правы. Истина не так уж глубока, может быть, с точки зрения охлажденного, неспешно обдуманного понимания вещей, но мы ведь живем не в холодильнике, а потому для меня этот парный супружеский портрет кажется весьма поучительным доказательством человеческих разночтений, неумений и нежеланий прислушаться, понять и предугадать друг друга. Я бы даже назвал этот психологический эксперимент французской литературы — другой аналог, к сожалению, мне неизвестен: может, он и существует? — ключом к пониманию всех недоразумений между мужчиной и женщиной в современном мире.

Да, эта оговорка — в современном мире — весьма существенна. Ведь в нем, этом мире, такое множество новаций... Анна Каренина с ее, казалось бы, вековыми страстями не исчезает из нашего духовного бытия; подчеркнем — Анна Каренина; за точку морального отсчета я умышленно беру эту высоко нравственную женщину, хотя и нагрешившую, но присудившую саму себя, свое прегрешение и жизнь к высшей мере.

Но вот в сугубо, казалось бы, медицинский статье доктора наук Л.ва Хахалина («Семья», 1989, № 8) почти что с шоковым недоумением я встречаю окороченную жаром заметки судьбу нынешней Анны Карениной, при всем при том в общем приличной женщины, во всяком случае, грешницы раскаявшейся. Речь идет о том, какие новые повороты судьбы предлагает женщине не просто страсть, не просто грех и роковая ошибка, а грех в условиях АИДС, что по-русски означает приобретенный иммунодефицит, то есть СПИД.

Итак, согрешив однажды с очаровательным иностранцем, наша героиня ощутила недомогание, как ей показалось, весьма специфическое, потом это нездоровье передалось дочери. Схватив ребенка, она уехала в другой город, легла на обследование, а, пройдя его, не поверила отрицательному результату. Домой она уже не вернулась, потому что, считая себя обреченной, написала мужу покаянное письмо...

Нетрудно представить чисто толстовское: вокзал, безысходность и позор, лучше разом, как Каренина...

Сейчас высказываются предположения,

что страх перед СПИДом хоть как-то сократит проституцию, извращения, ставшие первостепенным смертельной угрозой, улучшит нравы, укрепит семьи, освободит их от измен, соединит людей, внесет свой полезный вклад в борьбу с моральной неправдой и личностным отчуждением... Такую возможность не стоит отвергать, но что-то плохо верится в чистоту, побуждаемую страхом. История человечества не помнит таких оборотов, когда бы одно зло заставляло не творить другое.

Однако исключительность трагической ситуации лишь подчеркивает обыкновенность массового драматизма. Молодое поколение сейчас даже не подозревает, что бывали у нас времена, когда развод для человека, скажем, партийного, означал почти что автоматическое — с позором — изгнание из партии. Развод осуждался всей тяжеловесной силой консервативной инерции. Сейчас можно посмеяться над столь суровым пуританством. Тогда же было не до смеху, хотя смехотворность «партийных» нормативов на моральную тему подчеркивалась почти полным сходом на запрет брака по старым догмам католицизма. Был у итальянского неореализма такой «кинодуэт» — фильмы «Брак по-итальянски», «Развод по-итальянски». Ленты «Развод по-советски» в тридцатые — пятидесятые годы, ясное дело, появиться не могло — ни в жанре драмы, ни тем паче комедии, и сейчас такой фильм не появляется: может, потому, что уже не актуально?

Не актуально! Теперь развод стал делом элементарно бытовым.

Уйдем, насколько это возможно, от психологического обобщения. Всякий раз история, увы, повторима. Браки совершаются на небесах, под звуки марша Мендельсона, а разводы — на грешной и грязной земле, в слезах, обвинениях, разделе сковородок, квадратных метров и даже детей.

При этом всякий раз — свой роман, свой сюжет, с завязкой, кульминацией и далеко не оптимистической развязкой. Несмотря на то, что я глубоко убежден в неповторимости любой человеческой судьбы, если не типовых, то во всяком случае типичных историй более чем достаточно.

Типизации подлежит и причинно-следственная связь миллионов любовей и ненавистей. Итак, в стране каждый год совершается примерно 2 миллиона 700 тысяч браков. И каждый год распадается 900 тысяч браков. При этом 700 тысяч детей в возрасте от одного дня до 18 лет остается только с матерью или только с отцом. Не говоря уж о тех, кто остается и без матери и без отца. Кстати, все увереннее вступает в оборот новая категория: отец-одиночка.

Оценивая ситуацию с точки зрения психологической, нелишне заметить, что наша, отечественная, семейная психология замешана на социальности. Нетерпение и нетерпимость, эгоизм и взаимоне-

понимание — важнейшие психостимулы для угасания очага. Но присмотримся к статистике — она точно показывает, как ведет себя женщина, да и вообще в какой угол загнана она жизнью, бытом.

Итак, давайте-ка обмеряем современное состояние женственности. 53 процента населения страны — женщины, они же составляют 44 процента всех рабочих, а процент женщин, выполняющих свою работу в промышленности вручную, за 10 лет (1975—1985 гг.) снизился с 51 лишь до 44.

Какова продолжительность ее рабочего дня? Восемь часов на работе плюс 3 часа 13 минут на домашнее хозяйство каждый, как говорится, обычный день. Выходной? Да его просто нет. В субботу и воскресенье, в праздник, когда, к примеру, мужская городская масса на диване с газеткой полеживает, не говоря уж о более «активных» способах отдыха, женщина все равно работает на дому, и статистика утверждает, что рабочий день женщин по выходным продолжается 6 часов 18 минут.

Свободное время женщины исчисляют так (речь о работницах и служащих, которых мы загнали в индустрию, иначе — о массе): 2 часа 24 минуты в рабочий день и 6 часов 32 минуты — в выходной. А у деревенских хозяек так вообще — 1 час 57 минут в рабочий день и 4 часа 54 минуты — в выходной.

О чем же речь? О какой семье? Сколько времени даем мы женщине на ее личную, если можно так выразиться, жизнь? И сколько поводов у нее — чисто психологических — сорваться: на начальника, сослуживицу, собственного муженька.

Некоторые наши практические оппоненты все делают для, скажем, совершенствования быта, системы отдыха, строят придорожные и всякие прочие отели, рекламируют путешествия во время уикэнда, развели миллионы ресторанчиков и кафе, в которых почему-то все есть, так что женщина в выходные не к плите топчется, чтобы не рассориться вконец с мужем, а предпочитает вместе с ним пообедать по дороге в старинный монастырь или к водопаду. Согласитесь, оснований от всего этого для хорошего настроения куда больше.

К тому же западные психологи без конца твердят про то, что любовь надо охранять, поддерживать, что семейный секс, к примеру, это не событие, творимое впопыхах, — на сию тему наш неприхотливый народ сочинил, пожалуй, солидный том анекдотов, понимаемых, между прочим, исключительно соотечественниками, — а дело и значительное, и серьезное, людей, их чувства укрепляющее.

Куда нам до таких подробностей! Не дозрели, не дошли, не добежали — то пол метем, то в очереди стоим, то дрова колом, и детишки у нас рождаются как бы невзначай, по случаю, между делом.

Дитя любви! Термин этот не в обиходе у нас, не в чести, напротив того, даже в

позоре, потому как под таким дитем все чаще разумеют не человека, созданного людьми любящими, а ребеночка, подкинутого на руки всемогущему отечеству как плод незначительной слабости.

Но это отдельная тема. К вышесказанному же стоит прибавить лишь одну статистическую табличку, чтобы было уж все ясно до конца. Речь идет об источниках существования женщины. Количество иждивенков сократилось с 50,3 процента (1939) до 29,7 (1979), занятых в личном хозяйстве уменьшилось с 8,9 до 0,4, зато число занятых трудом возросло с 34,8 до 47,8, равно как с 1,3 до 19,6 процента, возросло число женщин, «заработавших» пенсию. С одной стороны, цифры эти говорят о растущей личной самостоятельности женщин, о возрастании, так сказать, процента государственного обеспечения старух — опять же отдельная и весьма печальная тема — о сокращении женского иждивенчества, если подразумевать под ним материальную зависимость жены и матери от мужа или детей — но!

Иждивенками в старые времена были женщины, сделавшие материнство высоким призванием, а сохранение семейного очага, хозяйские хлопоты — важной работой. Мать Ленина по нынешним социологическим категориям — простая иждивенка своего мужа. Но припомним хотя бы ее поведение при ходатайстве за старшего сына, приговоренного к казни. Кто она в шкале наших даже самых примитивных ценностей? Мать-страдалица, Гражданка, семейный тыл?

Что и говорить, куда естественней и человечней, если женщина-мать, оставаясь на иждивении работающего, профессионального, порядочного мужа, отца детей, растит их и ведет хозяйство, а не бегаёт с совковой лопатой в оранжевой кацавейке — спасение от пьяных колес! — и не раскидывает тяжёлый асфальт перед катком на дороге. Ну, а уж за рулем катка этого самого — всенепременно мужчина: как же, тонкая техника, женщине недоступна!

Одним словом, материнство — второстепенно. Семье в целом достаются крохи жалких женских сил, оставшихся от «трудового процесса», стояния в очередях, стирки и готовки. Вечное беличье колесо, уик-энд — не про нас, а если и скопишь на ресторанный обед по какому-либо из ряда вон выходящему случаю, то попробуй-ка доберись до столика сквозь кордоны швейцаров, да и не принято у нас тратиться неизвестно на что.

Семейная жизнь вырождается — или выродилась уже? — в нечто отвратно-бытовое, безрадостное (за малым, чаще всего первоначальным исключением), и напрасно полагать, что отчуждение между мужем и женой — это «всего лишь» психологическое обоснование объективно-фундаментального понятия. Когда миллионы и миллионы женщин и мужчин теряют силы при несильной социальной

уверенности на работе, где тебя принуждают и где не ты выбираешь, где требуется не творчество и твоя личность, а исполнительство и послушание, согласитесь, общественный корабль непременно станет переваливаться с борта на борт даже в самый что ни на есть шторм.

Смута на душе, возникшая дома и укрепленная дискомфортом на работе, в профессии, в социальном статусе человека, порождает смуту в обществе. А это и есть ярчайшая форма межличностного отчуждения.

6

Помните ли среди российских жалостных напевов, может, самую жалостную песню: «Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда»... Очевидность, не требующая доказательств. Очевидность, безусловная и сегодня.

Но как бесполезная деятельность человека пробилла озоновую защиту Земли над Южным полюсом, так бесполезная мораль человека пробивает огромные прорехи в защитительной оболочке его собственной человечности.

Например, отчуждение не между мужем и женой, но между родителями и детьми породило пусть и не новую, но все расширяющуюся пустоту, в которой обретаются почти триста тысяч сирот-стариков при живых детях (данные 1988 года). Опять двойное зеркало: триста тысяч сирот-детей при живых родителях обретаются в так называемых интернатных заведениях.

Конечно, можно сказать, что отчуждение родителей и детей, детей и родителей — историческая тема. Зигмунд Фрейд утверждал природное противостояние сына отцу как некий объективный момент внутрисемейной, кровной борьбы. Отцы и дети — вообще вековая, особенно для русской культуры, боль. Однако предпочтении здесь всегда отдавалось, так сказать, идее противопоставления прогресса консерватизму, пониманию — непониманию, иногда добра — злу, и наоборот. Культура, а литература особенно, стремилась при этом всегда обернуть сердце человека к прощению и милосердию.

Но то ли современная наша культура, гонящая за социальностью, утратила свои гуманистические, человеческие, «жалостные» цели, а таким образом и часть влияния не на ум, а на чувства общества; то ли отчуждение и осатанелость приобретают все более жесткие черты, то ли, правильно рассуждая, человек склонен неправильно поступать, но этот, самый безжалостный подвид отчуждения, к печали нашей, прогрессирует. При этом каждый отыскивает свою правду, не очень заботясь о понимании боли другого, даже кровно родного существа.

Отторжение, разобщение, отчуждение как часть общественной атмосферы есть еще и результат невоспитанного ощуще-

ния виноватости. Только оно, это высокое чувство, способно подвинуть человека на первый шаг любви к слабому, виноватому, наказанному и без того, или виноватому, но вины своей не чувствующему, а оттого тем паче наказанному...

В ответ на это можно услышать злое обвинение в толстовстве или уравновешенно-логичное доказательство, что, мол, вся жизнь есть борьба добра со злом и что, несмотря ни на какие усилия гуманизма, борьба эта есть вековечный диалектический процесс, который никогда не увенчается окончательной победой ни той, ни другой стороны...

Все старо, как мир, и не нов, конечно же, вопрос: как, какими средствами наш социалистический мир смягчить, как в нашем мире, где юридически все равны, воспитать истинно равное чувствование таких понятий, как виноватость, прощение, доброта?

Или это все не наши обороты? Христианские, библейские, как хорошо всем известно с пионерского отряда, еще в семнадцатом отделенные от государства вместе с церковью?

Думаю, сегодня пора внятно признать: разрушить одну социальную систему и заменить ее другой в политическом смысле гораздо легче, чем, разрушив старую культуру, создать новую и, разрушив старые моральные устои, создать новые.

Это прекрасно понимал Ленин, а его речь на III съезде комсомола страстно изучалась даже в наисталинские годы, но это умственное освоение так и не стало освоением практическим и целостным. Вырвав лозунг — «учиться, учиться и учиться!» — вся глубина ленинского призыва во спасение старой культуры закончилась коротеньким желанием высшего образования, окороченного, впрочем, множеством явно не ленинских догм. Разрушив то, что называлось морально ветхозаветным, и не создав своей морали, напротив, подчинив свою силу власти, а не разума и исторической памяти о наработанном человеческом багаже, мы оставили множество поколений «без бога» в собственной душе.

Когда все можно, — а если и нельзя, то ие в силу вековых моральных истин, но из страха, скажем, вылететь из партии, сойти с орбиты общественных ценников, — когда все старое — рухлядь, когда сын поднимает руку на отца поначалу за то, что он «пережиток прошлого», а потом уж просто за ненужностью, бесполезностью или из-за старых обид, возведенных в ранг всееленского непрощения, ничего хорошего не жди в человеческом общежитии.

Вот трагическая история современно-го женского озверения, рассказанная журналисткой «Комсомольской правды» Ольгой Егоровой из Минска (19 февраля 1989 г.), названная ею «Шок».

В Минске среди бела дня интеллигентная молодая женщина, переводчик по профессии, мать двоих детей, утопила ученика третьего класса средней школы

№ 42 Сашу Ануфриева. Следствие установило: это была месть. Но не ребенку, а его матери, к которой ушел бывший муж этой женщины.

Не знаю, кто и что испытал, прочитав эту останавливающую сердце заметку, — шок, автором уточнено — «сегодняшний шок», но мне не легче ни от одного, ни от другого определения. В пору вымолвить: конец света! В пору заплакать, да не порознь, а всем вместе, всей страной! В пору факт этот, этот пример персонифицированного фашизма, который, оказывается, можно культивировать в отдельной, видно, глухо изолированной от других человеческой душе, — обсудить публично во всех до единой газетах страны, как печатаем же мы повсеместно официальные документы и политические речи. Неужто убийство невинного ребенка из-за ненависти взрослой женщины к другому взрослому — ее бывшему мужу, эта чудовищная взрослая месть, избирающая предметом расправы самое уязвимое в душе противника — малое дитя, — неужто это деяние не стоит всенародного нравственного обсуждения?! Основательного, публичного, транслируемого по телевидению срочного заседания Президиума Верховного Совета СССР?

Да, в том-то и беда наша, в том-то и тревога моя, что абсолютно уверен: событие это осталось в ряду уголовных происшествий, никак не больше того. Состоялся суд — расследование, видно по всему, много времени не заняло, — в зал заседания набился народ, все больше сердобольные пенсионерки, поплакали, поахали, выслушали справедливый приговор. Но вот вопрос вопросов: это и есть торжество добра? Победа над злом в виде одной лишь судебной оценки осатаневшей ненависти?

Мы, в ком почти генетически заложено пристрастие к четким формулам, ясным лозунгам или актуальным определениям, уже живем под новым гипнозом не всеми, не всегда и не так, как следует, понимаемого обозначения — правовое государство. В справедливом понимании одних — это верховенство закона. В обстоятельствах, когда он отсутствовал или отсутствует, этот самый необходимейший закон, надежда на него чрезвычайна и потребность в нем безусловна.

Но нет ли уже тут, не обозначилось ли стародавнее наше чувство успокоения: вот приедет барин, барин нас рассудит? Под баринком в наше демократическое время подразумевается закон.

Так нет ли новой угрозы: все решит справедливый суд? Но все ли? И как нам быть с судом собственной совести? Закрывать за ненадобностью? Ведь впереди замаячило правовое государство, о чем петься? Нет ли старого синдрома: ты не думай, не печалься, отчего идут дожди — за нас думают вожди? Только теперь вождями будут законы.

А как же быть с делом Дрейфуса? С борьбой Эмиля Золя? С мултанским

делом, в которое вмешался Короленко? Они же выступали против закона. По крайней мере, разве Франция эпохи дела Дрейфуса не считала себя правовым государством? Почему же тогда люди истинной справедливости не спешили соединить себя с законом как конечной формой этой справедливости? Почему боролись с ним, увлекая за собой общественное мнение? Почему, наконец, в наши дни Англия способна отозвать дипслужбу из Ирана за то, что его власти, уверен, руководствуясь законом своей страны, повелели убить поэта Салмана Ражди за книгу «Сатанинские стихи» и весь мир, на всех уровнях, от парламентских до кухонных, взбудоражен этой историей, не хочет убийства поэта?

Мне могут возразить, что я рассуждаю не «по той» логике, что все мои аргументы, все примеры, которые я привожу, имеют политическую окраску, что они важны для всех, а чудовищная история убийства Саши Ануфриева, третьеклассника из Минска, — дело исключительное, и вряд ли стоит обобщать...

Это словечко и его варианты — обобщать, обобщение — дескать, нечего намекать, когда дело того не стоит, — понятие явно конформистского толка, как бы априорно приучающее к послушанию.

Еще одно отступление — теперь уже на эту тему, тему обобщения. Из всего полноводного потока — забытой, точнее, закрытой ранее литературы, которой переполнены до краев сегодняшние журналы, самое сильное впечатление на меня произвели письма Короленко к Луначарскому. На краю собственной могилы старый писатель, не раз защищавший людей от смертных приговоров, снова заступает за такого-то и такого-то, с горечью пишет о несправедливых казнях неповинных людей, обвиненных в мнимых преступлениях против революции, обобщает, обобщает, обобщает...

Точнее и грамотнее будет сказать, что обобщением все это можно назвать лишь с вульгарно-политологической точки зрения — как почти всегда это происходит с употреблением полуобвинения «обобщать». Короленко анализирует. Он ищет причины. Высочайший образец мыслящего гуманиста и защитника личности, старый писатель не озирается по сторонам, к чему, увы, слишком уж приучены мы, грешные. Однако даже его безоглядность выделяется из всего окружающего нас абсолютным отсутствием эгоцентристского начала.

Он защищает не потому, что почитает собственную добродетельность, а потому, что не может терпеть несправедливости, если даже она революционна и законна. Само существование вне этих норм для него бессмысленно. Мне кажется даже, что в своих письмах к Луначарскому он как-то неочевидно, может быть, даже для себя прощается с жизнью. Его призывы к справедливости и человечности закона производят впечатление последнего слова приговоренного.

Он спокоен внешне как интеллигент, выросший на иных принципах, но он уже краснел. Овладевает чувство густой и достойной, но невозможности противостоять валу бесплощадного огня, сжигающего души людей ими же самими.

Эк куда загнул, скажет кто-то. При чем тут, спросит, убийство Саши Ануфриева? В огороде бузина, а в Киеве дядька!

Да в том-то и дело, что все это связано. Еще как!

Журналистка Ольга Егорова тоже пытается обобщать. В противовес дикому убийству Саши она приводит пример «благородного» убийства ребенка. Во время войны, уходя от карателей и спасая тем самым многих других людей, женщина «опустила в болото своего закричавшего грудного ребенка». И далее, без всяких сомнений и даже мысленных пауз, в подбор, в одном абзаце: «А потом никогда не вышла замуж. И не могла иметь детей. И все повторяла: лучше бы они убили нас всех, чем бы я убила...»

Есть там и последующие размышления о лишении себя права рожать, о противоестественности такого убийства. Так и слышится противопоставление убийства военных лет «во благо» нынешнему «во грех». Не зря же и слова такие возникли — «сегодняшний шок».

Нет, не бывает зла во имя добра, не бывало, не может быть. От библейских до наших дней не может быть. И классово-социальное обоснование зла не вызывает ответного добра — будь то приговор Верховного суда политической оппозиции, религиозный суд аятоллы или убийство младенца собственной матерью во имя взрослых, кому угрожает смерть.

Если такой «подвиг» милосерден для других, то страшны эти другие, согласные на милосердие нелюдским обличем.

Так вот — хотела или не хотела того Ольга Егорова, но противопоставила все же одно убийство ребенка другому. Причинное противоестественному. В этом-то я и вижу нашу общую страшную драму: приемлемость, оправданность, так сказать, социальную адвокатуру того, что оправдывать — с точки зрения закона и обстоятельств — возможно, но по элементарным людским меркам противоприродно.

Мы как бы в каждодневной практике упражняем наши ложносоциальные убеждения. Но истина всегда проще: убийства невинно-беззащитных не имеют оправданий. Оправдание развращает душу, проламывает лазейки в нравственных оградах, которые человек сам для себя возводит, и тем именно он человек.

К сожалению, пример матери-детоубийцы военных лет найдет немало сочувствующих. И это тоже наша беда. Многие назовут ее деяние даже подвигом.

Но если «благородное» детоубийство, оправданное спасением других, будет истолковано реальной матерью как пра-

во на человекоотступничество? Если можно убить свое же дитя там, на войне, то найдется тысяча убедительных аргументов безысходности той или иной драматической ситуации, которая тоже оправдывает подобное. Например? Ну, узнает муж-моряк, что, пока был в долгом плавании, жена родила не его дитя — разве не повод для детоубийства? Или мать не пускает на порог родного дома шестнадцатилетнюю девчонку, которая «принесла в подоле»?

Горестно приводить примеры такого свойства, но ведь они не выдуманы. За последние пять лет 1795 женщин совершили убийства своих новорожденных детей! И у каждой было свое, как они считают, веское основание.

Ужасно и то, что убийство Саши не стало фактом общенациональной тревоги, что колокола нашей гласности, за исключением, как видим, «Комсомолки», не бьют беды, что народ не устраивает митингов по этому именно поводу — хотя митинговать по всякому случаю мы научились, — что похороны ребенка не превратились в шестивековой протест против жестокости и что узнали мы об этом трагическом свидетельстве осатанелости, злобы, ненавистничества с непростительным опозданием.

А узнав, не среагировали, как нравственно зрелое общество. Промолчали.

Кто-то поахал. Но эти ахи остались его частным делом. Общество не возвысило голос. Не испугалось. Не вскрикнуло от ужаса и боли.

Все идет, как шло, и страшное минское дело уже затмевают другие разнообразнейшие события.

Саши нет. И мир не содрогнулся. Мы, полагающие себя гуманистами и любящие это подчеркнуть в себе разнообразными способами, молчим.

Кричать нам надобно! Криком кричать! И говорить, больше говорить не только о переломке хозяйства, политики, но и человеческих отношений.

Почаще повторять — и утверждать делом — вечные слова Достоевского о том, что ни одно, самое благое дело не стоит единой детской слезы.

7.

Увы, одним из мощных двигателей отчуждения в обществе стала зависть. Динамика этого негативного чувствования — явно нарастающего свойства, на глазах нарастающего, неостановимо, и это уже не просто тревогу вызывает, а превращается в ощутимую негативную угрозу, силу, совершающую разнообразные деяния, в том числе уголовного свойства. Как, например, рэкет.

Если бы не факторы нарастания зависти в новых социальных обстоятельствах, казалось бы, совершенно не способствующих этому антиразвитию, о чувстве, столь же древнем, как сам человек, вряд ли стоило бы особо пространно рассуждать.

Сделаю выписку из труда французского рационалиста Рене Декарта «Страсти души». (Рене Декарт. Избранные произведения. Госполитиздат, 1950, с. 685—687.) Вот что он написал о зависти еще в XVII веке:

«То, что вообще называется завистью, есть порок, представляющий собою природную извращенность, заставляющую некоторых людей сердиться по поводу блага, выпавшего на долю других. Но я пользуюсь этим словом, чтобы обозначить страсть, которая не всегда порочна. Зависть, поскольку она страсть, есть вид печали, смешанной с ненавистью и появляющейся при виде блага, имеющегося у тех, которых не считают достойными этого блага. Но с основанием так можно думать только о случайных благах, ибо что касается душевных и даже телесных благ, то поскольку ими обладают от рождения, их достоин всякий, кто получил их от бога, прежде чем стал способен сделать какое бы то ни было зло».

Еще одна оценка:

«Нет ни одного порока, который так вредил бы благополучию людей, как зависть, ибо те, которые им заражены, не только огорчают самих себя, но и омрачают также радость других».

Огорчают, омрачают, заставляют сердиться — деликатные слова, не правда ли? Можно позавидовать французскому обществу первой половины XVII века, тем более что почтеннейший французский рационалист полагаал, судя по тогдашним представлениям, что завистливому человеку не укрыться от взора окружающих, он даже внешне отличим от сонма добродетельных сограждан. «У них, — пишет Декарт, — обыкновенно бывает свиной цвет лица, то есть смешанный из желтого с черным, точно цвет крови мертвеца, почему зависть по-латыни носит название *Livor*, то есть *сива*». Глубоко убежденный, что чувства связаны с действием внутренних органов человека, этот просвещенный ученый объяснял цвет лица завистника тем, что ненависть «заставляет желтую желчь, выходящую из внутренней части печени, и черную желчь, идущую из селезенки, распространиться из сердца через артерии во все вены; по этой причине венозная кровь имеет меньше тепла и течет медленнее, чем обыкновенно, а этого достаточно, чтобы вызвать синеватый цвет».

Вздыхнешь поневоле — все-таки понятней жилось там, у них, давным-далеко, попробуй-ка сейчас, на исходе XX века, найти завистника по цвету лица. Завидуют и розовощекие, и толстяки, и, что печальнее всего, ретиво обучаются этой тяжкой душевной смуте дети. Так что да простит мне мою бестактность замечательный философ, который, увы, не может ответить мне, но, думаю, что по прошествии трех веков многие душевные недуги, в том числе зависть, стало отличать все трудней то ли по

причине приспособляемости человеческой анатомии к окружающей морали, то ли потому, что снижен порог моральных критериев, то ли просто оттого, что раньше представляло собой некий душевный труд, нынче стало обычной, не сильно затрудняющей плоть привычкой.

Но все-таки следует сделать еще одну выписку из Декарта, кое-что поясняющую в наших чувствах и отношениях. Речь идет о качестве зависти. Да, оказывается, она может иметь свои качества, даже цвета. Одно время была популярной песня про белую — в отличие от черной — зависть. Белая зависть, дескать, доброжелательное чувство. Я полагаю, что это песенные издержки. Так сказать, метафора.

Но оказалось не все так просто. И это утверждает Декарт. Один параграф в его сочинении, посвященный зависти, так и обозначен: «Каким образом она может быть справедливой или несправедливой».

Итак...

«Но если судьба наделяет кого-нибудь благами, которых он действительно достоин, и когда зависть пробуждается в нас только потому, что, любя справедливость, мы сердимся, что она не была соблюдена при распределении этих благ, то эту зависть можно извинить, особенно если благо, которому завидуют у других, такого рода, что в их руках оно может превратиться в зло; например, если это благо — кака-нибудь должность или служба, при исполнении которой человек может дурно вести себя. Если же желают блага для себя и обладанию этим благом поставлены препятствия, потому что оно находится у других, менее достойных, то это значительно усиливает зависть. Эта зависть находит себе оправдание, если только злоба относится к распределению благ, которым завидуют, а не к тем, которые ими обладают или их распределяют. Но очень мало столь справедливых и великодушных людей, которые не питали бы ненависти к получившим это благо раньше их, несмотря на то, что его нельзя распределить среди всех желающих и что обладающие благом могут оказаться вполне достойными его. Обычно больше всего завидуют славе. Хотя слава других не мешает ему, чтобы всякий ее приобрел, однако слава, выпавшая на долю другого, делает ее менее доступной и увеличивает ее ценность».

Вот так. Сделайте паузу, перечитайте длинную философскую мысль еще раз — это необходимо. И согласитесь: прямо в нас целил древний провидец.

Есть, правда, несколько наводящих вопросов, так сказать, материалистического свойства. Например, значит, все-таки судьба наделяет человека благами, которых он достоин? Выходит, «любя справедливость», мы так и будем без конца «сердиться», что она то там, то тут, то триста лет назад, то триста лет вперед так и не бывает соблюдена и нет

никаких надежд на «излечение» несправедливости временем, человеческим прогрессом, переменами социальных структур? А отнятие «благ» одними у других — что же это, всегда результат благородной зависти?

Все же душа никак не хочет смириться с тем, что может быть извинение зависти.

Зависть похожа на ржу, она точит душу, истанчивает ее непресекающейся тоской, а презрение к бездарю, забравшейся наверх, к нечестивцу, читающему мораль остальным, недоверие к личности, избравшей истиной для себя одно, а для других — иное, точнее будет назвать жадной справедливости, стремлением к правде, а действительные жажду и стремление — борьбой.

Притом справедливости ради стоит заметить, что благо, данное природой ли, богом ли, талантом или генетикой, равно как благо, завоеванное усердным и честным трудом, высоким профессионализмом, тратами собственного ума и сердца, увы, не иммунизировано от зависти.

Она ведь, как всякое недоброе чувство, не терпит правды и тасует карты, как ей вздумается. Человек должен еще научить себя справедливости, культуре отделения козлов от козлиц, желанию уважать чужой труд, талант и терпение.

Однако это и есть самое слабое место. Взяв капелючку правды, зависть доливает ее домыслами, слухами, непочтением к истине и такой коктейль сооружает, что не одну, в общем, не самую плохую душу до краев наполняет ненавистью, злом, пьянит отвратной желчью.

Современное завистничество многолико и по-паучьи многолапо. Наивные представления о социализме и коммунизме первых лет довольно основательно строились на идее всеохватного обобществления. Были леваки, предлагавшие общность жен. Это из сегодняшних времен смотрится карикатурой, тогда взгляд на новации столь решительного свойства казался более чем серьезным.

Идея коммуны не просто витала в воздухе, к ней примерялись с самыми серьезными намерениями. В Москве, на улице Чайковского, за нынешним музеем Шалапина, есть жилой дом, классический пример советского конструктивизма, построенный как дом-коммуна: квартиры неплохие, есть в двух уровнях, но система при этом коридорная, нет кухонь, зато столовая для всех и нечто вроде клуба. Не надо говорить, что ж, не так уж и дурно, только вот жизнь опровергла своей экономичностью суровостью эти светлые надежды и жить, и есть сообща.

Сейчас мы убедились, что «общее», как правило, быстро становится «ничим». А ведь находились люди, предреждавшие об этом... Где они — те люди?

Словом, общее соседствовало с равным. Как будто светлые и благие идеа-

лы. Но сколько раз в новейшей истории эти понятия опровергались практикой бытия, когда отсутствие, скажем, равенства — в опытности, усердии, отношении к делу — подавлялось напором воинствующего безделья и неумения, орущего о равенстве, уравнивало профессионализм и мастерство с крикливой демагогией и приводило не к воздаянию «каждому по труду», а к разделению «результата» поровну. Что, ясное дело, унижало умелых, дискредитировало знание, опытность, талант.

Высокие эти качества, точно черепахи, поначалу прятались в броню защитного панциря личности, примолкали, уходили как бы в сторону. Со временем массовое мастерство исчезало, подмененное всякого рода соревнованиями, движениями и прочими «мероприятиями», которые жали в основном на сознательность, на технологизм, конечно же, и на профессионализм тоже, умноженный на экстенсивный, напряженный труд. Категория качества уступала количественным параметрам. Количество нас утешало. Иначе говоря, принимались ремонтные меры вместо того, чтобы утвердить на деле провозглашенный лозунг: «Каждому по труду».

Уравниловка, ставшая отчего-то едва ли не синонимом равенства, — мощный, фонтанирующий источник отечественного завистиства.

Логика тут элементарная. Он человек, и я человек. Так? Ну, допустим он долго учился, старался, подумайся, и я бы учился, если бы не ленился. Но ведь у нас не только конструкторы самолетов требуются. И вообще гегемон — рабочий класс. Короче, разница в образовании еще не говорит, что образованный лучше других, так?

Он много работает? Его дело! Надо укладываться за смену. Если не укладывается. если. видите ли, у него работа творческая. так это его дело. У нас всякий труд в почете. Так?

Ну ладно! Пускай он на сотню больше моего получает. Ну, на полторы. Но не на три же? Что? У него — ответственное дело? Значит, у меня безответственное?

Почему жена не работает? Он — за двоих? Но зато он кормит троих, а я — шестерых! И вообще! Ходит в костюмчике, очкарик этакий, а я в спецухе, за одно за это надо доплачивать. У меня руки черные, у него — беленькие. Он за границу ездит, шмотки возит, а я?

Как говорится, и т. д. и т. п. Нетрудно заметить, что, как всякая зависть, «практическая» уравниловка не обходится без доли правды и про границу, и про доходы на душу населения. И все же сравнительный анализ такого рода от макушки до ботинок — весь из ложно понимаемой уравниловки.

По этой логике нет цены у образования, у профессиональных особенностей, класса и уникальности труда, и мало убеждает, что заграничездки ведь в ос-

нове-то у этого авиаконструктора, наверное, по рабочей необходимости, для дела: свет засяят заморские тряпки. Тут уж здравый смысл отступает, в душе, что называется, вселенская смазь, не поймешь, где правда, где оговор.

Но без истины жить тяжело. Ведь придуманный нами конструктор, символ благополучия в глазах его оппонента, нравственно — при всех его заслугах перед делом — вовсе не обязательно идеальная личность. И он, внешне благополучный, может страстно завидовать стоящим выше, сбоку, ниже. Например, попросив починить ему кран и дав за труды десятку, запросто буркнет в спину телогрейке: «Если за каждый час работы он получает червонец, зачем же я чахну в своем КБ?»

Да, зависть неуравняема, она идет снизу вверх и сверху вниз, движется в боковых направлениях, короче, пронизывает все наше существование. А если какую-то материю — уж не говоря про дух — распатывать изнутри каждую минуту, сколько же, спрашивается, она может выдержать и какой внутренней силой должна обладать, чтобы устоять?

Особенно жутко видеть разгул зависти в детской среде. Ведь у детей все обнажено. То, что взрослые, выходя из дому в мир общественных контактов, порой — хотя далеко не всегда — прикрывают одежкой лицемерия, дети несут в чистом виде, быстро одолевая пространство между элементарной завистью, например, к «упаковке» и почти что социальным расслоением. Когда «имеющие» сбиваются в клубок против «неимеющих».

Тут нельзя не согласиться с Декартом: увы, отношение к детям блатников или «верхушки» у остальных ребят может носить форму ярко выраженной — даже в поступках! — зависти. И ярко выраженной ненависти.

Снисходительность, чувство достоинства, самоокорачивание... Сколько можно было бы еще перечислить человеческих достоинств, способных бороться с завистиством. Только надо бы энергичней и чаще побуждать эти чувства. Родителям, учителям — в ребенке. Духовным силам — в обществе.

Увы, зависть если и осуждается, то лишь на уровне конкретных ситуаций. Все согласно кивают: ай-яй-яй, действительно, какой ужас! Но мир многомерен, и мы живем в меняющихся обстоятельствах, часто внешне очень непохожих на осуждаемые нами же. И тут мы другие. Мы не находим сил, чтобы в душе сказать самому себе: ну-ка, глянь в зеркало, на кого ты похож? Наша внутренняя прокуратура — на замке. Как это: судить самого себя?

Итак — отчуждение. Дурное, тяготящее душу состояние. Воспитанные на теории, по которой человек человеку —

друг, в практике мы слишком часто спотыкаемся об иную, прямо противоположную истину.

А когда за ней, к этой лжеистине, примыкает едва ли не поголовное равнодушие, становится тоскливо, до самого глубинного, душевного воя.

Вот ленинградское телевидение изложило сюжет: родственников женщины, лежащей в больнице, вызывают депешей о ее смерти. В кадре родные сидят на фоне траурных венков с лентами, прощальными словами. Сидят ошалелые — приехали на похороны, а родственница их жива. И не поймешь, то ли радоваться, то ли горевать.

Главврач через ведущего телепрограммы заочно приносит извинения. Спасибо хоть за это, но кому? Нам, зрителям? Не мало ли? Ведь надо извиниться перед женщиной, списанной в покойницы. Перед родней. Но где же конкретный виновник? И почему бы нам не признать за моральное право общества — не знаю, поможет ли здесь закон, — обязательное публичное извинение перед телекамерой непосредственных виновников таких «происшествий».

Ведь что бы они ни сказали, а вина их в полном презрении к человеку, да еще старому — или малому! — безответному, безобидному.

Да, не хватает нам общественного разбирательства, а еще более недостает совестности при бурном развитии бессовестности.

Было у этого случая поразительное продолжение. Увидев всю эту историю, откликнулась какая-то женщина. Все в той же больнице с ней случилось нечто похлестче, пожалуй. Тоже получила телеграмму о смерти матери, прилетела, пришла в больничный морг по официальному вызову, заверенному врачами, а ей говорят: извините, мать ваша жива, ошибочка вышла, пройдите в такую-то палату, она там. Подводят эту женщину к матери, глядит она, а перед ней вовсе другой человек. Как же так, спрашивает. Перед ней снова извиняются: ой, извините, оказывается, мамаша-то ваша действительно померла.

Много у нас издевательства разнообразнейшего рода, мы вроде как к ним уже привыкли, горюя, конечно. но и смиряясь на каждом шагу. Однако почему бы за такое-то не судить настоящим судом?

Или еще одна история — все то же ленинградское ТВ. Возле какого-то железнодорожного туалета в общественном туалете полгода живет старик, изгнанный соседями из своей квартиры. Кто кусок ему подаст, кто слово скажет. Полгода! И туалет тот не заброшен, действует, зашли за эти полгода туда тысячи мужиков, и хоть вроде жалели некоторые, а все же не помогли.

Почему? Не умели. Не знали, как. Не приучены, наконец, что чужому человеку надо помочь, надо бежать, чтобы помочь, колотить в двери, трезвонить в колокола. Наконец, пришло телевидение. Пожалуй, оно-то поможет. Но неужто же других сил в нас не осталось, все кто-то другой должен, обязан, какие-то сила, власть, а не мы сами. Неужто трое, пятеро мужчин не в состоянии собраться в силу, которая и соседней надумит, и старуку подсобит?

Но нет, идем мы мимо друг друга, равнодушные, отчужденные. Локтем друг дружку пихнуть легче и проще, нежели улынуться встречному — просто так улынуться, кивнуть, подвинуться, извиниться.

Да что — встречному! Дома-то, в родном кругу, заметьте, как разнятся наши отношения от, скажем, именных, праздничных и простых, обычных, серых дней. Как неулыбчивы мы дома и на работе, как жестки наши лица на улице и в автобусе, как нетерпеливы и нетерпимы, когда речь заходит о неприятном, и как не умеем об этом неприятном говорить, не нагоняя страха, — легко, может, даже шутливо, с добрым желательством.

Говорю обо всем этом с чувством острой душевной недостаточности, потому что и сам таков, от других не отличаюсь.

Но должны же мы становиться добрее! Или конец наш в предопределенности ожесточения — социального и духовного.

Армагеддон — неизбежен?

Или есть надежда?

И если есть — в чем она?

Думаю, думаю, и ответ, мне кажется, очень прост. Надежда в нас самих. Правы сибирские академики тех острожно-недоверчивых лет. Истина не в конфликтах между тем, как «у нас» и как «у них».

И мы, и они люди. И мы, и они что-то потеряли. Им искать, что потеряли они.

А нам — что потеряли мы...

Ульянов в Женеве

В начале XX века около трех лет за границей выходила первая общерусская революционная газета «Искра». Она была детищем В. И. Ленина, и современники по праву связали «Искру» с именем Владимира Ильича, назвав ее ленинской.

Первый номер вышел в Германии, в городе Лейпциге, затем редакция переехала в Мюнхен, где и печаталась газета. За Мюнхеном вскоре последовал Лондон, а на смену ему пришла Женева. В истории партийной печати невозможно найти подобный случай, когда редакция в течение трех лет была вынуждена переезжать из одной страны в другую.

Причиной тому — преследования со стороны русской и вкуче с нею работающей зарубежной полиции. Между ними существовали тесные многолетние связи, но это обстоятельство всячески замалчивалось. На страницах подпольного печатного органа искровцы далеко не случайно одну из своих корреспонденций озаглавили так: «Полицейские всех стран, соединяйтесь!».

Международно-полицейские услуги буржуазных правительств были в то время обычным явлением. По мере возрастания пролетарского единения и усиления классовой солидарности в западноевропейских странах все теснее сплачивались между собою правящие круги. С их помощью русская полиция за границей вела слежку, изымала корреспонденцию, присылаемую из России, в поисках «интересующих материалов» инспирировала квартирные кражи, совершала и другие подобные акции.

Социал-демократам приходилось постоянно быть начеку. В случае приближающейся опасности они срочно меняли свое местопребывание.

В начале 1903 года члены редакции газеты «Искра», проживавшие в Лондоне, стали все чаще замечать за собой слежку подозрительных личностей. Во избежание ареста Г. В. Плеханов предложил немедленно перевести редакцию в более безопасное место, в Женеву. Ленин был против этого переезда, поскольку требовались дополнительные материальные затраты, установление новых организационных связей, налаживание транспортных путей... Да и в житейском плане подобные переезды были трудны и обременительны сами по себе. Однако В. И. Ленин был вынужден подчиниться общему решению.

Надежда Константиновна Крупская позже рассказывала: «Начали собираться. Нервы у Владимира Ильича так разгулялись, что он заболел тяжелой нервной болезнью «священный огонь»...»

Дорогой в Женеву Владимир Ильич метался, а по приезде туда свалился и пролежал две недели».

Точная дата их приезда не установлена, известно лишь, что Ленин и Крупская прибыли в Женеву в конце апреля 1903 года и поселились в пансионе «Морар», расположенном на авеню дю Май в доме № 15. В этом пансионе некоторое время проживали Н. Э. Бауман, В. В. Воронский и другие политэмигранты — выходцы из России.

Вскоре Владимир Ильич нашел более подходящую квартиру в предместье Женевы Каруж и переехал туда на улицу Коллин, 2. Однако и здесь он прожил недолго, по-видимому, и это место по каким-то соображениям его не устраивало.

1 июня 1903 года Владимир Ильич снял квартиру в доме № 10 по улице Шмен приве дю Фуайе. Новое жилище оказалось удобным, здесь они прожили более года.

По приезде в Женеву Ленин и Крупская старались не привлекать к себе внимания местных властей. Этим обстоятельством отчасти объясняется тот факт, что швейцарская полиция тогда не зафиксировала время приезда сюда Ульяновых. Директор департамента юстиции и полиции Женевы в конце октября 1903 года сообщил в Петербург: «Ульянов проживает в нашем городе 3 месяца». На самом деле Владимир Ильич находился в Женеве уже более полугода.

Не только швейцарская служба, но и русская заграничная агентура в течение почти трех месяцев находились в неведении о месте пребывания Ленина. Все это время не было «контроля» и за его перепиской. Отсюда не случайно, что в числе перлюстрированных полицией ленинских писем отсутствуют таковые за период с апреля 1903 года до января 1904 года. За весь женевский период жизни в 1903 году, к сожалению, не сохранилось ни одного письма Владимира Ильича к родным, в то время как переписка велась довольно регулярно. Немыслимо представить, чтобы с марта 1903 года, когда Ленин послал матери письмо из Лондона, он в течение девяти с лишним месяцев потом не давал о себе знать. Это не в его правилах. Видимо, большинство писем

к родным в то время он посылал с оказией.

Известно, что по приезде в Женеву Владимир Ильич сообщил родным свой новый адрес. Так называемые «черные кабинеты», просматривавшие заграничную и внутреннюю подзирательную корреспонденцию, в течение 1903 года перлюстрировали 6116 писем. В их числе было вскрыто и два письма Марии Ульяновой, посланные Ленину в Женеву. Одно из них Мария Ильинична отправила брату из Астрахани. В материалах департамента полиции имеются любопытные сведения о перлюстрированных письмах, их авторах и адресатах. В частности, сохранилась и запись, из которой видно, что Ульянова Мария Ильинична 12 июля 1903 года отправила письмо Ульянову Владимиру Ильичу в Женеву. К сожалению, содержание его нам неизвестно, как и судьба самого письма.

За несколько дней до Нового года М. И. Ульянова отправила очередное письмо брату в Женеву. Оно датировано 25 декабря 1903 года. Полиция сумела перехватить его, перлюстрировала и отправила дальше по адресу: «В. Ульянову, Женеве, chemin prive du Foyer, 10». Это был адрес, по которому тогда проживал Владимир Ильич.

В секретном же донесении отмечалось, что письмо за подписью «Маняша», отправленное из Киева 25 декабря, адресовано Владимиру Ульянову в Женеву. И хотя оно носило сугубо личный, семейный характер, тем не менее по заведенному порядку его вскрыли и сделали копию. В таком виде оно и сохранилось до наших дней.

«Дорогой Володя! Все наши и я шлем тебе поздравления с праздниками и Новым годом и пожелания всего хорошего, — писала Мария Ильинична. — Твое письмо получили, но то, о котором ты упоминаешь там и которое, по всей видимости, было ответом на мои письма, очевидно, пропало. Напиши, пожалуйста, что ты писал там о своих деньгах, полученных от Водовозовой».

В издательстве Водовозовей в Петербурге в 1899 году вышла книга В. И. Ленина «Развитие капитализма в России». Вскоре после выхода ее в свет в письме к известному писателю А. И. Эртелю она сообщила: «Успех моих некоторых последних изданий просто поразителен, — я говорю о книге Ильина «Развитие капитализма в России». Я издала ее весной и, несмотря на наступление лета и отлив молодежи из столицы перед пасхой, эта книжка расходуется с невероятной быстротой».

Успех Ильина объясняется, помимо блестящих литературных и научных данных, еще, главным образом, тем, что он трактует об образовании внутреннего рынка в связи с аграрным вопросом в России и разложением крестьянства... Нельзя читать эту книгу без самого захватывающего интереса».

Владимир Ильич, как правило, свое-

временно отвечал на письма, редко задерживался с ответом. По всем вопросам обстоятельно информировал родных. В тех же случаях, когда это ему не удавалось сделать вовремя, отвечал позже. Для него не было мелочей ни в переписке, ни во взаимоотношениях с людьми. В очередном письме к матери Владимир Ильич напомнил о своей оплошности: «Я забыл ответить Маняше насчет 150 руб., о которых она спрашивала. Пусть пока (на всякий случай) останутся они у вас. Я попрошу только из них купить мне некоторые книги».

В Швейцарии находилась довольно многочисленная колония русских политических эмигрантов и студентов. При широких контактах с местными жителями искровцам не представляло особого труда подобрать надежный адрес для конспиративных связей.

Полицейские службы внимательно следили за перепиской, они учитывали буквально все. Люди, попавшие в их поле зрения, проверялись всесторонне. Малейшая деталь бралась на учет. Все это лишний раз свидетельствует, насколько обеспокоены были власти растущим влиянием революционных сил. Царская полиция, как мы уже отмечали, поддерживала постоянные контакты с представителями министерств внутренних дел ряда европейских стран.

24 октября 1903 года директор департамента юстиции и полиции Женевы обратился с конфиденциальной просьбой к своему коллеге в Петербурге А. Лопухину — директору департамента полиции Министерства внутренних дел.

«Мы были бы Вам весьма признательны, — писал он, — если бы Вы сообразовали, на взаимной основе, предоставить нам имеющиеся в Вашем распоряжении сведения любого рода о некоем господине Ульянове Вольдемаре, или Владимире, Ильине сыне (мать — Мария Бланк), родившемся 10.4.1870 г. в городе Симбирске (Россия), издателе и литераторе.

Сочетался браком в 1900 году в Варшаве с Крупской Надеждой, рожденной 13.11.1869 в Варшаве.

Вышепоименованный Ульянов проживает в нашем городе 3 месяца, приехал из Симбирска, где до этого находился на постоянном жительстве. Имеет связи с живущими в нашем городе русскими политическими эмигрантами.

Заранее благодарим и просим принять, господин директор, заверения в самом глубоком почтении».

В присланном из Женевы полицейском сообщении допущен ряд неточностей. Н. К. Крупская родилась 14(26) февраля 1869 года в Петербурге, а не в Варшаве. В. И. Ленин и Н. К. Крупская поженились в Сибири в Шушенском, в то время как в донесении ошибочно названа Варшава.

Швейцарская полиция располагала данными о приезде В. И. Ленина в Женеву из Симбирска. На самом же деле Владимир Ильич вместе с Н. К. Крупской

приехал сюда в конце апреля 1903 года из Лондона в связи с переводом в Женеву редакции «Искры».

При регистрации в полицейском участке Владимир Ильич скрыл точное время своего приезда и указал, что прибыл из Симбирска. Все это диктовалось соображениями конспирации и стремлением не вызывать лишних подозрений у полиции.

В Петербурге внимательнейшим образом изучили письмо из Женевы. Сообщение представляло особую значимость для русской полиции. В столице сразу поняли, о ком идет речь. Подтверждением тому — запись, сделанная одним из сотрудников департамента полиции на присланном документе: «Владимир Ульянов».

В срочном порядке был подготовлен ответ на запрос швейцарских властей, подписанный директором департамента полиции. В ноябре 1903 года в Женеву специальной секретной почтой его доставили из Петербурга. В нем читаем:

«Вследствие письма от 24 октября с. г. за № 28836, имею честь уведомить вас, г. директор, что Владимир Ильич Ульянов, в бытность свою студентом Казанского университета, принимал деятельное участие в студенческих беспорядках, происходивших в 1887 году, за что был уволен из названного учебного заведения. В 1896 году, проживая в Петербурге, Ульянов занимался преступной пропагандой среди местного фабричного населения, был привлечен к ответственности, содержался некоторое время под стражей, а затем выслан под надзор полиции в Восточную Сибирь сроком на 3 года.

По паспорту, выданному псковским губернатором 5 мая 1900 г. за № 34, он выбыл за границу, где вошел в состав действующих за границей русских эмигрантских кружков, причем принял, под псевдонимом Ленина, наиболее видное участие в преступной деятельности русских революционеров».

Принимая во внимание, что названный Ульянов является опытным революционным деятелем, имею честь покорнейше просить вас, г. директор, не позволите ли признать возможным обратить внимание на его деятельность и сношения и в случае проявления им своей преступной деятельности не отказать уведомить меня».

По настоянию царского правительства известный политический эмигрант Владимир Бурцев за выпуск в 1903 году в Женеве четвертого номера журнала «Народоволец» был арестован и изгнан из Швейцарии. Сотрудники женевской полиции предоставили в распоряжение петербургской охраны вещественные доказательства антиправительственной деятельности Бурцева и его единомышленника Павла Крафта.

Министр внутренних дел, статс-секре-

тарь Плеве, в этой связи лично представил записку императору Николаю II:

«За последнее время в городе Женеве образовался кружок русских террористов, во главе коих встал старый народоволец Владимир Бурцев вместе с другом своим Павлом Краковым¹, которые, неправильно толкуя законы страны, пришли к убеждению, что территория Швейцарской республики может служить местом для составления террористических замыслов, но благодаря предупредительности директора центральной полиции Женевского кантона Жорно (Jornot) и ближайшего помощника его комиссара тамошней полиции Марселя Обэра (Aubert) удалось достигнуть того, что, по постановлению федеральных властей, названные Бурцев и Крафт подвергнуты обыску, причем добытые вещественные доказательства были представлены для снятия копии нашим властям и послужили освещением деятельности проживающих в России их единомышленников».

В знак благодарности царский министр ходатайствовал о награждении Жорно и Обэра орденами Святого Станислава. Поскольку по законам Швейцарской конфедерации должностные лица не награждались иностранными орденами в официальном порядке, то это пришлось сделать в частном порядке без лишней огласки.

Николай II подписал специальный Указ, в котором говорилось: «Во изъяснении особенного благоволения нашего к нижепоименованным лицам, Всемилостивейше пожаловали Мы кавалерами Императорского и Царского Ордена Нашего Святого Станислава: второй степени со звездой директора центральной полиции Женевского кантона Жорно (Jornot) и второй степени комиссара полиции того же кантона Марселя Обэра (Aubert). Вследствие чего повелеваем Капитулу выдать сим кавалерам орденские знаки и грамоты на оные».

С начала XX века минули многие десятилетия. В России свершилась Октябрьская революция, круто изменившая ход истории. И хотя сегодня в Швейцарии далеко не многие разделяют идеи социализма, жители этой страны чтут память о вожде российской революции — Владимире Ильиче Ленине, бережно хранят все, что связано здесь с его пребыванием.

Не скрою: нам, советским журналистам, посетившим летом этого года Женеву, было приятно услышать подтверждение этому факту в беседе с мэром города.

Наглядное свидетельство тому и мемориальные ленинские доски в Цюрихе и Женеве, установленные по решению местных муниципалитетов.

¹ Здесь допущена опечатка — речь шла о Павле Крафте. — Прим. автора.

История, отраженная в человеке

У двух последних романов Александра Бека была драматическая, впрочем, нередкая для нашей литературной жизни 60-х и 70-х годов судьба — при жизни автора они света не увидели.

Стараниями вдовы И. Ф. Тевосяна, бывшего в сталинские времена министром и заместителем Председателя Совета Министров СССР, и ее высокопоставленных покровителей, «узнавших» в вымышленных персонажах художественного произведения себя и своих друзей и коллег, «Новое назначение», набранное в «Новом мире», было снято из номера и попало в главлитовский реестр запрещенных, «клеветнических» книг. И как ни бился автор, в какие инстанции ни обращался, какие неотразимые доводы ни выдвигал, ничего не помогло, эту стену невозможно было преодолеть. В этой неприглядной истории, конечно, свою роль жалобы вдовы И. Ф. Тевосяна и организованные ею письма «наверх» сыграли, но главное все-таки было в другом: роман Бека вообще оказался явно не ко времени. Так уж совпало, сошлось — это было как знамение: в тот день, когда Бек принес «Новое назначение» в «Новый мир», произошло событие, ставшее для современной истории рубежным, — был смещен Хрущев, с «оттепелью» покончено, идеи XX съезда отброшены, началась тихая, но быстро набравшая силу ресталинизация. В этот вечер Бек сделал в дневнике провидческую запись — нельзя не оценить его политическую проницательность, в первое же мгновение почувявшего возникшую общественную опасность: «Днем отдал рукопись, а сейчас узнал поразительную новость: отстранен, смещен Хрущев... Ну, ладно, пусть это событие станет добавочным испытанием для вещи».

Неудивительно, что после истории с «Новым назначением» Бек даже не стал пробивать роман «На другой день», ничего, кроме новых неприятностей или даже бед, это не принесло бы, он прекрасно это понимал. Поразительно, что он продолжал работать над вещью, шансы на публикацию которой были в обозримом будущем равны нулю, ведь Сталин снова стал «неприкасаемым»...

Александр Бек умер в 1972 году. Его судьбе — тяжелой и благородной судьбе писателя, который в трудное время не лукавил с правдой, — посвятил горькое стихотворение Владимир Корнилов:

Помню, как хоронили Бека.
Был ноябрь, но первые числа.
Был мороз, но не было снега.
Было много второго смысла.

И лежал Александр Альфредыч,
Все еще не избыв печали,
И оратор был каждый сведущ,
Но, однако, они молчали

И про верстки, и про рассыпки,
Что надежнее, чем отравы,
Что погиб человек

от сшибки,
Хоть онколог напел:
от рака.

Роман «Новое назначение» был опубликован только в 1986 году в журнале «Знамя», роман «На другой день» — в 1989-м в журнале «Дружба народов»...

У Александра Бека была прочная репутация «документалиста». Для этого были все основания. Да и сам он любил называть себя «беседчиком». Знаменитое «Волоколамское шоссе» начинается фразой, бьющей в ту же точку: «В этой книге я всего лишь добросовестный и прилежный писец». В первой половине тридцатых Бек сотрудничал в редакции «Истории фабрик и заводов», был одним из самых деятельных работников созданного по инициативе Горького легендарного «Кабинета мемуаров». Но не только в те годы — до самых последних дней своих он с неизменным упорством, с неугаваемой страстью отыскивал людей интересной судьбы, много видевших, много знавших, записывал их рассказы о пережитом, — больше всего его занимало, как писал Герцен, «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». О том, какой это был упорный труд, можно судить хотя бы по одному из писем Бека, в котором он рассказывает о своей командировке в Донбасс в 1937 году: «31-го был вечер воспоминаний, собралось человек 60, было сумбурно, но какую-то общую картину я получил. С сегодняшнего дня я начинаю проводить эти вечера воспоминаний маленькими группка-

ми, по 5—6—7 человек, по цехам. Сегодня электрики, завтра железнодорожники, послезавтра доменщики и т. д. Я хочу таким образом пропустить сквозь себя человек сто, из них выделить трех-четыре и с этими еще беседовать и беседовать отдельно». И так несколько десятилетий — когда не писал, изо дня в день. Бек не только считал эту работу необходимой, она его по-настоящему увлекала.

Разумеется, свою роль здесь играла его природная любознательность — совершенно ненасытная. Этот острый интерес к неведомому иногда доходил до смешного. Одна из забавных историй всплывает в письме Александра Твардовского Беку (они были друзьями с предвоенных лет), находившемуся в очередной командировке в Донбассе: «Я уже перестал удивляться практичности Бека, но в своем письме он дал мне повод еще раз удивиться. Выходит, что, попав в малярийную местность, он первым делом озбочен поживиться здесь историей вопроса, показаниями очевидцев и т. д. Молодец, право, но смотри — как бы исследовательский интерес не сыграл с тобой шутку. А толстых, говорят, малярия особенно жестоко бьет».

Постепенно природная склонность превратилась в целеустремленный, хорошо продуманный и прекрасно отработанный метод: «Я исподволь распутывал узлы и узелки, — писал Бек в дневнике, подвывая с присущей ему дотошностью пристальному анализу и собственную работу, — находил сведущих людей, выспрашивал, сказанное одним проверял у других, собирал, накапливал подробности, действовал по испытанной своей методике, для которой все не придумано определения. Следовательская? Исследовательская?» Но как ее ни называй, ясно, что она требовала и особой проницательности, и умения разыскать и разговаривать нужных людей, даже тех, кто по разным причинам не был склонен к откровенности, и, наконец, огромного труда.

«Ни у кого из писателей я не встречал такой настойчивости в работе, как у Бека, — свидетельствовал Константин Паустовский. — Временами его труд казался мне непосильным для одного человека». И дело это было не только непосильно тяжелым, но долгое время опасным, в иные годы смертельно опасным. Докапываясь до того, что в действительности происходило у нас в 20-е и 30-е годы, Бек неизбежно тем самым ставил под сомнение созданную Сталиным и его приспешниками лжеисторию мифы «Краткого курса», бдительно охраняемые не только легионом вымуштрованных пропагандистов, но и карательными службами. Встречи и беседы с кем-нибудь из бывалых людей, попавших потом под колесо репрессий, казавшихся в колымскую Лету, был сверхдостаточным поводом для того, чтобы и

«беседчику» отправиться туда, куда Макар телят не гонял.

Понимал ли это Бек? Несомненно. Останавливало ли это его? Нет. Вот две записи из его донбасского дневника тридцать седьмого года, проливающие свет на то, что он думал и как поступал. «Не оставляет меня вместе с тем не совсем приятное чувство, когда я вспоминаю о письме Твардовскому. Одно место, где я писал, что на заводе нет угля, что хозяйство дезорганизовано, тревожит меня: надо ли было это писать? Не лучше ли держать про себя?» Однако отдавая себе ясный отчет в том, что по тем временам и такое письмо криминально, огорчаясь — какая нужда была писать все это! — Бек тут же ввязывается в историю, куда более опасную: «...Черт возьми, чем дальше в лес, тем больше дров. Ведь придется и меньшевистскими организациями заняться. Ничего не поделаешь. Кажется, придется». Да, он осознавал, чем это пахнет, но удержаться, отказаться не мог — толкало, подстегивало неодолимое желание добраться до правды...

Сейчас мы переживаем пору необычайного расцвета интервью, словно бы наворачивая за те долгие годы, когда считалось, что нам этот жанр ни к чему, он из арсенала желтой буржуазной прессы, — нынче ни один номер газеты или массового журнала не обходится без интервью. Однако не следует путать такого рода интервью с беседами, которые долгие годы проводил и записывал Бек, — это была не журналистская работа, цель которой немедленный выход с записанным на газетную или журнальную полосу. Беседы, записанные Беком, не только делались впрок, но и вообще для печати не предназначались, — они были ему нужны как материал для постижения истории современности или, точнее, современности как истории.

Так создавался (к этому еще нужно прибавить постоянную работу в архивах) надежнейший, способный выдержать любые исторические землетрясения фундамент фактов, на котором покоятся произведения Бека. Он шутил, что дом его забит «записными книжками, записными чемоданами, записными шкафами». И это не было преувеличением ради красного словца. «Беседчик» и архивист. Он собрал огромный материал, которому не было цены. Из этого материала вырастали все его книги. Когда в войну, в 1942 году, погиб довоенный архив Бека, это было для него тяжелейшим ударом, чуть ли не жизненной катастрофой. «Давно не было такого тоскливого, подавленного настроения, — горевал он в дневнике. — Тоскую по архиву. Жалею его. Мечтаю о нем. Думаю, как бы сделать, чтобы он был цел. Архив — это восемь лет труда, восемь лет, погубленных в несколько дней. Вся жизнь из-за этого сломана. Вернее, план жизни сломан». Архив так много значил для Бека, потому что настоящий «документа-

лист» — всегда историк, а историк, не располагающий в избытке документальными и мемуарными свидетельствами, строит на песке.

Бек был одержим стремлением к непрекращаемой подлинности, скрупулезной достоверности, безупречной исторической точности. Каждая ситуация, каждый шаг героев, каждая деталь в его книгах, можно не сомневаться, стоят на неопровержимых фактах, проверены и перепроверены многочисленными заслуживающими доверия данными. И то, что вошло в его произведения, — воспользуюсь затасканным уже образом, — лишь небольшая, видимая часть гигантского айсберга фактов, хранившихся в его «записных шкафах». Даже в сугубо специальных вопросах Бек не мог промахнуться, как, скажем, персонаж «Нового назначения» писатель Пыжов, посчитавший подержанного высшей властью авантюриста «новатором», а его противников злонамеренными душителями прогресса, понесшими за это суровое наказание (за этим стояла невыдуманная история драматического краха, который потерпел последний, неоконченный роман Фадеева «Черная металлургия»). Специальные вопросы, если Бек их касался, переставали для него быть специальными. После досконального изучения он проникал в их суть, его нельзя было прорести на мякине...

Бек всячески подчеркивает — и не в заметках и интервью, сопровождающих обычно появление новой, привлечшей внимание читателей вещи, до этого Бек, увы, не дожид — а в самом тексте романов «Новое назначение» и «На другой день» документальную их основу. В «Новом назначении» он пишет: «...Автор, думается, не изменяет исследовательскому строю этой книги. Воображение, догадка опираются и тут на верные источники, порою на документы, что носят название человеческих». Или в другом месте этого романа (речь идет об одном из персонажей, академике Челышеве): «Мне довелось близко его знать я пользовался его устными рассказами советами, когда еще в тридцатых годах писал о дерзновенном Курако, учителе Василия Даниловича. Он познакомил меня со своими дневниками. порой на удивление подробными. Они стали, с его разрешения, одним из главных источников или даже истоков этой летописи». То же самое в романе «На другой день» — вот какой фразой он начинается: «Производя всякие розыски для этой книги, собирая разные свидетельства, то изустные, то случайно найденные в давних бумагах, погружаясь в нее мыслью, перебирая в уме будущие главы, я порою испытывал сомнение: хватит ли сил поднять или, по нынешнему выражению, потянуть дело, которое сам на себя взвалил». Описывая Луначарского на трибуне, Бек может сослаться и на такой источник: «Воевавшая революция посылала его, превосходнейшего

агитатора, и на фронты. Памятью об этом явились кадры кинохроники, изображавшие Анатолия Васильевича в красноармейской гимнастерке и грубых военных сапогах близ бронепоезда».

Юрий Тынянов утверждал: «Там, где кончается документ, там я начинаю». Бек же заявляет прямо противоположное. Он считает нужным даже специально предупредить читателей, когда вынужден переступить границы документальности: «Так — долго ли, коротко ли — сидел Челышев в пустом министерском кабинете. Возможно, он вовсе и не вспоминал в те минуты про то, о чем мы только что ведали. Просто еще раз проглядывал бумаги в своей папке для предстоящей беседы с министром». Такого рода оговорки должны внушать читателям мысль, что во всем остальном автор неукоснительно следует добытым им разного рода материалам — беседам, письмам, мемуарам.

Конечно, и авторские декларации документальности, и его предупреждения о собственном домысле — повествовательный прием. Но есть в этом приеме некое лукавство, он как бы с двойным дном: вам может казаться, что автор прибегает к нему для того, чтобы завоевать доверие читателей, и лишь делает вид, что все так и было в действительности, — ведь речь идет о романе. Но у Бека обнаженная, демонстративная документальность — не стилизация, хорошо известная литературе (вспомним хотя бы «Робинзона Крузо»), не своеобразная эстетическая «игра» с читателем, не поэтические одежды очерково-документального покроя, а способ воссоздания, исследования и постижения жизни и человека. «Репортажем в лицах» называет автор свой роман «На другой день», и для такого неожиданного определения есть резон. Все, что написано Беком, вне зависимости от того, вымышлены ли его герои, как в «Новом назначении», или это по преимуществу исторические лица, как в романе «На другой день», отличается безупречной достоверностью репортажа с места событий.

В войну Бек написал большой очерк «Восьмое декабря» (при переиздании он печатался под названием «День командира дивизии») о сражавшейся в сорок первом под Москвой 9-й гвардейской дивизии. Очерк не хотели печатать — сгущены темные краски, выпячены отрицательные моменты, короче говоря, нарисованная картина не соответствует утвердившимся стандартам. Делать было нечего, и Бек скрепя сердце отправился к командиру 9-й гвардейской. Генерал Белобородов прочитал очерк, в котором далеко не все должно было его радовать, — естественно, художественная сторона его не очень занимала, только фактическая — и написал на рукописи: «Все правильно, так командовал, как здесь написано». Расписался и приказал еще печатать удостоверитель написанное Беком...

Вызвавшая самый широкий общественный резонанс статья «С точки зрения экономиста» известного нашего ученого Гавриила Попова, посвященная командно-административной системе, ее структуре, функционированию, эволюции и кризису, в сущности, положившая начало исследованию этого монстра, целиком опиралась на роман «Новое назначение»: «Писатель не мог, естественно, охватить все стороны этой проблемы, над которой билась общественная мысль нашей страны последние тридцать лет, которой посвящены документы XXVII съезда партии и последнего, январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС. Но материал романа дает очень много для понимания вопроса. Собственно, и сам вопрос напрашивается при чтении романа». — замечает он. Показательно, что Г. Попов видит в романе Бека, как в свое время генерал Белобородов в очерке «Восьмое декабря», абсолютно точную, поистине документальную, не требующую с этой точки зрения никаких оговорок картину нашей действительности.

Все это так. Но, кажется, уже пора сказать, что репутация Бека как «документалиста» и только «документалиста» — а нередко именно под таким углом зрения и рассматривалось его творчество, — эта репутация нуждается в уточнении и весьма существенном дополнении, она однобока. И сейчас куда яснее, чем тридцать лет назад, что Бек был не только превосходным «беседчиком», не только бесстрашным «летописцем» нашей горемычной современной истории, а крупным и самобытным художником, — прежде всего это надо иметь в виду, а потом уж все остальное: способ добывания жизненного материала из первых рук, плотность исторических фактов, из которых сплетена повествовательная ткань, щепетильную точность. У чисто документальных вещей даже первоклассных, век обычно не очень долгий — они тускнеют, когда обществом осваивается содержащаяся в них информация. Секрет долговечности книг Бека — в его художественном даре.

В свое время это почувствовал Константин Симонов, перечитав через много лет после войны «Волоколамское шоссе». «Когда я первый раз читал эту книгу, — писал он, — главным чувством было удивление перед ее непобедимой точностью, перед ее железной достоверностью. Я был тогда военным корреспондентом и считал, что я знаю войну... Когда я прочитал эту книгу, я с удивлением и завистью почувствовал, что ее написал человек, который умеет вынуть из людей войны подробности столь удивительной точности, что невольно закрадывается мысль, что вызвать на такие подробности человека может только тот, кто знает не хуже этого человека все тончайшие подробности дела, о котором идет речь». При втором чтении книги Бека Симонову бросилось в глаза уже другое: «Она

была чужда украшательства, гола, точна, экономна. В ней не было ничего лишнего; ничего даже мысленно не хотелось в ней исправлять. Это была настоящая война, написанная бестрепетной рукой мастера, знающего свое дело, рукой талантливой, изобретательной и точной, не дрогнувшей перед трудностями задачи». Отношение к книге, ее оценка за прошедшие годы в принципе не изменились, но мотивировались они уже иным: силой таланта автора, художественным совершенством, без которого правда в искусстве недостижима.

Если перед нами произведение художественной литературы, которую недаром считают человековедением, нас прежде всего интересует: что автору открылось в человеке, что открыл он в нем неведомое нам? В конечном счете ценность произведения определяется именно этим — глубиной постижения бесконечной вселенной человеческого бытия. Г. Попов пронизательно и справедливо пишет: «...Кризис Административной Системы в романе «Новое назначение» имеет как бы три плоскости. Социальную — связанную с необходимостью устранить систему Берии. Экономическую — связанную с необходимостью обеспечить мобилизацию всех резервов роста эффективности производства. И научно-техническую — связанную с необходимостью освоить все виды НТП, все достижения научно-технической революции». Однако Г. Попов — не зря его статья называется «С точки зрения экономиста» — не касается четвертой, для Бека самой важной плоскости — духовно-нравственной.

Ведь Бека интересует не Административная Система сама по себе. Да и как бы ни были близки к истине его догадки о ее природе, здесь все-таки карты в руки не ему, а социологам и экономистам, политологам и правоведам. В центре внимания Бека человек, его психология, мир его чувств, его надежды и утраты, беды и радости, взлеты и падения — на то он и художник. Бек стремится выяснить, что происходит с человеком, попавшим в жернова тоталитарной системы, выдающей себя за самый демократичный и свободный строй, какому разрушительному давлению обстоятельств подвергается его личность, каким образом в его сознании происходит незаметная замена истинных ценностей и ориентиров ложными.

Исследуя нравственный кризис, духовные деформации, порожденные Административной Системой, Бек выбирает трудный, может быть, самый трудный путь, но он и самый плодотворный. Герой его романа Онисимов — человек незаурядный (для поверхностного обличения предпочтительней ничтожество или мерзавец). Онисимову от природы многое дано: острый, недюжинный ум, редкая память, способная держать в голове многие сотни всевозможных данных, цифр, имен, воля и упорство, не знающие никаких преград. Блестящий знаток своего любимого дела, служащий ему с беззаветной, испепеляю-

щей самоотверженностью — ни блага, ни привилегии, ни даже карьера его не привлекают, — Онисимов по достоинствам и заслугам становится одним из руководителей промышленности страны.

Казалось бы, место в высшем эшелоне власти должно было открыть перед ним самые широкие возможности для реализации своей личности, ведь он был «мотором» необыкновенной мощности, а на самом деле он оказался в абсолютной зависимости от того, что будет сказано или не сказано в кремлевском кабинете, — его собственное мнение, его решения «запрограммированы». И вообще на своем посту он оказался лишь потому, что Сталин ему «доверяет» (назначил наркомом, а мог бы и отправить в лагерь), — знания, умение, самозабвенный труд Онисимова, в сущности, мало что значат. И в сознании Онисимова всесильный Сталин, созданная им Система жизни и власти подменяют Дело, служению которому он посвятил себя. Все сомнения, рождаемые естественным человеческим чувством справедливости или сострадания, профессиональной добросовестностью, наконец, просто здравым смыслом, душились в зародыше, безжалостно и бесповоротно отбрасывались.

Онисимов становится образцовым «винтиком» Системы. Это неверно, что роль «винтиков» была отведена простым, незаметным труженикам, все снизу доверху должны были стать «винтиками» разного калибра, не рассуждать, не думать, а выполнять полученные указания — на этом принципе держалась Система. Те человеческие качества Онисимова, которые в других обстоятельствах принесли бы много пользы, из созидательных стали разрушительными, использовались не во благо, а во зло людям и делу. Онисимов не щадил себя, работая до изнеможения, и поэтому считал себя вправе безжалостно относиться к людям. Его совершенно не интересовало, как они живут, главное, чтоб выполняли задания, гнали план. Боясь ответственности, он перестал доверять людям. В атмосфере страха и подозрительности замирала живая жизнь. Все по команде, по приказу, все только как предписано — за малейшие отклонения, не вникая в их смысл и причины, строго наказывать. Когда-то мальчишкой, в шестнадцать лет, увлеченный в партию идеями справедливости и свободы, Онисимов теперь во имя каких-то «высших» соображений, в которых он уже давно не ищет реального смысла, железной рукой со свойственными ему напором и педантизмом насаждает порядки, в самой основе своей «казарменные» и «лагерные». И один из персонажей романа, в котором все-таки сохранился живой человек, подводит беспощадный итог онисимовскому горению: «Промышленность, Александр Леонтьевич, так жить не может. Думаю, что и вообще так жить нельзя».

А Онисимов именно так жил, принимая как должное то, что никак и ничем нель-

зя оправдать. Он переступал через себя, считая, что так должен вести себя солдат партии. Когда-то Онисимов оказался случайным свидетелем очень раскаленного спора между Сталиным и Орджоникидзе; Сталин спросил, на чьей он стороне, и он, понятия не имевший о чем они спорили — разговор шел по-грузински, — заверил, что он на стороне Сталина. Разве он не понимал, что предает Серго, которого очень почитал? Но Сталин — это партия, может ли он быть не прав? Разве Онисимов не понимал, что записка Сталину, в которой он сообщал, что репрессирован его старший брат, означает признание справедливости этой расправы? А потом он в знак того, что, когда дело касается партии, в его душе не может быть места никаким родственным чувствам, уничтожил фотографии так горько любимого им брата, даже детские, чтобы с корнем, чтобы никаких следов... И бережно сохранил как самую дорогую реликвию, как заветный талисман ту позорную записку об аресте брата, на которой Сталин милостиво начертил: «Числил Вас и числом среди своих друзей. Верил Вам и верю».

Он придумал себе оправдание: я солдат партии. «А солдат думает о бое, а не о всем ходе войны. О войне думают другие...» Другие — это Сталин, его желания и веления стали для Онисимова волей партии. Так он старался обмануть себя, убить в себе все живое и все-таки не смог: слышавший твердокаменным и действительно умевший себя держать в руках, он не может сдержать слез, слушая доклад Хрущева на XX съезде партии, узнав, что Орджоникидзе вскоре после того спора со Сталиным, которого он забыть не может, покончил собой. Нет, Онисимов не был солдатом партии, он стал холопом Сталина, его подручным. И как бы он ни старался не думать о прошлом, выбросить из головы и Серго, и брата, что ему когда-то снисходительно посоветовал Сталин, ничего из этого не получается, прошлое его не отпускает, не дает думать о настоящем и будущем. Он не может с ним рассчитаться, постоянные насилия над собой не прошли даром — Онисимов стал тяжело болеть.

Настигло его и другое возмездие. Система, служению которой он целиком без остатка отдал всего себя — он был одним из самых умелых и самоотверженных ее прорабов, — выжигала человеческое, разъедала естественные связи между людьми. Вот и Онисимов, всю жизнь находившийся в людском водовороте, кончает свои дни в одиночестве — те густые служебные связи оказались призрачными. Эту пустоту он создал сам, своими руками...

Нет на свете брата, нет жены брата — очень близких ему людей, к которым он был всем сердцем привязан, — оба погибли в лагере. Жена, которую Онисимов выбрал под стать себе, — «надежный твердый товарищ», вместе когда-то громили троцкистскую и зиновьевскую оппо-

зицию, не поехала с ним на новое место работы в «Тишландию», куда он назначен послом, у нее были какие-то свои служебные дела, которые ей кажутся достаточно важными, ведь она тоже из жрецов Системы, из тех, что заделены. Узнав от врача, что муж серьезно болен, что ему следовало бы, отложив отъезд, лечь в больницу для обследования, надежная спутница жизни решительно отвергла легкомысленное предложение: «Это могут расценить как нежелание ехать», — время ли при таких обстоятельствах думать о здоровье? Какая-то полоса отчуждения пролегла между Онисимовым и сыном — нет, сын был привязан к нему, но отец перестал быть для него авторитетом, и причина этого в новом времени, лишившем принадлежавшее Онисимову прошлое ореола. Внешне все благополучно в этой семье, но какой-то странной холод заморозил их чувства.

Друзья? Но друзей у Онисимова давно нет, откуда могут взяться дружеские привязанности у человека, придерживавшегося в отношениях с людьми правила: «доверился — погнб»? И ту маленькую толпу, которая провожала отбывающего в «Тишландию» Онисимова, не дружеское расположение привело в аэропорт. Это все были деятели Системы, рассчитывавшие на то, что попавший в опалу их коллега и начальник, когда с перестройкой будет покончено и все уляжется, вернется на какой-нибудь ответственный пост. Но никого из них не было на аэродроме, когда тяжело больной Онисимов возвращался в Москву. Он уже никому не нужен — «отыгранная карта».

Бек не торопится вынести приговор своему герою — он хочет его понять, этот человек не укладывается в односложные формулы. Онисимов вызывает у него и восхищение — какой сильный человек, какой замечательный работник, и гнев — сколько им наломано дров, искалечено судеб, он ведь, выполняя и отдавая приказы, любыми средствами добивался их выполнения. Он различает, где Онисимов кривит душой, а где искренне заблуждается, — ведь было время, когда Онисимов и в самом деле верил, что созидает новое, прекрасное общество и лишние тонны выплавленного для этого металла оправдают все человеческие потери, убогость и жестокость существования. А выяснилось, что в этих непомерных жертвах, в этой жестокости во имя светлого будущего и была загвоздка, ничего не получилось: не только счастливого общества, но и просто сносной жизни. Онисимов как командир промышленности (кстати, не случайно тогда эта терминология была в ходу — она отражала реальность «назарменного» социализма) был порождением Административной Системы. Он один из лучших, и, если он терпит нравственный крах, значит, в здании, которое он строил, по-людски жить нельзя.

Если в «Новом назначении» Бек сосредоточен на уже свершившемся, на

том, к чему привела нас Административная Система, в романе «На другой день» он исследует истоки, духовные предпосылки. Если в «Новом назначении» Сталин уже единовластный вершитель судеб — людей и целых народов: «Величественность вопреки низкому росту, низкому лбу стала его второй натурой. С годами усугубилась свойственная ему с некоторых пор медлительность шага, скуповатость жеста. Разговаривая, он теперь не поворачивал к собеседнику головы, никого этим не удостаивал. Казалось, за его спиной незримо реяли великие дела эпохи, которую уже именовали не иначе, как сталинской», то в последнем романе мы видим его еще за десять лет до того, как он придумает себе этот псевдоним — Сталин: «По внешнему облику, по физиономии, лишенной интеллигентности, он мог легко сойти за бродячего торговца фруктами», и еще через восемь лет в Петербурге: «Маленькая, щуплая фигурка могла бы принадлежать подростку пятнадцати лет. Но тяжелый его взгляд по-прежнему было трудно выдерживать. Усы и скрывающая сильную нижнюю челюсть борода, по-видимому, недавно повстречались с ножницами, выглядели аккуратно», и в Москве в 1920 году, когда Сталину уже сорок: «Малорослый, поджарый, он идет, не торопясь, но и не медлительно. Чутьочку сутулится, не заботясь о выправке, — этот штрих тоже будто говорит: да, солдат, но не солдафон» Он и в двадцатом еще считал нужным держаться скромно, где-нибудь в тени, как человек, который не хочет «ничего для себя, вся жизнь только для дела», а через десять лет он уже ещаль, настаивал, обличал и клеймил с сознанием полного права вести и указывать, — еще немного времени, и он превратится в того всемогущего повелителя, которого Бек изобразил в «Новом назначении». Менялся он с годами? Наверное, кто не меняется! Но, может быть, по мере того, как положение его укреплялось и он все выше и выше поднимался по ступеням власти, прорывалось то, что прежде глубоко таилось в подполье души? Об этом говорят нарисованные Бекон его портреты.

По нынешним временам изображенный Бекон Сталин поражает заурядной обыденностью — ни Фрейда, ни психиатрии, ни связей с охранкой, ничего этого нет. Если и загаившийся злодей, то отнюдь не демонический. Впрочем, и Ленин, который противопоставлен Сталину (который вызывает у Сталина скрытое, но время от времени прорывающееся раздражение — так завистливой бездари не дает покоя талант), у Бека без нимба...

Бек слишком уважает факты, чтобы превращать историю в занимательную беллетристику, можно не сомневаться, что у него, как всегда, нет ни одной невыверенной детали. Однако он пишет не документальный очерк, а исторический роман и, наверное, поэтому ставит между собой, автором, и читателем рассказчика, который оправдывает субъективный

взгляд на происходящие события и участвующих в них людей. Это Кауров, хорошо знавший Сталина по революционному подполью с молодых лет (этот образ навеян писателю беседами со старым большевиком Сергеем Ивановичем Кавторадзе). Прием этот не нов в литературе. Томас Манн — любимый писатель Бека — говорил о замысле «Доктора Фаустуса»: «Я решил поставить между собой и героем посредника «друга»... Развязать демонизм типично недемоническими средствами, поручить его изображение гуманно чистой, простой душе... Идея сама по себе смешная, хотя она и снимала с меня часть бремени». Не здесь ли ключ к художественной природе и функции образа Каурова? И оттого, что мы видим Сталина глазами человека с «гуманно-чистой, простой душой», — именно таков Кауров, — некоторые настораживающие черты и черточки во взглядах и поведении Сталина проступают довольно отчетливо.

Не «белые пятна» в биографии Сталина, человека, деятельность которого наложила страшную печать на историю нашего века, привлекают внимание писателя — задача у него иная, более серьезная и глубокая. Он хочет понять — на то он и художник, хочу это повторить, — как человек, с юности связанный с революционным движением, исповедовавший идеи свободы, справедливости, братства, становится тираном, какова нравственно-психологическая почва (само собой понятно, что утверждение тоталитарного режима возможно лишь при определенных общественно-политических и социально-экономических условиях, но исследование их — дело историков) этого явления? Что это за вирус, вызывающий столь злокачественную опухоль?

Бек обнаруживает его в заповедях нечаевского «Категхизиса революционера»: нравственно для революционера «все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что помешает... Он не революционер, если ему чего-либо жаль в этом мире. Тем хуже для него, если у него есть родственные, дружеские и любовные отношения: он не революционер, если они могут остановить его руку...» Дело не в том, что это было внимательно проштудировано Сталиным, — главное, это соответствовало его представлениям о том, каким образом маленькая кучка революционеров может одолеть мощную государственную машину самодержавия, тут любые средства хороши. Цель их оправдывает, все дозволено в борьбе — иначе разве справишься с таким сильным врагом? Но жизнь не может быть поделена на непроницаемые участки: здесь нравственные нормы отменены, а здесь они действуют. Беспринципность, коварство, вседозволенность проникают и в партийную среду, во взаимоотношения революционеров. Кауров вспоминает ряд случаев, когда в подполье Сталин поступал именно та

ким образом по отношению к товарищам. Для пользы дела — объяснял Сталин, презрительно осуждая чистоплюев. Они, на его взгляд, ни на что не способны. Робеспьер — болтун. Желябов: «Что говорить, героическая была натура. Благородство против низости, рыцарство против нечестности, искренность против подвоха. Но каков итог?»

Тогда это могло казаться и, наверное, казалось проявлением дурного характера: не держит слова, циничен, злопамятен, удивлялись, изредка возмущались — вот какие неприятные черты у товарища, преданного делу революции. Мало кто осознавал, что для человека, считающего себя вправе переступить через границы, установленные нравственностью, как он полагает или утверждает, во имя каких-то высоких замыслов, уже нет никаких внутренних преград, чтобы поступать точно так же, когда он преследует свои личные цели (я уже не говорю о том, как легко они в собственном сознании предстают как общественные, партийные, государственные, — стоит только стать на этот путь), особенно когда дело касается власти. Вот Сталин рассуждает об Азефе: «Захочет и отправит на тот свет царского брата. Захочет и пошлет на казнь своего самого близкого якобы друга, руководителя боевой организации. И упивается в тиши собственной властью, силой своей личности. Великому множеству людей совершенно неизвестен вкус этого напитка...» Кажется, Сталин осуждает «сверхчеловека» — скорее всего для видимости, так принято, но втайне он жаждет испить этого жуткого напитка — все, что он творил потом, подтверждает догадку Бека.

Было бы ошибкой посчитать, что размышления Бека с революции и нравственности, о цели и средствах, о человечности и эгоизме замкнуты на фигуре Сталина, ограничены: этим временем, этой страной, этой средой, — смысл их куда шире...

Когда появилось «Новое назначение», критика единодушно отмечала, как современно звучит написанный двадцать с лишним лет назад роман в дни, когда в стране совершается революционная перестройка. Это верно, и все-таки дело не только в том, что действие книги происходит и на пору первой остановленной Административной Системой перестройки В «Новом назначении» и в романе «На другой день» Бек безупречно историчен — это относится и к постижению духа эпохи, и к изображаемому характерам, и к воссоздаваемым ситуациям, но при этом проблемы он ставит общечеловеческие, далеко выходящие за пределы ушедших в прошлое десятилетий. Я не сомневаюсь, что книгам Александра Бека суждена долгая жизнь, что они будут современны и другим временам. Порукой тому их глубокая, выстраданная человечность, их отважная правда, их некичливое, не любующееся собой совершенство.

Сила слабых

Г. Канович. *Слезы и молитвы дураков*. М., Советский писатель, 1988.

«Перед моими глазами вечно носятся сума, исконная, огромная еврейская сума... Куда бы я ни повернулся, всюду мне мерещится сума; о чем бы я ни вздумал рассказать, мне приходит на ум сума! Везде и всюду — сума, еврейская сума!»

Менделе МОЙХЕР-СФОРИМ.
«Фишна Хромой».

Эти слова классика еврейской литературы о суме, сводящей с ума, Григорий Канович мог бы взять эпиграфом к своему творчеству. Ибо живущий в Литве писатель не мыслит себя вне мира всеми давно позабытых местечек, которыми некогда изобиловали западные пределы Российской империи. Этот мир равновелик всякому иному, и Григорий Канович выражает национальную идею в формах бытийного и общечеловеческого точно так же, как это делают в других литературах Отар Чиладзе, Владимир Личутин или Тимур Пулатов. Но положение еврейского писателя в отличие от его собратьев по перу уникально тем, что не найти ему такого места, где жизнь его народа продолжалась бы и в наши дни во всей своей исторической очевидности и культурно-бытовой целостности. Не парадокс ли: островки еврейских общин растворились в пространстве и растаяли во времени, народ вышел за черту оседлости — и тем лишил писателя этнографически чистого материала. Но художник избирает обиталищем себе времена по собственному усмотрению, и дух его живет там, где хочет. Случай Григория Кановича — это реконструкция чувственно-осязаемой предметности национального существования, утраченной нерасчлененности народного сознания, наконец, того «хаоса иудейского», о котором писал Мандельштам. В отличие от Василия Гроссмана, который, ощутив в себе ток мощной толстовской традиции, обратился к единичной жизни, открытой общей судьбе, Григорий Канович предпочел добровольное изгнание во времена Шолом-Алейхема и Переца, словно изолировав себя в замкнутом, обжитом и компактном пространстве еврейского гетто. Если гроссмановский эпос вырос из идеи совместного противостояния всех общей беде, то повествование Кановича о жизни на неродимой родине в обратной перспективе прочитывается под зна-

ком новейшего исхода евреев из России. Налицо противоречие между универсальным, соборным и специфическим, национально-особым. Но противоречие чисто внешне, ибо мысль апостола Павла о том, что нет ни эллина, ни иудея, столь актуальна для нас именно потому, что есть и «эллин», и «иудей», чье существование на земле взаимообусловлено, а значит, и способность к пониманию друг друга насущна.

«Душа больна», — пожаловался рабби Ури, и его любимый ученик Ицик Магид вздрогнул. «Больное время — больные души, — мягко, почти лстыиво возразил учителю Ицик. — Надо, ребе, лечить время». «Надо лечить себя, — тихо сказал рабби Ури... — Боже праведный, сколько их было — лекарей времени, сколько их прошло по земле и мимо его окна! А чем все кончилось? Кандалами, плахой, безумием. Нет, время неизлечимо. Каждый должен лечить себя, и, может быть, только тогда выздоровеет и время». Так начинается роман, самым ярким персонажем которого станет человек, попытавшийся излечить время в людях. Безумянный бродяга, называющий себя посланцем Бога, он вряд ли способен предложить что-нибудь сверх традиционного набора — лестницы в небо, моста через море, рая на земле. Его анонимность — условие покаяния: «Называй меня именем своего греха», — обращается он к собеседнику. «Человек не бывает маленьким. Или он человек, или нечеловек», — учит пришелец. «Если каждый на свете будет день-деньской твердить «я пылинка, песчиночка», то у нас заберут всех, кого мы любим... Даже Бога!» — проповедует чужак. И когда его пытаются образумить, вопрошает: «А, по-твоему, лучше быть как все, чем сумасшедшим?.. Даже когда все сумасшедшие?»

Это учительство без претензии на профетизм, это этика, не мнящая себя доктриной и не покушающаяся на новизну, — это, в сущности, ничего более, как напоминание. И тем не менее эффект камня, брошенного в стоячую воду, легко предсказуем: вторжение пришельца в тесный мирок обитателей местечка создает ситуацию моральной провокации, чрезвычайной смуты. Через искусным старым словом, слушать которое «и легко, и страшно», проходит едва ли не каждый: рабби Ури, одиночество которого сродни безумию самозванца, ночной сторож Рахмиэл, насыщающий душу забвением, корчмарь Ешуа, чьи слезы пахнут помоями, не любящий и нелюбимый его сын Семен, братья-лавочники Спиваки, у которых все в долгу, дочь лесоторговца Зельда, не желающая рожать евреев, лесоруб Ицик, отказавшийся от карьеры священнослужителя... Все, чья «память — свалка страхов», все, кто опья-

нен корыстью, ненавистью, гордыней или смиреннем.

Нет человека, будь то урядник или си-нагогальный служака, которому беспокойный пришелец не заступил бы дорогу, чтобы пригласить к участию в своих странных и тревожащих мыслях. Из этих беседований складывается картина кризиса, в котором находятся жизнь, сознание, система ценностей в черте оседлости: «Да,— задумчиво протянул корчмарь.— Весь дом горит... от пола до крыши... и чад от нас идет по всему местечку...» Бродячий проповедник толкуывает своим слушателям, что «во времена неправедных царей, во времена разврата и беззакония нет большего греха, чем послушание». Мы знаем, что цену нравственного выбора можно определить лишь через степень несвободы, в той или иной степени парализующей волю и способность к деянию. Ибо времена временам рознь. К тому же, замечает пришелец, «пока мы живы, никто из нас не знает, кто мы... Только червь до самой смерти знает, что он червь... Человек не знает. Полжизни был человеком и превратился в червя, полжизни был червем, а в конце стал человеком. И тот, кто говорит, что так не бывает, никогда не войдет в Царство Божье...» А потому «каждый должен лечить себя»...

Да, слово поучения резонирует, оно проникает даже в зачерствевшую душу, отзываясь в том ее уголке, где живут мечта, чаяние, вера. Но мир таков, что все обращает в дигармонию, отчаяние, гибель. Ибо в нем каждый остается сам по себе, наедине с собственной жизнью, доставшейся ему в удел, и существование всех подчинено закону, неизменному от века. Потому столь явственны два пласта в повествовании — питающие друг друга, но закрытые для взаимного проникновения, постоянно совмещаемые, но каждый раз трагически не совпадающие: сущее и должное, реальное и идеальное, жизнь-кара и жизнь-награда. Известно, что обреченность человека миру сему есть одновременно и необходимое условие спасения души. Это ключевая проблема для человека, религии, философии, литературы. В решении ее автор исходит из представления о тотальной несвободе, правящей миром, о вековечном кругообороте добра и зла. И потому существование гетто видится читателю не столько как исторический анахронизм или переходящее состояние жизни, сколько как модель некоей общей для всех людей, универсальной ситуации. Безымянное местечко в романе соположено с большим миром, лихое времечко тождественно историческому времени, а самосильное поучение равно ветхозаветному глаголу. Как ни велик соблазн полагать, что перемещение в пространстве из одной земли в другую спасает людей от самих себя и от диктата реальности, что изменение социальных условий с неизбежностью влечет за собою перемены в человеческой природе, это очевидный самооб-

ман, ибо непреложность бытия абсолютна.

В сущности, все это может восприниматься как общий фон более узкой, но оттого не менее значащей для героев романа темы: судьба еврейства в России. Страницы, где русские, литовцы и евреи высказываются друг о друге, кажется, пропитаны горечью и безысходностью, ибо суждения вековой давности слишком узнаваемы, предубеждения более чем известны. Когда голос другой крови и правда другого народа невнятен соседу, живущему на той же земле и дышащему тем же воздухом, когда внутри человека, как на борту современного боевого самолета, постоянно включена автоматическая опознавательная система «свой — чужой», когда древний иррациональный инстинкт раз за разом торжествует над доводами разума, оснований для пессимизма у писателя более чем достаточно. Бродячий философ спрашивает себя: «За чем Бог вложил в наши уста не рык, не хрюканье, не гоготанье, а слова? Разве от этого мы приблизились к нему? Разве научились лучше понимать друг друга? Разве прибавилось от них на белом свете любви?» В романе девочка мечтает о городе, населенном глухонемыми, «от которых никогда не услышишь ни одного злого, ни одного неверного слова. Ходишь по такому городу и не чувствуешь себя ни чужой, ни лишней. Соседский мальчишка Антек не заорет на тебя: «Жидовка!» Городовой не гаркнет: «Пархатый!» Папа не скажет: «Погромщики! Свиньи! Быдло!»

Мир, представший под пером автора, и вправду может показаться порой и глухим, и слепым, и немым. Да, от зла в нем рождается зло, но случается, что и добро тоже, иначе бы не выжил и такой мир. И хотя человек обречен ступать по собственному следу, он не только принадлежит провидению, но и сам одарен свободой воли. Значит, зависит и от нас, заглушат ли блянье, рычанье, ржанье голос ведущего нас, расслышим ли мы зов к жизни, достойной человека. Самозванный проповедник был сражен пулей в тот момент, когда сквозь улюлюкающую толпу нес в своей шапке воду, спеша к уже отбушевавшему пожару. Свеча в его сердце будет погашена этим выстрелом, и он не воскреснет, нет, но именно от нее возожжется свеча в сердце его убийцы: сын корчмаря примет правду ненавидимого им пришельца, но тронется разумом. Обнаружится, что у бродяги есть и имя, и ремесло, и дом, и жена, теперь вдова, и дети, теперь сироты. И пророком он не был. Он был просто человек. Каждое время — время пророков, но когда они задерживаются, из рядов человечества выходит некто, чтобы явить силу слабых и величие малых сих. И пусть их слезами и молитвами не исправится и не спасется мир, иной помощи ему все равно не будет.

Виктор МАЛУХИН

Увидеть в движении

В. Каверин, Вл. Новиков. **Новое зрение.** Книга о Юрии Тынянове. М., Книга, 1988. (Серия «Писатели о писателях».)

— Динамическая речевая конструкция...

— ?

— А что здесь непонятного? Замечательно точное определение. Одно из лучших.

— Определение чего?

— Литературы как словесного искусства.

— Кем же дано это определение?

— Тыняновым.

— А-а, формализм...

Кроме этого определения, Ю. Н. Тынянов дал еще много других, ввел множество понятий, по сути дела — свой язык, который вырабатывался в узком кругу научного общения, в переписке с Б. М. Эйхенбаумом, В. Б. Шкловским. В этой же переписке прозвучало опасение: поймут ли? И даже сожаление: «Очень обидно бывает смотреть, как никто не подбирает кошелька». Так Тынянов писал Шкловскому весной 1928 года, когда им было ясно, что кошелек полон идеями.

Среди тыняновских терминов есть и такой — литературный факт. Главное для понимания любого термина даже не в том, что он значит, но для чего вводится. Этот введен для того, чтобы подчеркнуть: не все написанное и изданное существует в литературе, не все есть литературный факт. Теория, над которой работал Тынянов, учитывала только то, что действительно, живо.

Живое сегодня — умирает завтра, перестает быть литературным фактом. Это естественно, ибо это — развитие. Жизнь литературы, законами ее развития предлагал заниматься Тынянов. Его интересовало прежде всего обновление, динамика; и в истории литературы, и в литературной ситуации каждого отдельного момента, и в литературном произведении.

И еще — он, как и его единомышленники, был убежден: ничего нельзя понять в литературе, забывая о ее специфике, о том, что является для нее строительным материалом, и о том, по каким законам создается искусство. Значит, предмет исследования — слово, значащее в каждом своем элементе, изменчивое... Иначе говоря: «Динамическая речевая конструкция...» Это и есть литература.

По тыняновской шкале ценностей, многое в его наследии для нас — литературный факт. Само его имя весомо, значимо, престижно — как не упомянуть, не процитировать, не щегольнуть тыняновским термином (понятым ли?). Но не все нам известно и близко в равной мере:

«О Тынянове можно сказать, что он знаменит как исторический романист, ши-

роко известен как историк и теоретик литературы, известен как критик, менее известен как переводчик и почти неизвестен как кинематографист».

Так грани таланта и степень их известности обозначены автором книги о Тынянове — Вениамином Кавериним. Точнее, одним из авторов. Второй — литературовед, критик Владимир Новиков.

Авторы — люди не только разных литературных профессий, но и разных поколений. В их сотворчестве соблюдены важнейший тыняновский принцип — оценивать каждое явление в точно снятом синхронном срезе: как было тогда, при жизни автора, и как воспринимается теперь, спустя почти полвека после его смерти.

Точка зрения Каверина уникальна: по праву знакомства, начавшегося с детских лет, по праву долгой дружбы, затем — родства... Право близости, присутствия: «Когда Тынянов дописывал последние главы романа, он позвонил мне и сказал...» Роман — «Смерть Вазир-Мухтара», о Грибоедове. Рассказывая о нем, Каверин вполне мог бы ограничиться ролью мемуариста, но он не ограничивается и, разбирая новизну повествовательных приемов, заставляет нас вспоминать, что Тынянов еще и исследователь литературы. Его самое яркое выступление в этом жанре — «Барон Брамбус», книга о литераторе О. Сенковском, увидевшая свет в том же 1929 году, что и первое отдельное издание «Смерти Вазира-Мухтара».

Как автор исторической прозы, необычной, новаторской, Ю. Тынянов особенно часто присутствует в сегодняшних литературных спорах. Интерпретируют его фразу: «Там, где кончается документ, там я начинаю...» Что начинаю — воображать, додумывать? То есть иду против документа и исторической правды?

Документ и правда — далеко не одно и то же. Лишь малая доля происходящего документируется. Между отдельными фактами часто — пустота. В ней — простор для воображения, к которому один прибежит, чтобы пустить яркий орнамент придуманного сюжета; другого воображение поведет к догадкам о том, как могло бы быть, то есть по пути исторической реконструкции, проливающей новый свет даже на как будто бы известное.

Одно из выражений Тынянова: «роды р я в и т ь д о к у м е н т», — то есть сквозь сохранившееся свидетельство увидеть правду. Свидетельство к ней не всегда приближает, порой от нее сознательно уводит. Тынянов гордился тем, что не доверился фальшивке и не поверил в невиновность русского дезертира Самсона. Во многих других случаях он так и не узнал, что был прав: документальное подтверждение его правоты будет обнаружено позже, как в случае с выяснением подлинной роли английской миссии, спровоцировавшей антирусский бунт в Тегеране, жертвой которого пал Грибоедов.

Тынянов умел угадывать частности, ибо он шел от ощущения целого, всей эпохи в ее психологической и исторической достоверности. Он жил эпохой, о которой писал. Он знал ее настолько, чтобы не судить поверхностно, не хвататься за очевидное. Как легко (и как хочется!) раздирать бессмертную комедию на цитаты, раздать реплики персонажам романа, якобы у них и подслушанные автором — Грибоедовым. Комедия, однако, иначе присутствует в тыняновском романе: своей судьбой и своей ролью в судьбе ее создателя.

«Горе от ума» — великая комедия, написанная Грибоедовым, прожитая им как драма русской жизни, трагедия умного человека и интерпретируемая как событие национальной культуры. Мы бы теперь сказали — как факт культурной мифологии, устойчиво-значимый, повторяющийся. И у Тынянова всегда так: за портретами — точно выписанная эпоха, но с не меньшей точностью — характер национальной истории. Это происходит независимо от самой портретируемой личности, подлинной ли, как Кюхельбекер, Пушкин, или вымышленной, даже откровенно мифической, как малолетний Витушишников или поручик Кижж.

Исторический романист, проницательный историк культуры и в то же время... формалист? Странное пересечение граней одного дарования, предостерегающее противоречивым и требующее объяснения. Главы о Тынянове-ученом написаны Вл. Новиковым: это другой сюжет, но той же книги, о том же человеке.

Мы привыкли к тому, что слово «формализм» произносится или как приговор, или как повод для оправдания: избежал крайностей, преодолел... Если Вл. Новиков и предлагает нам оправдание, то не Тынянова вне формализма, а формализма как пути научного мышления, не лишеного преувеличений, обруганного и весьма мало понятого. Стратегия тыняновской мысли — «показать читателю жизнь через литературу. Тыняновская историко-литературная критика сосредоточивает внимание читателя на драматизме собственно литературных проблем, но вместе с тем она дает возможность увидеть в скрещении эволюционных линий искусства отражение закономерностей жизненных».

Итак, пойдём от известного, от общепринятого. Литература отражает жизнь — мы настолько верим в истинность этой формулы, что, произнеся ее, полагаем дело сделанным. А ведь здесь-то и начинаются вопросы: что значит «отражает»? как отражает? и что делает это отражение фактом искусства?

Все эти вопросы, а последний из них — впрямую, обращены к специфике словесного искусства, а значит, ко всей теории формализма, имеющей своей целью «показать читателю жизнь через литературу...» Правда, на языке формальной школы это стремление будет выражено иначе: показать, как образ дефор-

мирует жизненный материал... На слове «деформирует» особенно настаивали, ибо дорожили возможностью подчеркнуть автономность и специфичность законов формы, то есть художественного мышления. Эти законы не отливаются в застывшую норму; по сути они есть функция, изменением которой литература отклоняется на меняющуюся действительность.

Да, так понимают отражение. Оно происходит и на уровне материала: события, проблемы, вся злоба дня воспринимаются художественным сознанием. И все-таки для исследователя литературы главная задача (которой кроме него никто не поставит и не исполнит) — понять, как внешне перемены захватывают все бытие литературы до мельчайших его составляющих.

Анализ этого бытия ведут из глубины формы, где в особом синтаксисе, в звуке начинается рождение художественного смысла. Особенно последовательно и подробно Тынянов рассказал об этом в работе «Проблема стихотворного языка». Глава о ней, самая обширная, озаглавлена Вл. Новиковым «Заветная книга». Здесь подробно, по пунктам, шаг за шагом восстанавливается вся теория в полном ее объеме.

Критик не раз обеспокоенно вспомнит о читателе — не слишком ли сложно? Но что делать, если степень сложности задана Тыняновым — и необычностью его языка, и смелостью его мысли, которой надо лишь довериться, чтобы преодолеть эту сложность или, во всяком случае, понять ее оправданность.

Это трудное дело и тем более трудное, что многие положения теории, афористично сформулированные Шкловским или Тыняновым, тут же входили в разговор, выпадали из контекста и, плохо понятые, становились жертвой предрассудка. Предрассудок предстояло рассеять, контекст восстановить и делать это в пределах очень широко понимаемой литературной ситуации, поскольку речь идет о личности столь многогранной, поскольку не только художественные произведения Ю. Н. Тынянова, но каждый его теоретический термин, каждый тезис возникали в движении литературы в ответ на проблемы ее реального развития.

Развитие — ключевое для Тынянова понятие. Писал ли он исторический роман или занимался изучением литературы как динамической речевой конструкции, он все мыслил развивающимся, становящимся. Понять для него значило — увидеть в движении. В этом — закон его видения, новизна зрения, о которой написана книга В. Каверина и Вл. Новикова. Значит, она написана о главном.

Игорь ШАЙТАНОВ

Из почты Октября

В редакцию продолжают поступать многочисленные письма и телеграммы, в которых авторы высказывают свое откoшение как к кампании, развернутой против «Октября» секретариатом правления Союза писателей РСФСР, так и к предложению видных писателей, деятелей науки и искусства освободить журнал из-под вedomственного диктата группы литературных чиновников («Очень простое предложение: в союзе с издательством, а не под пятой ведомства», «Книжное обозрение», № 38 с. г.).

Поскольку ситуация, сложившаяся вокруг журнала «Октябрь», носит принципиальный характер (речь, в сущности, идет о месте литературы и печатного слова в обществе, о свободе творчества и гласности и шире — о фундаментальных проблемах развития культуры), редакция считает целесообразным опубликовать хотя бы часть почты.

Стремясь к объективности, помещаем и отклики, авторы которых в своих взглядах решительно расходятся с редакцией (хотя таких писем единицы среди сотен).

**Секретариат правления СП СССР
Секретариат правления СП РСФСР
Редакция «Литературной газеты»
Журнал «Октябрь»
Редакция «Книжное обозрение»**

Неокогда Козьма Прутков в знаменитом «Проекте о введении единомыслия в России» декларировал: «...Целесообразнейшим... средством было бы учреждение такого официального повременного издания, которое давало бы руководительные взгляды на каждый предмет... Пагубная склонность человеческого разума обсуждать происходящее на земном круге была бы обуздана и направлена к исключительному служению указанным видам и целям. Установилось бы господствующее мнение по всем событиям и вопросам. Можно бы даже противодействовать развивающейся склонности возбуждать «вопросы» по делам общественной и государственной жизни; ибо к чему они ведут? Истинный патриот должен быть враг всех так называемых «вопросов»!.. Зная сердце человеческое и коренные свойства русской народности, могу с полным основанием поручиться за справедливость всех моих выводов».

Тот, кто пытается остановить исторический процесс, с неизбежностью вынужден опираться на отжившие стереотипы. Поэтому нас не удивляет позиция авторов письма, опубликованного в «Литературной России» от 4 августа 1989 года, восходящая к тем идеям, которые почти полтора века назад были высмеяны в прутковском «Проекте». Каждый волен выбирать себе духовных предшественников и нести за это моральную ответственность. Антонов, Клыков и Шафаревич ни в коей мере не являются исключением.

Но когда официальная инстанция — секретариат правления СП РСФСР — использует подобные письма как плацдарм для атаки на права редакторов и редакций самим определять круг авторов и публикуемых произведений, то есть, по сути дела, для атаки на свободу литературы, — это не может не вызвать решительного неприятия.

Сложившаяся вокруг журнала «Октябрь» ситуация глубоко принципиальна, и потому секретариат правления Ленинградской писательской организации считает необходимым заявить:

1. Журнал «Октябрь» за последние годы выдвинулся в число лучших журналов, демонстрируя при этом разнообразие позиций и отсутствие групповых пристрастий. В частности, в нем выступил с программной статьей и один из авторов письма — М. Антонов.

2. Хорошо помня судьбу главного редактора «Литературной России» М. Колосова, видим, что его уход в аналогичной ситуации — под давлением секретариата правления СП РСФСР — немедленно привел к превращению «Литературной России» в узкогрупповой орган.

3. Напоминаем, что журнал «Октябрь» — орган Союза писателей РСФСР, а не секретариата его правления, и осуждаем как устаревшую и недемократичную практику обсуждения журналов на закрытых для большинства писателей секретариатах, а не в открытой печати. Любые попытки поставить печатные органы Союза писателей под жесткий контроль секретариата любого уровня представляются нам недопустимыми вне зависимости от того, как мы относимся к той или иной публикации того или иного печатного органа. Руководство печатных органов в полной мере должно быть ответственно только перед законом.

4. Не входя здесь в специальную полемику с письмом Антонова, Клыкова и Шафаревича, констатируем, что их подход к произведениям Василия Гроссма-

на и Андрея Синявского методологически не отличается от репрессивной критики прошлых времен, когда в одном случае был арестован честный и талантливый роман, а в другом — арестован и осужден за свои литературно-общественные взгляды сам писатель. Таким образом, использование «письма трех» секретариатом правления СП РСФСР в качестве «точки опоры» более чем сомнительно.

5. Предупреждаем, что произвол и злоупотребление властью секретариатом правления СП РСФСР по отношению к руководству журнала «Октябрь», как это имело место в случае с М. Колосовым, не может не привести к неизбежному организационному расколу Союза писателей РСФСР.

Секретариат правления Ленинградской писательской организации.

Принято на заседании секретариата правления Ленинградской писательской организации 21 сентября 1989 года.

Председатель правления Ленинградской писательской организации В. Арно

Хочу выразить поддержку позиции «Октября». Рост числа подписчиков (который, уверен, сохранится и в этом году), являясь по сути авансом, накладывает на редакцию моральное обязательство продолжить заявленную предыдущими публикациями линию. Линию, которая состоит, как я понимаю, в том, чтобы при всем многообразии авторских позиций открывать нам, читателям, что-то действительно новое и значимое о существовании нашей жизни, истории и культуры. Захватывающим дух рубежом, взятым в этом движении, является публикация замечательной повести В. Гроссмана «Все течет». Публикация, которая лишает кого бы то ни было права задавать вопросы о том, кто что делал до «апреля 85-го».

Вряд ли бы имело смысл писать эти самоочевидные вещи, если бы не прозвучавшие в «письме трех» (от «кандидата» до «лауреата») абсолютно надуманные обвинения в «русофобских» пристрастиях журнала. Кому, как не «Октябрю», обращаться к раздумьям о существовании и истоках катастрофических (по многочисленным признаниям тех же «русофилов») октябрьских событий! Согласен, что можно по-разному оценивать долю наследственного и, извините, благоприобретенного в нашем российском чевенгуре, но недостойно, на мой взгляд, в исполненных боли и горечи размышлениях о нашем историческом наследстве высматривать злонамеренные доказательства ущербности русского народа. Или надо идти до конца, объявить русофобом Бунина, писавшего в «Окаянных днях»: «Левые» все «эксцессы» революции валят на старый режим, черносотенцы — на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого — на соседа и на еврея: «Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жиды на все это дело подбили...», объявить русофобами авторов «Вех», рассуждавших об извращенности и ущербности интеллигентского сознания (а ведь это массовый культурный слой), да и самого Солженицына, заметившего как-то, что, быть может, «красное колесо» есть ниспосланная кара за раскол православия (так, значит, лежит на россиянах этот грех!). И почему бы не записать в русофобы Пушкина, «бесстыдно глумившегося» над физическим здоровьем и красотой нации в таких, например, стихах:

Люблю их ножки: только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.

Впрочем, что писать, когда людьми руководят не поиски истины и не интерес к литературе, а, по-видимому, закулисные маневры, желание, извините за каламбур, более полно овладеть своим органом. Мы же этими органами сыты по горло...

С благодарностью и пожеланием стойкости и твердости в выбранном пути

Бонч-Осмоловский А. М., научный сотрудник (из дворян с революционным прошлым). Москва

Сказать, что к «Октябрю» у меня нет претензий, нельзя. К сожалению, вам не всегда удается выдерживать избранный уровень и рядом с «Все течет» появляются беспомощные «Нюрнбергские призраки». Но в вашем активе Набоков, Галич, Гроссман, Синявский (увы, только фрагменты), Саша Соколов, Берберова, Довлатов, Ахматова, Булгаков; труд Д. Волкогонова, при всех его недостатках, богат фактами; успехи в критике и публицистике — несомненны. «Октябрь», нынешний «Октябрь», не имеет права погибнуть! Поэтому я присоединяю свой одинокий голос — ибо принципиально не намерен выступать от имени масс, хотя и убежден, что многие поддержат меня, — к предложению, высказанному лучшими нашими интеллектуалами в № 38 «Книжного обозрения». Вы должны сделать «Октябрь» первым независимым «толстым» журналом и спасти его тем

самым от уготованной участи. Вероятно, даже несомненно, подобное решение чревато большими трудностями, но иного выхода я не вижу.

Сделайте же этот шаг.

Игорь Ратке, филолог и читатель вашего журнала, надеющийся и впредь оставаться им. Новошахтинск Ростовской обл.

Бога ради прислушайтесь к «Письму» из «Книжного обозрения» и дайте бой плутократам. Сталинисты ринулись в свой «последний и решительный бой». Нам надо отбить им охоту реанимации чудовищного догматизма, который ввел страну в голод. Действительно, что мешает вам взять пример с «Огонька»?! Если плутократия будет цепляться за журнал, обратитесь к Съезду народных депутатов. Одним словом, бейтесь. Иначе они вас сомнут!

В. Воронин, И. Халимов, Н. Захарчев, журналисты. Старая Майна Ульяновской обл.

В последнее время против редколлегии журнала ведется омерзительная кампания, затеянная руководством СП РСФСР. Эти люди, поднимающие на щит идеи, которые являются национальным позором России, эти приверженцы русского национал-социализма идут на все, чтобы расширить свой доступ к средствам массовой информации. В этой ситуации Поступком было бы принять предложение, выдвинутое группой представителей творческой и научной интеллигенции: оформиться как издание при издательстве. Прошу считать мое письмо еще одной подписью под обращением, опубликованным в еженедельнике «Книжное обозрение» (№ 38 от 22.09.89). Желаю вам мужества.

Соловьев А. В., научный работник. Москва

Возмущен до глубины души гнусной «цидулей» Шафаревича. Не один я возмущен, а все (не боюсь этого обобщения) мои знакомые. Ближко знакомые. И что это за манера, чуть что не по нутру — сразу мчаться с жалобой или доносом? Когда же наконец избавимся мы от этой рабской психологии, от стукачества? Ну, не понравилась Шафаревичу «Все течет» — напиши в журнал, в чем ты не согласен с автором повести, опровергни те положения, которые кажутся неверными. Но какое право у Шафаревича лишать меня возможности прочесть то, что ему не нравится? Почему я должен воспринимать и понимать мир в трактовке Шафаревича и иже с ним? Я «шафаревичей» в поводыри себе не брал и брать не намерен. Я читаю журнал, с чем-то соглашаюсь, с чем-то спорю, что-то, допустим, не принимаю. В любом случае — польза для меня есть: обогащаюсь либо новыми знаниями, либо уверенностью в своей правоте.

Тревожно за ваш и наш журнал.

И до каких пор эти представители «полиции нравов» будут путаться под ногами?

Пивачев В. Н. Новозыбков Брянской обл.

Я — студентка. Читаю ваш журнал постоянно. Спасибо вам. Спасибо. Только что взяла в читальном зале «Октябрь» № 9. Начала с раздела «Из почты «Октября»». Знайте, что все думающие и любящие по-настоящему свою страну, болеющие душой, сердцем за все происходившее и происходящее, — с вами. Держитесь.

Получила стипендию. Сейчас, пока не поздно, пойду подпишусь на ваш журнал. А читать «Литературную Россию», «Наш современник», «Молодую гвардию» студенты не хотят. Бездарщина и хулиганство.

Алексеева О. В. Челябинск

Как многолетний подписчик «Октября» требую в знак протеста против шовинистической кампании, предпринятой секретариатом СП РСФСР, в том числе против публикаций «Октября», выхода вашего журнала из-под опеки этого бастиона неосталинизма.

Как русский, всю жизнь проживающий в нерусской союзной республике, отчетливо вижу всю безумную опасность нынешней волны русского шовинизма, к тому же заигрывающего с национальными экстремистами в других республиках.

Всемерно поддерживаю редакцию «Октября» в его публикациях 1988—1990 годов. В случае устранения А. А. Ананьева с поста главного редактора требую возвращения денег за подписку на журнал в 1990 году.

Илющенко М. А., старший научный сотрудник кафедры химии редких элементов Казахского госуниверситета. Алма-Ата

С большим интересом читаю журнал «Октябрь» и считаю, что его редакция стоит на правильных позициях советского патриотизма и интернационализма, гласности и демократии, гуманизма и исторической справедливости. Выдвинутые И. Шафаревичем и его единомышленниками обвинения журналу «Ок-

тябрь», по моему мнению, являются нелепыми и надуманными. У меня возникло впечатление, что эти обвинения — результат известного комплекса неполноценности, обусловленного тенденциозными взглядами, не имеющими ничего общего с объективной оценкой деятельности редакции журнала.

С. Розни, участник Великой Отечественной войны, награжденный 17 орденами и медалями СССР, инвалид 2-й группы, подполковник в отставке. Куйбышев

А. Ананьева и его единомышленников здорово занесло. Журнал «Октябрь» — орган, призванный художественно олицетворять и утверждать великие идеи Великого Октября, превратился в орган, развенчивающий эти святые ленинские идеи, поднимающий на щит антисоветские, антисоциалистические, контрреволюционные пакости, такие, как солженицины, яновы, гроссманы, синявские и другие «русские» писатели.

А кто, собственно, вас уполномочивал на это? Что, это ваш личный орган? Сами его создавали? Сами определяли его назначение? Кто дал право журнал — средство борьбы за социализм, за пропаганду его идеалов, освещение пути к нему — превращать в средство очернения социализма, советской действительности? О деформациях надо говорить, но ведь строй-то сам по себе — прогрессивнейший, о нем мечтали и мечтают лучшие умы человечества, к нему велико или невелико, объективно или субъективно стремятся народы как к лучшей жизни. Сейчас он обновляется, повернут на социальную концепцию и скоро покажет, какую прекрасную жизнь может создать для человека труд. Вот о чем надо говорить, а вам подавай антиоктябриста, монархиста Солженицина, подавай Абрама Терца-Синявского, всех, кто мешает с грязью наше социалистическое Отечество, нашу революцию. Негоже так! Надо знать и помнить, что за все спросится, за все придется отвечать! Перед совестью, перед историей, перед народом.

В основе журнала должны быть не взгляды Ананьева и К°, а помощь перестройке, партии, народу в борьбе за торжество обновленного социализма, показ перспектив борьбы. А этого пока у вас нет.

Д. Ямпольский. Москва

Неужели на 72-м году Советской власти люди не поумнели и по-прежнему сами на себя и на народ крепят кандалы несвободы? Почему некомпетентные в литературном отношении лица учат писателей, о чем писать и что публиковать? Я согласен с писателем Б. Можавым, назвавшим на встрече с читателями (переданной ЦТ) метод социалистического реализма галиматеей. Выдающиеся успехи достигались всегда «вопреки» официальным догмам и установкам. Без свободы творчества писатель задохнется, как рыба без воды. Если секретариат правления Союза писателей РСФСР поддержит это «письмо тройки» и осудит «Октябрь», который сейчас, как и «Новый мир», по существу, стал своеобразным флагманом родной литературы, то с гласностью, уверен, будет покончено.

Соболь А. И. Кореновск Краснодарского края

«Литературная Россия» в двух своих номерах поместила письма читателей, выступивших в защиту обиженного А. Д. Синявским и «Октябрем» Пушкина. Внимательный читатель должен обратить внимание на единодушие и единомыслие 137 «преподавателей, сотрудников и студентов Куйбышевского института культуры», 133 «преподавателей и учащихся культурно-просветительного училища» г. Куйбышева и трех ученых — М. Ф. Антонова, В. М. Клыкова, И. Р. Шафаревича. В письме из Куйбышева «Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца названы «пасквилем», публикацией которого «была осквернена» «святая для сердца каждого русского человека дата» — 190-летие со дня рождения поэта — и в письме трех авторов читаем: «фрагменты скандально известного пасквиля». В письме из Куйбышева приводится фраза, вырванная из совершенно другой работы А. Д. Синявского — вне связи с фрагментом о Пушкине, — и в письме И. Р. Шафаревича цитируется она же. Авторы куйбышевского письма взывают к оскорбленному «национальному достоинству русского народа», а М. Ф. Антонов, В. М. Клыков и И. Р. Шафаревич обвиняют «Октябрь» уже в «последовательной атирусской политике». Странные текстовые совпадения, не правда ли?

Наводит на размышление и стремительность связанных с письмами событий: 21 июля опубликовано письмо из Куйбышева, 31 июля секретариат правления СП РСФСР рассмотрел письмо трех авторов и опубликовал его 4 августа в «Литературной России».

Автор текста письма из Куйбышева — В. В. Туляков, заведующий кафедрой истории СССР нашего вуза. Оставим на его совести, как готовилось это письмо и собирались подписи. Обратим внимание на другое: призывая специалистов высказать свое мнение о «Прогулках с Пушкиным», В. В. Туляков как раз к специалистам и не обратился — сбор подписей велся втайне от преподавателей кафедр литературы Куйбышевского института культуры, авторов статей и книг и о творчестве Пушкина, и о современной советской литературе. Мнение

компетентных людей в данном случае было не нужно, ибо они сразу поняли бы подоплеку появления письма, которая очень далека от литературоведения.

Работа А. Д. Синявского, во всяком случае, опубликованный ее фрагмент, не открывает абсолютно нового Пушкина. Многое из содержавшегося в ней было так или иначе сказано...

Новая сама форма исследования А. Синявского — парадоксальная, ироничная, не чуждая эпатажа и все же изящная, она адекватна предмету исследования: Пушкин и сам любил эпатаж, парадоксы, розыгрыши. В нем не было склонности к аскетизму, жреческому служению чему бы то ни было, он был атеистом. И пушкинистика никогда не отрицала «законность» независимого, острого, разрушающего сакральность поэта исследования о нем, тем более если оно так талантливо, как «Прогулки с Пушкиным».

Не можем не высказаться и по поводу представлений М. Ф. Антонова, В. М. Клыкова, И. Р. Шафаревича о Союзе писателей: Союз писателей, оказывается, тождественен с секретариатом правления этого Союза. И, стало быть, все, кто думает иначе, чем секретари, не представляют Союз. Что же, снова «кто не с нами, тот против нас»? И не «заединщики» не имеют права высказывать свои мнения, отстаивать свои позиции? И российские журналы должны быть все одинаковыми, все такими, как «Наш современник»? И думать все российские писатели должны, как И. Р. Шафаревич? А если состав секретариата изменится и в него войдут единомышленники А. А. Ананьева и др., то М. Алексеев, Ю. Бондарев, В. Белов, С. Викулов, С. Куняев должны будут срочно менять позиции? Странная логика!

Что же касается благородного негодования по поводу горьких раздумий В. Гроссмана о свободе и рабстве в России, то и на Пушкина И. Р. Шафаревичу и его единомышленникам стоило бы обидеться, ведь поэт сказал куда резче В. Гроссмана:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич,
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Русская классическая литература создала две формулы любви к Родине: одна — «и дым Отечества нам сладок и приятен»; и другая — «как любил он, ненавидя». Каждый выбирает сам, любить «дым Отечества» или, любя свой народ, ненавидеть его несвободу, увя, все еще распространенную у нас рабскую психологию, составной частью которой является жажда единомыслия и беспрекословного послушания.

Рассовская Л. П., доцент, автор монографий о Пушкине; **Воробьева А. Н.**, доцент, зав. кафедрой литературы; **Гринштейн А. Л.**, кандидат философских наук; **Перфильева Л. А.**, кандидат педагогических наук; **Мартиновская А. И.**, доцент, кандидат филологических наук; **Корявко Г. Е.**, доцент, кандидат философских наук; **Ефимова О. А.**, ст. лаборант; **Бондаренко В. В.**, преподаватель литературы. Куйбышев

Полностью солидарны с точкой зрения авторов письма «Очень простое предложение: в союзе с издательством, а не под пятой ведомства» («Книжное обозрение» № 38). Поддерживаем предложение о независимости журнала «Октябрь» от командно-идеологической нетерпимости секретариата СП РСФСР.

Одобрим творческую позицию и деятельность главного редактора журнала «Октябрь» А. А. Ананьева и членов редколлегии на nive российской словесности и уверены, что коллектив журнала при поддержке читателей будет и впредь достойно решать свои литературно-художественные и общественно-политические планы и задачи.

Постоянные подписчики «КО» и журнала «Октябрь», участники Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда: Василевская Н. Е., доктор биологических наук; **Закс С. И.**, инженер; **Исаакян Л. А.**, кандидат биологических наук; **Калихман С. Г.**, лауреат Государственной премии СССР, кандидат технических наук; **Лебедев Д. В.**, член Национального комитета советских биологов; **Михайлова А. Е.**, инженер; **Никитина И. П.**, кандидат биологических наук; **Филиппова В. Н.**, доктор биологических наук; а также **Гудовщикова И. В.**, доктор педагогических наук; **Виноградова Н. А.**, кандидат биологических наук; **Розенталь Д. Л.**, кандидат биологических наук. Ленинград

Неужели вы измените свой курс на демократию и справедливость под напором «троек», «семерок» и «тузов»? Нет живого Суслова, но остались в живых сусловцы!! Измените? Антоновы, клыковы, шафаревичи, они диктуют нам, что читать, а что — запретить! Курс тот же — политический донос! Объявили войну мертвому Гроссману, живому (вот досада!) Синявскому и др. Отвергают все, что им не по душе! Блудистели нравственности...

Петрова А. С. Курганская область

Честное слово, я даже как-то и не задумывался, что «Октябрь» — орган СП РСФСР. А вообще — не пора ли сделать журналы органами читателей? Ведь издается журнал для нас, его подписчиков, а не для чиновников из секретариата СП. Считаю, что и «линию» журнала должны определять мы. Да мы это и делаем, выбирая между «Нашим современником» и «Октябрем».

С тревогой жду и все же надеюсь, что «Октябрь» в России не отменят и не подменят.

Ваш читатель Ст. Ромашов. п. Билибино Магаданской обл.

1. Секретариат правления Союза писателей СССР.
2. Секретариат правления Союза писателей РСФСР.
3. Журнал «Октябрь».

Что же, опять повторение «ждановщины», как со «Звездой» и «Ленинградом»? Вы собираетесь «проехаться танками» теперь по А. Ананьеву?

Мы на работе интернациональным коллективом прочитали В. Гроссмана «Все течет», и никто из нас не нашел там никакой русофобии. Это самая интересная публикация за год.

На писателях лежит ответственность за культуру и нравственность народов России, а секретариат СП занят разбором грязных клуэз.

Мы просим дать возможность журналам печатать всех запрещенных прежде советских писателей. Значит, нужно перевести журналы на хозрасчет и вывести из подчинения Союзу писателей, а оставить правление для защиты писателей, как профсоюз. Просим СП не навязывать своего мнения, что печатать журналам. Мы сами разберемся, что нам читать, а что нам неинтересно. И в своих симпатиях определенным журналам позвольте разобраться нам самим, мы платим за подписку.

По поручению друзей и сотрудников Лившиц М. А., библиотекарь научно-технической библиотеки. Москва

Уважаемый т. Ананьев!

Только что прочитала в журнале «Октябрь» статью о Пушкине Абрама Терца (А. Синявский) и возмущена до глубины души. Как можно так глумиться над гордостью нашей, над творчеством Пушкина, над его личностью? Теперь понятно, почему он был осужден и выехал за границу. Кто он? Еврей или поляк? Но только не русский. Возмущает и Ваша позиция, как Вы, сибиряк, исконно русский человек, могли напечатать такое в издаваемом Вами журнале. Я рядовой библиотекарь. Много лет выписываю «Октябрь», читала многие Ваши книги, чувствовала в них боль за все, что есть у нас плохого в жизни. Обидно за Вас. Этот номер журнала я не дам ни одному читателю¹ и выписывать на будущий год не буду.

Библиотекарь Н. Гой, г. Новгород-Северский Черниговской обл.

Истерия по поводу публикации «Октябрем» заметок Абрама Терца (Синявского) продолжается. Это просто ужас! Ах, какая благородная «Литературная Россия», она, видите ли, вступилась за самого Александра Сергеевича Пушкина! Думаю, что А. С. Пушкин в защите «Литературной России», тем более такой, какая она есть сегодня, не нуждается! Эта газета «поплохела» прямо на глазах с приходом нового редактора.

Я недавний ваш подписчик и очень доволен вашим журналом. Так держать! Благодаря вашему журналу я прочитал произведения Гроссмана, Волкогонова, Саши Соколова, Галича, Слуцкого, Волгина, Довлатова. А какая публицистика! А что нам предлагают «Молодая гвардия» — чья и какая, интересно, это гвардия? — «Наш современник»? На исходе век двадцатый, море проблем, а они все выискивают «еврейский заговор».

Еще раз вам всем крепости, смелости. Всем больших успехов, крепкого здоровья и, как говорят на Украине: «Хай вам щастить!»

Черныш А. М. Нежин Черниговской обл.

Признаюсь, что далеко не все я сам принимаю в нынешнем «Октябре». Мне показался достаточно архаичным, «вчерашним» роман А. Чаковского, я далеко не в восторге от экономических построений М. Антонова и т. п. Однако в целом позиция сегодняшнего «Октября» мне близка и интересна. (То, что у журнала есть позиция, я понял после этапной публикации статьи Юрия Буртина «Вам, из другого поколения» в 1987 году.) Я бесконечно признателен «Октябрю» за оба произведения Василия Гроссмана, за Сашу Соколова, за Си-

¹ Уважаемая товарищ Гой! А понимаете ли вы, что, накладывая арест на журнал, скрывая его от читателей, вы превышаете свои полномочия, совершаете служебное преступление. Ситуация прямо-таки гоголевская: вспомните почтмейстера из «Ревизора». — **Ред.**

нявского (очень жаль, что вы ограничились только фрагментом!), за статьи Сараскиной и так далее, и так далее. И потому меня пугает то негативное отношение секретариата СП РСФСР к вашему журналу, которое может спровоцировать (естественно, келейно) разгром журнала. Мне кажется, легкомысленно уповать на справедливость (ее в таких делах не бывает) и обращаться с каким-нибудь «открытым письмом», когда будет уже поздно, когда роковое решение будет принято. Если дело и впрямь пойдет так далеко, как я предчувствую (не хочу быть мрачным пророком, и все же...), есть прямой смысл обратиться в одном из массовых изданий (типа «Аргументов и фактов» или «Известий», сам журнал не годится: слишком долгий производственный цикл) к читателям, к народным депутатам наконец! Только привлечение общественного мнения может остановить аппаратные игры за спиной читателя.

Извините за мои дилетантские рассуждения. Сфера моей деятельности далека от литературы, но мне совсем не хотелось бы, чтобы в нашей стране хороших, умных журналов вдруг стало на один меньше.

Безверченко О. Ю., инженер. Саратов

Мы, читатели, понимаем, что какие-то силы заинтересованы в том, чтобы русские писатели были заняты беспрецедентными расприями друг с другом. Это те же самые силы, которые, действуя по принципу «разделяй и властвуй», натравливают один народ на другой (пример тому журнал «Наш современник», № 7 за 1989 г.). Чем сильнее будет дестабилизация в обществе, чем острее дефицит, чем больше разногласий в духовной сфере, тем скорее можно прибегнуть к «сильной власти» и «навести порядок».

Мняикова Э. Е. Горький

Попытки растащить литературу по ведомствам вообще неприемлемы. Сегодня они выглядят вдвойне нелепо, когда исходят от организации, должностной — судя по названию — представлять и защищать интересы писателей России. К сожалению, мы являемся свидетелями положения, когда вывески некоторых организаций расходятся с содержанием дел, которыми озабочены «функционеры последнего призыва» в этих организациях. Деятельность секретариата СП РСФСР — еще один печальный тому пример.

Оказавшись в положении «сдвинутого на обочину» самим ходом литературного процесса в стране, всплывающей (благодаря усилиям передовых журналов) Атлантидой большой литературы, секретариат вместо конструктивного участия в общей напряженной работе заявляет о своем существовании акциями скандального толка... Сущность упреков в русофобии даже как-то неловко разбирать — настолько это старый и прочно скомпрометировавший себя вопрос.

Можно надеяться, что позиция теперешнего состава секретариата, как и позиция органов печати, пока контролируемых шумными, но бесцветными «заединщиками», получат со временем должную оценку писателей России — как получают они ее у возрастающего числа читателей и подписчиков. Однако и сегодня очевидно, что попытки административными мерами навязать пользующимся доверием читателей журналам свои иерархии ценностей в перспективе обречены.

Калакуцкий Л. В., чл.-корр. АН СССР. Москва

С редким удовольствием перечитываем в «Октябре» новые публикации — семьей горячо и дружно обсуждаем. И единодушно одобряем! (Не все в журнале достойно восхищения. Умный и отменно искусственный А. Снявский чуть поторопился: в «Прогулках с Пушкиным» акценты не успел перепроверить, доуточнить...).

Это дерзостная — и мужественная — акция журнала, осмелившегося обнародовать «Все течет». Хвала вам и честь! И слава! Повесть Гроссмана читают, бурно обсуждают (и ругают, иногда ожесточенно). Мы уверены: «Все течет» — явление эпохальное, классическое. (Оно сопоставимо с ламентацией на Съезде депутатов о должном упокоении праха Ленина там, где он завещал.)

Находим целесообразным выдвинуть «Все течет» на Ленинскую премию. Достоин, заслуживает. Надеемся, это не будет гласом вопиющего...

(Пример «от противного». Лет 20 назад Бирский пединститут выдвигал на Ленинскую премию М. М. Бахтина, солидно, аргументированно... В итоге — ничего. Комитет по премиям даже ни единым словом не откликнулся, никак не ответил на многочисленные запросы большого ученого коллектива. Ни-ни, как из могилы.)

Большая благодарности! Так держать!

Дмитраков И. П., член КПСС, ветеран войны и труда, дважды отличник народного просвещения, доцент. (Мне под 80.) Ленинград

Р. С. О Мать-Россия, о русичах свинцово-тяжело пишет не один Гроссман. Горько! Но горькое излечивает, да только не ханжей и не рептилий. И клакеры еще здравствуют...

Низкий поклон вам и благодарность за публикацию произведений Гроссмана! Вы открыли читающей России великого писателя, и это навсегда останется в памяти. А злобная клевета — это пройдет, забудется. Пусть только не оставят эти нападки рубцов на вашем сердце.

Полунов Ю. Л., к. т. н., начальник отделения НИИ, чл. КПСС.
Красноармейск

Внутренняя сила религиозной и философской идеи никогда не обеспечивает ей торжества в мире. Эти мудрые слова Льва Шестова — и о том, что правда о недавнем прошлом так же трудно доказуема, как и чужая боль, чужие страдания.

Я прожил немногим более сорока лет. Из них семь — в лагерях и три в ссылке. В 1972 году меня арестовали и осудили. Один из основных эпизодов обвинения — распространение повести Гроссмана «Все течет» с целью подрыва и ослабления советской власти.

Тот же Киев, те же улицы. Я опять здесь. И здесь же те, кто санкционировал и исполнял мой арест. И они, и я — читатели журнала «Октябрь»...

Какая-то ирреальная ситуация. Кафкианская. Правда о прошлом... Была ли она такой сокровенной тайной в 1972 году? Неужели лишь мы, прозванные инакомыслящими, знали о ней? О голоде тридцатых, о казнях, лагерях?.. Риторический вопрос. Следователь КГБ в 1972 году совершенно спокойно рассказывал мне о том, как он, молодой юрист в годы правления Хрущева, занимался реабилитацией живых и мертвых узников Сталина... и он же формировал обвинительное заключение, в частности в том, что я клеветал о необоснованных репрессиях советских граждан в сталинскую эпоху. Увы, копии судебного приговора у меня нет. И сейчас, в 1989 году, он — тайна. В киевском КГБ приговоры на руки не давали...

Что ж, те семь лет в лагерях и тюрьмах я был свободен. Среди таких же свободных людей внутри периметра многочисленных заборов и колючей проволоки.

Все течет. Время, вода, судьбы...

Глузман С. Ф. Киев

Я считаю роман Гроссмана «Жизнь и судьба» одной из вершин русской литературы. Найти в романе и в повести «Все течет» русофобство могут только откровенные провокаторы. По-моему, «Октябрь» — один из лучших советских журналов. Мечтаю, чтобы вы последовали совету уважаемых товарищей («КО», № 38) и вышли из подчинения секретариату СП РСФСР. Идеи, проповедуемые любимым детищем СП РСФСР — «Нашим современником» — не имеют ничего общего с идеями гуманизма, великими традициями русской литературы.

Желаю вам всего хорошего.

Ольвовский А. И., инженер, кандидат в члены КПСС. Ленинград

Судьба журнала «Октябрь» вызывает у меня чувство тревоги...

Мне кажется, не случайно письмом «тройки», опубликованным 4 августа (№ 31), «Литературная Россия» открыла кампанию против «Октября» именно в это время. События в Прибалтике, Молдавии и Закавказье дают борцам за «русскую идею» прекрасную возможность спекулировать на «русофобии», стенать о покушении на русский народ, на Россию. Причем под Россией-то они понимают не РСФСР, а империю (вспомнил вскрик одного из участников пленума секретариата СП РСФСР: «Империю рушится!»). И «Все течет» В. Гроссмана была использована для раздувания «руссофобского» психоза. А тут еще и публикуемый А. Синявский, и намеченный к публикации А. Янов. Характерная деталь: по старой, доброй привычке спор ведется не столько с концепциями авторов публикуемых в журнале произведений, что было бы естественным, а с редакцией, которая-де посмела такое напечатать. Действительно, как посмел этот орган напечатать то, что не соответствует взглядам И. Шафаревича?

Однако же сарказм сарказмом, но что же дальше? Как я понимаю, к сожалению, у секретарей СП РСФСР, наметивших очередную жертву и подготовивших расправу с ней под видом «намеченного творческого обсуждения журнала», достаточно прав, чтобы безнаказанно сместить главного редактора. Но почему вопрос о том, кому быть главным редактором, решается без учета мнения читателей журнала, его подписчиков? Не видя другого способа вмешаться в ход событий, прошу рассмотреть возможность публикации моего письма в «Октябре» или в другом, независимом от СП РСФСР, издании с призывом к подписчикам и всем читателям этого журнала, ко всем, кому дорога подлинная демократизация советской печати, к редакторам других периодических изданий и газет оказать поддержку главному редактору «Октября» А. А. Ананьеву, не позволить влиятельным генералам от литературы лишить нас острого, полемичного и гуманного журнала.

С надеждой

Стукалов М. А., капитан I ранга запаса. Москва

Должен сразу сказать, что обеими руками поддерживаю «Письмо» в «КО» (№ 38). В самом деле, по пути ли вам с секретариатом СП РСФСР и «Нашим современником»? Так отмежуйтесь от них не только морально, но и юридически! И правы подписавшие письмо в «КО»: «Мы не дадим в обиду «Октябрь!» Помните: все честные люди России с вами!

Перфильев М. Г. Ростов-на-Дону

Всей душой присоединяюсь к письму в «Книжном обозрении» (№ 38) наших глубокоуважаемых депутатов, ученых и деятелей искусства. Мы, ваши читатели, даем вам «вольную» от опостылевшего всем ведомства — секретариата СП РСФСР. Совершите поступок, дорогие друзья, по слову поэта:

Я из повиновения вышел.
За флажки — жажда жизни сильна!

Какой это будет пример для творческих коллективов! Какой подарок для нас, читателей, простых людей, обалдевших от дефицита и мрачных прогнозов на будущее, нин андреевых, отечественной мафии, родной прокуратуры, которая не столько «меня бережет», сколько воюет с собственными следователями, чтобы «не плачь».

Давайте, друзья! С Богом!

**Злотина В. А., научный сотрудник НИИ
резиновой промышленности.** Москва

Благодарю редколлегию журнала «Октябрь» за публикацию хотя бы фрагмента книги А. Синяевского «Прогулки с Пушкиным». Автор с пиететом относится к гению русской литературы. Вот его слова: «Пушкин чаще всего любит то, о чем пишет, а так как он писал обо всем, не найти в мире более доброжелательного писателя. Его общительность и отзывчивость, его доверие и слияние с промыслом либо вызваны благоговением, либо выводят это чувство из глубин души на волю с той же святой простотой, с какой посылается свет на землю. — равно на праведных и грешных». Или — «Вероятно, никогда столько сочувствия людям не изливалось разом в одном — таком маленьком — стихотворении. Плакать хочется — до того Пушкин хорош».

И эти примеры — не «отдельные места». Почитание Пушкина чувствуется во всем и, в частности, в глубоком и своеобразном проникновении автора фрагмента в искусство гения. Поэтому появившиеся на страницах газеты «Литературная Россия» филиппики против А. Синяевского и редакции журнала «Октябрь», обвиняющие их в неуважении к А. С. Пушкину, беспочвенны, абсурдны. Возможно и то, что в действиях редакции газеты «Литературная Россия» по отношению редакции журнала «Октябрь» проявилась ведомственность аппарата СП РСФСР, не допускающего самостоятельных решений подчиненных ему органов печати. В связи с последним --- не пора ли редакции журнала «Октябрь» выйти из подчинения секретариату СП РСФСР?

Искренне

М. Беляковский,
ветеран войны и труда, член КПСС с 1942 г. Череповец Вологодской обл.
Р. С. Извините за возможные литературные огрехи. Я лишь металлург.

Прошу вас прислушаться к мнению прогрессивных писателей и общественных деятелей, авторов статьи «Очень простое предложение...» («КО», № 38, 1989) и выйти из-под контроля СП РСФСР.

Я специально на днях подписался на ваш журнал, чтобы поддержать вас в вашем противостоянии. Однако я не хочу получать новый подголосок журнала «Наш современник». Если вы станете им, я от своей подписки откажусь.

Надеюсь все же, что вы будете продолжать свою литературную и общественно-политическую линию и напечатаете еще много таких же интересных работ, как книги Гроссмана, Синяевского и др.

Желаю вам успеха и решимости. Хватит превращать журналы в националистические!

А. Гуревич, научный сотрудник. Москва

Третий год являюсь подписчицей вашего журнала, не жалею об этом и, если бы в июне уже не подписалась на 1990 год, непременно подписалась бы на него после статей-доносов А. Казинцева, И. Шафаревича и И. Шафаревича с двумя единомышленниками.

Присоединяюсь к предложению, высказанному в открытом письме («Книжное обозрение», № 38) группой народных депутатов и деятелей культуры. Не ходите сами и не посылайте своего представителя 5 октября на судилище, намеченное секретариатом СП РСФСР. Уберите, пожалуйста, с титула журнала строчку, что «Октябрь» — орган СП РСФСР. Оставайтесь органом русской литературы вне СП РСФСР и его чиновничьего секретариата.

Желаю всего самого доброго!

И. Вишневская, профессор, д-р геолого-минералогических наук. Москва

Большое спасибо вашему журналу за публикации В. Гроссмана и за все публикации, которые были и которые обещаны на 1990 год.

Вся возня, затеянная вокруг «Октября», все нелепые обвинения в русофобии, хорошо известны нам, вашим читателям. Мы за всех вас очень переживаем, желаем вам твердости, уверенности в своей правоте. Мы с вами!! Что мы можем сделать, чтобы защитить свой журнал от нападков правления СП РСФСР?

По поручению многих читателей

Пульман М. М. Алма-Ата

Хочу от всей души поблагодарить коллектив за все, что сделано за последние годы, чтобы возродить журнал «Октябрь».

Вам опубликованы замечательные произведения, которые войдут в золотой фонд отечественной литературы, в первую очередь великий роман В. Гроссмана. «Октябрь» стал верным другом миллионов читателей.

С огромным огорчением узнала о недостойной кампании, развязанной против любимого журнала. Дай вам Бог мужества и стойкости.

Сидоренкова В. М., пенсионерка. Архангельск

В правление Союза писателей РСФСР
Копия: **Главному редактору журнала «Октябрь»**
т. Ананьеву А. А.

Хотим поставить в известность правление, что, если оно поступит с журналом «Октябрь» так, как в свое недоброе время поступили с редакцией «Нового мира» «заединщики», что будет означать пересмотр редакционного портфеля, то мы вынуждены будем отказаться от подписки на журнал на 1990 год и потребовать вернуть нам деньги. Когда мы выписывали журнал, мы исходили из того, что в нем будет опубликовано то, что обещала нынешняя редколлегия.

У нас нет лишних денег для того, чтобы получать близнеца «Нашего современника», каковым правление собирается сделать журнал «Октябрь», поддерживая тем самым группу так называемых российских писателей, занимающихся политическими доносами и разжиганием низменных националистических инстинктов.

К сожалению, без уважения

Бокута А. В., инвалид ВОВ,
Дубровин М. И., участник ВОВ. Москва

Именно с приходом А. Ананьева журнал «Октябрь», бывший долгие годы одним из самых консервативных, неуважаемых читателями, именуемый не иначе, как «очетовский», обрел свое лицо, вызвал интерес яркими, талантливыми публикациями, быть может, не всегда бесспорными. И что же? Планируются меры «обеспокоенного» секретариата СП РСФСР, имеющие целью запугать редактора или отстранить его. Непонятно, почему тот же секретариат не обеспокоен откровенно шовинистическими, реакционными публикациями «Нашего современника» и «Молодой гвардии»? Кампания вокруг «Октября» — возврат к старым, удушающим командным методам, ничего общего не имеющим ни с гласностью, ни с демократией. Мы отправили письмо в «Лит. газету», где настаиваем: прекратить травлю главного редактора «Октября» Анатолия Ананьева и дать возможность журналу определять, что ему печатать.

Доктора филологических наук:
И. П. Лупанова, Е. М. Неелов; кандидаты филологических наук:
С. М. Лойтер, Л. Н. Колесова. Петрозаводск

Верим, что духовные сообщники Нины Андреевой в лице журналов «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва», газеты «Литературная Россия» своими недостойными наветами, доношением, интригами сами себе подписали достойный приговор — забвение потомков. Великий русский писатель М. Горький писал в своих заметках «Несвоевременные мысли: «...Мне ненавистны и противны люди, возбуждающие темные инстинкты масс».

Считаем одной из акций, морально поддерживающей смелый и честный поступок редактора журнала «Октябрь» (публикация произведений В. Гроссмана, А. Синявского и др. пророков своей Родины), — издание Лениздатов книги «Своевременные мысли и пророки в своем отечестве», 1989 г.

Мы, признательные читатели и подписчики «Октября», присоединяемся к многочисленной гвардии его литературных собратьев, ко всем выдающимся деятелям страны, подписавшимся под блестящим предложением по выходу журнала «Октябрь» из-под эгиды СП РСФСР и верим в СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Коллектив НТБ П. О. «Ижорский завод»:
Иванова С. Н., Алексеенок М. А., Чернова Г. М.
(Всего 14 подписей). Ленинград

Спасибо, большое спасибо за ваш прекрасный журнал. Мои материальные возможности очень ограничены, и во время подписки я выбираю лучшее, и в числе

двух-трех «толстых» журналов ваш журнал всегда у меня на столе. Я не мастер писать, но прочла письмо в «КО», и к числу подписей лучших людей нашей страны мне хочется добавить и мою скромную подпись.

Богомольная Б. Н., персональный пенсионер. Москва

В трудную для вас минуту хотелось бы искренней, светлой, глубокой благодарностью поддержать вас за то большое и прекрасное дело, которое вы делаете, одаривая всех нас, своих читателей, прекрасными книжками. Мне 53 года, я заведу кафедрой общественных наук в Институте повышения квалификации учителей. Сами понимаете, сколько времени приходится работать. При этом я не могу пропустить ни одной вашей публикации. Особо низко хотел бы поклониться Н. Евдокимову. Его повесть в № 7 считаю великолепным шедевром. О работах М. Капустина, Д. А. Волкогонова не говорю. Здесь и так все ясно. Простите за краткость. Просто хотелось высказать всем вам слова любви и признательности. Не сдавайтесь. Мужества вам и здоровья.

С неизбывным уважением

Б. Табачников. Воронеж

Если на секретариате СП РСФСР «заединщики» сотворят над журналом зло, станет ясно, что пропахшие тленом «патриоты» до сих пор распоряжаются нами как хотят. И, значит, надежды на настоящий плюрализм, честность, правду в литературе придется пока отбросить. Не думаю, что мыслимо достучаться до совести блюстителей джи. Но знаю — нестерпимо стыдно и горько будет потомкам за их черные дела!

Дорогая редакция! Прошу вас — не бойтесь, не сдавайтесь! Слишком велика цена.

С благодарностью

Борисов Л. Д. Ульяновск

Пишу вам буквально с головной болью от чудовищной сплетни вокруг журнала «Октябрь», муссируемой «Литературной Россией». Читая журнал «Октябрь», я собственными глазами убедилась, что в нем нет и не было ни единого оскорбительного личного намека ни в чей адрес... И невдомек воинственной «Литературной России», что это она топчет русскую культуру, обливая грязью журнал «Октябрь», Василия Гроссмана и Андрея Синявского.

Хотелось бы, чтобы «Литературная Россия» знала, что я отказываюсь от уже оформленной подписки на нее в 1990 году в знак презрения к ее реакционной ментальности — как в области общественно-политической, так и собственно литературной. Такая узколобая, нетерпимая и диктаторская позиция полностью исключает для меня возможность причислить себя к ее читателям и единомышленникам. Достоинно сожаления также то обстоятельство, что секретариат правления Союза писателей РСФСР хочет «освятить» именем главы государства свой крестовый поход против наших лучших журналов и их редакторов. Очень надеюсь, что эта затея лопнет как мыльный пузырь.

Черникова Н. В. Москва

Многие книжки журнала я даю читать своим друзьям, они читают быстро. Но желающих так много, что журналы возвращаются иногда через год. То же самое говорят и мои соседи — подписчики вашего журнала, так что число читателей журнала можно утроить, удесятерить. К сожалению, люди живут бедно и не могут доставить себе удовольствие делать подписку на дорогостоящие журналы.

Спрашивается: какое право имеет кучка диктаторов расправляться с редакцией журнала «Октябрь» и его главным редактором? Для кого делается журнал — для них или для 400 000 читателей? И коль скоро готовится «обсуждение», то я и мои знакомые — ваши подписчики — хотим на нем присутствовать.

Я желаю вам победы в неравной схватке с «заединщиками», мужества, которого, как это показала наша действительность, требуется порой больше в мирной жизни, чем на фронте.

С уважением

Е. И. Садовская,
ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран труда, член КПСС с 1942 г. Химки Московской обл.

В секретариат Союза писателей РСФСР
Копии: **В газету «Литературная Россия»**
В газету «Книжное обозрение»
В журнал «Октябрь»

В «Литературной России» от 29 сентября напечатана ваша телеграмма на имя Председателя Верховного Совета СССР М. С. Горбачева, где вы гневно осуждаете позицию народных депутатов, осмелившихся на страницах «Книжного обо-

зрения» открыто высказать свое мнение и заступиться за журнал «Октябрь». Низкий им поклон за это проявление гражданственности, за то, что им, возможно, удастся помешать вам расправиться с редактором «Октября», как вы это сделали с «Лит. Россией».

Вызывает недоумение сам факт отправки подобной телеграммы в столь высокий адрес. Что за странная привычка жаловаться самым-самым «верхам»? Почему бы вам не напечатать ответ депутатам в том же «Книжном обозрении»? Может, вы подзабыли, что начальственный окрик нынче не в моде? Что гласность пока еще никто не отменял и возможность открыто высказывать свои взгляды есть одно из главных достижений перестройки? Или у вас ностальгия по статье одиннадцать-прим, отмененной все теми же народными депутатами?

Депутаты, а их двенадцать, подписались под письмом поименно. С их позицией все ясно. А вот с вашей — не очень. Почему же вы, наши маститые российские писатели, предпочли спрятаться за безликое слово «секретариат»? Страна должна знать своих героев в лицо, простите за банальность. Кто автор телеграммы, коллективное это творчество или индивидуальное? На каком уровне обсуждалась? Каким количеством голосов был принят ее сердитый текст? Без этой простой арифметики читателю не разобраться, что стоит за анонимной подписью. Времена демократии требуют ясности.

А может быть, вы, памятуя печальный опыт авторов, подписавших «письмо одиннадцати», учли, что история, если и повторяется, то только как фарс?

И еще. Только крайней степенью раздражения можно объяснить столь некорректное выражение, как «группка людей, пользующихся депутатскими мандатами...» Это о ком вы так? Об академиках Д. Лихачеве и Р. Сагдееве, А. Сахарове и В. Тихонове? О людях, которыми гордится народ, их избравший? Опомнитесь, товарищи писатели! К лицу ли вам так не уважать свой народ?!

**Т. Большакова, журналистка, член СЖ СССР,
Н. Наставина, кандидат экономических наук. Москва**

Я надеюсь, что коллектив «Октября» и его главный редактор А. Ананьев прислушаются к советам авторов письма под заголовком «Очень простое предложение...» («КО» № 33 за этот год), не унижат себя поднадоевшими перебранками и вступят на путь создания «нормального, независимого литературного и общественно-политического журнала», состоящего не при правлении СП РСФСР, а «при народе, при литературе».

Этого решения-поступка ждут не только авторы письма, опубликованного в «КО», но и миллионы прогрессивно мыслящих читателей «Октября» и «КО».

Внимательно следя за художественными произведениями и публицистическими статьями, появляющимися на страницах вашего журнала, нельзя не признать ту большую роль, которую он играет в пробуждении политического сознания нашего народа, в восстановлении исторической правды во всей ее полноте, в возрождении нашей умирающей нравственности.

Буду рад, если в России появится нормальный, независимый литературный и общественно-политический журнал, состоящий «при народе, при литературе».

**Бельский А. Г., ст. научный сотрудник,
кандидат исторических наук, Москва**

Вся эта кулуарная возня происходит без учета мнения читателей журнала. Дело не только в том, что секретарский постулат «СП РСФСР не выдаст. подписчик не съест» оскорбителен для десятков тысяч читателей. Секретарская акция приурочена к окончанию подписной кампании, и не исключено, что в 1990 году вместо журнала «Октябрь» читателям в прежней обложке преподнесут ежемесячное приложение к «Нашему современнику». Подобная акция СП РСФСР представляет собой умышленный обман читателей «Октября», и в этом случае им необходимо гарантировать право отказа от подписки с полной компенсацией затрат.

Бунич А. Л., научный сотрудник. Москва

Давно было сказано, что донос — неумирающий жанр нашей литературы. И уж если не жанр (все-таки это не литература и авторы в данном случае не писатели), то постоянно сопутствующее ей явление, своего рода контекст. Одним из новых доказательств этого стало «письмо трех» в «Литературной России» по поводу «русофобской» позиции журнала «Октябрь». Банальная ассоциация с двадцатилетней давности «письмом одиннадцати» направляется сама собой, тем более что оргвыводы (на расширенном заседании секретариата Союза писателей РСФСР 5 октября) уже намечены. Можно вспомнить еще и недавнее «письмо семи». Так что традиция жива...

Недаром «письмо одиннадцати» было недавно перепечатано «Нашим современником». Несмотря на различия во фразеологии, эти выступления, помимо прочего, объединяет ненависть ко всему яркому, талантливому и неординарному в литературе, что исходит не из клана, к которому принадлежат их авторы. Эти «русские патриоты» готовы ослепять самые выдающиеся произведения рус-

ской литературы, если они противоречат их идеям. А нередко просто потому, что автор «не подходит» по «пятому пункту» (в этом случае литература подленько именуется «русскоязычной»: «русскоязычными» оказываются и Пастернак, и Мандельштам, и Гроссман).

«Защищать» повесть «Все течет» нам представляется излишним. Большинство читателей, не зараженных новой «русоманией» и старым антисемитизмом, согласятся, что это — выдающееся произведение современной русской литературы.

«Тысячелетняя раба». Конечно, это далеко не вся правда о России, но это тоже правда. Об этом можно спорить — но только без злобы и доноительства. В нашем письме неуместно поднимать эту огромную тему. Лишь заметим, что сказать так вполне имеет право человек, искренне и глубоко любящий Россию. Вспомним Пушкина, Лермонтова, Белинского, Глинку... У них ведь тоже были высказывания, которые могут вызвать (и вызывают) истерику у нынешних «русофилов».

«Прогулки с Пушкиным» можно назвать кошунством только при таком истерическом (и псевдорелигиозном) отношении к русской литературе, которая не нуждается в озлобленных и лишенных чувства юмора охранителях. (Впрочем, не нуждается в них и исламский фундаментализм, а вот ведь присоединились к нападкам на Рушди, забыв — никогда не вспоминая — о правах, свободе и достоинстве художника! Так что тут своя логика, вполне последовательная и понятная.)

Мы возмущены беспочвенными — и провокационными — обвинениями в адрес редакции «Октября». Решительно протестуем против поистине кошунственного ярлыка «русофобии»! Надеемся, что наше мнение разделяют многие тысячи читателей и что оно будет принято во внимание секретариатом СП РСФСР.

**Сотрудники Института научной информации
по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР:
А. Бакулов, Е. Чернозатонская, Б. Ивановский,
Гирко, Мирималова и др.
(всего 30 подписей). Москва**

Даже сравнение тиражей «Октября» и «Нашего современника» показывает, какие произведения и какое направление общественно-политической мысли предпочитают читатели. Я выписываю 55 журналов, но «Октябрь» один из немногих, кто привлекает мне именно как журнал, безотносительно к громким именам, которые редколлегия обещает вывести на его страницы. В редакционные планы даже не заглядываю, убедившись, что в выборе произведений (в том числе и публицистических) можно целиком довериться чутью и опыту вашего редакционного коллектива. А вот «Наш современник» выписываю исключительно из-за Пикуля, как на будущий год — из-за Солженицына. Кроме меня, выписанный мною «Октябрь» читают еще семь семей, и все просили передать, что целиком на вашей стороне в конфликте с секретариатом СП РСФСР. Мужайтесь!

Бунас В. П. г. Тольятти

ТЕЛЕГРАММЫ

Полностью поддерживаем предложение, сформулированное в «КО» (№ 38).
Доктор физ.-мат. наук, профессор Роман Гайда; доктор физ.-мат. наук, профессор Анатолий Гольдберг; профессор Иван Соколов; доктор медицинских наук Александр Зайченко; кандидаты физ.-мат. наук Игорь Олексин, Иван Песни. Львов

Поддерживаем идею, сформулированную статьей «КО» (№ 38), — статью журналу «Октябрь» свободным, независимым от секретариата СП РСФСР. Приветствуем смелые публикации произведений Гроссмана, Снявского в вашем журнале.

Читатели «Октября» Неретин, Балакина, Берман, Суворинна, Свет, Бударина. Ленинград

Желаем мужества, стойкости, не давайте себя сломить, принимайте предложение о создании независимого журнала.

Читатели из Донецка.

Опубликовав главы «Все течет» Гроссмана, ваш журнал является источником русофобии на весь Советский Союз.

Группа пенсионеров: Потапова, Жаворонкова, Марфина, Иванова, Дмитриева Мария Андреевна, Ленинград

Мы, ваши читатели, благодарим вас за все, что вы делаете для торжества политической и художественной правды. Возмущены злыми нападками идеологов «Памяти», полностью поддерживаем предложение «Книжного обозрения», призываем последовать ему. Уверены в победе.

Сотрудники института истории, естествознания и техники: Лебедев, Колчинский, Кобышев, Голубовский. Москва

Мы крайне возмущены деятельностью писателей, участвующих в травле журнала «Октябрь». Просим сообщить наше мнение в Союз писателей РСФСР.

Члены правления Новосибирского союза ученых: Бергер, Вершинин, Гайнер, Рожковский, Сперанский, Сурдутович

Осуждаем вмешательство правления Союза писателей России в деятельность редколлегии журнала «Октябрь», его редактора Ананьева.

Городской клуб избирателей. Оренбург

Категорически возражаем против замены редколлегии журнала «Октябрь». Поддерживаем курс журнала, выраженный в последних публикациях, просим довести нашу позицию до сведения правления Союза писателей РСФСР.

Сотрудники института автоматки и электрометрии (всего 32 подписи). Новосибирск

Целиком поддерживаем независимую и достойную позицию журнала. Глубоко благодарны за публикацию великолепных произведений Гроссмана. Не бойтесь «троек». Их время миновало.

(Копия в Союз писателей РСФСР).

Сотрудники ЦНИИБ. Москва

Настоящий текст является копией телеграммы, отправленной правлению Союза писателей РСФСР:

Ленинградское общество «Нева» объединяет 280 читателей литературных и общественно-политических журналов. Общее собрание членов общества «Нева» решительно протестует против давления на главного редактора журнала «Октябрь» Ананьева и попыток сместить его. Мы одобряем линию журнала и отвергаем стремление шовинистов раздуть национальную рознь. Продолжающиеся попытки изменить направление журнала мы рассматриваем как покушение на наши читательские права.

По поручению собрания — совет общества «Нева»: Таланов, Gladков, Климентьева, Самойлов, Капустин, Богданов. Ленинград

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Внимательно и с большим сочувствием слежу за событиями, развернувшимися вокруг вашего журнала. Не потому, что люблю всякого рода скандальные истории. Здесь дело серьезное: запугивая русофобией, манипулируя именем Пушкина, администрация от литературы хочет прикрыть свое неблаговидное дело — посеять недоверие, подозрительность среди людей многонациональной России и покарать журнал, который в этой кампании не желает принимать участие.

Порадовалась, когда прочитала в «Московском литераторе» письмо ленинградских писателей в защиту «Октября», но перелистнула страницу, а там уже готов вердикт «саморазоблачительному» поступку непослушных ленинградцев. Н. Дорошенко заявляет: «...публикуя по инициативе «Апреля» письмо секретариата правления Ленинградской писательской организации, я отдаю себе отчет, что ленинградцы не столько российский секретариат разоблачают, сколько самих себя. Ибо трудно казаться русскими писателями и одновременно быть защитниками Ананьева, а не Пушкина...» Ох уж эти «защитники» Пушкина. Все это уже было. Подобных «защитников» Марина Цветаева разоблачила еще в 31-м году:

Бич жандармов, бог студентов,
Желчь мужей, услада жен,
Пушкин — в роли монумента?
Гостя каменного? — он,

Скалзубый, нагловзорый
Пушкин — в роли Командора?

Критик — ноя, нытик — вторя:
«Где же пушкинское (взрыд)
Чувство меры?» Чувство — моря
Позабыли — о гранит

Вьющегося? Тот, соленный
Пушкин — в роли лексикона?

Две ноги свои — погреться —
Вытянувший, и на стол
Вспрыгнувший при самодержце
Африканский самовол —
Наших прадедов умора —
Пушкин — в роли гувернера?

Черного не перекрасить
В белого — несправим!
Недурен — российский классик,
Небо Африки — своим

Звавший, неское — проклятым.
— Пушкин — в роли русопята?

Ох, брадатые авгурь!
Задал, задал бы вам бал
Тот, кто царскую цензуру
Только с дурой рифмовал.

А «Европы вестник» — с...
Пушкин — в роли гробокопа?

К пушкинскому юбилею
Тоже речь произнесем:
Всех румяней и смуглее
До сих пор на свете всем.

Всех живучей и живее!
Пушкин — в роли мавзолея?

То-то к пушкинским избушкам
Лепитесь, что сами — хлам!
Как из душа! Как из пушки —
Пушкиным — по соловьям

Слова, соколём полета!
— Пушкин — в роли пулемета!

Уши допнули от вопля:
«Перед Пушкиным во фронт!»
А куда девали пёкло
Губ, куда девали — бунт

Пушкинский? уст окаянство?
Пушкин — в меру пушкиньянца!

Томики поставив в шкафчик —
Посмешаете ж его,
Беженство свое смешавши
С белым бешенством его!

Белокровье мозга, морга
Синь — с оскалом негра, горло
Кажущим...

Поскакал бы, Всадник Медный,
Он со всех копыт — назад,
Трусоват был Ваня бедный.
Ну, а он — не трусоват,
Сей, глядевший во все страны —
В роли собственной Татьяны?

Что вы делаете, карлы,
Этот — голубей олив —
Самый вольный, самый крайний
Лоб — навеки заклеив

Низостию двуединой
Золота и середины?

«Пушкин — тога, Пушкин — схима,
Пушкин — мера, Пушкин — грань...»
Пушкин, Пушкин, Пушкин — ния
Благородное — как брань

Площадную — попуган.
— Пушкин? Очень испугали!

Е. Немчинова. Москва

Ленинградцы поддерживают благородную и демократическую позицию журнала «Октябрь», подвергающегося нападкам реакционных сил за прогрессивные публикации. Не позволим расправиться с Ананьевым так, как расправились с Твардовским! (Приложение: 185 подписей с адресами и телефонами на 12 страницах).

**Председателю правления СП РСФСР т. Бондареву Ю. В.
Председателю правления СП СССР т. Карпову В. В.
Главному редактору журнала «Октябрь» т. Ананьеву А. А.**

Товарищ Бондарев!

Из выступлений печати известны Ваши намерения принять репрессивные меры по отношению к журналу «Октябрь» и его главному редактору. Неужели Вы лично и возглавляемое Вами правление настолько далеки от читающей массы народа, что не представляете себе, какую благодарность, интерес и поддержку у всех нормальных людей вызывает позиция «Октября», его публикации? Неужели Вы, ратующий за возрождение русского самосознания, не чувствуете, что нынешняя позиция журнала — это покаяние перед советской литературой за его

прежнюю антигуманную направленность? Так считает большинство людей, с которыми мы общаемся в семейном и дружеском кругу, в рабочих коллективах. Считаем, что такой журнал, как теперешний «Октябрь», надо всячески поддерживать, а не душить, как Вы сделали с «Литературной Россией».

Мы особенно благодарны «Октябрю» за публикацию произведений Гроссмана. Что же вы за писатели в секретариате СП РСФСР, если не понимаете глубины и высоты его творчества и значимости не только для нашего, но и всех цивилизованных народов!

Публикации журнала никакого отношения к русофобии не имеют. С таким же успехом к русофобам можно отнести Пушкина, Лермонтова, Чаадаева и многих других представителей русской культуры, ее столпов и гордость.

Васильева Л. И., Вовчук Н. Л. и др. (всего 17 подписей). Москва

От редакции: Поскольку «Литературная Россия» (№ 41, от 13 октября с. г.) в заметке «В секретариате правления СП РСФСР» вновь ввела читателей в заблуждение относительно позиции «Октября» и характера письма, полученного из редакции в адрес секретариата СП РСФСР 6 октября, поставив под сомнение даже подлинность этого документа («письмо якобы от трудового коллектива»), вынуждены привести его полностью.

В секретариат правления Союза писателей РСФСР

Редакция журнала «Октябрь» не считает возможным присутствовать на заседании секретариата СП РСФСР, организованном по письму Антонова, Клыкова, Шафаревича. Расцениваем решение секретариата от 31 июля с. г. как неправомерное, антидемократичное, как проявление ведомственного диктата. Настаиваем на отмене этого решения. Считаем, что нам должны быть принесены публичные извинения за обвинения в русофобии, за оскорбления и травлю, развернутую на страницах еженедельника «Литературная Россия».

Просим огласить наше письмо на заседании секретариата СП РСФСР 6 октября.

Трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

(Принято единогласно на общем собрании коллектива редакции 5 октября с. г.).

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **Г. В. БУДНИКОВ** (зам. главного редактора), **В. В. ДЕМЕНТЬЕВ**, **Р. Т. КИРЕЕВ**, **Н. Д. КРЮЧКОВА**, **А. Н. КУРЧАТКИН**, **В. М. ЛИТВИНОВ**, **А. А. МИХАЙЛОВ** (первый зам. главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь), **В. Д. ПОВОЛЯЕВ**, **В. Я. САВАТЕЕВ**, **И. Е. ФИЛОНЕНКО.**

Технический редактор **С. И. Суровцева.**

Сдано в набор 05.10.—25.10.89. Подписано к печати 25.10.89. А 07966. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Уч.-изд. л. 22,24.
Тираж 385 000 экз. Заказ № 1288. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.

Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Магазин № 3 «Книга — почтой»
ПРЕДЛАГАЕТ КНИГИ
издательства «Наука»:

Богословский М. М. **Историография, мемуаристика, эпистолярная.** (Научное наследие). 1987. 214 с. 1 р. 50 к.

Воспоминания автора о В. О. Ключевском, Н. П. Павлове-Сильванском, П. Г. Виноградове. Один из разделов книги повествует о старой Москве 1870—1890 гг.

Алексеев М. П. **Пушкин и мировая литература.** 1987. 614 с. 3 р. 10 к.
Гетевские чтения. 1984. 1986. 287 с. 1 р. 70 к.

Делиль Ж. **Сады. Поэма.** Пер. с фр. (Литературные памятники). 1987. 231 с. 1 р. 90 к.

Н. А. Добролюбов и русская литературная критика. 1988. 238 с. 2 р. 70 к.

Жуковский и литература конца XVIII—XIX вв. 1988. 320 с. 3 р. 10 к.

Искусствоведение Запада об искусстве XX века. 1988. 173 с. 1 р. 30 к.

Кузнецов Л. М. **Цена манильской сигары.** (Рассказы о странах Востока). 1987. 176 с. 75 к.

Куманев В. А. **Деятели культуры против войны и фашизма.** Исторический опыт 20—30-х гг. 1987. 295 с. 2 р. 40 к.

Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4. Александр Блок. Новые материалы и исследования. 1987. 781 с. 10 р. 50 к.

Марк Твен и его роль в развитии американской реалистической литературы. 1987. 240 с. 2 р. 80 к.

Плахова М. Л., Алексеев Б. В. **К островам Индийского океана.** (Рассказы о странах Востока). 1988. 415 с. 1 р. 90 к.

Рукописная книга в культуре народов Востока. Очерки. В 2-х кн. Кн. 1. 1987. 559 с. 4 р. 40 к.

Кн. 2. 1988. 548 с. 3 р. 50 к.

Заказы на книги направляйте по адресу: 117393, Москва, ул. Академика Пилюгина, дом 14, корп. 2.

«Академкнига»